

Александр
Дюма

Капитан
Ришар
Жорж



XIX
ВЕК
В РОМАНАХ
ДЮМА

Александр Дюма

Капитан
Ришар

Жорж

Романы

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРЕССА»
1993

84 4 Фр
Д 96

Переводы с французского

Составление и общая редакция
Ю. П. Уварова

Оформление
Ю. К. Бажанова

Д $\frac{4703010100-2943}{080(02)-93}$ 2943-93

ISBN 5-253-00762-8

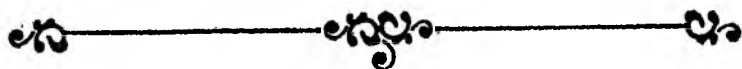
- © Уваров Ю. П.
Составление. 1993.
- © Скржинская Е. Л.
Скржинский П. А.
Перевод. 1993.
- © Тетеревникова А. Н.
Трескунов М. С.
Перевод. 1993.
- © Бажанов Ю. К.
Оформление. 1993.



Капитан
Ришар

Роман

Перевод
Е. Л. Скржинской и П. А. Скржинского



I

ГЕРОЙ НЕ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Приблизительно в восемнадцать лье от Мюнхена, которого Путеводитель по Германии господ Ришара и Квентина называет одним из самых развитых городов не только в Баварии, но и во всей Европе; в девяти лье от Аугсбурга, прославившегося сеймом, где Меланктон в 1530 году провозгласил формулу лютеранского закона; в двадцати двух лье от Ратисбонна, где с 1662 по 1806 год в мрачных залах городской ратуши заседали все сословия германской империи, возвышается, подобно часовому, просматривающему течение Дуная, маленький городок Донауверт.

Четыре дороги ведут к старинному городку, где Людовик Строгий по несправедливому подозрению в неверности приказал обезглавить несчастную Марию Бранбургскую: две из них — Гордингенская и Диллингенская, идут из Штутгарта, то есть из Франции, и две — Аугсбургская и Айнахская — идут из Австрии. Первые две следуют по левому берегу Дуная; две другие сначала проходят по

правому берегу реки, потом пересекают ее, вливаясь в Донауверт по простому деревянному мосту.

Сейчас, когда железная дорога доходит до Донауверта, а пароходы спускаются по Дунаю от Ульма до Черного моря, город обрел большее значение и несколько оживился; но все было иначе в начале этого века¹.

Однако старый вольный город, который в обычное время казался храмом, возведенным в честь богини Одиночества и бога Тишины, 17 апреля 1809 года являл собой зрелище, настолько непривычное для его двух тысяч пятисот жителей, что за исключением младенцев в колыбели и парализованных старцев, которые — одни из-за своей слабости, другие из-за немощи — вынуждены были оставаться дома, все население заполняло его улги и площади, а особенно ту улицу, на которой заканчивались две дороги, идущие из Штутгарта, и Дворцовую площадь.

Вечером 13 апреля, когда три почтовые кареты, сопровождаемые телегами и фургонами, остановились у гостиницы «Рака», из первой вышел генерал, одетый, как и император, в маленькую шляпу и сюртук поверх мундира, из двух других — целый штаб, и тут же распространился слух, что победитель при Маренго и Аустерлице избрал маленький городок Донауверт как отправной пункт для своих операций в новой кампании, которую он собирался предпринять против Австрии.

Этот генерал, которого самые любопытные, разглядывая в первый же вечер через оконные стекла гостиницы, определили как мужчину лет пятидесяти шести или пятидесяти семи, а самые осведомленные называли старым маршалом Бертье, принцем Невшательским, и который, как утверждали, опережал императора только на два-три дня, в ту же ночь после своего прибытия разослал во все стороны гонцов и приказал сконцентрировать войска у Донауверта, что и начало осуществляться через день; таким образом, как внутри, так и вне города только и слышались фанфары и барабанная дробь, а с четырех основных сторон стягивались баварские, вюртембергские и французские войска.

Скажем несколько слов об этих старых неприятелях, которых зовут Франция и Австрия, и о тех обстоятельствах, которые привели ко всей этой суматохе после того, как император Наполеон и император Франциск II разорвали мир, подписанный в Пресбурге.

¹ Имеется в виду начало XIX века (*Примеч. переводчика.*)

Император воевал в Испании.

Вот как разворачивались события.

Амьенский договор, который в 1802 году привел к миру с Англией, просуществовал только один год, поскольку Англия добилась от Жуана VI, короля Португалии, нарушения своих обязательств перед императором французов. При этом известии Наполеон ограничился тем, что написал лишь одну строчку и подписал ее своим именем:

«Дом Браганс перестал царствовать»

Жуан VI, выгнанный из Европы, был вынужден пересечь Атлантику и попросить убежища в португальских колониях.

Камоэнс, потерпев кораблекрушение у берегов Кохинхины, спас свою поэму, держа ее в одной руке и гребя другой; Жуан VI в буре, которая увлекла его к Рио-де-Жанейро, был вынужден потерять свою корону. Правда, следует сказать, что там он нашел другую, и взамен своего потерянного европейского королевства был провозглашен императором Бразилии.

Французские армии, получив проход через Испанию, оккупировали Португалию, где губернатором был назначен Жюно.

Португалия считалась такой мелочью, что там назначали всего лишь губернатора.

Но планы императора на этом не останавливались.

Пресбургский договор, навязанный Австрии после битвы под Аустерлицем, обеспечил Евгению Богарне корону вице-короля Италии; Тильзитский договор, навязанный Пруссии и России после битвы под Фридландом, отдал Жерому королевство в Вестфалии; вопрос стоял о том, чтобы вытеснить Иосифа и поставить Мюрата.

Были приняты меры предосторожности.

Секретная статья Тильзитского договора разрешала императору России завладеть Финляндией, а императору французов завладеть Испанией.

Оставалось найти подходящий случай.

И случай не замедлил представиться.

Мюрат остался в Мадриде с секретными инструкциями. Король Карл IV жаловался Мюрату на ссоры со своим сыном, тот только что заставил его отречься от престола, который унаследовал под именем Фердинанда VII. Мюрат посоветовал Карлу IV обратиться к своему союзнику Наполеону; Карл IV, которому нечего бы-

ло терять, с благодарностью согласился на арбитраж, а Фердинанд VII, который не был сильнейшим, принял это предложение с беспокойством.

Мюрат тихонько подтолкнул отца и сына к Байонне, где их ожидал Наполеон. Едва они попали в лапы льва, как с ними было покончено: Карл IV отрекся в пользу Жозефа, объявив Фердинанда недостойным царствовать. Наполеон возложил правую руку на отца, левую на сына и отправил первого в Компьенский дворец, а второго — в замок Валенсай.

Если все это устраивало Россию, с которой была о том договоренность и которая получила компенсацию, то не устраивало Англию, которая ничего тут не выигрывала. А потому эта последняя не упускала из поля своего зрения Испанию и держалась наготове, чтобы воспользоваться первым же восстанием, которое, впрочем, не заставило себя ждать.

27 мая 1808 года, в день Святого Фердинанда, восстание вспыхнуло в десяти различных пунктах, а главным образом в Кадиксе, где восставшие захватили французский флот, который укрылся там после Трафальгарского разгрома.

Затем, менее чем через один месяц, по всей Испании распространяется следующее наставление:

- «— Ты кто, дитя мое?
- Испанец, милостью Божьей.
- Что ты хочешь этим сказать?
- Я хочу сказать, что я хороший человек.
- Кто враг нашего благосостояния?
- Император французов.
- Что такое император французов?
- Злодей! Источник всех бед, разрушитель всех благ, чаг всех пороков!
- Сколькими натурами он обладает?
- Двумя: человеческой и дьявольской.
- Сколько имеется императоров у французов?
- Один настоящий, в трех обманных лицах.
- Как их зовут?
- Наполеон, Мюрат и Мануэль Годой.
- Который из них самый злобный?
- Они все одинаковы.
- От кого произошел Наполеон?
- От греха.
- А Мюрат?

- От Наполеона.
- А Годой?
- От совокупления обоих.
- Какова сущность первого?
- Гордость и деспотизм.
- Второго?
- Разбой и жестокость.
- А третьего?
- Жадность, предательство, невежество.
- Что такое французы?
- Бывшие христиане, ставшие еретиками.
- Какого наказания заслуживает испанец, не выполнивший свой долг?
- Смерти и предания позору.
- Как должны вести себя испанцы?
- Согласно правилам, установленным Нашим Господином Иисусом Христом.
- Кто освободит нас от наших врагов?
- Наше доверие друг к другу и оружие.
- Грех ли убить француза?
- Нет, отец мой, напротив: угодно небу, если убьешь одну из этих собак — еретиков».

Это были странные принципы, но они находились в полном соответствии с диким невежеством народа, который их исповедовал.

Последовало всеобщее восстание, результатом которого явилась капитуляция в Байлене, то есть первое позорное пятно в истории нашего оружия с 1792 года.

Капитуляция была подписана 22 июля 1808 года.

31 числа того же месяца английская армия высадилась в Португалии.

21 августа состоялась битва при Вимейро, которая стоила нам двенадцати пушечных стволов и тысячи пяти-сот убитыми и ранеными; наконец, 30 числа была подписана конвенция в Синтра, по которой Жюно и его армия должны были быть эвакуированы.

Эти новости вызвали ужасный отклик в Париже.

Наполеон знает одно лишь лекарство для такого оборота событий — свое присутствие.

Бог еще с ним, удача сопровождает его. Испанская земля увидит еще чудеса Риволи, Пирамид, Маренго, Аустерлица, Иены и Фридланда.

Он пожмет руку императору Александру, убедится в намерениях Пруссии и Австрии, за которой новый ко-

роль Саксонии следит из Дрездена, а новый король Вестфалии — из Гесс-Касселя. Он приведет с собой из Германии восемьдесят тысяч ветеранов, заглянет по пути в Париж, где объявит законодателям, что вскоре орлы будут парить над башнями Лиссабона, и отправится в Испанию.

4 ноября он прибывает в Тулузу.

10-го маршал Сульт при поддержке генерала Мутона берет Бургос, захватывает двадцать пушек, убивает три тысячи испанцев и столько же берет в плен.

12-го маршал Виктор разбивает два армейских корпуса Романа и Блейка в Эспинозе, убивает восемь тысяч их солдат, десять генералов, берет двенадцать тысяч пленных и захватывает пятьдесят пушек.

23-го маршал Ланн разбивает в Туделе армии Палафокса и Кастаноса, забирает у них тридцать пушек, берет в плен три тысячи и убивает или топит в море четыре тысячи их солдат.

Дорога на Мадрид открыта! Пожалуйте в город Филиппа V, ваше величество! Разве вы не наследник Людовика XIV и не знаете дорогу ко всем столицам? К тому же вас ожидает и выходит вам навстречу депутация города Мадрида, чтобы попросить вас о прощении, которое вы с удовольствием им дадите... Теперь поднимайтесь на площадку Эскуриала и послушайте: со всех сторон вы услышите только эхо победы!

А вот ветер с востока, он несет вам весть о боях в Гарденене, в Клинасе, в Лобрегате, в Сан-Феличе и Молино-дель-рей; впишем пять новых названий в нашу запись событий — и нет больше врагов в Каталонии!

А вот западный ветер, который также ласкает ваш слух: он дует из Галиции и сообщает вам, что Сульт разбил арьергард Мура, заставил целую испанскую дивизию сложить оружие; ваш офицер прошел по трупам испанцев, добрался до англичан, отбросил их на корабли, которые распустили паруса и исчезли, оставив на поле боя тела главнокомандующего и двух генералов.

А вот северный ветер, весь пронизанный пламенем, несет вам весть о взятии Сарагосы. Прежде чем вступить на центральную площадь, сир, мы дрались двадцать восемь дней! И еще двадцать восемь дней после того, как на нее вступили, дрались от дома к дому, как в Сагонте, как в Нумансе, как в Калахорре! Дрались мужчины, женщины, старики, дети, дрались священники!

Французы стали хозяевами Сарагосы, то есть того, что было городом, а стало лишь руинами!

А южный ветер несет вам весть о взятии Опорто. Восстание в Испании задушено, если не сказать погашено; Португалия захвачена, если не сказать снова побеждена; вы сдержали свое слово, сир! Ваши орлы парят над башнями Лиссабона!

Но где же вы, о победитель! И почему, едва приехав, вы вновь отправились в путь?

Ах, да! ваш старый недруг, Англия, только что сбита с пути Австрию; она сказала ей, что вы находитесь в семистах лье от Вены, что вам еще необходимо собрать вокруг себя все свои силы, и сейчас подходящий момент, чтобы отобрать у вас — у вас, которого папа Пий VII только что отлучил от церкви, как Генриха IV Германского и Филиппа-Августа Французского — отобрать Италию и прогнать из Германии. И она поверила в это, самонадеянная! Она собрала пятьсот тысяч человек, отдала их в руки своих трех эрцгерцогов Шарля, Людовика и Жана и сказала им: «Летите, мои черные орлы! Я отдаю вам на растерзание рыжего орла Франции!»

17 января Наполеон верхом отправился из Вальядолида; 18-го он прибыл в Бургос, а 19-го — в Байонну; там он сел в карету, когда все думали, что он еще в старой Кастилии, а 22-го в полночь он уже стучит в ворота Тюильри со словами: «Открывайте, это будущий победитель Экмюля и Ваграма!»

Правда, будущий победитель Экмюля и Ваграма возвращался в Париж в очень скверном настроении, и было от чего.

Эта война в Испании, которую он считал полезной, ему не нравилась, но поскольку она была уже начата, у нее по крайней мере было одно преимущество — она привлекла англичан на континент.

Как тот ливийский великан, Наполеон чувствовал себя действительно сильным только тогда, когда касался земли. Если бы он был Фемистоклом, он подождал бы персов в Афинах и не отделил бы Афины от своего берега, перенеся их в Саламинский залив.

Его Фортуна, любовница, которая всегда была ему так верна: и тогда, когда он заставил ее сопровождать себя от Адижа до Нила либо следовать за собой от Немана до Мансанареса, эта Фортуна изменила ему в Абукире и в Трафальгаре!

И это в то время, когда он только что одержал три победы над англичанами, убил у них двух генералов, ранил третьего и оттеснил их к морю, как Гектор поступил с греками в отсутствие Ахилла, а теперь он вдруг был вынужден покинуть полуостров, узнав, что происходит в Австрии и даже в самой Франции.

Поэтому, прибыв в Тюильри и войдя в свои апартаменты, он едва взглянул на свою постель, хотя было уже два часа ночи, и, перейдя из своей спальни в рабочий кабинет, сказал:

— Пусть пойдут разбудят великого канцлера и предупредят министра полиции и великого курфюрста, что я их жду: первого в четыре часа, второго — в пять.

— Следует ли предупредить ее величество императрицу о возвращении вашего величества? — спросил камердинер, которому был отдан этот приказ.

Император на мгновение задумался.

— Нет, — сказал он. — Сначала я хочу видеть министра полиции. Только последите за тем, чтобы меня не беспокоили до его прихода: я буду спать.

Камердинер вышел, и Наполеон остался один.

Тогда, взглянув на часы, он сказал:

«Четверть третьего, в половине третьего я проснусь».

И, бросившись в кресло, он вытянул левую руку на подлокотник, а правую просунул между жилетом и сорочкой, прислонился к спинке красного дерева, закрыл глаза, слегка вздохнул и заснул.

Наполеон, как и Цезарь, обладал этим ценным свойством засыпать где мог, когда хотел, и на то время, которое он должен был проспять. Когда он говорил: «Я просплю четверть часа», — редко случалось, чтобы его адъютант, камердинер или секретарь, кому был отдан приказ разбудить его, войдя в комнату в назначенное время, не заставлял его с открытыми глазами.

Кроме того, это была редкая привилегия, которой обладали некоторые гениальные люди, — Наполеон, просыпаясь, переходил сразу от сна к бодрствованию: его глаза, открываясь, казались тотчас же ясными; его мозг уже работал, мысли были одинаково четкими как через секунду после пробуждения, так и за секунду до сна.

Таким образом, едва закрылась дверь за камердинером, которому было поручено созвать трех государственных мужей, как Наполеон уже спал, и — странное дело! — никакого следа страстей, которые волновали его душу, не отражало его лицо.

В кабинете горела только одна свеча. Услышав желание императора поспать некоторое время, камердинер унес два канделябра, слишком яркий свет которых мог бы даже сквозь веки коснуться глаз Наполеона; он оставил только подсвечник со свечой, с помощью которой он зажигал канделябры.

Поэтому весь кабинет был погружен в мягкий и прозрачный полусвет, который придает предметам очаровательный и воздушный ореол. Именно посреди такой светящейся темноты или, если хотите, такого темного света любят проходить сновидения, которые возникают во сне, или призраки, порождаемые угрызениями совести.

Можно подумать, что один из таких призраков только и ожидал, чтобы возникнуть, едва вокруг императора воцарится это таинственное свечение; потому что, как только он закрыл глаза, поднялся занавес, скрывавший маленькую дверь, и появилась белая фигура, имевшая благодаря окутывавшей ее кисее и гибкости движений облик фантастической тени.

Тень на мгновение остановилась в дверях, как в темной раме; потом таким легким, таким воздушным шагом, что тишина не нарушилась даже от скрипа паркета, медленно подошла к Наполеону.

Дойдя до него, она протянула очаровательную ручку, всю в облаке муслина, положила ее на спинку кресла рядом с головой, похожей на голову римского императора; некоторое время она с неописуемой любовью смотрела на это прекрасное лицо, спокойное, как на императорской медали Августа, слегка вздохнула, прижала левую руку к сердцу, чтобы сдержать его биение, наклонилась, удерживая дыхание, прикоснулась ко лбу спящего скорее своим дыханием, чем губами. Почувствовав, что по мускулам лица Наполеона пробежала дрожь, она живо отпрянула назад.

Впрочем, вызванное движение было таким же незаметным, как и мимолетным: это спокойное лицо, на мгновение сморщившееся от прикосновения этого дыхания любви, как бывает с поверхностью озера от ночного ветерка, снова обрело свое спокойное выражение, а тень-посетительница, держа по-прежнему руку у сердца, подошла к бюро, написала несколько слов на листке бумаги, вернулась к спящему, просунула его в отверстие, образовавшееся между жилетом и сорочкой рядом с рукой, которая была такой же белой и изящной, как и ее соб-

ственная; затем так же легко, как пришла, она исчезла в той же двери, через которую появилась.

Несколько секунд после исчезновения этого видения, когда часы вот-вот должны были пробить половину третьего, спящий открыл глаза и отнял руку от груди.

Часы пробили.

Наполеон улыбнулся, как улыбнулся бы Август, увидев, что он также владеет собой во сне, как и в бодрствований, и подобрал листок, который уронил, вынув руку из жилета.

На листке бумаги он разобрал несколько слов, наклонившись к единственной свече, освещавшей комнату; но прежде чем он разобрал слова, он узнал почерк.

Он вздохнул и прочитал:

«Вот и ты! Я тебя поцеловала, мне более ничего и не надо.

Та, которая любит тебя больше всего на свете».

«Жозефина,— прошептал он, оглянувшись вокруг, как будто ожидал, что она появится в глубине комнаты или возникнет за мебелью.

Но он был один.

В этот момент открылась дверь, вошел камердинер, неся два канделябра, и объявил:

«Его превосходительство господин великий канцлер».

Наполеон встал, прислонился к камину и застыл в ожидании.

II

ТРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЖА

Позади чиновника появилось высокопоставленное лицо, которое только что объявили.

Режи де Камбасересу в это время было пятьдесят пять лет, то есть на пятнадцать-шестнадцать лет больше, чем тому, кто его вызвал.

По характеру это был мягкий и приветливый человек. Ученый-юриисконсульт, он сменил своего отца в должности советника по вопросам финансов; в 1792 году он был избран депутатом в Национальный конвент; 19 января 1793 года голосовал за отсрочку казни короля; в 1794 году стал председателем Комитета национального спасения; в следующем году был назначен министром юсти-

ции; в 1799 году был выбран Бонапартом на пост второго консула и, наконец, в 1804 году — назначен великим канцлером, получив титулы князя Империи и герцога Пармы.

Внешне это был мужчина среднего роста со склонностью к тучности, большой чревоугодник, чисто-плотный и кокетливый и, хотя был аристократом только благодаря своему судейскому званию, воспринял привычки двора с быстротой и легкостью, которые очень ценил великий преобразователь общественного здания.

Кроме того, в глазах Наполеона у него была еще одна заслуга: Камбасерес отлично понял, что гениальный человек, пройдя рядом с ним, связал его со своей собственной судьбой, относился как к равному себе, а поэтому был достоин его уважения, став этим избранником судьбы, и в этот час командовал в Европе; поэтому, не опускаясь до смирения, он держался с ним не как человек, который льстит, а как тот, кто восхищается.

Камбасересу, всегда готовому явиться по первому зову императора, хватило четверти часа, чтобы завершить свой туалет, который сочли бы безупречным даже в залах Тюильри, и, хотя он и был разбужен в два часа ночи, то есть когда спал крепким сном, — что ему всегда было особенно неприятно, — он явился оживленным, с улыбкой на губах, словно за ним послали в семь часов вечера, когда он только что вышел из-за стола, выпил кофе и пребывал в том блаженном состоянии, которое сопровождает хорошее пищеварение после вкусного обеда.

Человек, с которым он столкнулся, далеко не обладал таким же хорошим настроением, что и отражалось на его лице. Заметив это, великий канцлер сделал движение, походившее на отступление назад.

Наполеон, от орлиного взгляда которого ничто не ускользало не только в крупных делах, но и — что было еще более невероятным — в мелких, увидел это движение, понял его причину и тут же смягчил выражение своего лица:

— О! Заходите, заходите, мсье великий канцлер! Я сердит вовсе не на вас!

— А я надеюсь, что ваше величество никогда не будет на меня сердиться, — ответил Камбасерес. — Я стал бы самым несчастным человеком в тот день, заслужив ваше неудовольствие.

В этот момент слуга вышел, оставив два канделябра и унеся свечи.

— Констант,— произнес император,— закройте дверь; оставайтесь в прихожей и введите в зеленую гостиную тех лиц, которых я жду.

Затем, обернувшись к Камбасересу, он сказал, слово вздохнув после долгой одышки:

— Ах! Бот я и во Франции, вот я и в Тюильри! Мы совершенно одни, мсье великий канцлер, поговорим на чистоту.

— Сир,— сказал великий канцлер,— я никогда не разговаривал иначе с вашим величеством.

Император устремил на него пронизательный взгляд.

— Вы утомляетесь, Камбасерес, вы огорчаетесь, в противоположность другим, которые не имеют иной цели, как выставиться, вы стараетесь с каждым днем все больше и больше уйти в тень. Мне это не нравится; подумайте, ведь по гражданской иерархии вы второй после меня.

— Я знаю, что ваше величество всегда относилось ко мне согласно своему доброму отношению, а не вследствие моих заслуг.

— Вы ошибаетесь, я всегда ценил вас по заслугам; именно поэтому я поручил вам руководство законами, не только когда они уже родились, но также и тогда, когда им только предстояло родиться, во время вынашивания их матерью Юстицией. Так вот, уголовный кодекс не идет, не продвигается; я говорил вам, что хочу, чтобы он был завершен в 1808 году; между тем сегодня у нас 22 января 1809 года, и, хотя законодательный корпус оставался в сборе во время моего отсутствия, этот кодекс не был закончен и, быть может, не будет закончен еще через три месяца.

— Ваше величество разрешит мне сказать всю правду по этому поводу? — спросил великий канцлер.

— Еще бы! — сказал император.

— Так вот, сир, я выскажусь без страха — я никогда не буду бояться, пока ваше величество держит скипетр или шпагу,— но с сожалением, что дух беспокойства и недисциплинированности начинает проявляться повсюду.

— Вам нет надобности говорить это, месье; я чувствую его! И приехал, чтобы разбить этот дух в той же степени, что и разгромить австрийцев.

— Так, например, сир,— продолжал Камбасерес,— законодательный корпус...

— Законодательный корпус! — повторил Наполеон, подчеркивая эти слова и пожимая плечами.

— Законодательный корпус,— продолжал Камбасерес, как человек, желающий закончить свою мысль.— Законодательный корпус, в котором редкие оппозиционеры никогда не собирали двенадцати—пятнадцати голосов против предлагаемых нами проектов, этот законодательный корпус выступает против нас и дважды опустил восемьдесят черных шаров, а один раз даже сто!

— Так что ж, я раздавлю этот законодательный корпус!

— Нет, сир, вы выберете момент, когда он будет более расположен к одобрению. Только оставайтесь в Париже... О! Боже мой! Когда ваше величество в Париже, все идет хорошо.

— Я это знаю, но, к сожалению, я не могу тут оставаться.

— Тем хуже!

— Да, тем хуже! Я буду помнить это слово, а если я его забуду, напомните мне о некоем Мале.

— Ваше величество говорит, что не сможет остаться в Париже?

— Вы что же думаете, что я приехал за четыре дня из Вальядолида, чтобы сидеть в Париже? Нет, через три месяца я должен быть в Вене.

— О! Сир,— со вздохом сказал Камбасерес,— опять война!

— И вы тоже, Камбасерес! Но разве это я воюю?

— Сир, Испания... — в нерешительности рискнул сказать великий канцлер.

— Да, это война, может быть; но зачем я ее затеял? Потому что надеялся на мир с Севером. Мог ли я подозревать, что, имея Россию в союзницах, Вестфалию и Голландию — сестрами, Баварию — другом, Пруссию с армией, сведенной до сорока тысяч человек, Австрию, у которой отрубил одну голову, Италию,—так вот эта Австрия сумела поднять и вооружить пятьсот тысяч человек против меня? Разве в Вене текут воды Леты, а не Дуная? Там что, забыли уроки, извлеченные из опыта? Нужны новые? На этот раз они их получают, и на этот раз эти уроки будут ужасными, я отвечаю за это! Я не хочу войны, она мне ни к чему, вся Европа является свидетелем того, что все мои усилия, все мое внимание были направлены на то поле боя, которое избрала Англия, то есть Испанию. Австрия, которая уже однажды спасла англичан в 1805 году в тот момент, когда я собирался форсировать пролив Кале, снова спасает их сего-

дня, останавливая меня в тот момент, когда я всех их от первого до последнего сбрасывал в море! Я хорошо знаю, что, исчезая в одном месте, они возникают в другом; но Англия не является воинственной нацией, как Франция: это торговая нация, это Карфаген, но Карфаген без Ганнибала; я кончил бы тем, что лишил бы ее солдат, либо заставил оголить Индию, а если Александр верен своему слову, то именно там я его жду... О! Австрия! Австрия! Она дорого заплатит за эту диверсию! Или она сразу разоружится, или ей придется выдержать разрушительную войну. Если она разоружится, да так, что у меня не останется никаких сомнений в ее будущих намерениях, я сам вложу шпагу в ножны,— так как у меня нет желания вынимать ее против кого-либо иного, кроме Испании и англичан,— иначе я брошу на Вену четыреста тысяч человек, а в будущем у Англии на континенте не останется союзников.

— Четыреста тысяч солдат, сир? — повторил Камбасерес.

— Вы спрашиваете меня, где они, не так ли?

— Да, сир, я вижу в наличии едва лишь сотню тысяч.

— А! Вот уже начинают считать моих солдат, и вы первый, месье, великий канцлер!

— Сир...

— Говорят: «У него осталось только двести тысяч человек, только сто пятьдесят тысяч, только сто тысяч!» Говорят: «Мы можем улизнуть от господина, господин ослаб, у господина осталось только две армии!» Ошибаются...

Наполеон постучал по своему лбу.

— Моя сила здесь!

Затем он широко развел обе руки:

— А вот моя армия! Хотите знать, как я смогу собрать четыреста тысяч человек? Я сейчас вам скажу...

— Сир...

— Я сейчас вам это скажу... не для вас лично, Камбасерес, вы, может быть, еще верите в мою удачу, но я скажу вам это, чтобы вы повторили всем остальным. Моя Рейнская армия насчитывает двадцать один пехотный полк — это дает мне семьдесят тысяч пехотинцев. Кроме того, у меня есть мои четыре дивизии Карра Сен-Сир, Легран, Буде, Молитор — тридцать тысяч человек, итого сто тысяч, не считая пяти тысяч из дивизии Дюпа. У меня есть четырнадцать полков кирасиров, а это дает

мне по крайней мере двенадцать тысяч кавалеристов, а если взять все, что остается в запасе, то это составит еще четырнадцать тысяч. У меня семнадцать полков легкой пехоты: посчитаем их в семнадцать тысяч человек; кроме того, в запасных войсках у меня полно необученных драгунов, создав их из Лангедока, Гёйенны, Пуату и Анжу, я легко наберу еще пять-шесть тысяч. Таким образом, вот у нас есть сто тысяч пехотинцев и тридцать—тридцать пять тысяч кавалеристов.

— Сир, это составит сто тридцать пять тысяч человек, а ваше величество сказала — четыреста тысяч!

— Постойте... двадцать тысяч артиллеристов, двадцать тысяч гвардейцев, сто тысяч немцев!

— Это, сир, составит всего двести шестьдесят семь тысяч человек.

— Ладно!.. Я заберу пятьдесят тысяч из моей итальянской армии; они пойдут через Тарвис и присоединятся ко мне в Баварии. Добавьте к этому десять тысяч итальянцев, десять тысяч французов, отозванных из Далматии, и вот у нас еще семьдесят тысяч человек.

— И все это дает нам триста тридцать семь тысяч человек.

— Что ж, сейчас вы увидите, что у нас их будет даже слишком много!

— Я ищу это пополнение, сир.

— Вы забываете моих рекрутов, месье, вы забыли, что ваш сенат только что, в сентябре этого года, принял решение о двух новых призывах.

— Один призыв 1809 года уже под ружьем, но призыв 1810 года по закону должен первый год отслужить только во внутренних войсках.

— Да, месье, но вы полагаете, что от ста пятнадцати департаментов будет достаточно восемьдесят тысяч человек? Нет, я довожу число призывников до ста тысяч и провожу дополнительный призыв по классам 1809, 1808, 1807 и 1806 годов. Это дает мне двадцать четыре тысячи человек — мужчин двадцати, двадцати одного, двадцати двух и двадцати трех лет, тогда как призывникам 1810 года всего лишь восемнадцать. Этим я могу позволить беспрепятственно состариться.

— Сир, эти сто пятнадцать департаментов дают каждый год только триста тридцать семь тысяч человек, достигших призывного возраста; забрать сто тысяч человек из трехсот тридцати семи тысяч — значит взять боль-

ше четверти, но не существует такого населения, которое не погибло бы, если у него ежегодно забирать четвертую часть мужского населения, достигшего зрелого возраста.

— А кто говорит вам, что у них будут забирать их ежегодно? Я возьму их на четыре года и освобожу окончательно все предыдущие классы... Один раз — это не обычай, это первый и последний раз. Эти восемьдесят тысяч человек составят мою гвардию, подготовить ее будет делом трех месяцев. До конца апреля я буду на Дунае с четырьмястами тысячами солдат; тогда Австрия, как она это делает и сейчас, подсчитает мои легионы, и, если она заставит меня ударить, Европа навсегда замрет от ужаса перед теми ударами, которые я на нее обрушу!

Камбасерес глубоко вздохнул.

— У вашего величества нет для меня других приказаний? — сказал он.

— Пусть соберут на завтра законодательный орган.

— Он заседает с вашего отъезда, сир.

— Да, правда... Завтра я отправлюсь туда, и они узнают мою волю.

Камбасерес направился к выходу, потом вернулся:

— Ваше величество сказала мне вызвать некого генерала Мале.

— Ах, да! Вы правы... Но об этом я поговорю с мсье Фуше. Когда будете уходить, скажите, чтобы ко мне прислали мсье Фуше, он должен быть в зеленой гостиной.

Камбасерес поклонился и пошел к двери.

И когда он уже выходил...

«Прощайте, мой дорогой великий канцлер!» — крикнул ему вслед Наполеон самым мягким голосом, сопровождая свои слова дружеским жестом; благодаря этому великий канцлер ушел более спокойный за себя лично, но не менее обеспокоенный за судьбу Франции.

Когда тот вышел, Наполеон принялся шагать взад и вперед широкими шагами.

За девять лет подлинного царствования — так как консульство было царствованием — он видел везде внушаемое им восхищение, а также недоверие, даже порицание, но никогда сомнение.

Сомневаться? В чем? В его удаче!

Его даже упрекали! И где он встретил первые упреки? В своей армии, в своей гвардии, у своих ветеранов!

Бейлен своей фатальной капитуляцией нанес ужасный удар его репутации.

Варус по крайней мере дал убить себя и свои три легиона, которые требовал от него Август: Варус не сдался!

Еще до того, как он уехал из Вальядолида, Наполеон знал уже все то, что ему только что сказал Камбасерес, да и многое другое тоже.

Накануне своего отъезда он сделал смотр своим гренадерам: ему донесли, что эти преторианцы ворчали, что их оставляют в Испании; ему хотелось взглянуть вблизи на знакомые лица, загорелые под солнцем Италии и Египта, чтобы узнать, хватит ли у них смелости быть недовольными.

Он спешил и пешком прошел перед их рядами.

Мрачные и молчаливые, гренадеры взяли ружья на караул, ни одного крика «Да здравствует император!» Один-единственный человек прошептал: «Сир, во Францию!»

Именно этого и ждал Наполеон.

Резким движением он вырвал у солдата из рук оружие и, вытащив его из рядов, сказал ему:

— Несчастный! Ты заслуживаешь, чтобы я приказал расстрелять тебя, и не знаю уж, что меня удерживает сделать это!

Затем, обращаясь ко всем, добавил:

— Ах! Я отлично знаю, что вы хотите вернуться в Париж к вашей привычной жизни и к вашим любовницам. Так вот, я продержу вас под ружьем до восьмидесяти лет!

И он швырнул оружие в руки гренадера, который выронил его от боли.

В этот момент ожесточения он увидел генерала Лежандра, одного из подписавших капитуляцию.

Он пошел прямо к нему, угрожающе блестя глазами.

Генерал застыл на месте, словно его ноги вросли в землю.

— Вашу руку, генерал,— сказал Наполеон.

Генерал неуверенно протянул руку.

— Как эта рука,— продолжал император, глядя на нее,— не отсохла, подписывая капитуляцию Байлена?

И оттолкнул ее, как он сделал бы, отталкивая руку предателя.

Генерал, подписывая капитуляцию, только подчинялся приказам свыше, теперь он стоял уничтоженный.

Тогда Наполеон с пылающим лицом снова сел на лошадь, возвратился в Вальядолид, откуда, как мы уже сказали, на следующий день отправился во Францию.

Вот в таком расположении духа он находился в тот момент, когда камердинер снова открыл дверь и объявил:

— Его превосходительство министр полиции.

И на пороге появилась всегда бледная физиономия Фуше, побледневшая еще более от страха.

— Да, месье,— сказал Наполеон.— Я понимаю, что вы явились ко мне, полный неуверенности.

Фуше обладал одним из таких характеров, которые отступают перед неизвестной опасностью, но как только эта опасность обрела форму, идут прямо на нее.

— Я, сир? — спросил он, поднимая голову с желтыми волосами, бледно-голубыми глазами, мертвенно-бледным лицом, широким ртом.— Я — бывший лионский палач, почему я должен являться к вашему величеству полный неуверенности?

— Потому что я не Людовик XIV!

— Ваше величество намекает — и не в первый раз — на мое голосование 19 января...

— Ну и что же?

— Могу ответить, что, будучи депутатом Национального Конвента, я принес присягу нации, а не королю: я сдержал свою присягу нации.

— А кому вы присягали 13 термидора VII года? Мне?

— Нет, сир.

— Почему же вы так хорошо служили мне 18 брюмера?

— Ваше величество помнит ли слова Людовика XIV: «Государство — это я»?

— Да, месье.

— Так вот, сир, 18 брюмера нация — это были вы; вот почему я служил вам.

— Что мне ничуть не помешало в 1802 году отобрать у вас портфель министра полиции.

— Ваше величество надеялось найти министра полиции если не более верного, то более ловкого, чем я... Оно вернуло мне мой портфель в 1804 году!

Наполеон несколько раз прошелся взад и вперед перед камином, наклонив голову на грудь и комкая в руке листок бумаги, на котором Жозефина написала несколько слов.

Затем он вдруг остановился и поднял голову:

— Кто разрешил вам,— спросил он, устремив свой ястребиный взгляд на своего министра полиции,— кто позволил вам говорить с императрицей о разводе?

Если бы Фуше не стоял так далеко от света, то можно было бы увидеть, что его лицо стало еще более мертво-бледным.

— Сир,— ответил он.— Я думаю, что знаю, как горячо ваше величество желает развода.

— Я сообщал вам об этом желании?

— Я сказал, «я думаю, что знаю», и думал сделать приятное вашему величеству, подготовив императрицу к этой жертве.

— Да, грубо по своему обычаю.

— Сир, свою натуру не переменишь; я начал, работая префектом у Ораторианцев, и командовал непослушными детьми; у меня кое-что осталось от несдержанности молодого человека. Я — дерево, приносящее плоды; не требуйте от меня цветов.

— Месье Фуше, ваш друг (и Наполеон нарочно подчеркнул эти два слова) месье Талейран обращается к своим слугам с одним лишь советом: «Поменьше усердия!» Я одолжу у него эту аксиому, чтобы порекомендовать ее вам; на этот раз вы переусердствовали: я не хочу, чтобы за меня принимали инициативу ни в государственных, ни в семейных делах.

Фуше стоял молча.

— Да, кстати, о месье Талейране,— сказал император.— Как могло случиться, что, оставив вас смертельными врагами, я по возвращении нахожу вас близкими друзьями? В течение десяти лет ненависти и взаимного шельмования я слышал, как вы его называли фривольным дипломатом, а он считал вас грубым интриганом. Послушайте, неужели ситуация настолько серьезна, что вы, который приносит себя в жертву нации, как сами говорите, вы оба забыли о ваших разногласиях? Вы публично помирились, наносите друг другу визиты; вы нашептали, видимо, друг другу, что я, возможно, наткнулся в Испании на кинжал какого-нибудь фанатика или в Австрии на ядро пушки: не правда ли, вы говорили об этом?

— Сир,— ответил Фуше.— Испанские кинжалы знают толк в великих королях: тому свидетель Генрих IV; а австрийские ядра — в великих капитанах: свидетель тому Тюрэнн и маршал Бервик.

— Вы отвечаете лестью на факт, месье. Я не умер и не хочу, чтобы делили мое наследство при моей жизни.

— Сир, эта идея далека от всех и особенно от нас.

— Так далека от вас, что мой преемник уже был выбран, назначен вами! Что, вы его заранее не короновали? Момент выбран отлично: папа только что отлучил меня от церкви! Так что же, месье, вы полагаете, что корона Франции подходит на любую голову? Из великого герцога Саксонии можно сделать короля Саксонии, но из великого герцога Верри не делают короля Франции или императора французов; чтобы стать одним, надо быть потомком Людовика Святого; чтобы быть вторым, надо быть моим потомком. Правда, у вас есть способ, месье, ускорить момент, когда меня здесь не будет.

— Сир,— сказал Фуше,— я жду, чтобы ваше величество указало мне на него.

— А! Черт возьми! Это означает оставить безнаказанными заговорщиков.

— Люди оставили заговор против вашего величества и остались безнаказанными? Сир, назовите их.

— Это не очень трудно, и я назову вам троих.

— Ваше величество говорит о предполагаемом заговоре, открытом вашим префектом полиции, месье Дюбуа?

— Да, моим префектом полиции, месье Дюбуа, который предан не нации, как вы, месье Фуше, а мне лично!

Фуше слегка пожал плечами, но это движение, хотя и было очень незаметным, не ускользнуло от императора.

— Да, да, пожимайте плечами, не осмеливаясь повысить голос! — продолжал Наполеон, нахмурив брови.— Мне не нравятся сильные головы, занимающиеся подготовкой заговоров.

— Ваше величество знает имена тех людей, о которых идет речь?

— Я знаю двоих из трех, месье: я знаю генерала Мале, неисправимого заговорщика...

— Ваше величество думает, что генерал Мале участвует в заговоре?

— Я уверен в этом.

— И ваше величество опасается заговора, руководимого сумасшедшим?

— Вы ошибаетесь вдвойне: во-первых, я ничего не боюсь; затем генерал Мале не сумасшедший.

— Но можно сказать, что он — мономан¹.

— Да, и вы согласитесь, что его мономания ужасна: она заключается в том, чтобы в один прекрасный день, воспользовавшись моим отсутствием, подождать, пока я буду находиться в трех, четырех, шестистах лье, быть может, распространить слух о моей смерти, а после этого известия поднять восстание.

— Ваше величество полагает, что такое возможно?

— Пока у меня не будет наследника, да.

— Вот поэтому я и взял на себя смелость поговорить о разводе с ее величеством императрицей.

— Не будем возвращаться к этому... Вы презираете Мале; вы выпустили его на свободу. Знаете ли вы одну вещь, месье, которую мой министр полиции должен был бы мне сообщить, но которую я сообщаю своему министру полиции? Мале — это всего лишь одна нить заговора, которая плетется внутри самой армии!

— А! Да... Ваше величество верит в магию полковника Уде.

— Я верю в Арена, месье, верю в Кадудалья, Моро. Генерал Мале — это один из мечтателей, один из этих фанатиков, если хотите, один из этих безумцев, но он один из тех опасных сумасшедших, которые нуждаются в палате для буйных помешанных и смирительной рубашке: вы же отпустили его на свободу! Что касается второго заговорщика, месье Сервана, он тоже безумец, цареубийца!

— Как и я, сир.

— Да, но цареубийца жирондинской школы, бывший любовник мадам Роланд, человек, который, будучи министром Людовика XVI, предал Людовика XVI и, чтобы отомстить за свою опалу, организовал 10 августа.

— Вместе с народом.

— Э, месье! Народ делает только то, что его заставляют делать! Посмотрите на свои два предместья Сен-Марсо и Сент-Антуан, такие бурные при господах Александре и Сантере, разве выступают они теперь, когда я простер над ними свою руку?.. Я не знаком с третьим фанатиком, неким Флореном Гюйо, но я знаю Мале и Сервана; остерегайтесь этих двоих! К тому же один — генерал, второй — полковник. Это дурной пример, когда при военном правительстве два офицера затевают заговор.

¹ М о н о м а н — человек, обуреваемый навязчивой идеей. (Примеч. переводчика.)

— Сир, мы будем приглядывать за ними.

— А теперь, месье, мне остается высказать вам самый серьезный упрек.

Фуше поклонился, как человек в ожидании неприятного.

— Что вы сделали с общественным мнением, месье?

Другой министр попросил бы повторить еще раз; Фуше отлично все понял, но, чтобы дать себе время обдумать ответ, сделал вид, что плохо услышал.

— Общественное мнение? — повторил он. — Я спрашиваю себя, что хочет сказать ваше величество.

— Я хочу сказать, — повторил Наполеон, гнев которого изливался в его словах, — что вы позволили извратить последние события в глазах общественного мнения, позволили представить мою последнюю кампанию, на каждом шагу отмеченную успехами, как кампанию, богатую неудачами. Разговоры из Парижа будоражат за границу! Знаете ли вы, откуда они ко мне доходят? Из Петербурга! Слава Богу, у меня есть враги! Так вот, вы даете им свободно высказываться и не стесняться в выражениях, вы позволяете им говорить, что моя власть ослаблена, нации надоела моя политика, мои действенные средства уменьшились; отсюда следует, что Австрия, которая верит всей этой болтовне, считает момент благоприятным и хочет напасть на меня... Но будь то внутренние и. и внешние враги, я уничтожу всех. Кстати, вы получили мое письмо от 31 декабря?

— Которое, сир?

— Отосланное из Беневента.

— То, в котором идет речь о сыновьях эмигрантов?

— Вы производите такое впечатление, что вы его несколько забыли.

— Желает ли ваше величество, чтобы я повторил его слово в слово?

— Мне доставит удовольствие убедиться в вашей памяти. Посмотрим.

— Прежде всего, — сказал Фуше, вытаскивая бумажник из кармана, — вот это письмо.

И он достал письмо из бумажника.

— А! А! — сказал Наполеон. — Оно у вас с собой?

— С корреспонденцией, написанной собственноручно вашим величеством, я никогда не расстаюсь, сир. Когда в молодости я был префектом, я каждое утро читал свой молитвенник; с тех пор, как — стал министром полиции, я каждое утро читаю письма вашего величест-

ва. Вот,— продолжал Фуше, не раскрывая письма,— что содержится в этой депеше...

— О месье! Я спрашиваю вас не о тексте, а о содержании.

— Так вот, ваше величество говорили мне, что семьи эмигрантов прячут своих детей от воинской повинности и содержат их в преступной праздности; оно добавило, что желает, чтобы я составил список по десять таких семей на департамент и пятьдесят из Парижа, дабы направить в военную школу Сен-Сир всех молодых людей, достигших возраста более восемнадцати лет. Ваше величество добавило также, если будут жаловаться, мне следует просто-напросто ответить, что это его добрая воля...

— Хорошо! Я не желаю, чтобы из-за досадного раскола семей, которые не входят в систему, часть Франции, какой бы незначительной она ни была, могла устраниваться от тех усилий, которые делает нынешнее поколение для славы будущих поколений... А теперь идите. Это все, что я хотел вам сказать.

Фуше поклонился; но так как он не удалился с поспешностью человека, которого выпроваживают, Наполеон его спросил:

— Что еще?

— Сир,— ответил министр,— ваше величество сказало мне многое, чтобы доказать, что моя полиция плохо работает.

— Дальше?

— Я ему скажу лишь одно, чтобы доказать противоположное. В Байонне ваше величество остановилось на два часа.

— Да.

— Ваше величество приказало представить доклад.

— Доклад?

— Да, о тех претензиях, которые оно имело по отношению ко мне; в докладе содержится моя отставка и замена меня на месье Савари.

— И этот доклад подписан?

— Он подписан, сир; и точно так же, как я имею при себе письма вашего величества, ваше величество имеет при себе этот доклад... там, сир, в левом кармане вашего сюртука.

И Фуше пальцем указал на ту часть мундира, где находился карман.

— Видите, сир,— добавил он,— моя полиция достаточно хорошо работает, в некоторых областях по крайней мере не хуже, чем полиция месье Лемуара и месье Сартина.

И, не ожидая ответа императора, Фуше, который был уже около двери, исчез за ней.

Наполеон ничего не ответил; только поднес руку к карману, достал оттуда большой лист бумаги, сложенный вчетверо, развернул его, пробежал глазами, потом перевел взгляд на дверь и сказал с чуть заметной улыбкой:

— А! Ты прав, ты опять самый ловкий!

И добавил потише:

— Почему ты также не самый честный?!

Тогда он порвал бумагу и бросил все клочки ее в огонь.

В этот момент камердинер возвестил:

— Его превосходительство великий камергер.

И за плечом слуги появилось улыбающееся лицо князя Беневена.

Поэты ничего не придумывают. Когда вслед за прусскими войсками, пришедшими сражаться под Вальми, Гете — этот принц сомнения, этот король софизма, — начал писать свою драму о Фаусте, он наверняка не представлял себе, что Бог уже создал его героя в человеческом облике, а также и его дьявольский персонаж, и что оба они непрерывно станут появляться на сцене, один со своим мечтательным челом, другой — со своим раздвоенным копытом.

Только Фауст, созданный Богом, звался Наполеоном, а Мефистофель, созданный Богом, — Талейраном.

Как и Фауст, изучивший все в науке, Наполеон все испробовал в политике; и так же, как Мефистофель погубил Фауста, говоря ему: «Еще! Еще!» — так и Талейран погубил Наполеона, повторяя ему: «Всегда! Всегда!».

Точно так же, как Фауст в моменты отвращения пытается избавиться от Мефистофеля, так и Наполеон в минуты сомнений пытается избавиться от Талейрана. Но они словно были связаны один с другим каким-то адским актом и разделились лишь тогда, когда душа мечтателя, поэта, победителя упала в бездну.

Быть может, из трех человек, вызванных императором, сильнее всего билось сердце у месье де Талейрана;

но наверняка именно он явился с самым улыбающимся видом.

Наполеон посмотрел на него с какой-то нервной дрожью, затем, протянув руку, чтобы тот не входил дальше в его кабинет, сказал ему:

— Князь де Беневен, я хочу сказать вам всего лишь два слова. Кого я ненавижу более всего на свете, так это не тех, кто отрекается от меня, а тех, кто, желая отречься от меня, отрекаются от самих себя. Вы повсюду рассказываете, что не причастны к смерти герцога Ангиена: вы рассказываете повсюду, что не причастны к войне с Испанией. Не причастны к смерти герцога Ангиена? Да вы же мне письменно посоветовали это сделать! Не причастны к войне с Испанией? У меня есть письма, в которых вы заклиняете меня следовать политике Людовика XIV! Месье де Талейран, недостаток памяти в моих глазах — это большой недостаток: завтра вы пришлете мне ваш камергерский ключ, который не только предназначен, но и заранее отдан месье де Монтескье.

Затем, не добавив более ни слова, не попрощавшись с князем, Наполеон вышел в дверь, ведущую в апартаменты Жозефины.

Месье де Талейран покачнулся, как в тот день, когда на ступенях церкви Сен-Дени Мобрей дал ему пощечину; но на этот раз удар пришелся только по его благополучию, а великий камергер рассчитывал, как Мефистофель на Сатану, чтобы вернуть себе больше, чем потерял.

А теперь вспомним, как в ту ночь Наполеон сказал Камбасересу, что до конца апреля он будет на Дунае с четырьмястами тысячами человек; вот поэтому-то 17 апреля утром все население Донауверта заполнило улицы и площади города.

Оно ожидало Наполеона.

III

БЛИЗНЕЦЫ

Около 9 часов утра в толпе возникло большое волнение, и возгласы, распространявшиеся с быстротой молнии от улицы Диллинген к центру города, возвестили о том, что происходит что-то новое.

А произошло вот что: появился вестовой в зеленом мундире с золотыми галунами. Он возвещал о карете императора, которая ехала в пол-лье за ним.

Гонец быстро пересек улицу Диллинген, помахивая хлыстом, чтобы расчистить себе путь; затем углубился в извилистые улицы, поднимающиеся в квартал знати, снова появился на площади перед замком и скрылся за массивной дверью старинного аббатства Сент-Круа, ставшего королевским дворцом.

Именно здесь были приготовлены апартаменты для императора, прибытия которого ждал генерал Бертъе, начальник штаба командующего.

Впрочем, прибытие вестового не было новостью для принца Невшателя: вооруженный великолепным полевым биноклем, он поднялся на крышу аббатства и уже за десять минут до появления вестового узнал императорские экипажи, мчащиеся во весь опор по большой дороге.

9 апреля эрцгерцог Карл отправил в Мюнхен письмо, адресованное главнокомандующему французской армии; на письме не было другого адреса. Значит ли это, что эрцгерцог Карл называет этим титулом императора Наполеона? Следовательно, для него, как и для аббата Лорике, маркиз Бонапарт был еще только главнокомандующим его величества Людовика XVIII? Если это так, то эрцгерцог показал свое упрямство! Неважно, кто это был — главнокомандующий, маршал, принц, король или император, которого он назвал этим титулом, — вот что содержало это письмо:

«Согласно заявлению его величества императора Австрии, я предупреждаю господина главнокомандующего французской армией, что получил приказ выступить с войсками под моим командованием и считать врагами всех тех, кто окажет мне сопротивление».

Это письмо было датировано 9-м числом, а 12-го вечером император Наполеон, находившийся в этот момент в Тюильри, был извещен телеграфной депешей о начале военных действий

Он покинул Тюильри 13-го утром и прибыл в Диллинген 16-го, где встретился с королем Баварии, покинувшим свою столицу и поселившимся в двадцати лье от нее.

Утомленный после семидесяти двух часов похода, Наполеон остановился в Диллингене, чтобы провести там ночь, и пообещал королю-изгнаннику вернуть его через две недели в столицу.

На следующее утро в семь часов он уехал. И желая, по-видимому, наверстать потерянную ночь, он гнал лошадей во весь опор.

Он молнией пронесся по улицам, не замедляя бега своих лошадей, преодолел откос горы и остановился наконец во дворе Замка у крыльца, где его уже ждал начальник штаба.

Приветствия Наполеона были краткими; он поздоровался только с Бертье, что было воспринято принцем Невшателя ворчанием, который продолжал, как всегда, грызть ногти; сделал знак рукой остальным членам штаба, затем в сопровождении десятка слуг, стоящих цепочкой друг за другом, устремился к апартаментам, приготовленным ему.

Огромная карта Баварии, где были обозначены каждое дерево, каждый ручей, каждая лощина и деревня и даже каждый дом, ждала его, полностью развернутая на огромном столе.

Наполеон подбежал к столу, в то время как его адъютант открывал портфель и размещал документы на маленьком круглом столике, а камердинер вытаскивал походную кровать из кожаного чехла и устанавливал ее в углу той же гостиной.

— Ну, что же,— сказал он Бертье, положив палец на Донаверт, то есть на то самое место, где находился,— у вас есть связь с Даву?

— Да, сир,— ответил Бертье.

— С Массена?

— Да, сир.

— С Удино?

— Да, сир.

— Тогда все хорошо. Где они?

— Маршал Даву находится в Ратисбонне, маршал Массена и генерал Удино в Аугсбурге; офицеры, присланные каждым из них, ждут ваше величество, чтобы сообщить вам все новости

— Вы отправили шпионов?

— Двое уже вернулись: я жду третьего, самого ловкого.

— Что вы сделали еще?

— Я, по возможности, действовал в соответствии с планом вашего величества, то есть продвигаться прямо из Ратисбонна на Вену, по большой дороге вдоль Дуная, транспортируя по реке больных, раненых — короче все, что затрудняет продвижение армии.

— Так! Судов нам хватит: я приказал купить все, которые можно было найти на речках и реках Баварии, и они должны быть спущены в Дунай по мере того, как преодолеют притоки; потом я взял тысячу двести моих лучших моряков из Булони на тот случай, если придется вступить в бой на островах. Вы приказали купить лопаты и кирки?

— Пятьдесят тысяч, этого достаточно?

— Не так уж и много.

— Короче, какие распоряжения вы отдали с вечера тринадцатого, с тех пор, как вы здесь?

— Сначала я приказал сконцентрировать все войска на Ратисбонне...

— Разве вы не получили письма, в котором я вам приказывал, наоборот, объединить все силы в Аугсбурге?

— Получил и в соответствии с ним дал контрприказ Удино и его армейскому корпусу, находящемуся уже в пути; но я посчитал своим долгом оставить Даву в Ратисбонне.

— Значит, армия разделена на две части: одна — в Ратисбонне, а другая — в Аугсбурге?

— И с баварцами между ними.

— А было уже где-нибудь столкновение?

— Да, сир, в Ландсхуте.

— Между?..

— Между австрийцами и баварцами.

— Какая дивизия?

— Дивизия Дюрока.

— Баварцы действовали хорошо?

— Великолепно, сир; тем не менее, они были вынуждены отступить перед четырехкратными превосходящими силами.

— Где они в данный момент?

— Здесь, сир, в Дюрнбахском лесу, их прикрывает Абенс.

— Сколько их там?

— Приблизительно двадцать семь тысяч.

— А где эрцгерцог?

— Между Изаром и Ратисбонном, сир, но район так покрыт лесом, что невозможно добыть точные сведения.

— Позовите офицера, прибывшего от маршала Даву. Бертье передал приказ адъютанту, тот открыл дверь

и ввел молодого кавалерийского офицера двадцати пяти-двадцати шести лет.

Император быстро взглянул на вошедшего и удовлетворенно кивнул: невозможно было представить себе более красивого и более эlegantного кавалериста.

— Вы из Ратисбонна, лейтенант? — спросил император.

— Да, сир, — ответил молодой офицер.

— В котором часу вы оттуда выехали?

— Утром, сир.

— Вас прислал Даву?

— Да, сир.

— В каком положении он был в момент вашего отъезда?

— Сир, в его распоряжении было четыре пехотные дивизии, дивизия кирасиров, дивизия легкой кавалерии.

— В целом?

— Приблизительно пятьдесят тысяч человек, сир; только генералы Нансути и Эспань с тяжелой кавалерией и небольшой частью легкой кавалерии, генерал Демон с четырьмя батальонами и артиллерией перешли на левый берег Дуная.

— Сосредоточение войск вокруг Ратисбонна прошло без осложнений?

— Сир, дивизии Гюдэна, Морана и Сент-Илера прибыли без единого выстрела; но дивизия Фриана, прикрывающая их, постоянно сражалась с врагом, и, хотя она разрушила за собой все мосты, вполне возможно, что сегодня маршал Даву подвергается атаке или будет атакован в Ратисбонне.

— Сколько времени, говорите вы, потратили, чтобы добраться сюда из Ратисбонна?

— Семь часов, сир.

— И это составило?..

— Двадцать два лье.

— Вы очень устали, чтобы пуститься в обратный путь через два часа?

— Его величество хорошо знает, что на службе никогда не утомляются. Пусть мне дадут другую лошадь, и я поеду, когда его величеству будет угодно.

— Как вас зовут?

— Лейтенант Ришар.

— Идите отдохните два часа, лейтенант, но через два часа будьте готовы.

Лейтенант Ришар отдал честь и вышел.

В это время адъютант подошел к Бертье и что-то шепотом сказал ему.

— Введите посыльного маршала Массена,— сказал император.

— Сир,— сказал Бертье,— я думаю, что в этом нет необходимости, так как я его допросил и узнал все, что необходимо было знать: Массена в Аугсбурге вместе с Удино, Молитором, баварцами и вюртембержцами, то есть приблизительно с девяносто тысячами человек. Но у меня есть кое-что получше предложить вашему величеству.

— Что?

— Вернулся шпион.

— О!

— Он прошел сквозь австрийский кордон.

— Введите его.

— Ваше величество хорошо знает, что эти люди часто отказываются говорить в присутствии нескольких человек.

— Оставьте меня с ним одного.

— Ваше величество не опасается?..

— Чего я должен опасаться?

— Среди них есть фанатики.

— Сначала введите его, и по глазам я увижу, можете ли вы меня оставить с ним один на один.

Бертье открыл дверь кабинета и ввел человека лет тридцати в костюме дровосека из Шварцвальда.

Человек сделал несколько шагов, затем остановился перед Наполеоном и, сделав военное приветствие, сказал:

— Да хранит Господь ваше величество от всех напастей!

Император внимательно поглядел на него.

— О! О! Старый знакомый!

— Сир, это я накануне сражения под Аустерлицем, на биваке, сообщил вам данные о расположении русской и австрийской армий.

— И довольно точные сведения, господин Шлик.

— Ах! Гром и молния! — воскликнул лжедровосек, употребив самое ходовое ругательство немцев.— Император меня узнал! Тогда все хорошо.

— Да,— сказал император,— все хорошо.— И, сделав знак начальнику штаба, сказал:

— Я полагаю, вы можете спокойно меня оставить одного с этим человеком.

Вероятно, Бертье был того же мнения, так как, ни слова не говоря, удалился со своими адъютантами.

— Прежде всего,— сказал император,— перейдем к самому срочному. Ты можешь мне сообщить что-то новое об эрцгерцоге?

— О нем или о его армии, сир?

— О том и другом, если можно.

— Да, конечно, я могу это сказать: один мой кузен служит в его армии, а один из моих шуринов у него в камердинерах.

— Где он находится и где размещается большая часть его армии?

— Не считая пятидесяти тысяч солдат генерала Велльгарда, которые движутся из Богемии по Дунаю и которые, должно быть, ведут артиллерийскую дуэль с маршалом Даву в Ратисбонне, эрцгерцог имеет что-то около ста пятидесяти тысяч человек; десятого апреля принц с шестьюдесятью тысячами пересек Инн.

— Можешь показать на карте все его передвижения?

— Почему бы нет? Слава Богу, я учился в школе!

Император показал шпиону карту, развернутую на столе.

— Ну, найди Инн на этой карте.

Шпиону достаточно было одного взгляда. Он ткнул пальцем между Пассау и Титтманингом.

— Смотрите, сир,— сказал он,— это здесь, в Браунау эрцгерцог пересек реку, одновременно генерал Гогенцоллерн с тридцатью тысячами человек пересек ее под Мюльхаймом; наконец, еще один корпус около сорока тысяч под командованием... я не могу вам сказать, под чьим командованием,— нельзя быть сразу везде, а я был рядом с эрцгерцогом, которого я не терял из виду,— форсировал реку в Шардинге.

— Следовательно, у Дуная?

— Именно, сир.

— Но как же тогда, переправившись через Инн десятого, австрийцы не продвинулись ни на шаг?

— О! Да потому, что они завязли в болоте на четыре дня между Инном и Изаром и только вчера форсировали Изар под Ландсхутом, вот тогда-то и завязался бой.

— С баварцами?

— С баварцами, да, но поскольку они с двадцатью семью или восемью тысячами не смогли устоять, то отошли в лес Дюрнбах.

— Итак, мы находимся не более чем в десяти милях от врага?

— Даже меньше, так же с сегодняшнего утра он наверняка продвинулся вперед. Правда, не очень-то быстро продвигаешься, если вынужден преодолевать столько таких мелких речушек, как л'Абенс слева, и небольшую, но полноводную Лабер справа, леса, холмы, болота, а есть только две проезжие дороги: одна — из Ландсхута в Нойштадт, другая — из Ландсхута в Кельхайм.

— У него оставалась также дорога из Экмюля прямо в Ратисбонн.

— Сир, я видел австрийские войска, продвигающиеся по двум другим дорогам, и, зная, что ваше величество должно прибыть сегодня в Донауверт и вы пожелаете узнать новости, я отправился в путь и вот я здесь.

— Ну хорошо, ты не сообщил мне ничего стоящего, но в конце концов ты мне сообщил все, что знаешь.

— Пусть ваше величество задаст мне другие вопросы.

— О чем?

— Например, о настроении в стране, о секретных обществах, о Святой-Вехме.

— Как, ты занимаешься также и этими вопросами?

— Я запоминаю все, что касается моего государства, сир.

— Ну что ж, я с удовольствием послушаю, что думает о нас Германия.

— Она просто ожесточена против французов, которые не довольствуются тем, что побеждают ее и унижают, но и оккупируют, пожирают ее.

— Следовательно, твои немцы не знают поговорку маршала де Сакса: «Надо, чтобы война кормила войну!»?

— Да нет, знают, но они предпочли бы быть сытыми сами, чем кормить других. И до такой степени, что поговаривают о том, чтобы избавиться от принцев, которые не могут избавиться от вас.

— О! О! И какими способами?

— Двумя: первый — это всеобщее восстание.

Наполеон презрительно скривил губы:

— Это могло бы произойти, если бы меня разгромил эрцгерцог Карл, но...

— Но...? — повторил шпион.

— Но разобью его я,— сказал Наполеон,— а следовательно, восстания не будет. Перейдем к другому способу.

— Второй способ — это удар ножом, сир.

— Ба! Таких, как я, не убивают!

— Но Цезаря же убили.

— О! Обстоятельства были тогда другие, а потом для Цезаря быть убитым было большое счастье. Ему было что-то около пятидесяти трех лет, то есть возраст, когда гений мужчины начинает слабеть, он всегда был удачливым. «Фортуна любит молодых людей»,— как говорил Людовик XIV господину де Виллеруа,— но она, возможно, уже отворачивалась от него. Одно-два поражения, и Цезарь уже не был бы Александром: это уже был бы Пирр или Ганнибал. Ему повезло, что он нашел десятка два глупцов, которые не поняли, что Цезарь совсем не был римлянином, что это был дух Рима; они убили императора, но из самой крови императора родилась империя! Будь спокоен, я еще не достиг возраста Цезаря, Франция в 1809 году тоже не та, каким был Рим в сорок четвертом году до нашей эры: меня не убьют, господин Шлик.

И Наполеон засмеялся над этой исторической параллелью, которую он привел этому баденскому крестьянину, правда, он отвечал скорее своим мыслям, чем своему собеседнику.

— Все это вполне возможно,— возразил Шлик,— но я призываю ваше величество обращать внимание на руки тех, кто приближается к вам слишком близко и особенно, если эти руки будут принадлежать членам Союза Добродетели.

— Я думал, что все эти ассоциации вымерли.

— Сир, немецкие принцы и королева Луиза в особенности возродили их. Таким образом, в настоящее время в Германии имеется около двух тысяч молодых людей, которые поклялись убить вас.

— И эта секта имеет свои пункты сбора?

— Конечно, не только свои пункты сбора, но еще и свой устав, посвящение, свой девиз, свои опознавательные знаки.

— Откуда ты это знаешь?

— Я ее член.

Наполеон невольно сделал шаг назад.

— О! Не бойтесь ничего, сир! Я вхожу в секту, но в качестве щита к доспехам: чтобы парировать удары!

— И где они собираются?

— Повсюду, где есть подземелье или развалины. Немцы большие любители всего вычурного, как это хорошо известно вашему величеству. Они во все привносят поэзию. Послушайте. Если ваше величество поедет, например, в Абенсберг и посетит старый разрушенный замок, который венчает гору и возвышается над Абенсом. Итак, в одном из его залов я и был принят восемь дней назад.

— Хорошо,— сказал Наполеон, не придавая этому сведению больше внимания, чем оно того заслуживало,— я не буду этим пренебрегать. Ладно, я прослежу, чтобы о тебе позаботились...

Шлик откланялся и вышел в ту же дверь, через которую вошел.

Наполеон, оставшись один, задумался.

«Удар ножом,— пробормотал он.— Он прав, нанести удар — это так же быстро, как и получить его! Генрих Четвертый тоже готовил экспедицию против Австрии и был убит ударом ножа, но Генриху Четвертому было уже пятьдесят семь лет, как и Цезарю, он выполнил задуманное, я же не закончил свое дело, и потом большие неприятности случаются только после пятидесяти лет: Ганнибал, Митридат, Цезарь, Генрих IV... но ведь Александр умер в тридцать три года,— подумал он.— Но умереть, как Александр, это же счастье...»

В этот момент вошел адъютант.

— Что там еще? — спросил Наполеон.

— Сир,— сказал адъютант,— прибыл офицер из итальянской армии, от вице-короля. Ваше величество желает его видеть?

— Да, несомненно и тотчас же,— сказал Наполеон,— Пусть он войдет.

— Входите, господин,— произнес адъютант.

На пороге двери появился офицер, держа в руке треугольную шляпу.

Это был молодой человек двадцати пяти-двадцати шести лет в форме офицера штаба вице-короля, то есть в голубом сюртуке с серебряными аксельбантами и воротом, шитым тоже серебром.

Что же касается его внешнего вида, то, наверное, в нем было что-то особенное, так как Наполеон, при его

появлении уже собравшийся заговорить, вдруг умолк. Оглядев его с ног до головы, Наполеон спросил:

— По какому случаю этот маскарад, месье?

Молодой человек оглянулся, чтобы узнать, к кому относился этот вопрос, но, видя, что он был один на один с императором, спросил:

— Сир, извините меня, но я не понял.

— Почему этот голубой мундир вместо зеленого, который был на вас только что?

— Сир, вот уже два года, как я имею честь служить в штабе его Светлости вице-короля, я никогда не носил другого мундира, чем тот, в котором имею честь предстать перед вами.

— Вы когда прибыли?

— Я только что спешился, сир.

— Откуда вы?

— Из Порденона.

— Как вас зовут?

— Лейтенант Ришар.

Наполеон посмотрел на молодого человека еще более пристально.

— У вас есть письмо от Евгения, адресованное мне?

— Да, сир.

И молодой человек вытащил из кармана письмо с гербом вице-короля Италии.

— А если бы у вас отобрали это письмо? Или если бы вы его потеряли?

— Его Светлость приказали мне выучить его наизусть.

— Ах так! Месье,— спросил Наполеон,— не могли бы вы мне объяснить, почему это час назад вы прибыли из Ратисбонна в мундире гвардейца, а теперь, спустя десять минут, вы, одетый в форму офицера штаба Евгения, явились из Порденона? Вы что, имеете поручение сообщить мне одновременно известия от Даву и вице-короля Италии?

— Извините, сир, вы сказали, что час назад гвардейский офицер прибыл от маршала Даву?

— Да, час назад.

— Двадцати пяти-двадцати шести лет?

— Вашего возраста.

— И похож на меня?

— Удивительно похож!

— И которого зовут?.. Пусть ваше величество меня извинит, что я расспрашиваю, но я так счастлив.

— Его зовут лейтенант Ришар.

— Это мой брат, сир, мой брат близнец! Вот уже пять лет, как мы не виделись.

— А, понимаю... Ну что ж, вы его сейчас увидите.

— О, сир, я только обниму моего дорогого Поля и тотчас же уеду.

— Вы в состоянии снова уехать?

— Сир, я надеюсь, что буду иметь честь получить от вас поручения.

— Ну что же, идите обнимите вашего брата и будьте готовы отправиться в путь.

Молодой человек, вне себя от радости, попрощался и вышел.

Наполеон, оставшись один, распечатал письмо.

С первых же строк лицо его омрачилось.

— О, Евгений! Евгений! — произнес он. — Моя нежность к тебе меня ослепила, хороший полковник, менее хороший генерал, плохой главнокомандующий!..

Итальянская армия отступает к Сицилии, весь аррьергард потерян в результате просчетов генерала Саяка. Еще один, уставший от войны. К счастью, мне не нужна итальянская армия.

— Бертъе! Бертъе!

Появился начальник штаба.

— Я разработал мой план. Пусть будут наготове десять курьеров, чтобы отправиться с моими приказами. Каждый приказ должен быть в трех экземплярах, которые отправятся к месту назначения по трем разным дорогам.

IV

РАЗВАЛИНЫ АБЕНСБЕРГА

Пока Наполеон отдает приказы десяти курьерам, итог которых нам вскоре будет известен, пока оба брата Ришар — Поль и Луи, которые не виделись уже пять лет и удивительное сходство которых вызвало странное недоумение, происшедшее на наших глазах, — обнимают друг друга с нежностью братьев, которых на каждом шагу пуля или пушечное ядро могут разлучить навсегда, расскажем о том, что происходило в городе Абенсберге, расположенном в семи или восьми лье от Ратисбонна.

Четверо молодых людей от шестнадцати до восемнадцати лет — один студент Гейдельбергского университета, другой Тюбингенского, третий из Лейпцигского, а четвертый из Геттингенского университетов — прогуливались, держась под руку и напевая марш майора Шилля, только что поднявшего в Берлине знамя восстания против Наполеона.

При звуках этой песни другой молодой человек лет двадцати, сидевший около шестнадцатилетней девушки, вышивающей на пльцах, тогда как ее девятилетняя сестра играла в куклы в уголке, вздрогнул, поднялся и подошел к окну.

Проходившие мимо четверо певцов заметили его лицо, прильнувшее к оконному стеклу и слегка вдруг побледневшее. Они сделали ему еле заметный знак, на который он так же ответил, почти неуловимо.

Девушка, видя, как он встал, с беспокойством проследила за ним взглядом; и как бы ни был неуловим знак, на который он ответил, она его заметила.

— Что с вами, Фридрих? — спросила она у него.

— Ничего, моя дорогая Маргарита, — ответил молодой человек, снова усаживаясь рядом с ней.

Девушка, которую мы только что назвали Маргаритой, во всех отношениях была достойна носить это имя, если мы его сопоставим с поэтическим творением Гете, которое тогда производило фурор в Германии.

Она была белокурой, как истинная дочь Арминиуса¹, с голубыми глазами цвета неба; ее длинные волосы падали до земли, когда она их распускала, а когда склонялась над водами Абенса, чтобы посмотреть на себя, как русалка в прозрачную воду реки, то река, журча от удивления, несла свои воды в Дунай, думая, что отражает образ какой-то женщины, превратившейся в цветок, или какой-то цветок, превратившийся в женщину.

Ее сестра была еще только одной из тех очаровательных девчушек, хорошеньких и чистых, играющих на золотом песке, который пригоршнями рассыпает перед ними судьба на их дивном пути в жизнь.

Что же касается студента, который, услышав пение марша майора Шилля, подошел к окну, а при обращении Маргариты вернулся и снова сел около нее, то это

¹ Арминиус (Герман) — тевтонский вождь, одержавший победу над римлянами в 9-м году после Рождества Христова. (Примечание переводчика)

был, как мы уже сказали, молодой человек лет двадцати, среднего роста, немного изнуренный либо усталостью, либо бессонными ночами, либо одной из тех ужасных мыслей, которые отражаются на лице Кассиусов и Жаков Клеман; длинные белокурые волосы, выющиеся от природы, падали на плечи; у него был небольшой, но твердо очерченный рот, когда он его открывал, то можно было видеть белые, как жемчуг, зубы; какое-то неопишное выражение меланхолии сквозило в его лице.

— Так, пустяки! — ответил он и сел рядом с Маргаритой; но этот ответ не успокоил девушку; и хотя она ничего не сказала в ответ и снова принялась за работу, казалось бы, с еще большим вниманием, но Фридрих, глядевший на нее с обожанием, мог видеть, как две слезинки, молчаливо застывшие на ее длинных ресницах, задрожали, как две жемчужинки, и упали на ее вышивку.

Девочка, до сих пор игравшая в своем уголке, подошла к Маргарите за советом, как лучше одеть куклу, увидела, как упали эти слезинки, и с детской непосредственностью и наивным любопытством спросила:

— Почему ты плачешь, сестричка Маргарита? Опять Фридрих тебя огорчил?

Эти слова глубоко пронзили сердце студента. Он упал к ногам девушки.

— О Маргарита! Дорогая Маргарита,— сказал он,— прости меня.

— Что такое? — спросила девушка, поднимая на любимого свои прекрасные глаза, еще влажные от той сердечной росы, которая называется слезами.

— Прости мне эту грусть, мое беспокойство, возможно, даже мое безумство!

Девушка покачала головой, но ничего не ответила.

— Послушай,— снова начал Фридрих,— может быть, есть еще возможность нам быть счастливыми.

— О, какая? Скажите! — воскликнула девушка.— И если в моей власти помочь вам в этом богоугодном деле, называемом счастьем, я пожертвую своей жизнью, чтобы вы были счастливы, Штапс!

— Итак, получим от вашего отца немедленное согласие на наш брак и, поженившись, убежим, покинем Германию, скроемся в каком-нибудь уголке света, где имя этого человека еще неизвестно.

— Вы от меня требуете две абсолютно невозможные вещи, мой бедный Фридрих,— возразила девушка.— Покинуть моего отца! Вы прекрасно помните, когда вы мне впервые сказали, что любите меня, и я в сердечной простоте ответила вам тем же, но поставила непереносимое условие нашему союзу.

— Да,— сказал Фридрих, поднимаясь с колен и сжимая голову руками,— да, не покидать отца, это правда.

И, сделав несколько шагов по комнате, он упал в кресло возле окна.

Девушка, в свою очередь, поднялась и встала перед ним на колени.

— Полноте,— сказала она,— будьте разумны, Фридрих! Вы же знаете наше положение, хорошо знаете, как беден мой отец; мама, умирая, оставила его почти с грудным ребенком на руках, и я заменила мать во всех домашних заботах и в заботах о Лизхен.

— Знаю, Маргарита, что вы ангел и что вы ничего не скажете нового, о чем бы я не знал.

— Мне показалось, что вы забыли об этом, Фридрих, предлагая нам пожениться и убежать, бросив моего отца.

— Но если ваш отец согласится?..

— О, эгоистичное сердце! — воскликнула девушка.— Конечно, он согласится, потому что на одну чашу весов он положит мое счастье, а на другую свое одиночество и предпочтет жить один, лишь бы его дочь была счастлива.

— Он будет не один, Маргарита, с ним останется маленькая Лизхен

— А чем сможет помочь ему восьмилетняя девочка, если не усугубит его жизнь еще больше. Церковный приход дает ему четыреста талеров; и благодаря моей экономии этой суммы достаточно, чтобы удовлетворить потребности нас троих, но когда вместо меня сюда придет другая женщина, то хватит ли этой суммы на двоих?

— У моих родителей есть состояние, Маргарита; они пожертвуют некоторую сумму, и ваш отец не будет ни в чем нуждаться.

— Вы предлагаете плату за дочь, которую собираетесь у него увести! О Штапс! Когда однажды весенним вечером вы вошли в этот дом, то приветствовали его обитателей и все, что в нем было — мебель и даже его стены — дружественными словами: «Да хранит Бог эти

чистые сердца и скромный их достаток!» Этим вы хотели сказать: «Господин Штиллер, вы принимаете у себя человека, который заставит вашу дочь Маргариту любить себя и, будучи любим ею, в благодарность за ваш отеческий прием, за ваше сердечное гостеприимство, делает все возможное, чтобы увести вашу дочь под тем предлогом, что он может жить счастливо только в стране, где имя Наполеона неизвестно».

— О Маргарита, Маргарита, я могу быть счастлив только при этом условии, клянусь вам!.. И еще,— прошептал он еле слышно,— могу ли я быть счастлив, нарушив самые священные клятвы!

То ли Маргарита не услышала вторую часть фразы, произнесенную молодым человеком сквозь зубы, то ли, услышав ее, не поняла ее смысла, но она ответила только на первую ее часть.

— Вы можете быть счастливы только в стране, где имя ужасного императора еще неизвестно, говорите вы? Но где эта страна? В какой точке света она расположена? У вас, несомненно, есть способ, мой безрассудный, бедный друг, добраться до одной из звезд, освещающих нас сверху. А потом, кто вам сказал, что жители этой планеты не интересуются тем, что происходит в нашем мире?

— Вы правы,— ответил Фридрих, пытаясь улыбнуться,— я просто сумасшедший!

— Нет, Фридрих,— проговорила Маргарита с глубокой грустью,— нет, вы не сумасшедший. Я скажу вам, кто вы...

— Маргарита...

— Вы заговорщик, Фридрих.

— Нельзя называть заговорщиком того, кто хочет освободить свою страну! — воскликнул молодой человек.

И в его глазах сверкнули молнии.

— Заговорщиком, мой друг, называют любого, кто входит в тайное общество, таинственную организацию. Ну-ка, посмотрите мне в глаза и посмейте сказать, что вы не принадлежите к Буршеншафт! ¹

— Зачем я буду отрицать? Все, что идет от преданных сердец в Германии, не должно ли быть с нами?

— Скажите откровенно, Фридрих, эта песня майора Шилля, которую вы только что слышали и которая за-

¹ Союз всех университетов, входящих во всеобщее братство.

ставила вас вздрогнуть, подняться и подойти к окну, не сигнал ли это?..

— Маргарита,— ответил Фридрих,— вы видите, как я вас люблю и насколько эта любовь к вам может заставить меня совершить постыдные вещи: да, я принадлежу к Союзу Добродетели; да, я один из Wissende¹, да, эта песня сигнал; да, и то, что вы не сказали, Антихрист в восьми лье от нас; и все же если бы вы мне предложили: «Фридрих, уедем и будем счастливы, будем жить друг для друга»,— я забыл бы моих друзей, мои клятвы; забыл бы Германию и уехал с вами, Маргарита, хотя мое имя было бы пригвождено к позорному столбу! Осмелюсь теперь сказать, что я не люблю вас.

— Ну что же, в свою очередь, Фридрих, я вам докажу сейчас, люблю ли я вас. Почему вы не возьмете ружье? Почему вы не встанете в ряды защитников Германии? Почему не сражаетесь во имя вашей страны? Да, конечно, вы будете рисковать вашей жизнью, но любой настоящий немец обязан своей жизнью Германии.

— Я об этом думал, Маргарита, но этот человек заколдован, как старинные рыцари из наших легенд, он проходит сквозь огонь, пули и ядра, и огонь затухает, пули и ядра отклоняются и меняют направление!

— Да, но сталь более надежна, не правда ли?

— Маргарита...

— Фридрих, вот мой отец, прошу тебя, скрой от него, что ты не мог скрыть от меня: иначе он тебя проклянет и выгонит!

— Что, он такой плохой немец или такой хороший француз? — спросил Фридрих с горестной улыбкой.

— Он не немец и не француз, Штапс, он христианин! Он оплакивает все войны, которые верховные вожди называют славными, а он их называет жестокими бойнями. Его доброе сердце мечтает о невозможном: видеть всех людей любящими друг друга, а не полными ненависти друг к другу.

Тем временем маленькая Лизхен, бросив куклы и игрушки, побежала навстречу пастору Штиллеру, а Маргарита снова принялась за свое вышивание, на которое упали еще две слезинки, а она даже не попыталась их скрыть

¹ .. которые знают, которые посвящены в тайну.

Пастор возвращался глубоко опечаленный, почти подавленный. Он поцеловал обеих дочерей и протянул руку Фридриху.

— Ну, что,— спросил Штапс,— какие новости?

— Идите, послушайте,— сказал пастор.

Все прислушались и услышали австрийские трубы, играющие Марш Лютцова.

— Ах!— воскликнул Фридрих.— Вот они, наконец, мстители!

И бросился вон из дома, чтобы одним из первых салютовать солдатам, которых эрцгерцог Карл называл спасителями Германии.

Это был армейский корпус австрийского генерала Тьерри, прибывшего занять позиции в Арнхофене.

Сразу же были отправлены разведчики на дорогу в Ратисбонн. Они вскоре донесли, что Наполеон в то же утро прибыл в Донауверт.

Трудно сказать, какое впечатление произвела на австрийских солдат эта новость, но что она вызвала особую ненависть у студентов различных университетов, это было несомненно. По непонятным причинам, в течение некоторого времени студенты этих университетов назначали свидания в маленьком городке Абенсберге.

Во второй раз, держась под руку, четверо студентов прошли по городу, напевая песню майора Шилля. Они, видимо, не были уверены, что в первый раз их все услышали.

Кроме вести о прибытии Наполеона в Донауверт, все остальные новости были неточными: австрийские офицеры и даже главнокомандующий не имели ясного представления о позициях французской армии; знали только, что большая часть французских войск находилась в Ратисбонне и Аугсбурге.

Австрийский корпус, будучи в нерешительности, остановился на привале в ожидании более обстоятельных донесений в этой покрытой лесами и пересеченной множеством речушек местности.

Наступила ночь; посты были расставлены со всеми предосторожностями на всех направлениях, как это делается при приближении врага. Повсюду стояли часовые, вплоть до подъемного моста старинного замка в развалинах Абенсберга.

Часовые сменялись каждый час. Стоящий на часах от полуночи до часу ночи на посту у старого замка в тот мо-

мент, когда часы били ровно полночь, увидел двух людей, закутанных в плащи и приближавшихся к нему.

Он крикнул:

— Стой, кто идет?

— Друзья! — ответил по-немецки один из двоих.

Затем, подойдя к часовому и распахнув плащ, чтобы доказать, что у него не было никакого оружия, ни оборонительного, ни наступательного, он произнес пароль с такой точностью, что у часового не возникло сомнений, и он пропустил обоих. Они прошли по подъемному мосту и скрылись в развалинах.

Пять минут спустя появился еще один.

Тот же окрик: «Стой, кто идет», те же предосторожности, тот же пароль.

Четырнадцать человек, закутанных в коричневые плащи, прошли таким образом от полуночи до четверти первого, то по одному, то группами в два и даже три человека — но не больше.

Едва пройдя мимо часового, каждый из посвященных вытаскивал из-под плаща черную маску и закрывал ею лицо.

В четверть первого появились двое последних, итого их стало шестнадцать.

Последуем и мы за ними.

Как и другие, они прошли по подъемному мосту; подобно предыдущим скрылись в развалинах, но, подойдя к огромной опоре моста, на которую, казалось, опирается весь свод, один из двоих, тот, который шел впереди, остановился.

— Лейтенант, — сказал он тихо по-французски, — помните, что это не детская шалость: если одного из нас узнают, мы будем мертвы.

— Я это знаю, — сказал второй, — вы полагаете, что меня можно узнать по акценту?

— Да нет же! Вы говорите по-немецки, как немец, и, если вас узнают, то не по выговору.

— Ну, тогда, по-твоему, как можно меня узнать? По лицу? Но мы же в масках

— Наступит момент, когда нужно будет снять маску.

— Я впервые в Абенсберге и только вчера прибыл в Ратисбонн.

— Подумайте хорошенько!

— Я подумал.

— Еще раз, это совсем не детская забава, хотя в нее

и играют дети: речь идет о жизни и смерти, при малейшем подозрении вас продырявят кинжалом.

— Ты говоришь о жизни, как о чем-то очень важном для человека, который каждый день рискует жизнью на поле боя.

— На поле боя, да, это так, при дневном свете, при этом можно получить новый офицерский чин или крест; но здесь, если с вами случится несчастье, и вы будете убиты, то это произойдет безвестно, в темноте, в подземелье. Никто не склонен получить удар в спину или быть задушенным между дверьми как русский царь или оттоманский визирь

— Господин Шлик,—твердым голлсом сказал тот, кому пытались внушить подобный страх,— я получил задание, и я его выполняю

— Пусть будет так,—сказал шпион,— я должен был вас предупредить: вы вольны действовать по своему усмотрению!

— Я принял все к сведению.

— В случае опасности не рассчитывайте на мою помощь ни в чем; я мог бы только погибнуть вместе с вами, но не спасти вас. Конечно, очень дорожу наполеондорами его величества императора французов, но еще больше дорожу своей головой

— Я ничего от тебя не требую, кроме того, что ты обязался сделать: ввести меня в общество братьев Союза Добродетели и представить им меня как их последователя

— Учтите, что при малейшей опасности я от вас откажусь, и скорее трижды, чем единожды, как Святой Петр

— Я это разрешаю.

— Вы настаиваете?

— Настаиваю

— Тогда больше не будем говорить об этом.

При этих словах господин Шлик нажал пружину, спрятанную в скульптурах опоры, она повернулась и открыла узкий, но достаточный проход для одного человека

Лестница, первая ступенька которой была на уровне земли, казалось, вела в подземный зал. Она была освещена лампой, подвешенной внутри самой опоры.

Проводник сквозь свою черную маску бросил последний взгляд на попутчика, как бы говоря ему: «Еще есть время!»

И действительно, они были вне видимости часового; в старых развалинах все молчало, а черное беззвездное и не освещенное луной небо, казалось, нависло над дырами, которые проделала рука времени в гигантских стенах.

— Ну, пошли! — сказал один из двух компаньонов, который нам не был знаком Гид, как будто он только и ждал этого последнего елова, ступил на винтовую лестницу.

Незнакомец последовал за ним.

Дверь захлопнулась за ними.

Спутившись по лестнице, тот, кто служил гидом другому, остановился перед бронзовой дверью и стукнул в нее три раза с равными интервалами, каждый из этих ударов отдавался в двери, как будто били в тамтам.

— Осторожно, — сказал Шлик, — сейчас дверь откроется, и за ней нас ждет дежурный.

Дверь открылась, и действительно в проеме стоял человек в маске, это был дежурный.

— Который час? — спросил он у обоих спутников.

— Час, когда занимается день, — ответил Шлик.

— Что ты делаешь так рано?

— Я встаю на рассвете.

— Для чего?

— Чтобы карать.

— Откуда ты?

— С Запада.

— Кем вы посланы?

— Мстителем.

— Дай доказательство твоей миссии.

— Вот оно

И он предъявил дежурному маленькую деревянную дощечку восьмиугольной формы, похожую на те, на которые вешают ключи в гостиницах Германии.

На этой дощечке было написано слово «Баден»

Дежурный у двери проверил подлинность личности, потом бросил опознавательный знак в урну, где уже лежали дощечки братьев, пришедших раньше Шлика

— А этот человек? — спросил он у Шлика, показывая пальцем на незнакомца — Кто он?

— Слепец, — ответил незнакомец на прекрасном немецком языке.

— Зачем ты пришел сюда? — спросил дежурный.

— За светом.

— У тебя есть поручитель?

- Мой поручитель тот, кто идет впереди меня.
- Отвечает он за тебя?
- Спроси это у него самого.
- Ты отвечаешь за того, кого нам представляешь, брат?
- Я отвечаю за него.
- Хорошо,— сказал дежурный,— пусть он войдет в комнату раздумий. Когда придет время принимать, его позовут.

И, открыв дверь, проделанную в стене, он ввел попутчика господина Шлика в комнату типа карцера, освещенную лампой, единственной мебелью которой были стул и каменный стол, похожие на те, где по рейнской легенде сидит и спит заколдованным сном император Фридрих Барбаросса, пока не проснется Германия, чтобы провозгласить единство во всех своих землях.

Что же касается Шлика, оставившего своего товарища предаваться раздумьям, то он направился к решетке, ведущей в главный зал.

Решетка под нажимом дежурного открылась перед ним.

V

СОЮЗ ДОБРОДЕТЕЛИ

Как мы уже говорили, эта решетка была входом в подземный зал, который назывался залом совета. Он был обтянут черным и освещался единственной лампой, подвешенной к потолку на железной цепи.

Под лампой находилась груда оружия: ружья, шпаги, пистолеты, сложенные, казалось, в полном беспорядке, однако в случае тревоги каждый мог очень быстро выбрать себе то, что нужно. Свет лампы падал на дула ружей и пистолетов, на клинки сабель и шпаг, отбрасывающих угрожающие молнии.

По другую сторону от груды оружия, напротив входной решетки, возвышался черный мраморный стол, предназначенный для председателя тайного мрачного собрания. Стол стоял на эстраде, к которой вели три ступени.

За столом стояло председательское кресло, украшенное бронзовым орлом. Но это не был двуглавый орел старинного дома династии Габсбургов, ни одноглавый

орел новой династии Пруссии, ни византийский орел Карла Великого — это сиденье одновременно служило креслом и троном.

Шестнадцать бочек, наполненных порохом, стояли полукругом вокруг пирамиды с оружием и служили стульями для членов общества. Пороховые бочки напоминали, что в случае внезапного нападения долгом каждого члена ассоциации было скорее подорвать себя и своих товарищей, чем сдаться врагу.

В зале была одна-единственная дверь.

Возможно, под черной обивкой вели из зала и другие двери, но если они и существовали, то были спрятаны от глаз и известны только одним «ясновидящим».

В тот момент, когда решетка закрывалась за Шликом, на невидимых часах пробила половина первого ночи.

Какой-то человек в маске отделился от группы посвященных и поднялся на эстраду:

— Братья, — сказал он, — послушайте меня!

Наступило молчание, и все повернулись к говорившему.

— Братья, — повторил он, — ночь убывает, время летит.

Затем обратился к дежурному:

— Брат, сколько ясновидцев?

— Шестнадцать вместе со мной, — ответил тот.

— Тогда семнадцатый изменник, пленник или мертвец, — сказал задавший вопрос, — так как кто осмелился не прийти на эту встречу, когда речь идет об освобождении Германии?

— Брат, — возразил дежурный, — семнадцатый не изменник, не пленник, не мертвец — он несет охрану у двери в форме австрийского солдата

— В таком случае можно открыть заседание?

Все головы склонились в знак согласия.

— Братья, — продолжал оратор, — не будем забывать, что так же, как и на конгрессе каждый министр представляет короля, то же самое и здесь — каждый из нас представляет одну из земель. Дежурный, назовите имена.

Тот произнес одно за другим следующие названия:

— Баден, Нассау, Гесс, Вюртемберг, Вестфалия, Ав-

стрия, Италия, Венгрия, Богемия, Испания, Тироль, Саксония, Люксембург, Ганновер, Гольштейн, Меклебург, Бавария.

При произнесении каждого из этих названий, кроме Ганновера, ответ был: «Здесь».

Следовательно, представитель Ганновера был часовым у входа.

— Вытяните из урны одно из этих имен,— продолжал говорящий,— и брат, представляющий это название, будет нашим председателем.

Дежурный опустил руку в урну и вытащил маленькую бумажную карточку.

— Гесс,— сказал он.

— Это я,— ответил один из посвященных.

В то время как брат, выступающий до сего времени, спускался с эстрады, только что названный председатель поднимался, чтобы занять место за мраморным столом.

— Братья,— сказал он,— займите места.

Пятнадцать посвященных сели; одно место осталось незанятым: это было место представителя Ганновера.

— Братья,— сказал председатель,— нам предстоит принять нового члена и жребием выбрать того, кто из нас станет мстителем. Начнем с приема, а затем проведем жеребьевку. Кто попечитель нового брата?

— Я,— сказал Шлик, вставая.

— Кто ты?

— Баден.

— Хорошо, пусть двое самых молодых братьев сходят за вновь вступающим в общество.

Каждый из посвященных назвал свой возраст, затем двое самых молодых братьев, представляющих Баварию и Тироль — одному из них было двадцать лет, другому двадцать один,— встали и пошли за неопитом, вскоре появившимся за решеткой, где его уже ждал поручитель.

На глазах у него была повязка.

Приведшие заставили его сделать четыре или пять шагов в зал, потом отодвинулись и сели на свои места.

Около него остался только его поручитель.

Наступило глубокое молчание, глаза всех членов были устремлены на неопита, затем в глубокой тишине раздался голос председателя, спрашивающего повелительным тоном:

- Брат, который час?
- Час, когда господин бодрствует, а раб спит,— ответил вновь вступающий.
- Сосчитайте.
- Я его больше не слышу с тех пор, как он бьет для господина.
- Когда вы его услышите?
- Когда он разбудит раба.
- Где господин?
- За столом.
- Где раб?
- На земле.
- Что пьет господин?
- Кровь.
- Что пьет раб?
- Свои слезы.
- Что вы хотите сделать с ними обоими?
- Я хочу посадить раба за стол, а господина уложить на землю.
- Вы господин или раб?
- Ни то, ни другое.
- Кто же вы?
- Я еще никто, но надеюсь кем-то стать.
- Кем?
- Ясновидящим.
- Вы знаете, чем они занимаются?
- Я узнаю это.
- Кто вас этому научит?
- Бог.
- У вас есть оружие?
- У меня есть вот эта веревка и кинжал.
- Что означает эта веревка?
- Символ нашей силы и нашего союза.
- Кто вы есть по этому символу?
- Я одна из нитей этой веревки, которые союз сблизил, а сила скрутила
- Зачем вы взяли эту веревку?
- Чтобы вязать и сжимать.
- А зачем кинжал?
- Чтобы разрезать и разъединять.
- Вы готовы поклясться, что воспользуетесь этой веревкой и этим кинжалом против любого обвиняемого, имя которого будет вписано в кровавую книгу?
- Да.
- Поклянитесь.

— Клянусь!

— Но вы сами обречены быть повешенным или убитым кинжалом, если преступите клятву, которую принесли на мече и кресте.

— Я обрекаю себя на это¹.

— Ну хорошо, вы приняты в число друзей Союза Добродетели. А теперь ваше право остаться в маске или снять ее.

Молодой человек, не колеблясь, одним движением снял свою повязку и маску, одновременно он сбросил и плащ.

— Кто ничего не боится,— сказал он,— может посмотреть и быть увиденным с открытым лицом.

Перед всеми предстал молодой человек двадцати пяти-двадцати шести лет, с военной выправкой, голубыми глазами, русыми волосами и усами. Он был одет в полный студенческий костюм, хотя, по всей видимости, оставил университетскую скамью уже несколько лет тому назад.

Но в тот момент, когда глаза всех были устремлены на него, бронзовая дверь, закрывающая выход, проделанный в центральной опоре моста, внезапно открылась, и семнадцатый член общества, представляющий Ганновер и стоящий на часах снаружи, перепуганный вошел в зал.

— Братья,— сказал он,— мы пропали!

— Что такое? — спросил председатель.

— Дело в том, что более ста человек проникли в развалины, они сказали мне пароль, и я, следовательно, принял их за братьев. А может быть, это враги, готовые нас окружить?

— Почему вы так думаете?

— Прежде всего потому, что вас здесь только шестнадцать.

— И еще?..

— А еще, когда меня сменили, я, в свою очередь, зашел в развалины, но вместо того, чтобы спуститься вниз, подозревая об измене, я спрятался за каркас стены и следил за тем, кто меня сменил, он не из наших. Через

¹ Мы воспроизводим точную формулу посвящения. Смотрите более подробно драму Лео Бюркарта, которую мы написали вместе около 16-ти лет назад с Жераром де Нервалем, и великолепное предисловие о тайных обществах Германии, которое наш дорогой друг и коллега написал один. (Примеч. автора.)

какое-то время группа примерно из пятидесяти человек, хорошо вооруженная, подошла к нему. По его приказу группа скрылась в развалинах, а часовой свободно пропустил ее вместе с их начальником. Тогда я кинулся предупредить вас и надеюсь, пришел вовремя, если даже не спасти, то по крайней мере чтобы умереть вместе с вами... В ружье, братья! К оружию!

Произошло ужасное смятение, каждый подбегал к небольшому арсеналу и выбирал подходящее оружие. Среди этой суматохи Шлик подошел к вновь вступившему и быстро сказал ему:

— Наденьте маску и попытаемся бежать: в зале есть несколько выходов.

— Я надену маску, но убежать не буду,— ответил молодой человек.

— Тогда вооружитесь и сражайтесь!

Молодой человек бросился к груде оружия, но пока он разговаривал со Шликом, хотя это и было недолго, его компаньоны разобрали ружья и пистолеты, и ему досталась только шпага.

В это время со стороны перегородки послышался лязг оружия, а через бронзовую дверь, которую представитель Ганновера в спешке плохо закрыл, показались острые угрожающие штыки.

— Огонь! — крикнул председатель.

Десять членов повиновались, но послышался только сухой треск стали о кремень и сверкнули искры.

— Нас предали! — закричали студенты.— Ружья разряжены. К тайным дверям, братья! К тайным дверям!

Члены общества были людьми, предвидевшими опасность, они бросились к разным местам обоев, но обои вдруг разорвались в пяти или шести местах, и через каждую дыру сверкнуло оружие.

Студенты остановились, огляделись и увидели, что они окружены кольцом штыков; сто пятьдесят солдат, одетых в баварскую форму, окружили их.

— Братья,— сказал председатель,— нам не остается ничего иного, как умереть.

Потом более тихим голосом:

— К пороховым бочкам! —скомандовал он.

Приказ передали по рядам, и, делая вид, что они отступают перед штыками, заговорщики ловким комбинированным маневром продвинулись к центру, сопровождаемые и теснимые все больше и больше баварскими солдатами.

Дойдя до центра, студенты схватили факелы, приготовленные заранее для этой крайней цели, затем каждый из них зажег свой и бросился к бочке, служившей ему сиденьем.

Раздался крик гнева: вместо пропитанных серой фитилей им подложили обычные фитили, которые не воспламенялись.

— Преданы! Преданы! — закричали со всех сторон студенты, бросая свое оружие.

— Черт возьми! — сказал Шлик на ухо своему попутчику, мне кажется, что все меняется к худшему!.. Правда, — добавил он еще тише, — мы выпутаемся из этой истории, признавшись, кто мы такие, так как баварцы — союзники вашего императора.

Молодой человек окинул группу солдат взглядом, в котором даже через маску можно было увидеть яростный блеск, и сломал шпагу вместо того, чтобы ее бросить.

— Все равно я предпочел бы сразиться даже с союзниками, — сказал он.

И смешался с группой студентов.

В этот момент группа баварских солдат была настолько плотной, что им достаточно было сделать еще пять или шесть шагов, чтобы проткнуть штыками всех восемнадцать заговорщиков.

— Господа, — сказал капитан, командовавший отрядом, — именем короля Максимилиана баварского вы объявляетесь пленниками!

— Возможно, — сказал председатель, — так как мы уступаем силе, да, мы пленники, но не сдавшиеся.

— Какое это имеет значение, — ответил офицер, — я здесь не для того, чтобы придирааться к словам: я пришел выполнить свой долг, выполнить полученный приказ.

— Друзья! — воскликнул председатель. — Пленники короля Баварии, в руках короля Баварии, готовы погибнуть под выстрелами короля Баварии, какое у вас о нем суждение?

— Король Баварии, — услышался голос, — предатель!

— Его надо исключить из великого германского рода, — сказал другой.

— Пусть он прекратит именовать себя немецким принцем и подписывается: союзник французов!

— Чтобы каждый член наших тайных обществ имел право нанести ему удар кинжалом!

— Чтобы каждый член рода человеческого имел право плюнуть ему в лицо!

— Замолчать! — крикнул офицер грозным голосом.

— Да здравствует Германия! — закричали студенты в один голос.

— Замолчать! — повторил офицер. — Построиться в один ряд без сопротивления.

— Пусть будет так! — сказал председатель. — Если это для того, чтобы нас расстрелять. Истинные солдаты Германии, стройтесь!

Каждый встал в строй с поднятой головой и угрожающим взглядом.

Капитан вытащил бумагу из кармана и прочитал:

«Капитан Эрнест де Мюльдорф возьмет сто пятьдесят человек, окружит и обыщет развалины замка Абенсберга, который является местом сборища банды заговорщиков; арестует всех, кто окажется в так называемом зале Совета, являющемся бывшим залом Тайного суда, построит их в ряд: если их будет десять, он расстреляет одного, если их будет двадцать, он расстреляет двоих и так далее. После этой акции остальные будут освобождены.»

Мюнхен, 16 апреля 1809.

Максимильян».

— Да здравствует Германия! — закричали пленники вместо ответа.

— Эй, послушайте, — шепотом сказал Шлик своему попутчику, — постарайтесь сменить место, лейтенант: мне кажется, что вы как раз десятый.

Но тот, к кому он обращался, не ответил и даже не пошевелился.

— Господа, — начал капитан, — я не знаю, кто вы, ну, а я солдат, а у солдата есть приказ. Военная справедливость оперативна, и мне поручено выполнить эту справедливость.

— Выполняйте! — сказал кто-то.

— Выполняйте! — произнесли все хором.

Капитан отсчитал справа налево до десяти.

Как и сказал Шлик, его попутчик, новый посвященный, был десятым.

— Выйдите из строя, — сказал капитан.

Молодой человек подчинился.

- Вам выпала доля заплатить кровью, господин.
- Ничего, господин,— ответил неофит спокойно.
- Вы готовы?
- Готов.
- Вы хотите сделать какие-либо распоряжения?
- Никаких.
- У вас нет родителей... друзей... семьи?
- У меня есть брат. Человек, который был моим почитателем и который, согласно королевскому письму, прочитанному вами, будет на свободе, когда я заплачу за всех: этот человек знает моего брата и расскажет ему, как я умер.
- Вы католик или протестант?
- Католик.
- Возможно, вам нужен священник?
- Я рискую жизнью каждый день, и Бог читает в моем сердце, мне не в чем себя упрекнуть.
- Следовательно, вы не просите ни пощады, ни отсрочки?
- Я взял в руки оружие, вступив в заговор против союзника короля Баварии, а, следовательно, против самого короля Баварии: делайте со мной, что захотите.
- Ну, тогда приготовьтесь умереть.
- Я уже сказал, что готов.
- Вы вольны остаться в маске или снять ее: если вы ее не снимете, то будете в ней похоронены, и никто не будет знать, кто вы.
- Но если я ее не сниму, то подумают, что я хочу скрыть свою бледность; я ее снимаю.
- И молодой человек сорвал маску и показал свое улыбающееся лицо.
- Среди посвященных пронесся шепот восхищения.
- Баварский солдат подошел к пленнику, держа в руке сложенный носовой платок.
- Пленник оттолкнул руку солдата и платок.
- Вы у меня только что спросили, не хочу ли я что-нибудь попросить,— продолжал молодой человек тем же твердым голосом, с тем же достоинством во взгляде,— так вот у меня есть одна просьба.
- Какая? — спросил капитан.
- Я такой же солдат, как и вы, господин офицер, прошу не завязывать мне глаза, и командовать расстрелом буду я сам.
- Согласен!
- Ну что же, жду вас,— сказал молодой человек.

Один из посвященных вышел из строя и протянул ему руку.

— Брат,— сказал он,— от имени Баварии я тебя приветствую, Мученик!

Семнадцать других сделали то же самое, каждый от имени своего народа.

Капитан позволил им это сделать, несомненно побежденный смелостью приговоренного, которая всегда находит путь к сердцу солдата.

Пленник сам подошел к стене.

— Я именно там, где нужно, капитан? — спросил он.

Капитан ответил утвердительно.

— Восемь человек,— приказал капитан.

Вышли восемь солдат.

— Встаньте в десяти шагах от осужденного, в два ряда, и слушайте команду.

Восемь человек заняли место в десяти шагах.

— Ружья заряжены? — спросил обреченный на смерть.

— Да,— ответил капитан.

— Это облегчает мою задачу,— сказал, улыбаясь, молодой офицер.

Потом громким голосом:

— Слушай мою команду!

Десять пар глаз устремились на него.

— Ружья к ноге!

Солдаты выполнили команду.

— На караул!

Все выполнялось с военной точностью.

— Целься!.. — продолжал осужденный.

Восемь стволов опустились на уровень его груди.

— Крестный,— сказал он, прерывая команду с улыбкой,— осветите мое лицо, чтобы вы могли засвидетельствовать, что ваш крестник вас не подвел.

— Нет необходимости, господин,— сказал капитан,— мы признаем, что вы храбрец.

— В таком случае: огонь!

Восемь выстрелов раздались одновременно, но, к своему огромному удивлению, осужденный не только не упал, но даже не почувствовал боли.

— Да здравствует Германия! — закричали одновременно студенты и солдаты.

— Что такое? — спросил осужденный, ощупывая себя и сомневаясь, что он еще жив.

— Дело в том,— сказал Шлик,— что это было испытанием, и вы с честью вышли из него.

— Да здравствует Германия! — снова повторили все голоса.

— А теперь,— сказал крестнику Шлика тот же молодой человек, который первым пожал ему руку, отдавая честь, как мученику,— теперь, брат, тебе можно бледнеть и дрожать.

Молодой человек отошел от стены и подошел к говорившему, взял его руку и вместо ответа прижал ее к груди.

— Я преклоняюсь перед тобой,— сказал молодой человек,— так как мое сердце бьется сильнее, чем твое.

— А теперь, братья,— спросил пленник, ставший свободным, обреченный, которому вернули жизнь,— не следует ли нам вернуться к делу?

— Братья,— сказал председатель капитану и его солдатам,— вы можете удалиться,— оставьте нас одних и позаботьтесь о нашей безопасности.

Капитан и его солдаты выполнили его просьбу.

В это время Шлик подошел к своему крестнику и сказал тихим голосом:

— Гром и молния! Вы храбрец, и мне кажется, что с сегодняшнего дня вы имеете право называться Ричардом Львиное сердце.

Председатель проследил взглядом за братьями, сыгравшими роль офицеров и баварских солдат, пока последний из них не вышел из зала.

— Ну что же,— обращаясь к посвященным сказал председатель: — Братья, займем наши места.

И он пошел к своему креслу, которое покинул перед лицом опасности, в то время как остальные тоже занимали свои места.

— Тихо,— сказал председатель.

Шум стих, и казалось, жизнь угасла вместе с биением их сердец.

— Мстители,— спросил председатель,— который час? Один из присутствующих встал.

— Кто это встал? — спросил Ричард Львиное сердце у своего поручителя.

— Обвинитель,— ответил Шлик.

Обвинитель ответил на вопрос председателя:

— Час принятия решения.

— Мстители, какая сейчас погода?
— Гремит буря.
— Мстители, в чьих руках молния?
— В руках Бога и наших людей.
— Мстители, где Святая Вема?
— Умерла в Вестфалии, воскресла в Баварии.
— Какое у вас есть доказательство?
— Само наше собрание.
— Брат, даю вам слово для обвинения. Обвиняйте, а мы будем судить!

— Я обвиняю императора Наполеона в попытке совершить самое большое преступление, которое существует в глазах немца: разрушить немецкую нацию. Чтобы уничтожить немецкую нацию, он назначил Мюрата, женатого на его сестре, великим герцогом Бергским; чтобы уничтожить немецкую нацию, он назначил своего брата Жермона королем Вестфалии, и с этой же целью он хочет свергнуть императора Франциска II и посадить на его трон своего брата Жозефа, которого не хотят испанцы; наконец, чтобы уничтожить немецкую нацию он заставляет Баварию сражаться против Австрии, Рейнскую конфедерацию против Империи, друзей против друзей, немцев против немцев, братьев против братьев!

— Братья,— сказал президент,— вы согласны с обвинителем или против?

— Мы согласны с ним, мы обвиняем так же, как и он. Да здравствует Германия!

— Следовательно, император Наполеон виновен в ваших глазах?

— Да! — ответили в один голос посвященные.

— И какого наказания он заслуживает?

— Смерти!

— И кто это сделает?

— Мы.

— А кто среди вас?..

— На кого падет жребий.

— Дежурный, принеси урну.

Тот подчинился.

— Братья,— сказал председатель,— мы положим в урну столько белых шариков, сколько есть провинций и их представителей, собравшихся здесь, и один черный сверх того. Если черный шарик останется на дне урны, то это значит, что Бог не одобряет наше намерение и сам

берется отомстить, так как последний шарик — это шарик Бога. Вы согласны с тем, что я предлагаю?

— Да,— ответили все в один голос.

— Тот, кто вытащит черный шар, пожертвует ли он своей жизнью для выполнения святого дела?

— Да,— ответили все голоса.

— Поклянется ли он умереть, не выдав своих братьев, умереть, если потребуется, умереть, как наш новый брат чуть не умер недавно, без вздоха и стенаний?

— Да,— ответили все единогласно.

— Несите белые шары и черный! — потребовал председатель.

Дежурный перевернул урну: семнадцать белых шариков и один черный покатались по столу.

Председатель отсчитал семнадцать шаров и снова положил их в урну, затем он бросил туда черный шар и, не трогая их руками, перемешал все шары, встряхнув урну.

Выполнив эту операцию, он сказал:

— Теперь представители провинций будут тянуть в алфавитном порядке. Какую провинцию представляет наш новый брат?

— Эльзас,— ответил Шлик.

— Эльзас? — воскликнули все посвященные. — Но когда ты француз?

— Француз или немец, как вам больше понравится.

— Ты прав,— произнесли два или три голоса,— эльзасцы являються немцами, эльзасцы принадлежат к великому германскому роду. Да здравствует Германия!

— Братья,— сказал председатель,— что вы решите относительно нашего нового брата?

— Поскольку он был принят и посвящен, поскольку он выдержал испытание, а так как здесь представлены Голландия, Испания и Италия, почему бы не быть Франции?

— Ну хорошо,— сказал председатель,— пусть те, кто согласен с тем, чтобы название Эльзас фигурировало в урне вместе с другими названиями, поднимут руку.

Все подняли руки

— Брат,— произнес председатель,— Эльзас немецкий.

И он бросил в урну восемнадцатый белый шар, поданный ему.

— А теперь,— продолжал он,— начнем в алфавитном порядке.

И назвал, согласно первой букве:

— Эльзас!¹

Молодой человек подошел к урне, и в тот момент, когда он опустил в нее руку, на его лице была нерешительность, ни малейшей тени которой не было заметно, когда он командовал своим расстрелом.

Он вытащил белый шар.

— Белый! — воскликнул он, плохо скрывая свою радость.

— Белый! — повторили все.

— Баден! — вызвал председатель.

Шлик решительно сунул руку в урну и вытянул белый шар.

— Белый! — повторили опять все.

— Бавария, — продолжал председатель.

Представитель Баварии вышел вперед, погрузил руку в урну и вытянул черный шар.

— Черный! — сказал он спокойно и почти радостно

— Черный! — повторили все голоса.

— Ну что же, — сказал баварец, — через три месяца Наполеон будет мертв, или я буду расстрелян.

— Да здравствует Германия! — хором воскликнули все.

А так как цель заседания была достигнута, то друзья Союза Добродетели разошлись.

VI

БУДЬ ВЫСТРЕЛ НА ШЕСТЬ ДЮЙМОВ НИЖЕ, КОРОЛЯ ФРАНЦИИ ЗВАЛИ БЫ ЛЮДОВИКОМ ХVIII

Однажды вечером в углу императорского дворца в Шёнбрюнне юный герцог Рейхштадт болтал с сыновьями принца Карла, при этом дети смеялись так громко, что эрцгерцоги и эрцгерцогини, опасаясь, как бы смех августейших мальчуганов не помешал серьезной беседе принца и императора в другом конце дворца, посчитали своим долгом вмешаться и спросить у детей, что же вызвало у них такую радость и чему они так весело смеялись.

¹ По французски Эльзас звучит «Альзас». (Примеч. переводчика.)

— О, папа,— ответил старший из сыновей эрцгерцога,— не обращайтесь внимания, Рейхштадт рассказывает нам, как его отец в драке вас всегда бил и это нас очень смешит!

Эрцгерцог Карл, будучи милейшим человеком, рассмехался еще громче, чем дети; видя это, император, эрцгерцог и эрцгерцогини рассмелись еще громче, чем сам эрцгерцог Карл.

Правда, времена, когда в Вене так искренне смеялись над поражениями знаменитого эрцгерцога, победителя под Тенгеном, Абенсбергом, Ландсхутом, Экмюлем и Ратисбонном, давно прошли.

Анекдот этот подлинный, его мне рассказала королева Гортензия во время того гостеприимного приема, который она оказала мне в 1832 году в Арененбергском замке, некоторое время спустя после смерти римского короля.

Посвятим одну главу рассказа одной из самых великопленных кампаний Наполеона — походу 1809 года.

17 апреля в полдень мы оставили императора в Донауверте в тот момент, когда он отдавал приказы своим маршалам и ближайшим помощникам. Маршал Даву удерживал Ратисбонн, следовательно, путь до него был дольше всего, и Наполеон спешил отправить ему приказ в первую очередь. Поэтому первым офицером, которого вызвал Наполеон, чтобы вручить ему депеши, только что им продиктованные, был лейтенант Поль Ришар, но Бертъе, как всегда, грызя ногти, сообщил императору со смущенным видом, что он поручил этому офицеру особое задание.

Правда, вместо него он предлагал — если император непременно хотел, чтобы его депеша была доставлена офицером по фамилии Ришар, — лейтенанта Луи Ришара, прибывшего из Италии.

Но император заявил, что если так и он не отправляет к маршалу Даву того же человека, которого ему прислал маршал, то для него не имеет значения фамилия курьера, лишь бы это был боевой, смелый и умный человек.

Явился офицер.

Император вручил ему депешу, адресованную маршалу Даву.

К тому же Бертъе приказал снять две копии с этой депеши и отправил их с двумя другими курьерами, дву-

мя разными путями. Было бы редким совпадением, если бы из трех курьеров хотя бы один не достиг цели.

Вот какие приказы отдал император своему маршалу:

«Немедленно покинуть Ратисбонн, оставив там тем не менее один батальон для охраны города;

Подняться вверх по Дунаю, сделать это осторожно, но решительно, между рекой и основной массой войск австрийцев;

Наконец, соединиться с ним, Наполеоном, через Абах и Обер-Саал в окрестностях Абенсберга, в том месте, где он впадает в Дунай».

Приказы, отправленные Даву, имели целью предупредить также и Массена.

Были найдены еще три новых курьера, с которыми был отправлен в трех экземплярах следующий приказ:

«Император приказывает маршалу Массена покинуть Аугсбург 18-го утром и спуститься по Пфaffenхофенской дороге на Абенс в левый фланг австрийцев. В дальнейшем император не планирует поход маршала на Дунай, на Изар, к Нойштадту или Ландсхуту.

Маршал должен отходить, сея вокруг слухи о походе на Тироль, оставляя в Аугсбурге хорошего командующего, два немецких полка, всех истощенных и усталых людей, продовольствие, боеприпасы, короче все, что необходимо для жизни в течение двух недель.

Император советует маршалу спуститься как можно скорее к Дунаю, так как он, как никогда, нуждается в его преданности».

Депеша заканчивалась следующими тремя словами и собственноручной подписью императора из трех букв:

*«Действия и Быстрота!
Нап»*

Отправив эти две депеши, Наполеон потребовал вызвать Луи Ришара, если только Бертье не отправил его с поручением так же, как и его брата.

Молодой человек явился, довольный встречей со своим братом Полем, посвежевший после двух часов отдыха и готовый вновь отправиться в путь.

Император вручил ему депешу для принца Евгения, которая была составлена в следующих выражениях:

«Мсье, дав себя побить под Порденоном, вы опустили возможность войти вместе с нами в Вену, где мы будем, вероятно, 15-го следующего месяца. Присоединяйтесь к нам тотчас же, как только сможете, и направляйтесь прямо к столице Австрии: первоначальные распоряжения, которые я вам отправил раньше, не изменились.

На этом, господин принц, я заканчиваю письмо, да хранит вас Господь в добром здравии.

Наполеон»

«P. S.— Я отдал приказ генералу Макдональду отправиться в итальянскую армию с особыми поручениями, которые он сообщит лично вам...»

Молодой человек получил письмо из собственных рук императора, поклонился, вышел, вскочил на лошадь и исчез.

Немного спустя император покинул Донауверт и уехал в Ингольштадт. Таким образом, он находился между Ратисбонном и Аугсбургом, то есть в центре событий.

Известно, что Донауверт находится от Ратисбонна и от Аугсбурга на разных расстояниях.

Император был в двадцати двух лье от Ратисбонна и только в восьми или девяти лье от Аугсбурга.

Из этого следовало, что Массена получил его распоряжения около пяти часов и смог сразу же начать подготовку к отъезду на следующий день — 18-го на рассвете; в то время как Даву получили приказ только поздно вечером.

Маршалу понадобился весь день 18-го — сначала, чтобы собрать свои пятьдесят тысяч человек, затем присоединить дивизию Фриана, которой во время перехода из Байрета в Амберг пришлось сразиться с австрийским армейским корпусом генерала Бельгарда¹ и своим самообладанием прикрыл продвижение корпуса, в который она входила, и, наконец, чтобы переправить все свои войска с правого на левый берег Дуная, в то время как дивизия Мюрата продолжала сражаться под стенами Ратисбонна.

Эта армия Бельгарда насчитывала пятьдесят тысяч человек, и необходимо было помешать ей принять уча-

¹ Пусть вас не удивляет постоянно встречающиеся французские фамилии, как, например, Бельгард, Тьерри, Люзиньян, Латур и т. д.; в австрийской армии это существует более трех веков. (Примеч. автора.)

стие в предстоящей битве. Это была армия Богемии, которую эрцгерцог вызвал к себе с целью концентрации всех сил.

Весь день 18-го маршал Даву употребил для перемещения дивизий Сен-Илера и Гюдэна с правого берега на левый, а также тяжелой кавалерии генерала Сең-Сюльписа. А тем временем, легкая кавалерия Монбрена продвигалась вперед, веером развертывая свои позиции на Штраубинг, Экмюль и Абах. Эти действия носили разведывательный характер с целью убедиться в реальной позиции эрцгерцога, так как маршал Даву, как будто ему и его пятидесяти тысячной армии не хватало воздуха, инстинктивно чувствовал себя зажатым между венгерской армией, только что потеснившей дивизию Фриана, и массой австрийской армии, подходившей по Ландсхутской дороге.

Встреча всех войск, как мы это видели, должна была состояться на Абенском плоскогорье в Абенсберге.

19-го утром маршал Даву выступил.

Мы не будем рассказывать историю этой знаменитой кампании, а следовательно, не последуем за маршалом, совершившим великолепный, осторожный и умный переход на правый берег большой реки в окружении грозных врагов. Мы ограничимся только тем, что проследим за мрачной нитью заговора, имеющего целью выполнить с помощью кинжала то, чему фортуна воспрепятствовала свершиться с помощью шпаги, ружья или пушки.

Среди всех этих грандиозных событий мы последуем за Наполеоном, поскольку именно ему грозит наибольшая опасность в связи с теми событиями, о которых мы рассказали в предыдущей главе.

В ночь с 19-го на 20-е он выехал из Ингольштадта в Вобург; там он узнал, что после небольшой схватки австрийцы, продвинувшиеся до Абенсберга — место, которое он назвал пунктом сбора, — были отброшены, и плоскогорье, куда должны были прибыть войска маршала Даву, свободно.

19-го весь день слышалась пушечная канонада.

20-го в девять часов утра кавалькада императора и всего штаба Бертье, предшествуемая проводниками, прибыла на Абенбургское плоскогорье и остановилась в домике, приблизительно в ста шагах от дома пастора Штиллера.

Наполеону предложили зайти в дом, но он предпочел остаться на воздухе, на откосе, откуда он обозревал всю

местность справа от него до самого Бирванга, слева до самого Танна.

Впрочем, в результате разговора со своим осведомителем Бертье принял предосторожности по охране личности императора.

Накануне вечером полк, занимавший Абенсберг, получил приказ разместиться в домах, окружающих плоскогорье, разбить лагерь в промежутках между домами и в развалинах старого замка.

Наполеон не замечал, а его озабоченность и не позволяла ему это заметить, что был окружен группой солдат, следящих за ним.

Впрочем, император никогда не заботился о предосторожностях такого рода: это касалось его окружения. Либо он верил в Провидение, как христианин, в судьбу, как мусульманин, в рок, как римлянин, но он подставлял себя пуле врага, так же, как и кинжалу фанатика; его жизнь принадлежит Богу, у которого на него есть свои права.

Там, по обычаю, ему поставили стол, расстелили карты, сделали донесения.

Вот что произошло накануне.

Маршал Даву вышел из Ратисбонна на рассвете четырьмя колоннами: его авангард продвигался слева по большой дороге из Ратисбонна в Ландсхут через Экмюль; две колонны шли по центру двумя деревенскими дорогами; наконец, крайняя правая с кладями шла по дороге, тянущейся вдоль Дуная от Ратисбонна до Майнбурга.

В тот же день эрцгерцог Карл, бывший в Роре, то есть примерно на таком же плоскогорье, как Абенсбургское, и возвышающемся одновременно над долиной Дуная и долиной широкого Лабера, реки, текущей в противоположном Абенсу направлении и впадающей в Дунай в пятнадцать лье над Ратисбонном, тогда как Абенс впадает в ту же реку в пятнадцать лье ниже. В тот же день, 19 апреля, в то же самое время, когда маршал Даву выполнял полученный приказ двигаться на Абенсберг, принц Карл, надеясь застать маршала в Ратисбонне, принял решение выступить и раздавить его своими восьмьюдесятью тысячами и пятьюдесятью тысячами солдат армии Бельгарда, которые должны были подойти через Богемию и действительно подошли, как мы это видели, после столкновения с дивизией Фриана.

Из этих двух перемещений войск следовало, что Наполеон должен прийти в пустой Абенсберг, а принц Карл в пустом Ратисбонне встретится только с полком, оставленным там маршалом Даву. Но в каком-то пункте оба левых фланга обеих армий должны были неизбежно столкнуться.

Принц Карл следовал по восточному склону холмов, отделяющих долину Дуная от долины Лабера; маршал Даву шел по западному склону.

В девять часов утра головные части нашей колонны преодолели гребень холмов и перешли с западного на восточный склон.

Дивизия Гюдэна, образующая наш крайний левый фланг, выслала далеко вперед стрелков 7-го легкого корпуса; они встретились со стрелками князя Розенберга и обменялись с ними отдельными выстрелами. Маршал Даву посчитал эту стычку несерьезной и, пришпорив своего коня, прибыл лично, чтобы отдать приказ обеим колоннам двигаться дальше, а стрелкам следовать за ними, притворившись, что они отступают.

Австрийские стрелки овладели деревней Шнейдарт, оставленной 7-м стрелковым, корпус генерала Розенберга, к которому они принадлежали, направлялся к Динцлингу, а корпус генерала Гогенцоллерна входил в Хаузен, покидаемый последними ротами 7-го стрелкового корпуса, и занимал лесной массив, образующий напротив селения Тенген огромную подкову.

Именно здесь должны были действительно столкнуться оба левых фланга — французский и австрийский. Так оно и случилось. Известие об этом столкновении было передано Наполеону.

Он был в ярости.

Под Динцлингом сражались воины Монбрена против воинов Розенберга.

В сражении под Тенгеном приняли участие войска Сен-Илера и Фриана против Гогенцоллерна и принцев Людовика и Мориса Лихтенштейнских.

Затем состоялись сражения между промежуточными постами, соединяющими оба левых фланга.

Однако эрцгерцог Карл ошибся: принял наш левый фланг за правый. Он предположил, что находится лицом к лицу с Наполеоном и всей массой французской армии, в то время как французская армия, наоборот, передвигалась между Дунаем и ядром его основных сил.

В результате своей ошибки принц Карл остался на высотах Грюба бездейственным зрителем сражения с двенадцатью батальонами гренадеров, не желая идти на риск окончательного сражения до прихода армейского корпуса эрцгерцога Людовика.

Соответственно он отправил эрцгерцогу Людовику свои распоряжения, сам же остался на месте, готовясь с благоразумной медлительностью австрийских князей атаковать только на следующий день.

А вот подробности сражения, происшедшего накануне, переданные Наполеону: авангард генерала Монбёрна потерял две сотни человек, дивизия Фриана — три сотни, дивизия Сент-Илера — семнадцать сотен, дивизия Морана — двадцать пять, баварцы — сто или сто пятьдесят всадников. Всего около двух с половиной тысяч воинов.

Враг, со своей стороны, потерял: в Данцлинге — пятьсот человек, в Тенгене — четыре с половиной тысячи, в Бухе и в Арнхофене — семьсот или восемьсот. Всего около шести тысяч человек.

Наполеон видел то, что не видел эрцгерцог Карл. Император, как орел, которого он сделал своим гербом, парил над событиями с помощью крыльев своего гения, и это было одним из его преимуществ. Почти одновременно с его прибытием в Абенсберг туда же прибыл маршал Даву через Тенген и Бюркдорф, со стороны Нойштадта подошел маршал Ланн, а дивизия Врэде, растянувшаяся лагерем от Бибурга до Зигенбурга, была готова пересечь Абенс.

Наполеон решил, что армия повернет к Тенгену, чтобы взломать расположения центра австрийской армии, разрезать пополам линию оперативных действий принца Карла, сбросить весь его арьергард в Дунай у Ландсхута. После чего он повернет обратно и, если принца Карла не будет среди разгромленной и рассеянной армии, развернется и все силы бросит на то, чтобы поставить эрцгерцога и его армию между двух огней.

Вот почему он приказал маршалу Даву твердо стоять с его двадцатью четырьмя тысячами человек в Тенгене, а маршалу Ланну двигаться вперед с его двадцатью пятью тысячами и любой ценой овладеть Рором. Он приказал маршалу Лефевру, командовавшему сорока тысячами вюртембергцев и баварцев, взять приступом Арнхофен и Оффенштеттен. И, наконец, предвидя, что на следующий день обращенный в бегство арьергард авст-

рийцев попытается переправиться через Дунай у Ландсхута, он отдал приказ маршалу Массена, который в данный момент был ему не нужен, но имел под своим командованием девяносто тысяч человек, отправиться прямо в Ландсхут через Фрейзинг и Моосбург.

Затем он смотрел, как проходят перед ним строем баварцы с вюртембергцами, враги, ставшие нашими союзниками, и обращался к ним с речью по мере того, как они проходили мимо, замолкал на какое-то время, чтобы переводчики перевели его слова на немецкий.

Он им говорил: «Народы великой германской нации, сегодня вы будете драться не за меня, а за себя самих, я защищаю вашу нацию от амбиций австрийского дома, отчаявшегося в попытках удерживать вас под своим ярмом.

На этот раз я скоро и навсегда возвращу вам мир! И при этом с таким размахом, что в будущем вы сможете сами себя защищать против всяческих притязаний ваших бывших властителей.

К тому же,— добавил он, садясь на коня и занимая место в их строю,— сегодня я хочу сражаться вместе с вами и отдаю судьбу Франции и мою собственную жизнь вашей верности.

Едва он произнес эти слова, как раздался ружейный выстрел, и его шляпа, слетев с головы, упала к ногам лошади.

Мы не совсем правы, говоря, что раздался ружейный выстрел: этот выстрел был едва слышен среди шума, а падение шляпы императора было отнесено к несколько резкому движению, которое сделала его верховая лошадь.

Баварский офицер вышел из строя, подобрал шляпу и подал ее Наполеону.

Наполеон бросил на него беглый взгляд, улыбнулся и надел шляпу на голову.

После чего вся эта масса народа тронулась с места и стала спускаться по плоскогорью в направлении к Арнофену.

Дойдя до края плоскогорья, Бертье подошел к императору за последними распоряжениями, Наполеон ему их отдал, а потом взял свою шляпу и показал ему дырку от пули:

— На шесть дюймов ниже,— сказал он ему спокойно,— и короля Франции звали бы Людовиком XVIII!

Бертье побледнел, увидев, какой опасности только что избежал император, и, наклонившись к адъютанту, сказал:

— Пусть сейчас же позовут ко мне лейтенанта Поля Ришара.

VII

ПЯТЬ ПОБЕД ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ

Все свершилось, как и предвидел Наполеон.

Ланн, обороняя левый фланг с двадцатью тысячами пехотинцев, пятнадцатью сотнями егерей и тремя тысячами кирасиров, двигался к Рору, который, как мы помним, он должен был по приказу императора взять любой ценой, пройдя через Оффенштеттен и Бахель.

Он двигался по лесистой, очень пересеченной местности, и вдруг головная часть колонны на фланге столкнулась с австрийским генералом Тьерри и его пехотой; кавалерия, двигавшаяся по приказу эрцгерцога к Ратисбонну, уже прошла, так как была быстрее пехоты.

Ланн стремительно атаковал пехоту своими пятнадцатью сотнями конных егерей, которые налетели на противника, мчась во весь опор.

Вместо того, чтобы построиться в каре и подождать подмогу, пехота, не подозревающая о малочисленности кавалерии, попыталась скрыться в зарослях, но была порублена.

Генерал Тьерри в беспорядке отступил к Рору, где он встретил генерала Шустека.

Оба генерала объединили свои силы.

Но Ланн помнил о приказе любой ценой овладеть Рором, поэтому его конные егери преследовали беглецов, подгоняя их саблями в спину.

У австрийских генералов было три тысячи гусаров, которых они бросили на егерей. Ланн со своей стороны ввел в бой полк кирасиров, те прошли насквозь дивизию гусаров и вынудили их отойти к селению Рор.

К этому времени подошли наши двадцать тысяч пехотинцев.

30-й полк при поддержке кирасиров пошел фронтом на Рор, а 13-й и 17-й окружили его справа и слева.

Оба австрийских генерала недолго пробыли в се-

лении: через полчаса сражения их колонны отступили к Ротенбургу.

Ланн отправил курьера с донесением императору о том, что Рор взят и его приказ выполнен.

Кроме того, он сообщал, что будет теснить австрийцев, пока не стемнеет и можно будет стрелять.

Новость пришла к Наполеону в тот момент, когда его вюртембержцы и баварцы гнали перед собой эрцгерцога Людовика по дороге из Нойштадта на Ландсхут; преследование длилось весь день, и эрцгерцогу удалось отдохнуть только в Пфаффенхаузене.

Наполеон, узнав о взятии Рора, отправился к Ланну и прибыл вечером в Ротенбург. Именно здесь остановился и Ланн, как он это и обещал, только с наступлением ночи.

День был великолепный.

Ланн потерял едва две сотни человек, а уничтожил или взял в плен четыре тысячи врагов — генерал Тьерри был в числе пленных.

Баварцы и вюртембержцы Лефевра потеряли тысячу человек, уничтожили три тысячи вражеских войск и отбросили их к Изару.

Но значение этого дня было не только в количестве выведенных из строя людей, хотя, конечно, это тоже было важно: важно было то, что эрцгерцог был отрезан от своего левого фланга. Австрийская армия разрезана Наполеоном на две части. Обладая стотысячной армией, он имел возможность разбить их поочередно одну за другой, как два куска разрубленной змеи.

Однако Наполеон не знал истинного местоположения принца Карла. Он полагал, что прижал его к Изару и решил атаковать на следующий день всей своей мощью, чтобы захватить врасплох в Ландсхуте, а именно при форсировании реки, впадающей в Дунай в восьми или десяти лье от Ландсхута.

Если Массена подойдет беспрепятственно и вовремя, то все австрийцы, находящиеся между Наполеоном и Изаром, будут убиты, взяты в плен или утоплены.

Соответственно был отдан приказ Даву, который все еще находился в Тенгене, где он служил стержнем для всей армии, оставить там какое-то количество войск и переместить армию к Изару, чтобы потом повернуть на Ратисбонн и разгромить Бельгарда, когда разделаются с эрцгерцогом Карлом.

Наполеон в конце концов поверил в то, что он преследует самого принца, и не сомневался, что те войсковые части, которые сдерживает Даву, и являются всей австрийской армией. На самом деле, как можно было предположить, что эрцгерцог Карл во главе почти шестидесятитысячной армии не подавал признаков жизни в течение тридцати шести часов?

А получилось так, что весь день 20-го, не зная о проникновении французской армии между ним и Дунаем, принц Карл ожидает, когда Наполеон атакует его в лоб, и не желает нападать, пока не подойдут к нему пятьдесят тысяч человек эрцгерцога Людовика. Само собой разумеется, что ждет он напрасно: как раз эти пятьдесят тысяч Наполеон теснит к Изару и готовится сбросить в реку. И, только услышав канонаду, эрцгерцог Карл понял: в его тылу что-то происходит; он делает резкий разворот, и, опираясь на Ратисбонн, где он должен был встретить армию из Богемии, располагает войска по дороге из Ратисбонна в Ландсхут, имея перед собой Экмюль.

Наполеон даже не раздевался, так он спешил встретиться на следующий день с австрийцами, но австрийцы спешили еще больше. Правда, удрать, а не нападать.

Ночью они прибыли в Ландсхут по двум дорогам из Ротенбурга и Пфаффенхаузена.

Однако, поразмыслив, Наполеон решил, что австрийцы, кажется, очень легко уступили; была ли это вся армия или незначительная часть ее, которую он гнал перед собой, как осенний ветер гонит пожелтевшие листья? А если Даву, которого он оставил в своем тылу, находится в опасности со своими двадцатью четырью тысячами благодаря своему дерзкому налету, секрет которого его враги сумели бы разгадать?

Это была одна из тех частых вспышек гения Наполеона, озарившая его посреди той знаменитой ночи за два дня до победы.

Он направил дивизию генерала Демона, кирасиров генерала Нансути, баварские дивизии генерала Деруа и королевского принца к Даву в то время, как сам с двадцатью пятью тысячами солдат Ланна и баварцами генерала Врэде продолжал теснить австрийцев к Ландсхуту, где, впрочем, он рассчитывал найти Массена с тридцатью тысячами солдат.

К девяти часам утра император был в Альтформе с пехотой генерала Морана, кирасирами и легкой кавале-

рией. Вдоль дороги он подбирал пленных дезертиров, раненых, артиллерию, военное снаряжение: отступление окончательно превратилось в бегство.

Там, где кончались леса, он остановился на плоскогорье и оттуда обозревал плодородную долину Изара и город Ландсхут, видневшиеся вдаль.

Это было прекрасное зрелище для победителя!

Вражеская армия в панике бежала: у мостов толпились кавалерия, пехота, брошенные в беспорядке артиллерия и военное снаряжение; все было в страшном смятении и невероятном замешательстве.

Оставалось только убивать.

Но в своей спешке прибыть скорее на место и все увидеть Наполеон намного опередил основные силы своей армии, он имел на плоскогорье не более восьми или десяти тысяч человек, остальные еще не подошли.

Бессьер во главе кирасиров, Ланн со своими егерями-конниками и 13-й корпус дивизии Морана, оба исполняющие роль простых полковников авангарда, обрушились на эту громаду, в восемь раз превышающую их силы.

Австрийская кавалерия, опомнившись в сумятице, попыталась остановить наши войска, чтобы защитить переправу, но кирасиры, конники и пехота обратили ее в бегство.

Австрийцы предприняли последние усилия и пустили в ход пехоту, но дивизия Морана прибыла уже в полном составе, и австрийская пехота была вынуждена отойти на мосты.

К несчастью, наша артиллерия не могла следовать за ними. Десяток пушек могли бы обрушить град ядер на эту огромную массу людей, которых теперь приходилось рубить саблями и колоть штыками. Холодное оружие убивает, но медленно: пушка работает проворнее.

Тем временем французские солдаты брали в плен разбежавшихся по долине людей, тех, кто совсем уже не надеялся попасть на мосты, и тех, кто сдавался, не осмеливаясь броситься в Изар; подбирали пушки, амуницию, вплоть до великолепной системы понтонов, привезенных на тележках, с помощью которых враги собирались преодолеть не только Дунай, но даже Рейн.

По мере того как вражеская армия переправлялась на другой берег по мостам, какая-то часть ее отступала через Ноймаркет к Мюльдорфу, а те, кто не испытывал особого страха и не очень торопились, занимали позиции в городе Ландсхуте и в предместье Селигенталь, но

кроме дивизии Морана, которая, как мы сказали, прибыла полностью, у Моосбурга появилась головная часть колонны Массена. Она подошла слишком поздно, чтобы отрезать отход австрийцам, но достаточно рано, чтобы этот отход ускорить.

Внезапно в направлении главного моста поднялся столб дыма: австрийцы подожгли мост, чтобы отрезать себя от французов водой и огнем.

Наполеон повернулся к одному из своих адъютантов: — А ну-ка, Мутон! — сказал он.

Генерал понял, взял на себя командование 17-м полком и со словами: «На вас смотрит император, за мной!» — повел солдат прямо к горящему мосту.

Под угрозой трех смертей: воды, огня и пуль — они перешли через мост и устремились к крутым улицам Ландсхута.

С высот города австрийцы могли видеть, как французские войска подступают со всех сторон, Наполеон со своими двадцатью пятью тысячами, де Врэде с двадцатью, а Массена еще с двадцатью тысячами.

Удерживать позиции стало просто невозможно: враг отступил.

Убитых было немного, может быть, две или три тысячи, но было взято в плен семь или восемь тысяч человек, захвачено военное снаряжение, инвентарь, артиллерия. Кроме того, что было важнее всего, это сражение разрушило стратегию боевых действий эрцгерцога таким образом, что она отныне уже не могла вновь сформироваться.

В момент, когда начала затихать ружейная пальба, Наполеон остановился и прислушался.

Позади, между малым и большим Лабером, слышались пушечные выстрелы.

Наполеон опытным ухом артиллериста определил, что в восьми или девяти лье шло сражение.

Наверняка Даву вступил в схватку с врагом.

Но с каким врагом? Не была ли это армия Бельгарда, шедшая из Богемии? То ли австрийская армия под командованием принца Карла, так как император начал опасаться, что оставил позади себя эрцгерцога или обоих вместе, а это означало бы огромную армию — примерно в сто десять тысяч человек.

Только одна из этих армий и то была бы слишком сильной для сорока тысяч Даву.

Тем не менее Наполеон не мог оставить свой плацдарм, а, отступая перед побежденной армией, позволил бы ей собраться с силами и атаковать его с тыла.

Он ждал, надеясь на смелость и осторожность маршала Даву, но это ожидание было полно тревоги.

Пушечная канонада продолжалась с тем же ожесточением и приближалась к Экмюлю.

И только к восьми часам вечера канонада прекратилась.

Предыдущую ночь Наполеон лег в постель не раздеваясь, эту ночь он не ложился совсем.

В одиннадцать часов ему сообщили о прибытии генерала Пире от маршала Даву.

Император закричал от радости и бросился ему навстречу.

— Ну что? — спросил он его, прежде чем тот успел открыть рот.

— Все идет хорошо, сир! — поспешил ответить генерал.

— Хорошо! Это вы, Пире? Тем лучше! Что же произошло? Расскажите мне все!

Тогда Пире рассказал этому железному человеку, сражавшемуся весь день, бодрствовавшему всю ночь, о том, что происходило днем.

Даву, осуществляя свое перемещение войск и отклонившись влево, встретил армейские корпуса Гогенцоллерна и Розенберга и атаковал их, а чтобы очистить дорогу, он принудил их отступить к Экмюлю.

Во время отступления австрийцев были захвачены в штыковом бою две деревни Паринг и Ширлинг. Сражение там шло уже три часа, когда подошло подкрепление, посланное Наполеоном.

Тогда Даву понял, что если император выделил двадцать тысяч человек, то он ему не нужен был там, чтобы держать врага в поле зрения.

Враг укрепился в Экмюле и, казалось, собирался защищаться. Даву ограничился тем, что обстрелял его из пушек. Впрочем, этим он хотел дать знать о себе императору при помощи самого знакомого для его уха звука: голоса пушек.

И этот голос Наполеон услышал, генерал Пире только что ему его перевел.

Даву потерял четырнадцать сотен человек, а убил три тысячи австрийцев. Наполеон со своей стороны потерял в Ландсхуте три сотни, а убил и пленил семь ты-

сяч врагов. Итог дня: десять тысяч австрийцев выведены из строя.

Пока генерал Пире находился у императора, сообщили, что из Ратисбонна прибыл курьер; он проехал через Абенсберг, Пфаффенхаузен и Альтдорф, то есть прошел по тому же пути, что и Наполеон.

Вот какие новости привез курьер.

Император, мы помним это, отдал приказ Даву оставить в Ратисбонне полк. Один полк — это было очень мало, но, нуждаясь во всех своих силах, Наполеон не мог оставить больше.

Даву выбрал 65-й полк под командованием полковника Кутара, он был уверен в надежности полка и полковника.

Полковник должен был забаррикадировать городские ворота, перекрыть улицы и защищаться до последнего.

19-го, в день сражения под Абенсбергом, богемская армия в пятьдесят тысяч человек стояла у ворот Ратисбонна.

Полк вступил в бой с этой армией и оружейными выстрелами убил восемь сотен человек, но на следующий день на правом берегу Дуная появилась армия эрцгерцога Карла, идущая из Ландсхута.

Полк расстрелял в эту новую армию остаток своих патронов, но не имел возможности защитить такой город, как Ратисбонн, двумя тысячами штыков против более ста тысяч солдат. Полковник Кутар попытался по крайней мере протянуть время, ведя целое утро переговоры, и наконец к пяти часам вечера сдался при условии, что ему позволят отправить курьера.

Курьер тотчас же поскакал галопом; за десять часов он покрыл около двадцати лье и в час ночи был уже у императора в Ландсхуте.

Новость, которую он ему привез, была чрезвычайной важности: полковник Кутар и его полк оказались в плену, но Наполеон, таким образом, узнал подробности о дислокации врага.

Богемская и австрийская армии объединились и, следовательно, эрцгерцог занимал весь район от Экмюля до Ратисбонна.

Итак, враг, с которого Даву не спускал глаз, был армейским корпусом принца Карла! Императору оставалось теперь только наброситься на Экмюль и раздавить его силами сорокатысячной армии Даву и своей собст-

венной восьмидесятитысячной армией, а, значит, время терять было нельзя.

Генерал Пире сел на лошадь и отправился в Экмюль. Он должен был сообщить маршалу Даву, что император вместе со своей армией прибудет между полуднем и часом дня, о своем прибытии он сообщит громовыми раскатами пятидесяти орудий одновременно. Это будет сигналом атаки для Даву.

После отъезда курьера император отправил за Изар легкую кавалерию генерала Марюлаза, часть немецкой кавалерии, баварскую дивизию генерала де Врэде и дивизию Молитора в погоню за сорокатысячной армией эрцгерцога Людовика, потерявшего за последние три дня двадцать пять тысяч человек.

Затем он расположил в определенной последовательности остальные двадцать тысяч между Дунаем и Изаром, от Нойштадта до Ландсхута. И, наконец, отправил по дороге из Ландсхута в Ратисбонн, через долину большого Лабера, генерала Сен-Сюльписа с четырьмя полками кирасиров, генерала Вандама с вюртембергцами и маршала Ланна с шестью полками кирасиров генерала Нансути, а также две дивизии Морана и Гюдэна.

Приказано было двигаться всю ночь, прибыть в Экмюль в полдень, отдохнуть один час и атаковать.

Наконец, император выступил сам с тремя дивизиями Массена и дивизией кирасиров генерала Эспаня.

Таким образом, Даву располагал силой примерно в тридцать пять тысяч человек; генералы Вандам и Сен-Сюльпис вели к нему тринадцать или четырнадцать тысяч; Наполеон — пятнадцать или шестнадцать тысяч. Итак, эрцгерцог Карл будет иметь дело с армией приблизительно в девяносто тысяч человек.

В это время эрцгерцог после двух дней колебаний принимает наконец решение попытаться осуществить наступательную операцию на французском плацдарме, маневр, подобный тому, какой только что осуществил Наполеон на его плацдарме.

Он решил атаковать Абах.

Так как кирасиры генерала Монбрёна, как мы это видели, сражавшиеся 10-го числа в Динцлинге, остались в Абахе и продолжали вести перестрелку с небольшими войсковыми австрийскими частями, то эрцгерцог подумал, что имеет дело со значительными силами, тогда как перед ним был только стержень армии, сначала бывший правым флангом, теперь ставший левым, составлявший

наш арьергард, пока Наполеон шел от Абенсберга к Ландсхуту, и стал нашим авангардом, как только император оставил Ратисбонн и двинулся от Ландсхута к Экмюлю.

Чтобы дать время генералу Колловрату, оторванному от богемской армии, переправиться на левый берег Дуная, принц Карл решил начать атаку в промежутке времени от полудня до часу дня. Это был как раз момент, как мы это помним, выбранный Наполеоном для захвата Экмюля.

Перемещение войск должно было осуществляться двумя колоннами: одна в восемьдесят тысяч человек должна была двигаться из Бург-Вейтинга на Абах, другая в двенадцать тысяч из Вейлхое на Пейзинг. В то время как третья, силой в сорок тысяч, состоящая из корпуса Розенберга и находящаяся напротив маршала Даву в деревнях Обер- и Унтер-Лехлинг и корпуса Гоенцоллерна, перекрывшего шоссе к Экмюлю, из гренадеров резерва и кирасиров, должна была охранять долину Ратисбонна и получила приказ не трогаться с места, пока будут действовать первые две колонны.

Ночь прошла в вышеизложенной диспозиции.

Утро было мгlistым — густой туман покрывал всю долину и рассеялся только к девяти часам утра.

Мы уже говорили, что генералу Колловрату требовалось время, чтобы переправиться через Дунай. Переправа закончилась лишь к полудню.

До этого времени не было слышно ни одного выстрела.

Оба армейских корпуса собирались начать передвижение — один на Абах, другой на Пейзинг, когда вдруг послышалась страшная канонада со стороны Буххаузена.

Это была вся французская армия под командованием Наполеона, подошедшая к Экмюлю.

Императору не было нужды подавать условленный сигнал: австрийцы приветствовали его появление градом картечи.

Вюртембергцы, шедшие во главе колонны, сначала дрогнули под этим ужасным огнем, поддержанным атаками легкой кавалерии генерала Вукасовича. Но Вандам повел их вперед при поддержке дивизий Морана и Гюдэна и быстро овладел деревней Линтах, затем соединился своим левым флангом с дивизией Демона и

баварцами, которых Наполеон предусмотрительно, как мы помним, отправил сюда накануне.

При звуках канонады Даву ввел в бой две свои дивизии, с нетерпением в течение часа ожидавшие сигнала

Их артиллерия расчистила путь, осыпая врага градом картечи.

Под страшным огнем австрийцы оставили первую линию и закрепились в деревьях Обер-Лехлинг и Унтер-Лехлинг. Здесь они подвергли жесточайшему обстрелу дивизию Сент-Илэра, которая их преследовала, но они имели дело с закаленными в огне людьми.

Сначала деревня была взята с боя в штыки. Деревня Унтер-Лехлинг, трудно доступная, лучше укрепленная, сражалась более ожесточенно. Под двойным огнем из деревьев и с плоскогорья, возвышающегося над ней, 10-й стрелковый потерял пятьсот человек за пять минут, пока он преодолевал крутой откос. Но деревня была атакована и тут же взята. 10-й стрелковый, овладев деревней, перебил всех, кто сопротивлялся, и захватил три сотни пленных.

Уцелевшие защитники обеих деревень отошли на плоскогорье: 10-й преследовал их ожесточенным ружейным огнем.

Генерал Фриан тотчас же бросил свою дивизию в леса, тянувшиеся между этими двумя деревнями.

Генерал Барбанегр во главе 48-го и 111-го полков, продвигаясь через пролесины, штыковой атакой оттеснил три полка эрцгерцога Людовика, Шастелера и Кобурга, прижав их к Экмюльскому шоссе.

Тогда-то и началась общая схватка.

Корпус генерала Розенберга, оттесненный, как мы только что сказали, к Экмюльскому шоссе, попытался там удержаться, несмотря на атаки 48-го и 111-го полков, баварская кавалерия при поддержке наших кирасиров атаковала на лугу австрийскую кавалерию, вюртембергская пехота пыталась отобрать деревню Экмюль у пехотинцев Вукасовича и, завладев ею со второй атаки, заставила эту пехоту карабкаться на крутые откосы.

Наполеону оставалось только рассеять все эти массы, загромождающие шоссе, и сбросить с высот полки эрцгерцога Людовика, Шастелера и Кобурга, всю пехоту Вукасовича и часть бригады Бибера.

Ланн взял дивизию Гюдэна, форсировал большой Лабер, преодолел вертикальные высоты Рокинга, про-

рвал австрийский правый фланг, гоня их от плоскогорья к плоскогорью.

В это время Наполеон бросил свою кавалерию на круто восходящую дорогу, где скопились отступающие австрийцы.

Видя это перемещение войск, австрийцы остановились и бросили на баварских и вюртембергских кавалеристов свою легкую кавалерию, которая, стремительно атакуя, кубарем скатилась с откоса и опрокинула наших союзников; но, сбив баварцев и вюртембержцев, они оказались лицом к лицу с железной стеной французских кирасиров.

Эта железная стена вдруг понеслась галопом, прошла сквозь корпус австрийской кавалерии, смяла всю эту вражескую массу и достигла верхней части дороги в тот момент, когда с противоположной стороны на высоте появилась пехота генерала Гюдэна.

Пехотинцы наблюдали эту прекрасную атаку, этих великолепных кавалеристов, которые стремительно наступали, стреляя на подъеме так же, как это делали враги на спуске. Вся дивизия целиком хлопала в ладоши и кричала:

— Да здравствуют кирасиры!

В то же самое время генерал Сент-Илэр брал с боя лесистое плоскогорье, возвышающееся над Унтер-Лехлинг, оттесняя врага с откоса на откос, невзирая на сопротивление легкой кавалерии Вэнсана и гусаров Штипсица, сбрасывал их смятые ряды на шоссе, где царила ужасная сумятица.

Препятствие было преодолено, отступавшие австрийцы искали убежище под защитой своих кирасиров, сражающихся в сомкнутом боевом порядке под Эгглофсхаймом, то есть приблизительно в двух лье от Экмюля.

Тогда французские силы, в свою очередь, вышли в долину, в центре кавалерия, по флангам пехота.

Кавалерию составляли баварские и вюртембергские полки и десять полков кирасиров генералов Нансути и Сен-Сюльписа.

Наверное, землетрясение не перепахало бы так глубоко землю, как это сделали пятнадцать тысяч лошадей, промчавшихся там!

Дивизии Фриана и Сент-Илэра, возбужденные победой, неслись по флангам почти так же быстро, как и конники.

Удар этой массы был ужасным.

При виде наступающих австрийская кавалерия тоже всколыхнулась и пошла ей навстречу.

Было семь часов вечера, в апреле это время сумерек.

Схватка была ожесточенной, неслыханной, ежеминутно гибли противники: гусары, легкая кавалерия, кирасиры, баварцы, австрийцы, французы, нанося друг другу удары в темноте, почти наугад; в течение часа темнота все больше сгущалась, ее освещали искры от сабель и кольчуг.

Затем вдруг вся эта волна, похожая на озеро, провавшее плотину, потекла в сторону Ратисбонна.

Последний оплот был разрушен, последнее сопротивление сломлено. Обращенные в бегство австрийские кирасиры были обречены на гибель, так как на них латы закрывали только грудь, словно им никогда не приходилось поворачиваться к врагу спиной. Две тысячи кирасиров усеяли дорогу своими трупами, раненные в спину, как бы пронзенные кинжалом.

Наполеон отдал приказ остановить битву: была опасность встретиться со второй армией эрцгерцога, свежей и организованной.

Если эрцгерцог удержится перед Ратисбонном, то на следующий день будет начато пятое сражение, если он форсирует Дунай, то его будут преследовать.

Настало время расположиться биваком: солдаты умирали от усталости, те, кто прибыли из Ландсхута, шли с рассвета до полудня и сражались с полудня до восьми часов вечера.

Три дивизии Массена подошли в три часа после полудня и тоже нуждались в отдыхе.

День был тяжелым, победа досталась дорогой ценой!

Мы потеряли две тысячи пятьсот человек. Австрийцы потеряли шесть тысяч убитыми или ранеными и три тысячи пленными; они потеряли двадцать пять — тридцать стволов артиллерии.

Даву же заслужил титул принца Экмюльского, а Наполеон — право поспать несколько часов.

Впрочем, по всей вероятности, эрцгерцог Карл не рискнет развязать битву на следующий день: он попытается вновь форсировать Дунай.

Действительно, как и предвидел Наполеон, эрцгерцог ночью принял свои решения.

Захваченный врасплох в своем движении на Пейзинг, он прибыл вовремя, чтобы увидеть, как взяли с боем деревню Экмюль, но недостаточно рано, чтобы остановить

отступление своего войска. Его армия была слишком деморализована, чтобы в этот момент начать сражение, тем более что за спиной у него был Дунай; наконец, у него было очень мало кавалерии, чтобы попытаться защитить долину, простирающуюся от Эгглофсхайма до Ратисбонна.

Итак, эрцгерцог перейдет Дунай наполовину по каменному мосту Ратисбонна, наполовину по понтонному мосту, который привезла богемская армия. Армейский корпус генерала Колловрата, не очень утомленный переходом в Абах и обратно, будет прикрывать отход.

С трех часов утра армия эрцгерцога начала проходить колоннами по двум мостам, оставляя весь армейский корпус Колловрата перед городом, чтобы замаскировать и прикрыть перемещение войск, а впереди армейского корпуса Колловрата он пустил всю свою кавалерию.

Австрийцы были готовы к атаке на рассвете, и они не ошиблись: в четыре часа Наполеон был уже на лошади.

Как только можно было различать предметы, наша легкая кавалерия выступила, ее целью было разведать предстоящую задачу: начинать ли сражение или преследовать отступающего противника?

Австрийская кавалерия не дала ей времени на наблюдения: она набросилась на французскую кавалерию с яростью храбрецов, намеренных отомстить за свое поражение накануне.

И началась схватка, подобная той, которую прервала только ночь. Ведя бой, австрийские кавалеристы уходили к городу, отвлекая внимание французов, чтобы гренадеры и остатки пехоты могли достигнуть другого берега по понтонному мосту.

Наконец несколько гусаров заметили все происходящее и тут же показали Ланну на главные силы армии австрийцев, форсировавшие реку выше Ратисбонна.

Ланн вызвал всю имеющуюся у него артиллерию и обрушил град ядер и гранат на понтонный мост.

Через час мост был разрушен, около тысячи человек убиты или утоплены, а понтоны, разьединенные и охваченные пламенем, плыли по Дунаю и несли в Вену весть о поражении эрцгерцога.

С другой стороны Колловрат, чтобы дать время армич принца Карла уйти, окопался в городе, закрыл ворота перед штыками наших стрелков.

В городе имелась только одна крепостная стена, кос- где с башнями и большим рвом.

Наполеон приказал взять эту стену штурмом: он хот- тел помешать эрцгерцогу взорвать каменный мост, кото- рый был ему нужен для преследования противника.

Сорок артиллерийских орудий были выдвинуты на боевую позицию менее чем за четверть часа и начали бить в стену ядрами и поджигать город снарядами.

Наполеон подошел на половину ружейного выстрела к стене, покрытой австрийскими стрелками.

Напрасно самые преданные люди умоляли его отойти, он отказывался сделать хотя бы один шаг назад.

Вдруг, с таким же хладнокровием, с каким учитель фехтования подтверждает о попадании ударом ралиры при состязании, сказал:

— Ранен!

Бертье, не отходивший от него ни на шаг и пытавший- ся обезопасить, насколько это было возможно, бросился к нему, бледнея.

— Я же вам говорил, сир! — вскричал он. — Еще в Абенсберге.

— Да, — сказал Наполеон, — только в Абенсберге «он» прицелился слишком высоко, а в Ратисбонне — слиш- ком низко!

13 мая Наполеон вступил в Вену, и тамбурмажор 1-го гвардейского полка, крутя ус и глядя на дворец им- ператора Франциска II, сказал: «Так вот какой этот ста- ринный австрийский дом, о котором император нам столько рассказывал».

VIII

СТУДЕНТ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Во вторник, 11 октября 1809 года, то есть пять ме- сяцев спустя, ровно день в день, после второй оккупации Вены французской армией, офицер лет сорока в форме австрийского генерала в сопровождении двух адъютан- тов и слуги с запасной лошадейю следовал по дороге из Альтенбурга в Вену.

Открытость его облика, ясность взгляда свидетель- ствовали согласно френологической теории Галла о том, что среди достоинств или изъянов его характера, кото- рые раскроются в дальнейшем с дипломатической или моральной точек зрения, хитрость занимала лишь незна-

чительное место, но тем не менее лицо его отражало какую-то угрюмость, которая, по-видимому, была зеркалом его мыслей.

Наверное, поэтому оба его адъютанта оставили генерала предаваться мрачным мыслям и, обменявшись взглядами, немного отстали. Теперь вместо того, чтобы сопровождать его слева и справа, они следовали за главным действующим лицом этой маленькой кавалькады, беззаботно болтая. Сзади всех ехал слуга, держа на поводу запасную лошадь.

Было примерно четыре часа вечера, и ночь вот-вот должна была наступить.

Заметив издали приближающихся конников, какой-то молодой человек, вероятно отдохавший на обочине дороги, поднялся, пересек ров и подошел к тому месту, где должен был проехать генерал и его свита.

Это был молодой человек среднего роста, светлые волосы падали ему на плечи, его прекрасные голубые глаза выглядели печально из-за постоянно нахмуренных бровей, а едва пробивающиеся светлые усы были девственно мягкими, как первый пушок.

На нем была фуражка с тремя дубовыми листьями, короткий сюртук, серые, плотно облегающие брюки, мягкие до колен сапоги — все это составляло если не униформу, то по крайней мере обычный костюм немецкого студента.

Движение, которое он только что сделал при виде кавалькады, казалось, говорило о том, что он хотел попросить у того, кто показался ему начальником, о какой-то милости или по крайней мере узнать о чем-то.

И в самом деле, бросив быстрый взгляд на офицера, ехавшего во главе кавалькады, он сказал:

— Господин граф, не будет ли его превосходительство так добры сказать мне, далеко ли еще до Вены?

Офицер был так погружен в свои мысли, что, хотя и услышал звук голоса, не понял смысла слов.

Он доброжелательно поглядел на молодого человека, повторившего свой вопрос.

— Три лье, мой молодой друг, — ответил генерал.

— Господин граф, — продолжал молодой человек твердым голосом, как будто он просил о чем-то незначительном и даже не допускал и мысли об отказе, — я проделал очень длинный путь, очень устал и должен быть в Вене сегодня вечером, не разрешите ли вы мне сесть на лошадь, которую ваш слуга держит на поводу?

Офицер посмотрел на молодого человека более внимательно, чем в первый раз, и, разглядев в нем все признаки изысканного воспитания, сказал:

— Охотно, господин.

Затем, повернувшись к слуге, произнес:

— Жан, дайте лошадь...

— Ваше имя, господин?

— ...усталому путнику, господин граф,— ответил молодой человек.

— Усталому путнику,— повторил генерал с улыбкой, показывающей, что он уважал инкогнито молодого человека, пожелавшего остаться неизвестным.

Жан повиновался, и молодой человек под полунасмешливые взгляды обоих адъютантов сел на лошадь с ловкостью, доказывающей, что он был знаком если не с искусством, то по крайней мере с основными принципами верховой езды.

А потом, как если бы его место было не рядом со слугой, пустил свою лошадь в аллюр и таким образом оказался в одном ряду с адъютантами.

Генерал не упустил из виду ни одной подробности из действий молодого человека.

— Господин студент? — спросил он после некоторого молчания.

— Господин граф? — спросил молодой человек.

— Ваше желание сохранить инкогнито до такой степени сильно, что вы не желаете ехать рядом со мной?

— Совсем не то,— сказал молодой человек,— прежде всего я не имею никакого права на эту вольность, и потом, позволив себе это, я боюсь отвлечь ваше превосходительство от серьезных мыслей, которыми вы поглощены.

Офицер посмотрел на молодого человека с большим любопытством, чем до этого.

— Послушайте-ка, месье,— сказал он.— Вы меня называете господин граф, значит, вы знаете мое имя?

— Я полагаю,— сказал студент,— что имею честь ехать бок о бок с господином генералом графом де Бубна.

Генерал кивнул головой в знак того, что молодой человек не ошибся.

— Вы говорили о тяжких раздумьях, в которые я погружен, значит, вы знаете, с какой целью я еду в Вену?

— Ваше превосходительство едет в Вену, чтобы вести непосредственные переговоры о мире с императором французов, не так ли?

— Простите, уважаемый господин,— произнес граф де Бубна, смеясь,— вы могли оценить мою сдержанность, когда речь шла об инкогнито, которое вы желаете сохранить, но, согласитесь, что мы не в равном положении, учитывая, что я не знаю ни кто вы, ни что будете делать в Вене в то время как вам известно не только, кто я такой, но даже о моей миссии.

— Если уж говорить о том, чтобы быть с вами на равных, господин граф, вашему превосходительству достаточно посмотреть на мой костюм и вспомнить о милости, о которой я вас только что попросил, чтобы убедиться в моем глубоком смирении по отношению к вам.

— Но, тем не менее,— настаивал граф де Бубна,— вы меня знаете? Вы знаете и то, что я буду делать в Вене?

— Я знаю ваше превосходительство потому, что видел вас в самой гуще огня, где я сам был в качестве дилетанта: сначала в Абенсберге, потом в Ратисбонне. Мне известно, что ваше превосходительство будет делать в Вене, потому что я иду из Альтенбурга, где происходят совещания между австрийскими и французскими полпредами, а потом прошел слух, что Франциск Второй, устав от бесплодных переговоров, которые вели господа Меттерних и Нюгент, вызвал вас в замок Дотис, где он живет после битвы под Ваграмом, чтобы передать вам неограниченные полномочия.

— Должен признать, что вы прекрасно осведомлены, господин студент, и о моих качествах, и о моей миссии, но позвольте мне, в свою очередь, прибегнуть к пронительности за неимением доверия. Прежде всего по вашему акценту я догадываюсь, что вы баварец.

— Да, господин граф, я из Экмюля.

— Следовательно, мы враги?

— Враги? — сказал молодой человек, глядя на графа де Бубна.— Как это понимать, ваше превосходительство?

— Враги, черт возьми! Потому что мы только что дрались друг против друга, баварцы и австрийцы.

— Когда я видел вас в Абенсберге и в Ратисбонне, господин граф,— сказал студент,— я не сражался против вас и если мы когда-либо станем врагами, то это случится не тогда, когда вы будете воевать, а скорее тогда, когда заключите мир.

Граф пристально посмотрел на молодого человека.

— Господин студент,— сказал он ему, помолчав немного,— вы знаете, что в этом мире все либо счастье, ли-

бо несчастье, случай помог вам встретить меня, случаю было угодно, чтобы у моего слуги оказалась свободная лошадь; случаю было угодно, чтобы вы, устав, попросили у меня лошадь; наконец, случаю было угодно, чтобы я вам пожаловал, как другу, то, что другой вам отказал бы как незнакомцу.

Студент поклонился.

— Вы выглядите грустным, несчастным, ваша грусть из тех, которые можно утешить? Ваше несчастье из тех, которые можно облегчить?

— Вы хорошо видите,— ответил молодой человек с глубокой меланхолией,— что у меня нет никакого преимущества перед вами и вы меня знаете так же хорошо, как я вас! Не спрашивайте теперь меня больше ни о чем: вам известно, из какой я страны, вы знаете мое мнение, знаете мое сердце.

— Нет, я все-таки спрошу у вас еще кое о чем. Повторяю свой вопрос: могу ли я утешить вашу грусть? Могу ли смягчить ваше несчастье?

Молодой человек покачал головой.

— Мою грусть нельзя утешить, господин граф,— ответил он,— мое горе непоправимо!

— О! Молодой человек, молодой человек,— сказал граф де Бубна,— тут замешана любовь!

— Да, хотя эта любовь не единственная моя забота.

— Возможно, но я утверждаю, что это ваше самое большое несчастье.

— Вы попали в точку, господин граф.

— Женщина, которую вы любите, вам неверна?

— Нет.

— Она умерла?

— Так было бы лучше!

— Как так?

— Она была опозорена французским офицером, господин!

— О! Бедное дитя! — сказал граф де Бубна, протягивая руку своему молодому попутчику в знак двойного сочувствия, которое он выражал ему и девушке, о несчастье которой он только что узнал.

— Таким образом...— начал он снова, продолжая расспрашивать, но явно не из любопытства, а скорее из симпатии.

— Таким образом,— продолжал молодой человек,— я только что отправил отца и обеих сестер,— есть еще вторая сестра, ребенок девяти-десяти лет,— в Баден, где,

скрыв свое имя, бедный отец сможет скрыть свой позор; и, проведив их, я возвратился сюда.

— Пешком?

— Да... Вы больше не удивляетесь тому, что я был так утомлен, не правда ли? И желая во что бы то ни стало прибыть сегодня вечером в Вену, я прибегнул к вашей любезности.

— Понимаю,— сказал граф,— человек, обесчестивший вашу любимую, находится в Вене?

— И тот, кто опозорил мою родину, тоже! — прошептал молодой человек, но довольно тихо, чтобы граф не услышал этого.

— В мое время в Геттингенском университете частенько обнажали шпагу,— сказал граф, намекая на цель, которая, по его мнению, вела молодого человека в Вену.

Но студент не ответил.

— Послушайте,— продолжал граф,— вы разговариваете с солдатом, черт возьми! С мужчиной, который знает, что любое оскорбление требует удовлетворения и что такого мужчину, как вы, нельзя безнаказанно оскорблять!

— Ну и что? — спросил молодой человек.

— А то, что признайтесь, вы едете в Вену, чтобы убить человека, опозорившего вашу любимую.

— Чтобы убить?..

— Законно, конечно,— продолжал граф,— со шпагой или с пистолетом в руке.

— Я не знаю этого человека, я его никогда не видел, не знаю его имени.

— А! — сказал граф.— Тогда вы едете в Вену не из-за него?

— Мне кажется, я вам сказал, господин, что любовь не единственная моя забота.

— Я у вас не спрашиваю о другой.

— И вы правы, так как я вам о ней не скажу.

— Таким образом, вы ничего больше не хотите мне сообщить?

— О чем?

— О вас, о ваших планах, о ваших надеждах.

— Мои надежды! У меня их больше нет! Мои планы совпадают с вашими, только вы хотите мира для Австрии, я же хочу мира для всего мира. Я бедный студент, слабый, неизвестный, имя которого вам ничего не скажет, хотя оно может стать когда-нибудь знаменитым.

— И вы не хотите мне сказать это имя?

— Господин граф, я спешу в Вену: позвольте мне, воспользовавшись лошастью, которую вы мне одолжили, быть там раньше вас? В этом случае скажите мне, в какой гостинице вы предполагаете остановиться; и человеку, который приведет вашу лошадь, будет поручено принести вам мою благодарность и сообщить вам мое имя.

— Лошадь, на которой вы сидите, ваша, господин студент, что же касается меня, то я останавливаюсь в гостинице «Пруссия»; и если вы захотите что-либо мне сообщить, то найдете меня там.

— Ну что ж, да хранит вас Бог, господин граф! — сказал молодой человек.

И, пустив свою лошадь в галоп, он вскоре увидел арсенал, потом проспект Грабена, затем бывшие валы города, разбитые во время сопротивления эрцгерцога Максимилиана, и, наконец, императорский дворец.

Добравшись до места назначения, молодой человек повернул налево, остановился у какой-то двери в предместье Мариахилф, постучал три раза медным молотком через равные интервалы и был впущен вместе с лошадью во двор.

Дверь закрылась за ним.

Но в тот момент, когда граф де Бубна, в свою очередь, добрался до крепостных стен города и направился к гостинице «Пруссия» в сопровождении своих двух адъютантов и слуги, эта маленькая дверь предместья Мариахилф открылась, а молодой человек, которого мы видели на лошади, вышел оттуда пешком и пошел вдоль домов, бросая вокруг себя любопытные взгляды. Вскоре он зашел к торговцу металлическими изделиями.

Там, попросив показать ему ножи различной формы, он остановил свой выбор на ноже с длинным лезвием и черной рукояткой и купил его.

Затем, выйдя из лавки, он возвратился в маленький домик в предместье Мариахилф, и в то время как слуга обтирал соломенным жгутом лошадь графа де Бубна, молодой человек тщательно точил свой нож о брусок, затем, желая убедиться, что острие ножа было достаточно наточено, а лезвие хорошо резало, он поточил карандаш, вырвал из своей записной книжки лист бумаги и написал на нем:

«Его превосходительству генералу графу де Бубна, в гостинице «Пруссия».

Ваш признательный и преданный слуга

Фридрих Штапс».

Десять минут спустя лошадь была в конюшнях отеля «Пруссия», а записка в руках графа де Бубна.

IX

ШЕНБРУННСКИЙ ДВОРЕЦ

В трех километрах от Вены, за предместьем Мариахилф, чуть налево, возвышается императорский Шенбруннский дворец, строительство которого начал Франц I, а закончила Мария-Терезия.

Здесь обычно размещалась штаб-квартира Наполеона после каждого взятия Вены: так было после битвы под Аустерлицем в 1805 году, так было и в 1809 году после битвы под Ваграмом, именно здесь разместит свою штаб-квартиру его сын в 1815 году после битвы под Ватерлоо.

За исключением крепостных кирпичных стен и остроконечных крыш Шенбрунн построен почти по тому же плану, что и Фонтенбло. Это большое главное здание с двумя боковыми крыльями. Двойная лестница образует крыльцо с колоннадой, ведущее на первый этаж. Параллельно главному зданию тянутся низкие строения, предназначенные для конюшен и прочих хозяйственных построек. Они соединяются с каждым из флигелей и, оставая в середине крыльца выход шириной около десяти метров, с каждой стороны которого возвышается обелиск, завершают планировку и ограждают двор.

Достигнуть входа можно через мост, под которым течет один из тысячи ручейков, впадающих в Дунай.

Позади замка тянется сад, разбитый уступами, над ним возвышается бельведер, размещенный на вершине огромного газона, по обе стороны которого посажена великолепная роща, дающая тень и свежесть.

Именно в этом бельведере 12 октября того же 1809 года прогуливался озабоченный и нетерпеливый победитель Ваграма.

Озабоченный, почему?

Дело в том, что и на этот раз его гений взял верх, и на этот раз удача ему не изменила, но тем не менее он почувствовал в своей судьбе начало противодействия. Дело в том, что, ведя борьбу с людьми, он пошел против сил природы и понял, что если осмелится снова искушать Бога, то природа, пославшая ему это грозное предупреж-

дение в виде паводка на Дунае, наконец, помешает ему одерживать победы.

Нетерпелив, почему?

Потому что, несмотря на семь поражений подряд, поверженная Австрия не сдастся!

Какое-то время Наполеон надеялся вычеркнуть Габсбургский дом из числа царствующих династий, как он это сделал с домом Брагансов в Португалии и Бурбонов в Испании, но увидел, что когти двуглавого орла крепче цеплялись за Империю, чем он это предполагал. Конечно, совсем неплохо завладеть тремя коронами: Австрии, Богемии и Венгрии и возложить их на австрийские и немецкие головы! Но следовало признать, что его гордая мечта была невыполнима, и он с большим трудом получит четыре-пять миллионов душ и шесть или семь провинций, которые требует.

Действительно, первые переговоры состоялись в конце августа между господами де Меттернихом, де Нюгентом и де Шампани, но вот уже 12 октября, а от этих двух австрийских дипломатов окончательного ответа до сих пор еще не получено.

И все потому, что условия, предъявляемые французским представителем, были слишком жесткими для Австрии.

Император Наполеон потребовал у своего брата, императора Австрии, отказа в пользу Франции не территории, которую ее войска оккупировали — что было невозможно, так как его войска занимали Цнайм, Вену, Брюнн, Пресбург, Адельсберг, Грац — но равноценную часть этой территории в других местах.

Это составляло девять миллионов жителей и двенадцать или пятнадцать тысяч квадратных лье, то есть немногим больше трети подданных императора Австрии и немногим больше четверти его провинций.

Однако мало-помалу Наполеон согласился на четыре или пять миллионов душ и шесть или семь тысяч квадратных лье территории.

Франциск II находил, что и это было слишком много.

Поэтому, зная, как легко можно добиться уступок от этого ужасного победителя, если прибегнуть непосредственно к некоторым чертам его характера, он решил не оставлять больше это дело в руках дипломатов и отправить к Наполеону генерала де Бубна, своего адъютанта, человека умного, военного и светского одновременно.

В предыдущей главе мы познакомились с представителем его императорского величества Франциска II. Нам нечего добавить к его моральному и физическому портрету.

Именно этого представителя император Наполеон, не менее спешивший возвратиться во Францию, чем император Австрии — увидеть, как он уедет, ожидал с таким нетерпением и каждые пять минут прерывал свою молчаливую и беспокойную прогулку. Он подходил к стеклянной двери, выходящей на замок, и прижимался к ней головой, вылепленной, как античный бюст.

Наконец генерал-дипломат появился у зеленых насаждений, ведущих от замка к бельведеру.

Наполеон настолько не владел собой от нетерпения, что вопреки законам этикета, требовавшим, чтобы господин де Бубна был введен к нему определенным образом и с определенными формальностями, сам открыл ему дверь.

— Входите, входите, господин де Бубна! — сказал он ему, увидев его. — Мой брат, император Австрии, имеет основания быть недовольным нашими посредниками, ведущими переговоры: все эти чертовы дипломаты — настоящие болтуны и состязаются в том, кто нагородит большее количество слов. Да здравствуют военные при заключении мира! Мы проведем это дело, как битву, господин де Бубна.

— В таком случае, сир, я заранее считаю себя побежденным, — ответил граф. — Выдвигайте ваши условия, я складываю оружие.

— Эти условия надо еще обсудить. Смотрите, я буду говорить со всей откровенностью, что могло бы показаться неосторожным, если бы я не знал своей силы и не решил отбросить бесплодные дипломатические ухищрения. Ну так вот, вы знаете, что я требую, в чем же вам поручено со мной согласиться?

— Ваше величество хочет расширить Саксонию, укрепить Баварию, получить наши порты на Адриатике. Не лучше ли усилить новую Польшу?

Наполеон остановил господина де Бубна жестом и улыбкой.

— То есть поссорить меня с Россией? — сказал он. — Да, несомненно, это было бы лучше для Австрии, хотя Россия только что мне доказала, что она мне не очень-то верный союзник, оставив меня сражаться один на один с Австрией, ее настоящим врагом.

— Сир, ваше величество мастер переводить дискуссию в то русло, которое ему подходит, но позвольте мне сказать...

— Что мы отклоняемся от действительной темы дискуссии? — прервал император. — Это возможно. Послушайте, господин де Бубна, мы можем закончить все за один день, за один час, если вы будете со мной разговаривать так же откровенно от имени вашего государя, как я буду разговаривать от моего собственного. Вы правы, мне совершенно неинтересно добавить несколько миллионов жителей Саксонии и Баварии, мой интерес, истинный интерес — это продолжение политики моих предшественников: завершить дело, начатое Генрихом IV, Ришелье и Людовиком XIV; и, наконец, разрушить австрийскую монархию, разделив три короны Австрии, Богемии и Венгрии. Чтобы разделить эти три короны, нам придется снова сражаться и, хотя вполне вероятно, что этим все и закончится, я даю вам честное слово, что не имею ни малейшего желания делать это.

— Ну что ж, сир, а почему бы вам не соединиться с Австрией более тесным союзом?

— Но каким способом этого можно достичь?

— Сир, есть два способа прийти к миру.

— Скажите их, месье.

— Один из них — щедрый, великодушный, достойный вашего величества: вернуть Австрии все провинции, отнятые у нее, сделать ее могущественной, какой она была до войны, и положиться на ее верность и признательность. Другой способ — позвольте мне это сказать, — мелочный, опасный, унижающий, жестокий, мало выгодный разоренной державе и, возможно, еще менее выгодный для державы, которая ее разорила.

— Извините, господин де Бубна, — сказал Наполеон, — я вас прерву. Первая мирная система, после Аустерлица, когда его величество мой брат пришел ко мне в мой бивуак, я ее уже испробовал. В ответ на его честное слово больше не воевать со мной, я ему возвратил все его провинции, кроме незначительных территорий, которые хотел сохранить как воспоминание об этой кампании. Сделав это, я мог, по крайней мере так мне казалось, рассчитывать на длительный мир. Но едва я был втянут в войну с Испанией и Англией, как увидел, что все обещания забыты, все клятвы преданы! Я не могу больше полагаться на честное слово вашего императора, месье. Смотрите, — добавил Наполеон, — хотите доказательство

того, что я веду войну не с Австрией, а остерегаюсь только вашего императора? Император Франциск постоянно говорит о своем отвращении к трону, о своем желании отречься, ну что же, пусть он отречется в пользу своего брата великого герцога Вюрцбурга, которого я люблю и который меня любит, у которого есть сила воли, он не позволит англичанам провести себя: пусть он отречется, а я уйду из Вены и возвращу его преемнику все провинции, занятые мной, и не буду требовать сто пятьдесят миллионов, не выплаченных мне в счет контрибуции в двести миллионов, которой я обложил Австрию. Я верну ему уже выплаченные пятьдесят миллионов и одолжу еще сто под честное слово, если он в них нуждается, и, может быть, ...да, и вот еще что: я ему возвращу Тироль!

— Сир,— ответил господин де Бубна, довольно смущенный,— я не сомневаюсь, что император, мой господин, узнав о чрезвычайных условиях, которые ставит ваше величество для заключения мира, решит отречься от престола, предпочтя сохранить неделимую империю в руках своего преемника, чем расчлененную таким образом корону на своей голове.

— Поймите меня правильно,— продолжал Наполеон,— это вовсе не мои крайние или — чрезвычайные условия, как вы говорите: это предположение; то уважение, с которым следует государям относиться друг к другу, мешает мне настаивать на чем-либо подобном; я только говорю, что если вашему императору захочется уйти в отставку, ну что ж, это было бы, как вы видите, большим счастьем для Австрии. Но, наконец, так как я совсем не верю в этот положительный результат и не хочу больше полагаться на великодушие Австрии, я вынужден вернуться к моим первым предложениям.

— Смягчив их, надеюсь, сир!

— Смягчив их, пусть будет так: я отказываюсь от предыдущих требований. Я требовал три округа в Богемии: об этом уже больше не будет речи¹. Я требовал Верхнюю Австрию до Энса: оставляю Энс, отказываюсь от части Каринтии и оставляю себе только Виллах; я вам возвращаю Клагенфурт, но сохраняю Карниол и правую часть Саксонии до Боснии; я требовал у вас два миллиона шестьсот подданных в Германии, теперь я согла-

¹ См Историю Консульства и Империи г. Тьера, особенно рассказ Наполеона и самого г-на Бубна в архивах иностранных дел.

сен на сто шестьдесят тысяч. Остается Галиция; подумайте об этом, я должен кое-что сделать для своего союзника, который мне если и не очень помог, то по крайней мере не предал: я должен округлить ему великое герцогство; нам это будет легко сделать, так как мы не претендуем на эти территории. Что же касается итальянской стороны, это не одно и то же, я вас предупреждаю, мне нужна широкая дорога к Турции, дорога, по которой смогли бы пройти триста тысяч человек и три сотни орудий! Мое влияние на Средиземном море зависит от моего влияния на Порту. Это влияние я могу осуществлять, только имея соседом турецкую империю. Мне очень нужна эта земля, поскольку я собираюсь выйти к Океану или Средиземному морю, ваш государь вырывает Англию у меня из рук!.. Оставим в стороне моих союзников, вы правы, и возвратимся ко мне и моей империи. Отдайте мне то, что я потребую на Адриатике и в Иллирии, а в остальном я буду уступчив. Но поймите меня, господин де Бубна, это мой ультиматум; после вашего отъезда я отправляю приказ о возобновлении военных действий. Со времени битвы под Ваграмом моя армия выросла еще больше, моя пехота пополнилась, отдохнула, она превосходит как никогда, в Германии восстановлена вся моя кавалерия; пять сотен орудий прицеплены к лошадям, а другие три сотни готовы вести огонь под стенами занятых мною городов. Жюно, Массена и Лефевр имеют в своем распоряжении восемьдесят тысяч человек в Саксонии и в Богемии; Даву, Удино и моя собственная гвардия составляют войско в сто пятьдесят тысяч человек, с ним я пойду на Пресбург, дойду за две недели до центра Венгрии и нанесу последние удары по австрийской монархии.

— Сир,— прервал его господин де Бубна,— ваше величество подал пример откровенности. Мы тоже не хотим войны, которая может все у нас отнять: тем не менее мы предпочитаем ее миру, почти такому же грабительскому, как и война. Ваше величество говорит о двухстах тридцати тысячах солдат — у нас их триста тысяч, но у тех трехсот тысяч нет генерала, который мог бы противостоять вашему величеству. Пусть ваше величество услышит наше обращение к его великодушию и скажет нам свое последнее слово.

— Возьмите перо, мсье, и пишите,—сказал Наполеон.

Граф де Бубна сел, взял перо и под диктовку императора написал следующий ультиматум:

«С итальянской стороны:

Округ Виллах без округа Клагенфурта, то есть доступ к Северным Альпам, сверх того Лейбах и правый берег Савы до Боснии.

Со стороны Баварии:

Территория между Пассау и Линцем, проходящая от Дуная до окрестностей Эффердинга и заканчивающаяся в Шванштадте, не претендую здесь на территорию Гмюнда, а через озеро Каммер — Зее до Зальцбурга.

Со стороны Богемии:

Незначительное число рабов, которое я назначу, но не превышающее пятьдесят тысяч душ.

Со стороны Галиции:

Новая Галиция от Вислы до Силицы слева, от Вислы до Буга справа; округ Замосц и с незначительной территорией со стороны Кракова, но присоединив к ней соляные копи Велищ».

Таким образом, вы видите,— продолжал Наполеон,— вместо шестнадцати сотен тысяч подданных в Италии и Австрии, я удовлетворюсь четырнадцатью сотнями тысяч, а вместо трех миллионов подданных в Галии — только двумя миллионами.

— И ваше величество отказывается от других притязаний? — живо спросил господин де Бубна.

— О, нет! — сказал Наполеон,— вы, по-видимому, не понимаете. Есть еще два важных пункта, которые следует решить: первый...

Господин де Бубна приготовился писать.

— Подождите, не пишите,— сказал император.— Эти два важных пункта, которые надо будет решить, станут предметом частного письма между вашим государем и мной; впрочем, то, что я у вас должен потребовать, не очень сложно, и, уверен, вашей памяти будет достаточно. Я хочу — вы меня хорошо понимаете? — я не говорю желаю, а хочу — хочу, чтобы Австрия сократила свою армию до ста пятидесяти тысяч человек, выплатила мне дополнительно сто миллионов военной контрибуции, из которых я получил еще только пятьдесят.

— Сир, это жестоко! — сказал господин де Бубна.

— Именно так,— ответил император.

— Однако должен же быть конец этой вассальной зависимости.

— Послушайте,— сказал Наполеон,— я могу предложить вашему императору выгодную сделку. Вассальная

зависимость, как вы это изволите называть, будет заключаться в войне на море. Англия должна оставить нас в покое, нам нужен прочный, настоящий мир, и я вам разрешу восстановить свою армию до пятисот тысяч человек, как это было до начала кампании.

— Сир,— спросил господин де Бубна, вставая,— когда я должен возвратиться?

— Месье,— сказал Наполеон, принимая вдруг решение,— нет необходимости в вашем возвращении, так как вы меня здесь не застанете.

— Ваше величество уезжает?

— Да, в Сирию.

— И когда же?

— Завтра... У вас есть мой ультиматум: месье де Шампани облечен моими полномочиями. Если придется сражаться, я возвращусь, но я вам сказал, месье де Бубна, горе тем, кто меня заставит вернуться!

— Ваше величество уезжает? — повторил господин де Бубна, ошеломленный.

— О, Боже мой, да! Пойдемте со мной, месье де Бубна; я провожу свой прощальный парад во дворе замка.

Господин де Бубна понял, что на этот раз это было последним словом Наполеона.

Он встал, положил в карман только что написанную им ноту и последовал за императором.

Оба они спустились по ступенькам газона, прошли по замку и появились на крыльце в стороне от двора.

Двор был забит любопытными.

Император подошел к балкону, который находился в центре двух лестниц. Справа от него стоял господин де Бубна, слева — князь Невшательский.

Рапп, его адъютант, держался немного ниже его, на третьей ступеньке крыльца.

Солдаты проходили строем под балконом с приветствием «Да здравствует император!» и строились в каре во дворе.

Император сделал знак господину де Бубна следовать за ним и спустился с крыльца, чтобы встать в центре каре.

Рапп шел впереди него, как будто был предупрежден, что императору что-то грозило.

Впрочем, так продолжалось уже четыре или пять месяцев и повсюду бдительный глаз Бертье высматривал убийцу, выбранного на собрании в Абенсбургских развалинах.

Внезапно в тот момент, когда толпа раздвинулась, чтобы пропустить Наполеона, какой-то молодой человек вместо того чтобы отодвинуться, как другие, бросился вперед.

Рапп увидел блеск металла, он протянул руку и схватил выше запястья руку, вооруженную ножом.

— Штапс! — воскликнул господин де Бубна.— О, сир, сир...

— Что такое? — спросил, улыбаясь, император.

— Дело в том, сир, что этот молодой человек хотел вас убить. Разве вы не видели?

— Я никогда не вижу подобных вещей, месье. Или я нужен Франции, и тогда моя миссия и есть моя броня; или я ей не нужен, в таком случае мной располагает Бог.

Затем, не думая больше об убийце, которого Рапп передал в руки жандармов, он вошел в каре так же спокойно, как и в тот день, когда пуля продырявила его шляпу в Абенсберге, а в Ратисбонне его ранило пулей в ногу.

Но совсем тихо он сказал Бертье:

— Месье де Бубна знает этого молодого человека.

— Откуда вам это известно, сир?

— Увидев его, он произнес его имя.

— И этого молодого человека зовут?..

— Штапс.

Х

ЯСНОВИДЕЦ

Два часа спустя после парада и отъезда господина де Бубна Наполеон вернулся в тот же особнячок, где мы его уже видели утром.

На этот раз он был не один, а, напротив, прогуливался бок о бок с человеком лет пятидесяти с быстрым и умным взглядом. Тот человек был одет во все черное и разговаривал с Наполеоном запросто.

Это был его врач Корвизар.

— Знаете, сир, я сильно испугался, когда за мной прислали от вашего имени,— говорил известный доктор.— Распространился слух о попытке вас убить, и я боялся, что вы ранены.

— Спасибо, что вы не замедлили так быстро прийти, мой дорогой доктор. Как видите, со мной ничего не случилось, и я послал за вами не для себя.

— Для кого же тогда?

— Для моего убийцы.

— Значит, он был ранен в этой сумятице или попытался покончить с собой?

— Что касается ранения, то мне кажется, наоборот, было проявлено максимум внимания, чтобы он не получил ни одной царапины, и я не слышал, чтобы он пытался покончить с собой.

— Так что же случилось, сир, почему вы послали за мной?

— Господин де Бубна, который случайно ехал вместе с этим молодым человеком и даже одолжил ему лошадь на последнем этапе пути, рассказал мне о нем кое-что, и он меня заинтересовал.

— Заинтересовались вашим убийцей?

— Почему бы и нет? Я ценю настойчивость, мой дорогой Корвизар, а у меня есть основание думать, что господин Фридрих Штапс обладает этим достоинством. Я хотел бы знать, является ли эта настойчивость у него добродетелью или навязчивой идеей, патриот ли он, или сумасшедший. Вы возьметесь это распознать?

— Попытаюсь, сир.

— Там замешана довольно интересная история с женщиной, насколько я мог понять, но нас это не касается.

— Короче,— начал снова Корвизар,— ваше величество ищет предлог, чтобы его спасти?

— Возможно,— ответил Наполеон.

— Ну что ж, посмотрим, сир,— сказал Корвизар,— введите его, мы его исследуем.

Наполеон позвал Раппа и спросил у него, выполнены ли его приказания.

— Да, сир,— ответил генерал.

— В таком случае введите арестованного.

Рапп вышел, и минуту спустя появился молодой человек между двумя жандармами, большие пальцы его были скованы наручниками.

Рапп шел следом.

— Снимите наручники с молодого человека,— сказал Наполеон.

Приказание было выполнено.

— Оставьте его одного со мной и Корвизаром.

Генерал был в нерешительности, а Наполеон нахмурился, как Юпитер на Олимпе.

Рапп пропустил впереди себя обоих жандармов, бросил последний взгляд на трех особ, которых он остав-

лял, и вышел с твердым решением не снимать руку с сабли и не отрывать уха от двери.

Император сидел за овальным столом, Корвизар стоял рядом с ним.

— Вы говорите по-французски? — спросил император Штапса.

— Немного, — ответил он.

— Вы хотите отвечать через переводчика или пытаетесь отвечать сами?

— Я предпочитаю отвечать сам.

— Фридрих Штапс — это ваше имя?

— Да.

— Откуда вы?

— Из Эрфурта.

— Как давно вы в Вене?

— Со вчерашнего дня.

— С какой целью вы сюда приехали?

— С целью попросить у вас мира и доказать, что он необходим.

— Вы полагаете, что я стал бы слушать человека, не облеченного миссией?

— Моя миссия не менее святая, чем миссия господина де Бубна.

— Господин де Бубна явился ко мне от имени императора.

— Я пришел сюда от имени Бога!

Наполеон посмотрел на Корвизара, спрашивая его взглядом, тот сделал ему знак, означающий «продолжайте».

— А если бы я не стал вас слушать, то какие у вас были намерения? — спросил император, поворачиваясь к Штапсу.

— Убить вас.

— Что плохого я вам сделал?

— Вы угнетаете мою страну.

— Ваша страна восстала против меня, я ее победил, это военная удача! Александр победил и поработил персов, Цезарь победил и притеснял галлов, Карл Великий победил и угнетал саксонцев.

— Будь я персом — я убил бы Александра! Будь я галлом — я убил бы Цезаря! Саксонцем — я убил бы Карла Великого!

— Вы проповедуете религиозный фанатизм?

— Нет, это национальный патриотизм.

— У вас есть сообщники?

— Даже мой отец не знает о моем замысле.
— Вы меня уже видели?
— Три раза прежде, этот уже четвертый: первый раз в Абенсберге, второй — в Ратисбонне, третий — во дворе Шенбруннского дворца.

— Вы франкмасон?

— Нет.

— Ясновидец?

— Нет.

— Вы принадлежите к какой-нибудь тайной организации Германии?

— Я вам сказал, что у меня нет сообщников.

— Вы знаете майора Шилла?

— Нет.

— Вы знаете Брута?

— Которого? Их два.

— Да,— сказал Наполеон с выразительной улыбкой,— один убил своего отца, а другой — своих сыновей... Вы знали о заговорах Моро и Пишегрю?

— Я знаю только то, что писали газеты.

— Что вы думаете об этих людях?

— Они работали только для себя и боялись смерти.

— У вас нашли портрет женщины.

— Я попросил, чтобы мне его оставили, и мою просьбу удовлетворили.

— Кто эта женщина?

— Какое это имеет значение?

— Я хочу знать, кто она.

— Это девушка, на которой я должен был жениться.

— Вы любите! У вас есть отец, невеста, а вы стали убийцей?

— Я уступил голосу, говорящему: «Покарай!»

— Но, покарав, вы надеялись избежать наказания.

— У меня не было даже такого желания.

— Откуда это отвращение к жизни?

— Судьба сделала мою жизнь невыносимой.

— Если бы я вас простил, как бы вы распорядились вашей свободой?

— Так как я убежден, что вы хотите гибели Германии, я подождал бы, когда представится другой случай, выбрал бы лучшее время и, возможно, в тот раз мне больше повезло бы!

Император пожал плечами.

— Ну что же, Корвизар,— сказал он,— остальное ка-

сается вас, обследуйте его, скажите, что вы о нем думаете.

Корвизар пощупал у молодого человека пульс, приложил ухо к его груди, погрузил свой взгляд в его глаза.

— Это фанатик из рода Кассиусов и Жаков Клеманов,— сказал он.

— Но не сумасшедший? — спросил Наполеон.

— Никакого сумасшествия.

— Он не возбужден?

— На четыре пульсации больше, чем в обычном состоянии.

— И что, он спокоен?

— Абсолютно спокоен...

Император подошел к молодому человеку и, устремив на него пронзительный взгляд, сказал:

— Послушай, ты хочешь жить?

— Зачем?

— Чтобы быть счастливым.

— Я уже не могу им быть.

— Обещай мне вернуться к своему отцу, к невесте, спокойно и безопасно жить, и я тебя помилую.

Молодой человек посмотрел на Наполеона удивленным взглядом.

Потом, после некоторой паузы:

— Это было бы напрасное обещание,— сказал он.

— Как это?

— Я его не сдержу.

— Ты знаешь, что тебя будет судить военный совет и, следовательно, через три дня все будет кончено?

— Я готов умереть.

— Послушай, я завтра уезжаю: ты будешь осужден и расстрелян в мое отсутствие...

— Я буду расстрелян? — спросил Штапс с какой-то радостью.

— Да... если, конечно, как я тебе сказал, ты мне не дашь слово.

— Это было обещанием, данным Богу,— сказал молодой человек, покачав головой.

— Но, возможно, в момент расставания с жизнью ты пожалеешь о нем?

— Не думаю.

— Однако это возможно.

— Несомненно, человек слаб!

— Ну что ж, а если бы ты был не слабым, а расканивающимся...

- Что я должен был бы сделать?
- Ты бы дал обещание, о котором я тебя прошу.
- Кому?
- Богу.
- А потом?
- А потом ты показал бы эту записку председателю

комиссии.

И Наполеон, написав несколько слов на листке бумаги, сложил его и отдал Штапсу, тот его взял и, не читая, положил в карман жилета.

— В последний раз, Корвизар,— спросил Наполеон,— вы абсолютно уверены, что этот человек не сумасшедший?

— Нет, сир, он не сумасшедший.

— Рапп!

Рапп вошел.

— Отведите обвиняемого в тюрьму,— сказал император.— Пусть созовут военную комиссию, которая займется его преступлением.

И, повернувшись к Корвизару, словно он забыл о том, что только что произошло, спросил его:

— Скажите мне вот что...

— Что, сир?

— Сорокалетний мужчина может иметь детей?

— Почему бы и нет? — ответил Корвизар.

— А пятидесятилетний?

— Еще может.

— А шестидесятилетний?

— Иногда да.

— А семидесятилетний?

— По-прежнему.

Император улыбнулся.

— Мне нужен ребенок! Мне нужен сын! — сказал Наполеон.— Если бы этот сумасшедший убил меня, кому бы отошел трон Франции?

Потом, уронив голову на грудь, прошептал:

— Есть одна вещь, которая меня ужасает. Дело в том, что теперь вызывает ненависть уже не французская революция, а я сам, и эта ненависть преследует меня, как виновника мирового зла, как возбудителя этой ужасной и бесконечной смуты, потрясающей мир, однако, Бог мне свидетель, я не хочу войны! Что же у них есть такое, чего нет у меня, у всех этих королей, которые находят фанатиков, обожающих их, и убийц, защищающих их? Что же они имеют сверх того, что имею я? — добавил он.—

Они родились на троне... Ах, если бы только я был своим внуком!

И, упав в кресло, он какое-то время оставался в задумчивости, подперев лоб рукой.

Что происходило за эти несколько минут в этой глубокомыслящей голове, и какой поток мыслей обуревал этот несокрушимый, как утес, ум?

Тут тайлся один из тех секретов, который был известен только ему и Богу.

Наконец он медленно притянул к себе лист бумаги, взял перо, обмакнул его в чернила, повертел его несколько раз между пальцев и написал:

12 октября 1809 г.

«Министру полиции Шенбрунн

Молодой человек 17 лет¹, сын лютеранского пастора из Эрфурта попытался во время парада приблизиться ко мне, он был арестован офицерами, так как молодой человек проявил смятение, что вызвало подозрение. Его обыскали и нашли у него кинжал.

Я велел привести этого несчастного ко мне. Он мне казался довольно образованным и сказал, что хотел меня убить, чтобы освободить Австрию от французов. Я не обнаружил в нем ни религиозного, ни политического фанатизма. Мне показалось, что он не знает, кто такой Брут. Сильное возбуждение помешало узнать о нем что-либо еще. Его допросят, когда он поостынет и натошак. Возможно, что все это дело — пустяк.

Я хотел вас информировать об этом событии, чтобы ему не придавали большего значения, чем оно заслуживает. Я надеюсь, что оно не примет оборот большой огласки, но если это будет так, то нужно будет представить этого субъекта как сумасшедшего. Сохраните все в тайне, на параде это не вызвало никакого шума, я даже сам ничего не заметил.

Наполеон.

Р. С. Я снова повторяю, и вы должны это хорошо понять, этот факт ни в коем случае не должен получить огласки».

¹ Подлинник данного письма сохранился. Наполеон умышленно уменьшил возраст потенциального убийцы на три года, возможно, для того, чтобы создать впечатление, будто это была акция мальчишки, а не взрослого мужчины. (Примеч. автора.)

Потом позвонил.

— Позовите Раппа,— сказал он слуге.

— Генерал здесь, сир.

— Пусть войдет!

Рапп вошел.

— Рапп,— сказал Наполеон,— отправьте надежного курьера, и пусть он вручит это письмо господину Фуше.

Рапп с военным проворством и беспрекословным послушанием взял письмо и вышел.

— Только ему! Ему самому! — крикнул император.

XI

КАЗНЬ

На следующий день, когда согласно программе, которую он сообщил господину де Бубна, Наполеон покинул Вену, к вечеру прошел слух, что Военный совет, созданный по приказу маршала Бертье, приговорил Фридриха Штапса к смертной казни.

Обвиняемый все признал и не пытался отвергать обвинения. Услышав приговор, он не попросил ни о помиловании, ни об отсрочке.

Единственно, вернувшись в тюрьму, он попросил, чтобы к нему пригласили зайти молодого лейтенанта кавалерии по имени Поль Ришар, навестить его на следующий день за несколько минут перед казнью.

Затем он помолился, попросил разбудить его пораньше и отдал тюремщику в знак благодарности за заботу о нем четыре золотые монеты — все, что у него было и составляло его состояние.

После чего он лег спать, снял с груди медальон, нежно поцеловал его несколько раз; затем наконец уснул, прижав медальон к сердцу.

В шесть часов утра тюремщик вошел в камеру и разбудил его.

Тогда Штапс, улыбаясь, открыл глаза и поблагодарил вошедшего за то, что тот так быстро привел его в состояние бодрствования. Он очень тщательно умылся, причесал свои прекрасные волосы с каким-то особым кокетством, а когда его спросили, что бы он хотел на завтрак, ответил:

— Я думаю, будет достаточно чашки молока.

Он только что выпил свое молоко, когда на пороге по-

явился молодой офицер, о беседе с которым он просил накануне.

Было явно видно, что молодой кавалерийский лейтенант предпочел бы, чтобы выбор приговоренного пал на кого-нибудь другого, а не на него, хотя он и не выдавал своего замешательства.

— Благодарю вас, месье,— сказал Штапс,— что вы откликнулись на мое приглашение. Я хочу попросить вас об одной услуге.

— Я готов ее выполнить, господин,— ответил молодой офицер.

— Мы уже виделись, лейтенант.

— Увы! Да, господин, и я сожалею, что судьба выбрала меня быть свидетелем в вашем деле.

— О! Я намекаю, месье, не только на те три заседания Военного совета, перед которым я предстал, мы с вами виделись раньше.

— Вполне возможно, господин, но я полностью забыл, где и когда это могло быть.

— Нет ничего проще: я был в маске, а вы без нее.

— А! — сказал Поль Ришар, вздрогнув.— Это было в развалинах Абенсберга?

— Именно там, да, месье, и какое-то мгновение вы думали, что будете скоро расстреляны.

— К несчастью, то, что было игрой по отношению ко мне, для вас сейчас реальность! — сказал лейтенант.

— Пусть так, но вы же не знали, что это была игра, и решительно шли до конца. Лейтенант Ришар, вы смелый человек, и правы те, кто окрестил вас в тот вечер «Ричардом Львиное сердце».

Молодой человек побледнел.

— Вы знаете, почему я был там, господин? — спросил он

— Нет, лейтенант, но я знаю, что солдат — это раб присяги, как честный человек — раб своего слова... Ну что ж, все остальное неважно! Я узнал ваше лицо и сказал себе: «Все сильные сердца — братья, у тебя, Штапс, есть здесь брат, ты можешь смело у него попросить о последней услуге».

— И вы не ошиблись: все, что будет в человеческих возможностях сделать для вас, в пределах моего долга, я сделаю.

— О! будьте спокойны,— ответил заключенный,— я у вас не попрошу ничего того, что могло бы вас скомпрометировать.

— Говорите,— сказал молодой человек.

— Я любил одну молодую девушку,— начал Штапс,— если бы не произошли все эти события, она была бы моей женой; ее отец и мой — друзья, наша свадьба была прервана...

— Да,— сказал молодой офицер,— но именно тогда вы вступили в общество Tugendband; именно тогда вам выпал жребий убить императора и именно тогда все ваши любовные надежды были утрачены?

— Нет, господин,— ответил Штапс меланхолично.

— Продолжайте,— сказал офицер.

— Действительно, мои минуты сочтены... Будьте спокойны, я не заставлю себя ждать.

Лейтенант наклонил голову в знак согласия.

— Вы знаете,— продолжал Штапс,— что при мне нашли женский портрет?

— Да, господин.

— Я попросил, чтобы мне оставили этот портрет до момента моей смерти.

— И ваша просьба была удовлетворена без колебаний.

— Так вот, господин, когда я умру, этот портрет будет у моего сердца.

И узник прижал руку к груди.

— Вы желаете быть похороненным вместе с портретом?

— Нет, я желаю, чтобы после моей смерти какой-то друг взял его и сделал мне одолжение, передав его когда-нибудь моей невесте и рассказав ей, как я умер, а особенно, что я умер, думая о ней.

— Она живет в Баварии?

— Нет, месье, в результате ужасной катастрофы ее отец и она покинули Баварию и уехали жить в Вольфах, маленький городок в герцогстве Баден, именно там вы ее и найдете.

— Хорошо, перед смертью вы мне отдадите портрет.

— Я сказал вам, что хочу умереть, прижимая его к сердцу: вы его возьмете с моего трупа, после моей смерти.

— Имя девушки?

— Оно написано на обратной стороне портрета.

— Это все, господин?

— Нет, последняя услуга. Я хочу, месье, чтобы меня не смешивали с обыкновенными убийцами. После того как вы возьмете портрет на моей груди, раскройте мою

правую руку, в ней будет бумага, которую вы любезно передадите офицерам, входящим в состав Военного совета, который меня судил, и полковнику, который был председателем этого Совета.

— Все будет сделано, как вы желаете. Теперь все?

— Да.

— Тогда мне остается только пожать вам руку, господин, и пожелать мужества.

— Согласен пожать вашу руку и принять пожелание, месье, хотя пожелание мужества, как вы можете это видеть, бесполезно. Где я вас снова увижу?

— На месте казни.

— То есть на площади?

— На площади.

Молодой человек и приговоренный снова пожали друг другу руки в последний раз, и офицер ушел.

Военная тюрьма, где находился Штапс, была расположена на самой площади. Казнь должна была происходить в восемь часов, а без четверти восемь вся площадь была уже заполнена народом.

Эту толпу наполовину составляла французская армия, наполовину население Вены.

Когда увидели Поля Ришара, выходящего из тюрьмы, его окружили и стали расспрашивать о заключенном.

Поль ответил, что заключенный, узнав его, так как однажды встречал в Абенсберге, попросил быть доверенным своих последних желаний.

— Его действительно казнят сегодня утром? — спросил капитан, входящий в состав Военного совета.

— Да, — ответил ему Поль, — вы же знаете, капитан, что приговоры военного суда подлежат исполнению немедленно.

— Конечно, но я знаю также, что полковник довел до сведения заключенного о возможности просить о помиловании у маршала Бертье; и полковник сказал мне лично после зачтения приговора, что в случае такого прошения князь Невшательский получил все полномочия от императора.

— Ну что ж, — сказал Поль, — осужденный не воспользовался этим советом полковника.

— И он этим не воспользуется? — спросили сразу несколько человек.

— Нет, мне кажется, что у несчастного есть какая-то причина желать смерти, известная только ему и Богу.

В этот момент пробило восемь часов.

Дверь тюрьмы открылась.

Первым вышел сержант, за ним еще четыре человека.

Позади этих четырех шел осужденный.

Он оставил свой сюртук и жилет в тюрьме, на нем были только рубашка, брюки и сапоги.

Его лицо было бледным, но спокойным, без тени надменности, но и без тени слабости.

Было видно, что этот человек хладнокровно приготовился к смерти.

Он знал, на что идет, хотя и жертвовал жизнью в двадцать лет, что, конечно, совсем не вызывало у него восторга. Если раньше именно такое чувство заставило его совершить преступление, то теперь напускное и лихорадочное возбужденное чувство уступило место непоколебимому решению, которое можно было прочесть по слегка нахмуренным бровям, по складкам его подбородка, придававшим его губам подобие улыбки.

За осужденным следовала остальная часть взвода, то есть еще шесть человек.

Едва выйдя из здания, он огляделся вокруг себя, как бы ища взглядом кого-то.

Его глаза встретились с глазами лейтенанта Ришара, которые казалось, говорили ему: «Вот я, видите, я держу свое слово».

Тогда он слегка кивнул ему головой, и легкий намек на беспокойство, омрачивший было на мгновение его лицо, исчез.

Они продолжали двигаться к месту казни.

Вдруг раздался пушечный выстрел.

— Что это там? — спросил Штапс.

— Сегодня ночью подписан мир, и пушечный выстрел возвещает об этом Германию.

— Мир? — повторил приговоренный. — Вы мне говорите правду?

— Конечно, — ответили ему.

— Тогда, — сказал он, — дайте мне поблагодарить Бога.

— За что?

— За то, что он, наконец, возвращает Германии спокойствие.

И молодой человек, встав на колени, произнес короткую молитву среди двух рядов сопровождающих его солдат.

Когда он поднимался с колен, Ришар подошел и сказал ему:

— Это меняет что-нибудь в ваших распоряжениях?

— По какому поводу вы задаете мне этот вопрос, месье?

— Дело в том, что если вы попросите о помиловании, возможно...

Приговоренный его остановил:

— Вы знаете, какой услуги я жду от вас, лейтенант?

— Да.

— Вы все еще расположены сдержать свое обещание?

— Несомненно.

— Ну что ж, тогда вашу руку.

Ришар протянул ему руку.

Штапс переложил из правой руки в левую какой-то предмет, который Ришар не мог видеть, после чего сердечно пожал руку молодого офицера.

Все это было сделано просто, без рисовки, но с той же твердостью, которую Ришар заметил в нем и раньше. Затем кортеж продолжал свой путь.

От двери тюрьмы до места казни было приблизительно три сотни шагов. Этот путь занял не менее десяти минут.

В течение этих десяти минут пушка стреляла регулярно каждую минуту. Штапс мог видеть, что его не обманули и по регулярности выстрелов убедился, что речь шла о каком-то большом торжестве.

Подшли к откосу. Подразделение остановилось.

— Это здесь? — спросил Штапс.

— Да, господин, — ответил сержант.

— Могу ли я выбрать сторону, к которой хочу повернуться, умирая?

Сержант не очень понимал.

Ришар снова подошел.

Штапс повторил свою просьбу, которую Ришар объяснил сержанту: осужденный хочет умереть, повернув глаза на запад, то есть глядя на Абенсберг.

Эта его просьба была удовлетворена.

— Месье, — сказал Штапс Ришару, — я понимаю, что становлюсь назойливым, но, поскольку я не могу претендовать на командование расстрелом, не будучи военным, то хотел бы, чтобы это было сделано голосом друга, который находится среди тех, кто пришел посмотреть, как я буду умирать.

Ришар посмотрел на сержанта.

— Выполняйте, мой лейтенант,— сказал тот ему.

Ришар ответил Штапсу кивком головы, что означало, что его желание будет выполнено.

— Теперь я готов,— сказал осужденный.

Один солдат подошел к нему с носовым платком.

— О! Лейтенант,— сказал Штапс,— вы полагаете, что в этом есть необходимость?

Лейтенант Ришар сделал знак.

Солдат удалился и унес платок.

Тогда менее уверенным голосом, чем он сделал это для самого себя в развалинах Абенсберга, лейтенант командовал:

— Приготовиться!

В полной тишине, царившей на откосе, был слышен только стук ружейных прикладов.

Раздался пушечный выстрел.

— Целься!

Затем, так как лейтенант колебался произнести последнее слово:

— Огонь! — сказал Штапс твердым голосом.

Солдаты, не обращая внимания, кем была отдана команда — лейтенантом или осужденным — спустили курки.

Раздался ружейный залп, Фридрих Штапс упал, пораженный восемью пулями.

Лейтенант Ришар отвел глаза.

Когда он взглянул на осужденного, еще живого минуту назад, а сейчас уже ставшего трупом, то увидел, что молодой человек мертв, левая его рука была прижата к груди, а правая крепко сжата.

Он подошел к трупу.

— Друзья,— сказал он,— этот несчастный возложил на меня выполнить его последние поручения. У него на груди женский портрет, а в руке письмо.

Солдаты с уважением расступились.

Тогда Ришар опустился на одно колено, приподнял тело Фридриха Штапса, расстегнул пуговицу его рубашки и заметил маленькую цепочку из волос, тонкую как ниточка, и снял ее с груди молодого человека.

Медальон висел на этой цепочке.

С некоторым колебанием лейтенант поискал глазами портрет и, увидев его, воскликнул:

— Маргарита Штиллер! — сказал он.— О! Так я и знал!..

Затем торопливо взял правую руку трупа, которую раскрыл с некоторым усилием, вытащил лист бумаги и развернул его.

На бумаге было только три слова:

«Я прощаю»

«Наполеон»

— О, несчастный! — воскликнул Поль Ришар, — он хотел умереть!

Потом добавил мрачным голосом, конвульсивно сжимая медальон и бумагу:

— И это я, я причина его смерти!..

XII

ОТСТУПЛЕНИЕ

14 сентября 1812 года, с высоты Поклонной горы Наполеон видел, как в лучах яркого летнего солнца сверкают золоченые купола святого города, и вся его армия, поредевшая на четверть после битвы на Москве-реке, но еще насчитывающая девяносто тысяч человек, была в ладоши при виде этой картины и кричала: «Москва!», как четырнадцать лет назад, — в противоположной части мира, у ворот Востока, — она кричала: «Пирамиды! Пирамиды!»

В тот же вечер Наполеон вошел в покинутую жителями Москву. Галлы, по крайней мере, овладев Капитолием, — куда их привел неизвестный брэнн (кельтский военачальник), от звания которого латинские историки сделали имя человека, называя его Бреннус, — галлы, говорим мы, овладев Капитолием, обнаружили там, по крайней мере, сенаторов, сидящих в своих курульных креслах: было кого убивать.

В Москве же ничего подобного не было: они нашли там только своих французских негодяев, пришедших в большой ужас и сообщивших нам эту странную новость: «Москва пуста!»

Затем, той же ночью, Наполеон был, нет, не разбужен — Наполеон не спал, — но удивлен криком: «Пожар!»

При этом крике он подошел к одному из окон Кремля, возвышающегося над городом: Торговый дом был объят пламенем!

Сначала он приписывает этот пожар неосторожности, обвиняет Мортье в плохой организации охраны армии,

обвиняет пьяного солдата, что тот поджег, он приказывает отыскать этого солдата, наказать, расстрелять! Но ему объясняют, что все это не так, а что между полночью и часом ночи на дом спустился огненный шар, и в результате это вызвало не только пожар, но и послужило сигналом для поджигателей.

Действительно это был сигнал, так как почти одновременно в трех других точках города возник и стал разрастаться огонь.

Наполеон еще сомневается, но сообщения следуют одно за другим: только что вспыхнул огонь на Бирже и видели, как люди из полиции поджигали ее смоляными фитилями! В двадцати, тридцати, сотне различных домов взрывались мины, спрятанные в печах, когда их начинали топить. Французских солдат убивали и ранили, дома поджигали! Еще хуже того: группы бандитов бегают по улицам города с факелами в руках. Они распространяют огонь с каким-то ожесточенным упоением, быть может, упоением патриотизма; вид французов их только вдохновляет, угрозы поощряют к разрушению, факелы невозможно вырвать из рук, ударом сабли приходилось отрубать руки вместе с факелами.

Наполеон слушает все эти рассказы с большим удивлением, он не хочет этому верить, отвергает очевидное и только восклицает:

— О! Несчастные! Варвары! Скифы!

Наступает день, но менее ясный, чем ночь: ночь освещалась пламенем, день был затемнен дымом.

Наполеона невозможно было оторвать от этого зрелища, он ходил от одного окна к другому и кричал:

— Погасите этот огонь! Да погасите же его!

И во второй раз его голос, так сильно действующий на людей, был бессилен над стихией.

Примерно так же он воскликнул в Вене в день битвы под Эсслингом, когда Дунай вздыбился и снес мосты, но Дунай он победил!

Укротит ли он огонь, как укротил воду?

Нет, словно питаемый невидимой силой, огонь разрастался, его огромное кольцо приближалось все ближе. Наполеон был буквально окружен морем пламени; каждый дом был как поднимающаяся волна, и ужасный прилив непрерывно поднимается и уже начинает биться у стен Кремля.

День проходит в созерцании этого ужаса. Все толпятся вокруг императора и умоляют его покинуть Кремль,

но он, как бы боясь, что его хотят увести силой, цепляется за оконные рамы. Наступает ночь, а огонь уже так близок, что отражение пламени мечется на разгневанном лице этого второго Юпитера, осажденного Титанами.

Все, кто считает, что имеют какое-то влияние на него, собрались здесь: его близкий наперсник князь Невшательский, его деверь Мюрат, его пасынок князь Евгений— все наперебой умоляют его, но он кажется глухим, бесчувственным, немым! Все его мыслительные способности сосредоточены на одном: вид там, снаружи! Скрещенные руки, непокрытая голова, лицо, позолоченное отблесками медного цвета, он смотрит...

Вдруг из уст пробежал шепот, каждый передает его как можно быстрее своему соседу и толкает перед собой, чтобы он скорее дошел, наконец, до императора.

— Огонь в Кремле!

Но этого все еще недостаточно.

— Пусть его потушат! — сказал император.

Повиновались: огонь потушен.

Десять минут спустя тот же шепот, еще более угрожающий, возобновляется.

— Потушите! Потушите! — повторяет Наполеон.

Но пожар вспыхивает в третий раз уже в арсенальной башне. На этот раз схватили поджигателя: это был солдат из полиции.

Его привели к Наполеону, он допрашивает его.

Человек подчиняется полученному приказу, от кого он получил приказ? От своего начальника; а тот от кого? От своего начальника.

Таким образом, приказ поступает сверху; значит, это не индивидуальный фанатизм каких-то мерзавцев, поджигающих столицу России: выполняется приказ сверху, выполняется заранее составленный план.

Наполеон пожимает плечами и с жестом отвращения делает знак, чтобы увели с его глаз поджигателя. Того уводят во двор, закалывают штыком, он умирает смеясь и произнося по-русски угрожающие слова.

Один поляк слышал эти слова, в ужасе он поднимается по лестнице дворца и достигает комнаты, где упорно держится Наполеон.

— Кремль заминирован! — сказал он. — Русские собираются взорвать императора вместе с его штабом!

— Сир, — сказал Евгений, — против людей борются как Цезарь и как Александр; против богов борются как Диомед и как Ахилл; но с огнем не борются.

— Ладно! — сказал, решившись наконец, Наполеон, — где Северная лестница?..

Двери быстро раскрываются, проводники бросаются вперед, чтобы указать дорогу, торопятся, так как сами подвергаются опасности, спускаются по знаменитой Северной лестнице, увековеченной избиением стрельцов.

— Куда император желает перевести свой штаб? — спросил Бертье.

— На Петербургский тракт, — сказал Наполеон, — в Петровский императорский дворец.

Таким образом, несмотря на пожар, пламя, заложенную мину, несмотря на открывшийся под его ногами вулкан, он не отступит, не пойдет назад в сторону Франции, наоборот, он продвинется хоть на одно лье по Петербургскому тракту.

Но доберутся ли они до Петровского дворца? Слишком долго ждали! Теперь они блокированы огнем.

Благодаря коридору, прорытому через каменные породы, они достигают потайного хода и выбираются наконец из Кремля.

Но, выйдя из Кремля, все оказались еще ближе к пламени, в центре огромного горящего костра, улицы, окутанные облаками дыма, не видны; воздухом, насыщенным пеплом, невозможно дышать, он обжигает легкие.

Наугад спустились куда-то, что походило на улицу. По счастью, в самом деле это была улица, но узкая, извилистая, с двух сторон охваченная огнем.

Император шел пешком в окружении человек двадцати, впереди него шли Мюрат и Евгений, размахивая своими шляпами, чтобы разогнать пепел и сделать воздух хоть немного чище; Бертье шел за ним — всегда одинаковый, — оставаясь позади, как и везде, проходя там, где шел император, ни впереди, ни сбоку, получая от него импульс, но никогда не проявляя инициативы.

Они шли так между двумя стенами огня, под сводом огня, по огненной земле! Загоревшиеся балки падали справа и слева, расплавленные железо и свинец текли с крыш, как дождь во время грозы. Языки пламени, сгибаясь от ветра, своими кончиками лизали перья на шляпах офицеров, потом, поднимаясь вдруг, тянулись к небу как огненные вымпелы.

Надо было вырваться, найти выход или задохнуться.

Еще пять минут — и никто уже не выйдет из этого ада!

В какое-то мгновение решили вернуться назад, но нес-

колько домов вдруг рухнули и образовали горящую баррикаду, которая преградила отход.

— Вперед же! Вперед! — сказал Мюрат.

— Вперед,— повторил Евгений.

— Вперед! — сказал сам Наполеон.

Но те, кто были в авангарде, закрыли голову двумя руками и ответили задыхающимся голосом:

— Невозможно! Мы ничего там не видим, повсюду огонь!

В этот момент среди дыма услышали голос, который кричал:

— Сюда, сир, сюда!

Молодой человек тридцати лет со следом удара сабли на лице, еще бледный от недавней раны, появился из клубов дыма слева от императора.

И снова, погружаясь в клубы дыма:

— Сюда,— повторил он,— сюда! Я отвечаю за все!

Наполеон прикрыл носовым платком рот: воздух стал невыносимым, удушливым, смертельным.

— Сюда, сир! — все время слышался голос.

И действительно через несколько шагов пламя стало менее жгучим, дым менее плотным: они очутились в квартале, сгоревшем еще утром.

Человек, которого несли на носилках, чуть не попал в самое пекло, его чудом спасли: это был маршал Даву, раненный на Москве-реке. Он заставил нести себя в Кремль, чтобы уговорить Наполеона покинуть этот фатальный дворец.

Увидев императора, он приподнялся и протянул к нему руки, Наполеон принял его благосклонно, но спокойно, как будто он только что совершил обычную прогулку.

В этот момент в пятидесяти шагах появился обоз с порохом, следовавший сквозь пламя.

— Пропустите императора! — закричал молодой офицер.

— Пропустите порох, месье,—сказал император.—Порох при пожаре,—добавил он, пытаясь улыбнуться,— нужно спасти прежде всего.

Один зарядный ящик взорвался.

Все, кто окружал императора, сгрудились вокруг него.

Второй, третий, потом четвертый ящик взорвались, как и первый. Горящие щепки летели градом.

Ящиков было пятьдесят: подождали, пока они проехали, а потом отправились сами.

Приближаясь к Петровскому дворцу, Наполеон спросил:

— Это тот лейтенант Ришар, которого вы мне в свое время прислали в Донаувёрт, идет впереди нас? Он пришел так вовремя, чтобы показать нам дорогу в этом море огня!

— Да, сир,—сказал Даву,— только он стал уже капитаном.

— Надо, чтобы он на этом не остановился, Даву, и пока вы не сделали из него командира батальона, отдайте ему свой офицерский крест Почетного Легиона.

Маршал позвал молодого офицера и, сняв золотой крест, сказал ему:

— Капитан Ришар, это вам от императора!

Капитан Ришар поклонился, а Наполеон, проходя, сделал ему знак рукой, что означало: «Я тебя узнал и не забуду!»

Молодой человек отошел, готовый умереть за императора без сожаления, без единой жалобы.

На следующий день, проснувшись, Наполеон подбежал к окну, выходящему в сторону Москвы. Он надеялся, что пожар, если не совсем погас, то немного утих, но город по-прежнему был покрыт сплошной пеленой огня и облаком дыма. Это была Москва, в которую мы пришли издалека, и которая, казалось, отдалялась и убегала от нас, как мираж в пустыне; эта Москва, на которую наконец мы положили руку, оказалась просто грудой пепла! Теперь стали неуловимыми не только царские войска, но и сами города.

Что же будет делать человек 1805, 1806 и 1809 годов, человек быстрых решений, оставивший лагерь в Булони, чтобы выиграть битву под Аустерлицем, человек, который уехал из Тюильри и объявил, в какой день он вступит в Берлин, человек, оставивший Испанию, пересекший Францию и дошедший быстрым шагом до Вены?

Он пойдет на Петербург, так он по крайней мере говорит.

На столе развернута карта, где отмечен путь ко второй столице Московской империи, но на соседнем столе раскрыта карта, указывающая дорогу на Париж.

Он будет ждать восемь дней, прежде чем примет решение. Эти восемь дней необходимы, чтобы его письмо императору Александру пришло в Петербург и был получен ответ. Сейчас только 19 сентября, погода великолепная: еще есть время для принятия решения.

Потом, по прошествии первых трех дней город сгорел, это так, но пожар утих, и Кремль вновь стал обитаем.

Император возвратился в Кремль; ему казалось, что он берет Москву во второй раз.

За те три дня, что Москва горела и погасла, Мюрат потерял следы генерала Кутузова, которого он преследовал, но Кутузов не замедлит объявиться.

Отступив на восток, Кутузов внезапно повернул к югу и развернулся между Москвой и Калугой.

Наполеон отдал приказ Мюрату преследовать Кутузова. Мюрат последовал приказу и вошел в соприкосновение со своим противником 29 сентября, а потом 11 октября.

Слух о двух битвах заставил содрогнуться Наполеона, сохранявшего еще надежды. То, что случилось, было неслыханным, как иногда бывает, в один прекрасный летний день, когда вдруг раздается гром среди ясного неба.

За исключением своей последней Австрийской кампании император считал войну законченной, когда взята столица. Почему же так не случилось в этой кампании, как это было в других, почему этого не произошло с Москвой, как было с другими столицами?

Но здесь была одна причина, или скорее три роковые причины, которых Наполеон еще нигде не встречал,— три молчания: молчание Москвы, молчание пустыни, окружающей Москву, наконец молчание Александра, который, казалось, не волновался за Москву.

Наполеон считает дни: вот уже одиннадцать дней, одиннадцать веков, как длится это молчание!

Ладно! Тогда будем драться из упрямства, Наполеон проведет зиму в Москве.

Он назначает интенданта в столице русской империи, создает муниципалитеты, отдает приказы о снабжении армии продовольствием. Он сделает из города огромный укрепленный лагерь: хлеба и соли, этих двух элементов восстановления человеческих сил, здесь будет достаточно; если нечем будет кормить лошадей, мы их засолим, если не будет хватать жилья, расположимся в подвалах. В Москву приедут играть лучшие актеры из Парижа, как они играли в Дрездене. Здесь придется пробыть пять месяцев, эти пять месяцев пройдут быстро. Весной подойдут подкрепления, вся Литва, вооружившись, присоединится к нам, и мы закрепим победу.

Да, но что скажет Париж, если в течение пяти месяцев не будет получать вестей от своего императора и армии

в сто пятьдесят тысяч человек? Что сделают пруссаки и австрийцы, эти не слишком верные союзники, которые в один момент могут обернуться врагами?

От этой мечты надо отказаться.

3 октября было принято новое решение: сжечь остальную часть Москвы, через Тверь пойти на Петербург; Макдональд соединится там с основными силами армии; Мюрат и Даву будут командовать арьергардом.

Этот новый план был зачитан Евгением генералам; генералы, маршалы, принцы, короли переглянулись: они взглядом спрашивали друг друга, не сошел ли их император с ума.

Нет, конечно, только удача перестала к нему благоволять. Раньше, когда он вынужден был отступать, он чувствовал ее рядом с собой, он опирался на нее — сегодня ее не было с ним, и его руки ощущают лишь пустоту!

На самом же деле ему надо не это, ему нужен мир.

Император вызвал Коленкура. Коленкур, бывший два года послом при царе Александре и которого царь считал другом, сумеет добиться выгодных условий. Но Коленкур отказывается, он знает Александра; Наполеон не получит ответа от своего врага, пока не очистит полностью территорию.

Тогда решают отправить Лористона. Лористон соглашается, едет в лагерь Кутузова, чтобы попросить у старого генерала пропуск в Петербург, но полномочия Кутузова не простираются так далеко, он предлагает отправить в Петербург с депешей графа Волконского, насколько не сомневаясь, что это ни к чему не приведет. И он прав: ни Волконский, ни Лористон, ни Коленкур не привезут ответа, этот ответ поручено сделать зиме.

Она наступила около 14 октября: появился первый снег.

Император наконец понимает предостережение: он отдает приказ снять все украшения с церквей в качестве трофея французской армии — Дом Инвалидов будет щедро награжден: его купол будет украшен крестом Ивана Великого, самого высокого купола Кремля.

Шестнадцатого, хотя отступление было предрешено, само это роковое слово, означающее убывание императорской удачи, еще не было произнесено. 16-го на Можайск была отправлена дивизия Клапереда с трофеями похода и всеми ранеными и больными, которых можно было еще транспортировать.

Больные и раненые, которые не смогли бы перенести тяготы пути, были оставлены в приюте для бездомных детей. Впрочем, в этой больнице находились как русские, так и французы. Хирурги лечили как одних, так и других одинаково внимательно, с тем человеколюбием, которое не знает разницы между нациями и для которого люди есть люди. Было решено, что хирурги останутся вместе с ними.

Внезапно пушечная канонада, которая, впрочем, не переставала грохотать то в одной точке, то в другой, слышалась близко от Москвы.

Император проводит смотр дивизии Нея во дворе Кремля, слышит похоронное эхо, но делает вид, что ничего не происходит. Вечером, так как никто другой не осмеливается сообщить ему печальную новость, Дюрок решает рискнуть: он входит к императору и говорит, что Кутузов атаковал Мюрата в Воронове, обошел левое крыло Неаполитанского короля, отрезал ему отход, отбил у него двенадцать пушек, двадцать зарядных ящиков, тридцать фургонов, убил двух его генералов и вывел из строя четыре тысячи человек; сам Неаполитанский король ранен, совершая чудеса для восстановления порядка в бою, который был проигран только наполювину благодаря Понятовскому, Клапареду и Латур-Мобургу.

Это было как раз то, чего ждал Наполеон, ему нужен был предлог, чтобы покинуть Москву, этот предлог был найден.

Надо было наказать Кутузова.

В течение ночи 18 октября армия двигалась к Воронову, на другой день, 19-го, император покидает сам святой город и, протягивая руку в сторону Калуги, говорит: «Горе тому, кто встретится на моем пути!»

Они пробыли в Москве тридцать пять дней и вышли оттуда со 145 тысячами человек, 50 тысячами лошадей, 2 тысячами артиллерийских стволов, 4 тысячами зарядных ящиков, колясок, повозок и других транспортных средств.

Четыре дня спустя, в ночь с 22 на 23 октября, к часу ночи, хотя армия была уже в трех переходах от Москвы, сильный взрыв всколыхнул воздух и землю, как при землетрясении.

Те, кто охраняли императора, в ужасе подскочили, спрашивая друг друга, какая же катастрофа могла вызвать подобное сотрясение.

Дюрок вошел в комнату императора, лежавшего одетым на кровати.

Император не спал и повернул голову к вошедшему с громким шумом великому маршалу.

— Вы слышали, сир? — спросил Дюрок.

— Да, — ответил Наполеон.

— Что же это такое?

— Ничего: это взлетел на воздух Кремль.

И он отвернулся к стене.

Дюрок вышел.

ХIII

ПОХОДНЫМ ШАГОМ

Это было 19 ноября, спустя ровно месяц после выступления из Москвы.

Французская колонна примерно от четырех до пяти тысяч человек, тащившая с собой около дюжины пушек, растянулась длинной черной линией на расстояние дневного перехода к западу от Смоленска, между Корытней и Красным.

Три сотни конников следовали с колонной на ее флангах.

Эти конники, присоединившиеся в Смоленске, принадлежали всем армиям, и только благодаря невероятным усилиям и храбрости им удалось объединиться и отправиться в путь. Что стало с их полками и даже армейскими корпусами, в которые они входили? Об этом никто ничего не знал. Что стало с ними? Что станет с этим снегом, по которому они шли, будущей весной?

Действительно, в тот момент, когда мы видим этот несчастный осколок одного из самых великолепных армейских корпусов, Наполеон, опередивший его на три дня, только что вошел в Оршу с шестью тысячами солдат старой гвардии, оставшимися от тридцати пяти тысяч; Евгений с восемнадцатью сотнями солдат, оставшимися от сорока двух тысяч; Даву с четырьмя тысячами воинов — от семидесяти тысяч! Это было все, что Наполеон, шедший впереди с палкой в руке, подавая пример храбрости и терпения, упрямо еще называл великой армией...

Уходя из Смоленска 14 ноября, император решил, что принц Евгений и маршалы Даву и Ней будут уходить после него последовательно: Евгений первым, Даву вто-

рым, а Ней третьим... Кроме того, он приказал, чтобы это было сделано с интервалом в один день. Следовательно, сам он ушел 14-го, Евгений — 15-го; Даву — 16-го; Ней — 17-го.

Последнему предписывалось распилить стволы артиллерийских орудий, которые он бросит, уничтожить все боеприпасы, подгонять отстающих от армии и взорвать в четырех местах укрепления города.

Ней свято выполнил эти приказания; затем последним он ступил на эту дорогу, уже разоренную тремя предыдущими армиями. По правде говоря, это уже не было армией: эти шесть тысяч гвардейцев Наполеона, восемнадцать сотен солдат Евгения и четыре тысячи воинов Даву, но что было еще хуже, так это то, что все эти голодные люди, отступающие уже тридцать один день через снег и пустыню, подчинялись дисциплине только в том случае, если это было необходимо для их личного спасения.

Итак, это было все, что осталось от четырех дивизий, которыми командовал Ней в начале похода и, как мы уже сказали, он двигался между Корытней и Красным с четырьмя или пятью тысячами штыков и двумя или тремя сотнями конников.

Внезапно несколько разведчиков, шедших впереди, остановились и посмотрели на землю, Ней подбежал к ним и понял, что привлекло их внимание: недавние следы поля боя, снег покрыт кровью, усеян разбитым оружием, изуродованными трупами. Мертвые лежали длинными рядами, обозначающими строй живых.

Вдруг один из конников, прячущий под медвежьей шкурой лохмотья мундира офицера гвардейских кавалеристов, соскочил с лошади.

— О! — прошептал он. — Здесь сражался армейский корпус принца Евгения! Вот номера его корпусов на разбитых бляхах киверов.

И он с беспокойством прошел вдоль длинных рядов мертвецов, лежащих, как колосья по краям борозды, но ищет он напрасно: мертвецов здесь тысячи. Наступает ночь и надо двигаться вперед.

Вне всякого сомнения, сражение произошло накануне утром, так как ни один раненый не отвечает на крики вновь пришедших, чтобы заставить приоткрыться глазам, которые совсем закрыты. Ночь с тридцатиградусным морозом опустилась на поле боя, а такая ночь без костра

смертельна. Поэтому здесь, на этой равнине, в одно или два лье, усеянной трупами, царит полное безмолвие.

Мрачный след по крайней мере указывал дорогу, по которой нужно было идти, и они по ней шли еще два часа, прежде чем остановиться.

Нужно было разбить лагерь, чтобы провести ночь, разжечь костры.

Каждый вечер эта остановка была чем-то ужасным, каждый брел на авось, искал какую-нибудь лачугу, чтобы ее разрушить, украсть что-нибудь съестное. Уходили многие, а возвращались, к удивлению, очень немногие: одних убивал холод, других — пики казаков, третьих забирали в плен.

В этот вечер идти далеко было бесполезно; еловый лес давал дрова, убитые лошади давали мясо, они ушли из Смоленска только накануне, поэтому был еще хлеб.

Офицер, которого мы видели, когда он соскочил с лошади и искал среди мертвых, одним из первых вернулся на поле боя, но с тех пор как они там прошли, туда ночью пришли стаи волков и пришлось их разгонять.

К счастью, хищные звери предпочитали мясо человека мясу животных; лошади оставались почти нетронутыми и послужили обильной пищей для колонны войск, за которой мы следуем.

Развели костры, поставили часовых и, если не считать завывания волков, ночь была довольно спокойной.

На следующий день, на рассвете, маршал дал сигнал подъема; страстная душа в стальном теле, он ложился всегда последним и первым был на ногах.

Как всегда, несколько сотен человек остались лежать вокруг еще не погасших и дымящих костров: они достигали во сне такой степени окоченения, что были почти мертвыми, и в момент пробуждения было бы проще и менее болезненно умереть, чем вернуться к жизни.

Двинулись в путь. Снег падал ночью, и сейчас он все еще продолжал идти; люди шли по компасу, спиной к ветру, по океану льда. Во главе колонны шагали Ней, генерал Рикар и два или три генерала, предшествуемые солдатами, но это был не авангард, а брошенная в бегство кучка людей, спешащих опередить других.

Вдруг какое-то необычное движение привлекает внимание Ней. Люди, идущие впереди него, внезапно останавливались, собирались в испуганные группы, самые первые начали пятиться, толкая тех, кто шел за ними. Ней пустил свою лошадь вскачь и на вопрос, что проис-

ходит, они показали своему генералу сквозь просветы снега, который падал на какое-то мгновение менее плотной пеленой, на горы, окружающие их. Эти горы были черными от русских войск.

Они попали на фланг армии Кутузова, то есть 80-тысячной армии, преследующей Наполеона! Они их не видели из-за снега, потому что шли, опустив голову, но те наверху, где они расположились, уже в течение часа следили за маленькой колонной, идущей неосторожно, прямо на них.

В самом деле громадному полукругу, составляющему русскую армию, стоит только соединить свои фланги, и пять или шесть тысяч человек Нея будут зажаты как в огромном амфитеатре.

Ней приказывает приготовить оружие.

В этот момент они увидели офицера, закутанного в тулуп и идущего по направлению к французам. Это был парламентар.

Его ждут...

В пятидесяти шагах от первых рядов он снимает шляпу и машет ею: это не только парламентар, но еще и француз.

Пока это слово «француз, француз» пробегает по рядам, офицер конной гвардии, который определил по трупам последнего боя, что они принадлежали армии принца Евгения, выдвигается вперед, спрыгивает с коня и бросается в объятие парламентаря.

Оба офицера обмениваются несколькими словами:

— Поль!..— Луи!.. Брат мой!..

Потом эти мужчины, искавшие друг друга среди мертвецов, благодарят Бога в братском объятии, что оба они живы.

В это время все бросились к ним и окружили их.

Молодой офицер, спустившийся с горы, объясняет цель своей миссии: он, адъютант принца Евгения, был взят в плен в том бою, где лежали мертвые такими ровными рядами, которые они видели накануне. Старый русский фельдмаршал узнал Нея и предлагает ему сдаться.

— И именно вам, француз, поручена эта миссия? — сказал Ней молодому офицеру.

— Подождите, господин маршал, и дайте мне закончить,— ответил тот.— Я сначала передам вам слова фельдмаршала, а потом добавлю от себя. Он не осмелился бы,— сказал он мне,— сделать такое предложение такому великому генералу, такому известному военачаль-

нику, если бы у этого врага оставался хотя бы один шанс на спасение; но восемьдесят тысяч русских и сто орудий стоят перед ним и вокруг него, поэтому он посылает к нему французского пленника, думая, что слова последнего найдут большее понимание, чем слова русского офицера.

— Хорошо,— начал Ней,— вы говорили от лица русских, теперь говорите от вашего имени.

— Если я буду говорить от себя, господин маршал, то скажу, что вчера утром такое же предложение было сделано принцу Евгению, и принц Евгений ответил на это стремительной атакой в штыки своих шести тысяч человек против восьмидесятитысячной армии противника.

— В добрый час! — сказал Ней.— Вы начинаете говорить, как француз, мсье.

— Если бы мы имели дело с Милорадовичем, я бы вам сказал: «Мы погибли! Умрем вместе!» Сейчас мы имеем дело с Кутузовым, мы потеряем четверть, половину наших людей, но прорвемся.

— Ну что же, возвращайтесь к Кутузову и скажите ему то, что должны были бы сказать ему: маршал Франции погибает, но не сдаётся.

— О! Я ему это сказал,— ответил просто молодой офицер.

Потом, повернувшись к своему брату:

— Теперь, Поль,— сказал он,— какое-нибудь оружие, чтобы я мог отделаться от моих охранников, когда произойдет схватка, и присоединиться к вам.

Кавалерийский офицер вытащил из-под медвежьей skóry длинный тульский кинжал дамасской стали с золотой насечкой на рукоятке и протянул брату:

— Держи,— сказал он,— я тебя жду!

Молодой адъютант поклонился маршалу и поднялся к русским.

Тогда Ней воспользовался этим моментом передышки, чтобы собрать всех своих людей.

С одной стороны, восемьдесят тысяч русских, полностью укомплектованные подразделения, солдаты накормленные, двойные линии обороны, великолепная кавалерия, прекрасная артиллерия и, наконец, что удваивает шансы — превосходство в позиции; с другой стороны — пять тысяч солдат, собранных из разных армейских корпусов, колонна, погибающая в снежной пустыне, искалеченные, изнемогающие, умирающие от холода и голода люди.

Неважно! Эти пять тысяч атакуют 80 тысяч!

Ней подает сигнал.

Пятнадцать сотен солдат, осколки дивизии Рикара, пойдут во главе. Генерал Рикар и его пятнадцать сотен человек сначала сделают прорыв, Ней и остальная часть армии бросятся туда за ними.

С первых же атак, предпринятых Рикаром против русских, все эти холмы, еще недавно холодные и молчаливые, вдруг загрохотали и вспыхнули как множество вулканов. Рикар и его пятнадцать сотен человек под этим огнем взбираются на холм напротив них, попадают в какой-то овраг, где погружаются в снег по самую шею, пересекают его и сталкиваются с развернутым строем русских. Эти последние сбрасывают их обратно в овраг.

Но Ней уже там, среди них, он собирает вокруг себя солдат, перестраивает и возглавляет их, отдав приказ четырем сотням иллирийцев, среди которых находится и кавалерийский офицер, ударить во фланг вражеской армии.

Это кажется почти безрассудным, не правда ли? Четыре сотни против 80 тысяч человек! Один человек атакует двести пятьдесят!

Однако это было именно так во времена эпических войн.

Ней со своими тремя тысячами поднимается на штурм этой живой цитадели, а Поль Ришар со своими четырьмя сотнями иллирийцев атакует армию с фланга.

Ней не обращался к солдатам с проникновенной речью, он не сказал ни одного слова, он только встал во главе их и пошел — все последовали за ним.

Первую линию развернутого строя противника атакуют в штыки и опрокидывают ее.

Вторая в двухстах шагах дальше.

— Вперед! — кричит Ней.

Но в тот момент, когда он собирался атаковать вторую линию, тридцать пушек, выдвинутых на огневую позицию, открывают огонь по его двум флангам; колонна, разрезанная, как змея, на три куска, кружится вихрем и откатывается назад, увлекая за собой своего маршала.

Они пытались сделать невозможное!

— Назад! Походным шагом! — кричит маршал.

— Вы слышите, солдаты! — кричит, в свою очередь, генерал Рикар. — Маршал сказал «походным шагом».

И эти люди отступают строем, пересекают овраг строем и оказываются в том же месте, с которого начали, все

время строим, но только в начале атаки их было пять тысяч, а возвратилось не более двух.

Но зато со склона горы спускается иллирийцев в большем количестве, чем вначале: они встретили русскую колонну в пять тысяч человек, сопровождавших три сотни французских, немецких и польских пленных, атаковали колонну с яростью отчаяния, и после непродолжительного боя колонна отступила, пленные были освобождены, а оба брата обнялись.

Вот тогда-то они и увидели Нея, отступающего с двумя тысячами человек и перестраивающегося под артиллерийским огнем Кутузова. Поскольку движение к центру было неудачным, то капитан Поль Ришар отдал приказ соединиться с корпусом маршала.

Что же они сделают? Построятся в каре и умрут?

Но подходят пленные, они знают Кутузова: Кутузов дал пройти Наполеону и Евгению, Кутузов даст пройти и Нею, надо только сделать крюк. Кутузов не будет преследовать, он полагается на зиму своей страны: зима, по его мнению, враг более быстрый и более надежный, чем пушечное ядро. «Зима,— говорит он,— мой главнокомандующий, я же только ее помощник».

В этот момент снова пошел снег, как будто желая помочь отступлению.

Ней, поразмыслив немного, отдает приказ отступить к Смоленску.

Все онемели, озадаченные. Итак, они возвращаются на север, снова в стужу, в обратную сторону от Наполеона.

— К Смоленску и походным шагом! — повторяет Ней.

Все понимают, что за этим решением что-то кроется, возможно, спасение колонны. Все становятся в строй и продвигаются под обстрелом пятидесяти пушек без других препятствий со стороны противника.

В самом деле, предсказание пленных сбылось; Кутузов, этот скандинавский Фабиус, остался на своих холмах. Если бы хоть один русский корпус спустился в долину и атаковал эти две тысячи человек, все было бы кончено. Но никто из них не осмелился двинуться с места без приказа главнокомандующего.

Артиллерия грохотала, картечь падала, как дождь, на этот несчастный осколок армии. Дождь этот был такой же плотный, как и снег, который вынуждал артиллеристов стрелять наугад. Убитые падали и оставались на земле одеревенелыми трупами, раненые падали, подыма-

лись, шли вперед, снова падали, пытались приподняться, опять падали; затем мало-помалу снег совершал для них то, что и для мертвых: он покрывал всех огромным саваном, который был соткан русской зимой, чтобы похоронить гордость Франции.

Местами вся дорога была усеяна небольшими холмиками, которые, вначале красные, постепенно белели: это были трупы солдат французской армии.

Посреди этого движения, ослепленные картечью и снегом, они натолкнулись на черную плотную массу: это была новая русская колонна.

— Стойте! Кто вы? — крикнул генерал, командовавший этой колонной.

— Огонь! — сказал маршал.

— Тихо! — вступился польский пленный, которого только что освободили.

Затем он выступил вперед:

— Вы что, не узнаете нас? — сказал он по-русски. — Мы из корпуса Уварова и обходим французов, которые застряли в овраге.

Русский генерал удовольствовался этим ответом и пропустил, — так велики были темнота, снег и сумятица, произведенная картечью — французскую колонну, которая остановилась, лишь пройдя два лье вперед до поля боя принца Евгения.

Она была вне досягаемости русских пушек и вне поля зрения фельдмаршала.

XIV

ИСПОВЕДЬ

В числе раненых, оставшихся позади войск, был капитан Поль Ришар: ему картечью пробило бедро, убив в то же время его лошадь. Он упал на землю посреди всей суматохи, сопровождавшей бой, и его падение не заметил брат; но точно так же, как ежеминутно Поль взглядом искал Луи, так и Луи искал взглядом Поля. Поэтому вскоре Луи заметил, что брата больше не было видно. Он справился у солдат о нем. Какой-то немец видел, что он упал с лошади.

Луи был пешим; он вернулся назад, изо всех сил призывая Поля.

Ему ответил голос.

И посреди массы падавшего снега он пошел на этот

голос: уже начал образовываться холмик, покрывавший всадника вместе с лошады. Поль упал, а нога его была придавлена животным; не имея возможности выбраться из-за раненой ноги, он спокойно ждал смерти, когда до него донесся голос брата. Сверхчеловеческим усилием Луи приподнял лошадь, которая уже была трупом, и высвободил ногу брата; потом подтащил его к себе, поднял на руки, как ребенка, и попытался унести.

Но Поль дал ему понять, что таким образом им невозможно следовать за колонной, тогда он прислонил его к трупу его лошади и бросился к своим спутникам.

Поль вытащил пистолеты из чехлов, прикрепленных к бокам его лошади, и приготовился стрелять в первых двух казаков, которые приблизились бы к нему.

Луи догнал колонну, которую расстреливала русская артиллерия, смешался, пеший, с рядами всадников,— их оставалось около ста пятидесяти. Первый же убитый бросил поводья прямо в руки Луи, который только этого и ждал; он высвободил ноги убитого, вскочил в пустое седло, повернул лошадь в обратную сторону и вернулся вторично назад.

Время от времени он останавливался и кричал, сколько было сил: он рассчитывал, как на репер, на огромную ель, чтобы не сбиться с направления; но хлопья снега образовывали перед его глазами такую плотную пелену, что ничего невозможно было различить в десяти шагах. Он продолжал звать. Голос ему ответил; он направился в сторону этого голоса.

Артиллерия была по-прежнему. Но горе и холод были так велики, что никто больше не обращал внимания на пули и картечь. Счастлив был тот, кого убили сразу! Что было страшно, так это снег, холод, волки, пожиравшие полумертвых раненых.

Перекрикиваясь, братья встретились. Луи опять поднял Поля на руки и посадил на лошадь. То ли сделав над собой огромное усилие, то ли не чувствуя свою раненую ногу, капитан не проронил ни одного стона. Луи схватил лошадь за поводья, Поль уцепился за седло, и они отправились вслед за французской колонной.

Около полулье — словно в волшебной сказке, где бедным детям указывали путь разбросанные камешки,— трупы, или, вернее сказать, холмики и кровавые следы указывали на след прошедшей колонны.

Когда они прошли эти пол-лье, оставалась только кровь, это были раненые, которые смогли продолжить

свой путь; затем, покрытая снегом, исчезла, в свою очередь, и кровь.

Братья были вне досягаемости русских снарядов; приходилось идти наугад.

Через два часа лошадь, не евшая от самого Смоленска, начала спотыкаться на каждом шагу и, наконец, упала. Луи удалось поднять ее два или три раза.

Тогда Поль стал умолять брата оставить его. Тот был здоров, одет в хорошую одежду, и мог, добавив медвежью шкуру, которой был покрыт его брат, догнать колонну и спастись с ней, если ей самой удастся спастись; но Луи на это пожал плечами.

— Брат,— сказал он,— ты видишь, что маршал сделал обманный маневр; даст время армии Кутузова пройти, потом вернется назад, доберется до Днепра, перейдет его и присоединится к французской армии где-нибудь около Орши.

Поль, в свою очередь, покачал головой:

— Когда же, ты думаешь, колонна вернется обратно?

— Этой ночью или завтра утром, самое позднее,— уверенно ответил Луи.

— Тогда давай договоримся.

— Как?

— Ты обещаешь, что сдержишь слово?

— Говори.

— Я согласен на твою помощь до завтрашнего утра; завтра на заре, если колонна не подберет нас, ты меня бросишь?

— Посмотрим.

— Завтра на заре ты меня оставишь?

— Ладно, согласен,— ответил Луи, чтобы сломить сопротивление брата,— договорились.

— Дай твою руку.

— Вот она.

— Делай со мной что хочешь до завтрашнего утра.

Луи оглянулся вокруг: какая-то армия — по-видимому армия принца Евгения — стояла тут; одно-единственное строение еще осталось посреди белой пустыни: оно несомненно служило укрытием для вице-короля. Луи поднял брата на руки, прислонил его к самой дальней стенке хижины, потом огляделся в поисках дров.

Несколько хилых елочек, грустных, белых, как при видения, виднелись там и сям; многие из них были срезаны пушечными ядрами. Луи собрал большую охапку ветвей и занес в хижину; затем подобрал несколько стеб-

лей соломы, лежавшей в углу бивака. Поль понял, что намеревался сделать брат, и протянул ему один из своих пистолетов; но Луи предложил не трогать их: это была защита от волков, которые, быть может, придут навещать их ночью, а также от казаков, которые наверняка навещают их на следующий день.

Он пошел к лошади, которая уже упала, и пошарил в кобурах: он нашел там не только пару пистолетов, но еще в мешке порох и пули.

Довольный своей находкой, Луи вернулся обратно.

Раненый с глубокой нежностью следил за ним глазами. Чтобы успокоить брата, Луи старался казаться беспечным, почти веселым. Он стряхнул снег со смолистых веток, сложил их в одну кучу посреди хижины, другую грудку соорудил в углу, засунул под ветви всю найденную солому, достал из кармана клочок бумаги, завернул в него заряд пороха, оставил в пистолете часть порохового заряда, поднес дуло к бумаге и отпустил собачку. Пламя из пистолета зажгло бумагу, порох тотчас же вспыхнул.

Тогда Луи быстро встал на колени и стал раздувать пламя: бумага и солома быстро разгорелись, а затем, не сразу, запылали и еловые ветви.

Пять минут спустя костер пылал; надо было только поддерживать его.

— Ну, а теперь,— сказал Поль,— что мы будем есть?

— Подожди,— ответил ему Луи.

Он вернулся к лошади, чтобы отрезать от нее кусок тульским кинжалом, который ему дал его брат, он тому хорошо послужил, чтобы отделаться от русских; но бедное животное еще не сдохло и, словно предчувствуя, что его ждет, с трудом поднялось, подошло к огню, вошло в хижину и принялось щипать зеленые еловые ветки.

— Ах ты, лакомка,— сказал Луи.

Но убить лошадь у него не хватило мужества, да и Поль воспротивился этому: если бы можно было прибавить лошади немного сил, то на следующий день было бы возможно ее использовать.

Луи отправился на разведку, оставив брату фляжку, в которой оставалось несколько капель водки. Он нашел лиственницу, ее ветки были менее горькими, чем у ели, срезал деревце целиком и вернулся к хижине, таща его за собой. Самые нежные ростки послужили пищей лошади, ветки и ствол он отложил в сторону, чтобы поддерживать огонь.

Наступила ночь.

— Все это хорошо,— сказал Поль,— но что мы будем есть?

— Будь спокоен,— ответил Луи.— У меня есть план.

Вдруг с четырех или даже с пяти сторон послышался вой.

— О! — воскликнул Луи.— Вот идет к нам наш ужин!

Через мгновение на снегу промелькнули черные тени; иногда одна из них оборачивалась, глядя на огонь, и, отражаясь в ее глазах, пламя словно метало молнии.

— Понимаю,— сказал Поль,— первого, который подойдет поближе к хижине, ты убьешь?

— Вот именно, брат.

— Возьми мои два пистолета: это версальские — они лучше твоих.

— Нет! Может быть, вокруг бродят казаки: они услышат выстрел и примчатся.

— Что же ты сделаешь?

Луи обмотал свою левую руку чепраком с лошади, которая, поев побеги с лиственницы, улеглась в углу хижины, взял в правую руку кинжал, перевязав запястье платком, и спрятался за ствол дерева в десяти шагах от хижины.

Он не пробыл там и пяти минут, как его учуял огромный волк, подошел и встал в шести шагах от него, глядя сверкающими глазами и клацая зубами.

Луи пошел прямо на волка: тот отступил, но медленно, не убегая, не спуская глаз с молодого офицера и готовый кинуться на него, если тот сделает неверное движение.

Вдруг Луи показалось, что земля под ним провалилась, и он ухнул в снежную пропасть.

На самом деле он провалился в овражек: снег, который не подался под легкими шагами волка, рухнул под его ногами.

В тот же момент ему показалось, что ему на голову свалилось что-то тяжелое, а в плечо впились острые зубы. Он инстинктивно поднял руку с кинжалом и тотчас ощутил, как зубы волка разжались, а горячая жидкость потекла по его лицу: он только что вонзил свой кинжал по рукоятку прямо в грудь зверя.

Дальнейшая борьба была недолгой и последней. Волк хотел убежать, но через десять шагов он, весь окровавленный, лег на снег; что же касается Луи, то, выкараб-

киваясь из оврага, он пробил слой льда и по колено погрузился в ледяную воду.

Надо было быстро выбираться наверх по склону оврага, что он и сделал, помогая себе кинжалом. Потом он быстро подполз к волку, который при его приближении безуспешно попытался убежать, схватил его за задние ноги и потащил к хижине.

— Ну и как? — спросил Поль.

— А вот так, — ответил Луи, — не считая шкуры, у нас будет жаркое, какого не только ни один король, ни принц и ни один французский маршал не попробуют сегодня на ужин!

— Но что за кровь, которой ты покрыт?

— Пустяки, это кровь волка.

Там, правда, было немного и его крови, смешанной с кровью волка, но Луи об этом не сказал.

Он выпотрошил волка, снял с него шкуру, потом вырезал филе. К счастью, волки сильно растолстели со времени отступления французской армии.

Наконец Луи вытащил из костра слой раскаленных углей и положил на них кровавый кусок мяса, потом обернулся к брату:

— Ну что скажешь о моем жаркóбе?

— Я скажу, — прошептал раненый, — что предпочел бы стакан воды!

— Ты его сейчас получишь, брат!

И отстегнув от седла лошади одну кобуру, бросил туда семь или восемь свинцовых пуль, потом, привязав ее к размотанному шнуру от своих аксельбантов, Луи направился к овражку, спустил кобуру к ручью, в котором ногами пробил лед, и вытащил ее, полную воды.

Целая стая волков следовала за ним, оступись он, они его тут же сожрали бы. Запах жареного мяса, шедший из хижины, привлек этих зверей за четверть лье вокруг.

Луи вернулся живой и невредимый, отдал полную воды кобуру брату, которую тот опорочил сразу, как обычный стакан воды. Луи вернулся к оврагу, но на этот раз он в левой руке держал пылающую головешку. Он счел необходимой эту предосторожность, так как некоторые из рычащих мародеров слишком близко подошли к нему в первый раз; головешка держала их на расстоянии, и, как и в прошлый раз, он вернулся целым и невредимым.

Опасаться нападения на хижину не приходилось: пока

огонь будет гореть, волки не приблизятся, а Луи собрал достаточно дров, чтобы поддерживать огонь до утра.

Тогда, убедившись, что запасы дров и воды достаточны, Луи лег возле брата, отрезал острием кинжала кусок мяса волка, который показался ему достаточно прожаренным, и принялся поедать его с таким же аппетитом, как если бы это был бифштекс, поджаренный на очаге в самой комфортабельной таверне Лондона.

Поль меланхолично смотрел на него.

— Ты не ешь? — спросил его Луи.

— Нет. Я хочу только пить, — ответил Поль.

— Пей! — Луи передал кобуру брату.

Тот взял ее и жадно выпил несколько глотков.

— Пей все! — сказал Луи, — колодец недалеко.

— Нет, спасибо, — ответил Поль, — к тому же мне надо с тобой поговорить.

Луи посмотрел на брата.

— Да, брат, и серьезно! — добавил раненый.

— Говори, — сказал Луи.

— Возможно, ты ошибся, брат, надеюсь, что колонна вернется обратно.

— Невозможно, чтобы она сделала иначе, — сказал Луи.

— Неважно, допустим, она не вернется.

— Я этого не допускаю, — настойчиво произнес Луи.

— Но я допускаю это, — сказал Поль, — скорее, не желая возражать тебе, я предполагаю это.

— Ну и что же? — с беспокойством глядя на брата, спросил Луи.

— Так вот, если завтра на заре она не вернется, ты отправишься на поиски ее.

— Гм! — произнес Луи, всем своим видом показывая, что это вовсе не будет наверняка.

— Дело решенное, брат! Впрочем, мы обсудим это завтра утром.

— Ладно.

— А пока, поскольку у тебя все же больше шансов, чем у меня, вновь увидеть Францию, позволь мне сделать тебе одно признание.

— Признание?

— Да... Послушай, брат, я в своей жизни совершил одно дурное дело.

— Ты? Невозможно!

— Однако это так; и чтобы я мог умереть без угрызений совести...

— Чгобы ты мог умереть? — прервал его Луи.

— В конце концов, если я должен умереть, то, чтобы я умер без угрызений совести, ты обещаешь мне исправить это дурное дело.

— Говори! И я сделаю все, что один мужчина может сделать для другого мужчины.

— Брат, в Германии живет одна молодая девушка... дочь одного пастора... пастора в Абенсберге,— знаешь, это в той деревне, где стреляли в императора?

— Ну и что?

— Эту молодую девушку, ее зовут Маргарита Штиллер, я обесчестил!

— Ты?

— Я предупредил тебя... Это больше, чем дурное дело, брат: это — преступление! Послушай, не знаю почему — я часто об этом думаю, право, — но, когда меня ударило картечью, я думал об этой девушке. «Это наказание Неба!» — сказал я себе. И упал.

— Брат...

— У меня было большое желание позвать тебя, когда я падал, и сказать в двух словах то, что я тебе сейчас так долго рассказываю; но я подумал, что, позвав тебя, я погубил бы тебя вместе с собой, и промолчал.

— Да-да! Но я заметил твое отсутствие...

— И вернулся, как преданный брат! Я не благодарю тебя, Луи: то, что ты сделал для меня, я сделал бы и для тебя, но в твоём возвращении я увидел благословение Неба, которое позволит мне, может быть, исправить мой грех... Эта молодая девушка, которую я обесчестил, взяв силой, изнасиловал, — что ты хочешь! Я был пьян от пороха, от гнева! Так вот, у этой девушки был жених; его звали Фридрих Штапс, это он хотел убить императора в Шёнбрюнне.

— Штапс?

— Увы, да!.. Это похоже на роман. Этот Фредерик Штапс, который увидел меня на одном из собраний фанатиков, — мне некогда рассказывать тебе, как я там очутился, — попросил меня прийти к нему в тюрьму. Я пришел туда. Он попросил меня проводить его до места казни и там, когда он будет мертв, снять с него медальон, который был у него на груди, и прочитав бумагу, которая будет у него в правой руке; прочитав эту бумагу, я должен был передать ее полковнику, председателю военного суда, который приговорил его к смерти. Я все ему

обещал. Проводил до места казни; он упал, простреленный пятью или шестью пулями.

— А ты взял портрет?

— А я взял портрет и прочел бумагу... Это был портрет Маргаритты Штиллер!

— О!

— Погоди... На бумаге было написано три слова и подпись:

«Я его помилюю. Наполеон».

— Брат!

— Ты понимаешь, он не хотел этого помилования! Что он стал бы с ним делать? Его возлюбленная была обещана одним мерзавцем... А этим мерзавцем, брат, был я!

— Поль, Поль!

— А этим мерзавцем, брат, был я! — повторил Поль — Теперь, слышишь? Если я умру, ты — мой наследник; у каждого из нас около двухсот тысяч франков состояния; тебе не нужны мои двести тысяч франков; поэтому я говорю тебе: «Брат, я не знаю, сумеешь ли ты отыскать эту женщину, но, вернувшись во Францию, ты затем отправишься в Германию, не так ли, брат? Ты разыщешь Маргариту Штиллер... Ее отец, повторяю, был пастором в Абенсберге в 1809 году.

— Да, брат.

— Когда ты ее найдешь, то скажешь ей, что со мной случилось, что Бог меня покарал, как в пустынной хижине под вой волков я поведал тебе это гнусное приключение, как ты мне обещал искупить мое преступление, насколько возможно искупить подобное преступление, и отдашь ей все мое состояние. Чтобы помочь тебе узнать ее, вот портрет.

И он снял со своей груди медальон, который был снят с груди Штапса.

Луи повесил себе на грудь цепочку, сплетенную из волос, и сказал:

— Будь спокоен, брат!

— Дай твою руку, — произнес Поль.

— Вот она.

— Теперь постарайся заснуть, тебе понадобятся все твои силы завтра.

— Разве я смогу заснуть?

— Постарайся! Я тоже постараюсь.

Луи встал, подбросил охапку еловых и лиственничных веток в костер, готовый вот-вот угаснуть; потом, взяв раскаленную головню, он швырнул ее в самую гущу волков, которые, привлеченные жареным мясом, но сдерживаемые на расстоянии огнем, полукругом расселись вокруг хижины, другие же подошли и нюхали через отверстия между досками.

Испуганные раскаленной головешкой, которая крутилась среди них, волки с воем разбежались.

От костра шел большой отсвет; Луи завернулся в свой плащ и улегся рядом с братом, намереваясь не спать. Но через четверть часа усталость, потребность в сне, такая настойчивая в молодости, сначала перепутали все предметы перед глазами, а мысли в голове, затем все стало неясным и расплывчатым, наконец все погасло: он спал.

Когда забрезжил свет, он проснулся от прикосновения руки.

Он раскрыл глаза: это был Поль, он будил его.

— Брат,— сказал раненый,— я хочу пить!

Луи протер глаза, собрался с мыслями, взял кобуру, которая служила ему фляжкой, и отправился к овражку.

Едва он вышел из хижины, как услышал позади себя выстрел.

Он бегом вернулся обратно, охваченный мрачным предчувствием.

Поль, чувствуя, что со своим разбитым бедром станет помехой для брата, только что застрелился.

XV

ДНЕПР

Луи Ришар вовсе не ошибся в своих предположениях, направляясь к северу, Ней преследовал одно намерение — сбить русских со своего следа; глухой ко всему, что его окружало, отворачиваясь, чтобы не видеть умирающих и не слышать криков раненых, он шагал прямо перед собой, не обращая внимания на град картечи и снарядов, как и на хлопья снега, который скрывал следы, по которым он мог бы узнать свою дорогу.

Через три часа маршал остановился; он находился в брошенной деревне, какими были все деревни; через них прошли две или три армии: там не осталось ни дверей, ни окон: все, что горело, было сожжено. Поэтому, не желая задерживаться, до зари он снова тронется в путь.

Днепр должен быть впереди него. Но там, впереди, были русские. Он пойдет прямо на восток, потом свернет под прямым углом на юг и найдет реку.

Около девяти часов выстрелила пушка. Быть может, армейский корпус, зная, что он заблудился, по приказу Наполеона идет его искать?

Нет, залпы были слишком равномерными: это русские праздновали победу в своем лагере.

Без судов, без понтонов Нею и двум тысячам солдат, которые у него оставались, надо было продолжать идти дальше; но по той же дороге шли также восемьдесят тысяч всадников! Ней не мог избежать встречи с ними.

Артиллерийская стрельба объявляла о взятии в плен Нея с его войском...

Маршал объяснил это своим солдатам.

— Теперь, — сказал он, — весь вопрос в том, как их обмануть: завтра мы двинемся до зари; завтра же до ночи соединимся с нашей армией!

Ночь прошла лучше, чем на равнине; хотя не было ни окон, ни дверей, все же эти развалюхи представляли собой своего рода убежища.

В четыре часа утра офицеры разбудили солдат без помощи барабанов и рожков.

Понадобилось потратить целый час, чтобы разбудить этих несчастных и заставить их снова пуститься в путь; три или четыре сотни так и остались там — ни просьбы, ни мольбы, ни угрозы не смогли заставить их подняться.

Вновь пошли по дороге, по которой двигались накануне, забирая все время влево. Шли так уже два часа, когда вдруг солдаты, шедшие в голове колонны, остановились и, казалось, стали совещаться.

Ней подбежал к ним.

— Что случилось? — спросил маршал. — Что вас беспокоит?

Солдаты указали ему на красную точку на снегу, а над этой красной точкой столб черного дыма, поднимавшегося прямо в серое небо.

Не наскочили ли они на казачий аванпост?

Один из солдат решил, обошел костер сзади и, вернувшись, доложил, что это была отдельная хижина, которая, видимо, служила жилищем какому-нибудь мужику. Никаких следов ни русских, ни казаков поблизости.

Пошли прямо на хижину; когда подошли на расстояние около двадцати шагов, увидели, как оттуда вышел человек с пистолетом в каждой руке.

— Стой, кто идет? — по-французски спросил человек.
— Француз! Француз! — хором воскликнули пятьсот голосов.

Человек молча вернулся в хижину.

Это безразличие было непонятно. Наверное, этот француз не в себе, как мог он так холодно встретить своих братьев?

Пошли вперед, вошли в хижину и нашли его на коленях около трупа.

— Капитан Луи Ришар! — прошептали несколько голосов.

— Тот, который все время звал своего брата, — сказал немец, видевший, как упал Поль.

Тут вошел Ней.

Луи узнал его.

— Господин маршал, — сказал он. — Вы ведь ищете Днепр, не так ли?

— Да, — ответил маршал.

— Тогда помогите мне похоронить моего брата, и я провожу вас прямо к реке.

— Такие же смелые солдаты, как и он, остались незахороненными, — ответил маршал. — Как бы мало времени мы ни потратили на рытье могилы, это будет потерянное время.

— Господин маршал, сегодня ночью я видел, как волки пожирают трупы, а я не хочу, чтобы моего брата тоже сожрали волки. То время, которое мы потеряем, я обещаю вам наверстать.

— Пусть поищут, не осталось ли саперов с кирками и ломками.

Нашлись четыре или пять солдат, сохранивших свои инструменты.

— Те, которые выроют могилу для моего брата, получат медвежью шкуру и мой плащ, — сказал Луи Ришар.

Два человека принялись за дело, им удалось вырыть нечто вроде могилы. Туда положили тело капитана Поля Ришара и засыпали землей; потом четверо разрядили свои ружья над могилой.

Ни один генерал не удостоился таких посмертных почестей со времени выхода из Москвы.

— Ну вот, — сказал Луи Ришар, — теперь пошли.

И проводив маршала к оврагу, в который он упал ночью и который еще был красным от крови волка и его собственной, сказал, указывая на воду, которая текла к востоку:

— Смотрите, господин маршал, вот вне всякого сомнения, приток Днепра, следуя по этому ручью, мы найдем реку.

Это было так вероятно, что никто не сделал ни малейшего возражения. Прошли вдоль по оврагу; он привел к деревне, заброшенной, как и все прочие.

Прошли через деревню и, выйдя из нее, заметили реку.

— Теперь остается выяснить,— сказал Луи Ришар,— замерзла ли река.

— Замерзла,— ответил Ней.

Молча подошли к берегу. Замерзла река или нет— это был вопрос жизни или смерти двух тысяч человек...

Река замерзла! До этого места она двигалась, но тут был резкий изгиб ее берегов, и течение воды замедлилось, льдинки примерзли одна к другой, быть может, не более часа назад. Сверху и снизу виднелись плавающие льдины.

— Нам осталось только убедиться,— сказал маршал,— выдержит ли лед. Есть ли доброволец, который рискнет жизнью ради спасения двух тысяч французов?

Он не успел закончить, как один человек уже ступил на гибкую поверхность— это был Луи. Ужасная боль, которую он испытал только что от смерти своего брата, сделала его беззаботным; поэтому он вовсе не считал заслугой рискнуть своей жизнью ради такого результата.

Вся армия следила за ним глазами, задыхаясь от волнения; он дошел до другого берега, не давая себе труда обходить препятствия и избегать опасные места.

Это было все, чего можно было ожидать от бесстрашного молодого человека; возгласы благодарности донеслись до него.

Тогда, хотя его об этом и не просили, он снова ступил на реку и с той же беспечностью к своей жизни вернулся к колонне.

— Пешие пройдут, господин маршал, если будут идти по одному и принимая предосторожности; быть может, до другого берега доберутся и несколько лошадей; но все остальное придется бросить и надо спешить: лед начинает таять.

Ней огляделся вокруг себя: на месте была едва одна тысяча человек. Колонна, состоящая из ослабевших, раненых и больных распалась в поисках продовольствия.

— Даю на сбор три часа,— сказал Ней.

— Переходите, господин маршал; я же останусь и буду следить за переправой колонны,— сказал генерал Рикар.

— Я перейду последним,— ответил Ней,— только посплю эти три часа, так как не спал всю ночь. Пусть меня разбудят, когда наступит время переправы.

И, завернувшись в свой плащ, он лег на снег и заснул, как сделал бы Цезарь, Ганнибал или Александр. Маршал обладал неукротимым темпераментом великих военачальников, могучим здоровьем, которым наделены герои.

Через три часа его разбудили. Все, что можно было собрать, сгрудилось на берегу реки; но до зари оставалось лишь два часа: надо спешить.

Луи Ришар перешел первым и так же успешно; но те, кто шел за ним, объявили, что чувствуют, как под ними прогибается лед; немного дальше они закричали, что лед уходит под воду, а они идут по колено в воде; затем им не надо было уже ничего говорить: все услышали, как трещит лед.

— Переходить по одному,— крикнул маршал.

Все подчинились из чувства самосохранения.

Длинный ряд солдат, идущих на расстоянии один от другого, робко вступил на реку, подвижная поверхность которой колебалась у них под ногами.

Первые добрались до противоположного берега; но там крутой, обледеневший, скользкий склон, казалось, толкал их обратно в реку. Они собирались покинуть землю древней Руси, но земля России словно хотела оставить у себя живых вместе с мертвыми!

Многие французы, наполовину преодолев склон, оступились, покатались вниз и, разбив своей тяжестью хрупкий слой льда, исчезли в реке.

Потом, к одиннадцати часам вечера, поскольку пришлось потратить пять часов на этот медленный опасный переход, наступила очередь больных, женщин и детей, шедших с колонной; до этого момента они передвигались в повозках; и теперь эти несчастные не хотели выходить из них, так как они заключали в себе все, чем они обладали, да и к тому же как двигаться дальше?

Отыскивали место, где лед был покрепче и несколько лошадей уже перешли; маршал разрешил пройти по тому же месту и повозкам.

Две или три — рискнули на это.

Все шло хорошо, пока они не прошли треть реки; там

лед начал прогибаться и трещать, раздались крики; но повернуть назад уже было невозможно. Спасение было лишь в том, чтобы большой вес не оставался на одном и том же месте.

Начали подталкивать лошадей и, несмотря на их инстинкт, подсказывающий им, что не следует идти по подвижной поверхности, лошади, подобно людям, преодолели свой страх и двинулись вперед, шумно храпя.

И те, кто уже прошел, и те, кому еще предстояло перейти, тревожно следили за этой переправой... Вдруг они увидели, как едва видимые во мраке эти массы людей, лошадей и повозки вдруг неуверенно остановились; лошади забили ногами по воде, раздались крики ужаса, потом стоны, затем жалобные крики, которые постепенно затихали и вскоре затихли вовсе... Тогда взгляды людей, отвернувшихся в отчаянье в сторону, снова обратились на лед: он был пуст, все исчезло, поглощенное бездной. Только в двух-трех местах бурлила вода — и больше ничего!

Поэтому пришлось покинуть драгоценные телеги и выбрать на них лишь то, что хотели спасти. Выбор был долгим, от страха он длился дольше, чем было можно. Затем женщины с детьми на руках, раненые, цепляясь друг за друга, начали переходить через реку, словно длинная вереница молчаливых привидений.

Одна треть осталась в реке, две трети перешли ее.

Можно сказать, это было повторение в меньшем объеме ужасной драмы, имевшей место у Березины.

Наконец к полуночи все перешли или утонули.

Оставалось около полутора тысяч человек, которые в состоянии были держать оружие, и три-четыре тысячи раненых, больных, женщин и детей.

Что же касается пушек, то их даже не пытались спасти, их затопили.

Ней перешел последним, как он и сказал. Добравшись до другого берега реки, он повел вперед эту несчастную толпу.

Луи Ришар шагал первым; глубокая моральная боль, которую он испытывал, казалось, делала его нечувствительным к холоду и опасностям. Через четверть часа он наклонился и пощупал землю; они добрались наконец до настоящей дороги; глубокие колдобины указывали, что тут прошли артиллерия, телеги, лазаретные фургоны.

Так они избежали столкновения с армией, за один день преодолели холод, за один день — реку, и тут надо было сражаться снова.

Все выбились из сил; давно потеряли надежду. Но Ней крикнул: «Вперед!», и все пошли вперед.

Эта дорога привела к деревне, которую они захватили.

И тогда в этой бродячей орде людей на мгновение проснулась радость, как бывает во время грозы, когда на секунду блеснет молния. Тут нашли все, чего не хватало с самой Москвы: продовольствие, теплые жилища, живых людей! Правда, эти люди были врагами, но тишина, пустыня, смерть были еще более опасными врагами!

На два часа остановились в деревне, потом вновь тронулись в путь: впереди, в двадцати или тридцати лье находилась Орша, где надеялись встретить французскую армию.

В десять часов, когда все отдыхали в деревне — это была третья по счету, которую встретили с часу ночи, темные стволы елей, которые, казалось, шли вместе с колонной беглецов, наполнились шумом и движением: то были казаки Платова, которые узнали о передвижении армии Ней, если можно было назвать армией двенадцатипятнадцать сотен бойцов и несколько тысяч чуть живых людей.

На берегу Днепра встретила еще одна деревенька, спрятались там; по крайней мере левый бок был прикрыт рекой.

С самой зари шесть или восемь тысяч русских солдат с двадцатью пятью пушками следовали по правому флангу колонны. Почему они не стреляли? Почему не воспользовались двумя или тремя переходами, чтобы нас атаковать?

Начальник был пьян, он не мог отдавать приказы, а солдаты не решались действовать самостоятельно!

На этот раз Провидение было не на стороне пьяниц.

Однако наступил момент, когда надо было сражаться, по крайней мере так полагали. Но Ней знал этих несчастных.

— Солдаты,— сказал он своим людям, которые в этот момент ели.— Заканчивайте спокойно свою трапезу; чтобы удержать противника, нам хватит двух сотен из вас, тех, кто лучше вооружен.

Двести солдат, отобранных Луи Ришаром, окружили маршала.

Ней не ошибался: с этими двумя сотнями солдат он удержал на расстоянии шесть тысяч казаков. Правда, их предводитель еще не пришел в себя.

Одновременно с этим был отдан приказ, как только все поедят, трогаться в путь.

Через час колонна двинулась.

Может быть, казаки хотели уберечь деревню, так как, едва последний человек из французской колонны отошел от последней хижины в деревне, как загрели пушки, засверкали копья; колонна, со всех сторон окруженная казаками, подверглась яростной атаке. Кроме того, раненые, больные, женщины, дети, охваченные ужасом, бросились на фланг маленькой армии в поисках укрытия и едва не опрокинули их в реку.

Ней приказывает подставить им штыки, они вынуждены остановиться.

Тогда вместо того, чтобы быть причиной разгрома, они становятся причиной спасения; вместо того, чтобы быть препятствием, они являются защитой.

Пики шарят по этой массе, пушки стреляют в нее, но удары в ней вязнут, не достигают самого сердца армии: слабые охраняют сильных, невольные, но эффективные живые щиты.

В это время маршал ускоряет шаг, прикрытый с одной стороны рекой, с другой — этой массой, в которой тонут удары.

Однако иногда из-за неровностей земли его оттесняют от берега реки, и линия казаков проходит между ним и рекой. В иных случаях, чтобы не тратить боеприпасы, Ней со шпагой в руке бросается вперед во главе пятисот или шестисот штыков; тогда они гонят казаков впереди себя, сталкивая людей и лошадей в реку: друзья и враги, французы и русские будут вынесены одними и теми же водами к Черному морю.

Так они шли два дня подряд, делая по двадцать лье, словно осажденное, но передвигающееся население; так бежит бык, сопровождаемый кусающими его слепнями.

Наконец наступила третья ночь; они вошли в нее, как в надежду на отдых; но нельзя было останавливаться: приходилось бросать тех, кто упал; у некоторых хватало сил по просьбе друга разбить ему голову!

Ней видел все это, обеими руками он сжимал готовое разорваться сердце, и отводил в сторону залитые слезами глаза.

Как мы сказали, настала ночь; ощупью продвигались вперед посреди елового леса, наталкивались на стволы, с которых дождем осыпался снег. Вдруг темный лес освещается, взрываясь артиллерийским залпом, картечь, свистя, врзается в ели и в людей, вырывая у них крик боли.

Колонна людей отступает, смешивается, кружится во доворотом.

— А! Наконец-то мы их держим! — восклицает Ней.— Вперед, друзья, вперед!

И с пятьюдесятью солдатами этот человек-титан, этот гомеровский герой, этот Аякс, который желает вырваться из западни, вопреки всему бросается вперед и, вместо того чтобы убежать самому, обращает в бегство своих преследователей.

Мсье де Сегюр сделал из всего этого большую поэму. Почему сделал он только поэму, а не что-либо иное? Разве Академия запрещает ему писать?

Нет, он видел это ужасное зрелище и захотел передать испытанные ощущения; как Эней, он мог сказать: «Et quogum pars magna fui»¹.

Когда пришло утро, они вновь натолкнулись на пики и ядра казаков Платова. Правда, можно было укрыться в лесу: но это была слабая защита: простыми ружьями отогнать осаждающих они не могли; а те шли рядом, преследуя и уничтожая нас, поливая огнем по всему пути следования. Приходилось ждать смерти и принимать ее, не имея возможности дать ее: они ждали и умирали.

Шли под огнем, останавливались под огнем, ели под огнем; их убивали в пути, на отдыхе, за едой; можно было бы сказать, что лишь Смерть не уставала.

Наступила еще одна ночь — четвертая. Решили не останавливаться, а идти дальше. Французы должны были быть близко.

Оставалось десятка два всадников, десятка два лошадей; Луи Ришар, прошедший без единой царапины среди тысячи мертвых, возглавил этих всадников и пошел вперед по тому направлению, где, предполагалось, должна быть Орша, то есть французская армия.

¹ В чем и моя большая доля (лат.).

Отдам корону за коня!
Ричард III.

Отдам триста миллионов за Нея!
Наполеон.

14 ноября, как мы уже говорили, Наполеон оставил Смоленск.

В первый день не встретили иного врага, чем местный рельеф — врага достаточно сильного, достаточно ужасного; его одного было довольно, чтобы сокрушить армию! Вышли ночью, тихо; однако эта тишина то и дело нарушалась проклятиями солдат обоза, ударами, которыми они награждали лошадей, шумом, производимым пушками и ящиками с боеприпасами. С большим трудом выкарабкивались они на вершину какой-либо складки местности, а там под силой тяжести падали вперемежку вниз, рассыпаясь и давя друг друга на дне оврага.

Артиллерия гвардии тратила двадцать два часа, чтобы продвинуться на пять лье!

Армия растянулась на десять лье, то есть от Смоленска до Красного.

Люди, спешившие убежать, были уже в Красном, а доходяги едва лишь выходили за ворота Смоленска.

Корытня находится на полпути от Смоленска до Красного, следовательно, в пяти лье от Смоленска и в пяти лье от Красного. Наполеон рассчитывал остановиться в Корытне; но там другая дорога от Ельни пересекалась с дорогой на Красный, по этой дороге двигалась другая армия, и в этой армии царил порядок, тогда как в нашей — беспорядок, та армия была многочисленна, тогда как наша была сокращена, та армия была полна сил, тогда как наша изнемогала.

Та армия состояла из девяноста тысяч человек, ею командовал Кутузов.

Ее авангард обогнал нас в Корытне.

Наполеону сообщили эту новость.

— Но я рассчитываю остановиться в Корытне, — сказал он, — пусть оттуда выгонят русских!

Один генерал, неизвестно кто, — только великие имена остались после этого разгрома, так же, как лишь крупные обломки привлекают взгляд при кораблекрушении, — так вот один генерал возглавил тысячу солдат, и они выгнали русских из Корытни.

Отчаяние или, вернее, бесстрашное отношение к смерти многократно умножило силы людей: то, что прежде делали с трудом десять тысяч человек, теперь совершали с пятью сотнями!

В тот момент, когда Наполеон входил в Корытню, ему сообщили, что еще один авангард засел в овраге в трех лье от села: это был авангард Милорадовича, который быстро подходил с двадцатью пятью тысячами солдат.

Таким образом, чтобы вернуться во Францию, надо было пробиться через армию из ста пятнадцати человек!

Наполеон слушал этот доклад в единственном доме, который остался невредимым из всего села Корытня. Люди говорили между собой, что этот дом был, возможно, ловушкой, куда хотели завлечь Наполеона; что он мог быть заминирован; что какой-нибудь мужик мог пожертвовать собой и в удобный момент прийти поджечь спряганный фитиль, и тогда полубог, который произвел на земле больше бурь, чем это сделал Юпитер на небе, исчезнет, как Ромул, в одной из них! Наполеон слышал или нет о том, что говорилось; он пошел и сел у стола, где были развернуты карты дорог, карты неизвестной ему страны, которые были весьма приблизительны.

Вошел адъютант генерала Себастьяни.

Он обнаружил в Красном авангард третьей армии, неизвестно кому принадлежащей. Себастьяни собирался опрокинуть ее, чтобы освободить проход, об этом просили сообщить Наполеону.

Кроме того, прошел слух — его принес тот же адъютант, — что в деревне, расположенной в трех лье от Красного, четвертый авангард, который предположительно принадлежал к какой-то нерегулярной казачьей части, похитил солдат, шедших поодиночке, и двух генералов.

Все ждали, что Наполеон, узнав обо всех этих передвижениях противника вокруг и впереди него, пошлет приказ корпусам Евгения, Даву и Нея, оставшимся в Смоленске, ускорить свой марш, чтобы выставить по крайней мере пятнадцать — двадцать человек в бой против двухсот тысяч; Наполеон не отдал никакого приказа и остался в задумчивости.

На следующий день тронулись в путь, словно разведчики сообщили, что дорога свободна; колонна с Наполеоном в центре шла вперед, не принимая никаких предосторожностей, как если бы та звезда, которая вела к Ма-

ренго и Аустерлицу этих победителей всего мира, все еще сияла в снежном небе России.

Мародеры и беглецы образовывали авангард; больные и раненые — арьергард.

Сердце билось лишь там, где был Наполеон.

Вдруг перед ними возникла неподвижная линия — на заснеженной равнине возвышался заслон из людей и лошадей.

Мародеры и беглецы остановились, их откат назад толкнул лошадь Наполеона, тот поднял голову, направил свою подозрную трубу на черную линию и проговорил:

— Это казаки. Бросьте на них дюжину стрелков, пусть они пробьют брешь, и мы пройдем!

Один офицер собирает дюжину солдат и пробивает этот заслон, вся линия рассыпается, словно стайка спугнутых птиц: проход свободен.

Но вот слева батарея пушек открывает огонь; снаряды бьют по флангу колонны и перепахивают дорогу, по которой она движется.

Все взоры обращаются к Наполеону.

— Что там? — спрашивает он.

— Посмотрите, сир!

Ему показывают, как в десяти шагах от него один снаряд уносит трех солдат.

— Уберите эту батарею! — говорит он.

Эксельманс, раненный, возглавляет семь или восемь сотен вестфальцев, атакует батарею, в это время остатки старой гвардии теснятся вокруг Наполеона, чтобы смягчить удары.

И под этим огнем подразделения проходят спокойно и беззаботно; музыканты гвардии играют песню «Где может быть лучше, чем в лоне своей семьи?».

Но император поднимает руку; музыка прекращается.

— Друзья мои, — говорит он, — играйте «Будем на страже спасения империи!».

И в то время, как гремит канонада, на которую нечем ответить, кроме холодного и гордого мужества, музыканты спокойно, словно на параде, играют песню, заказанную Наполеоном.

Огонь прекратился, прежде чем закончилась песня.

Эксельманс поднялся на холм и опрокинул артиллерию и артиллеристов.

— Видите, — сказал Наполеон. — С каким врагом мы имеем дело!

В тот день землю было труднее победить, чем врага: мы потеряли всего лишь сотню солдат; но каждый подъем на дороге стоил нам пушки, зарядного ящика, повозки

К несчастью, хотя все отставшие успевали грабить, у них не хватало времени разобрать пушки: а каждая из них час спустя могла обернуться против нас.

Наполеон прибыл в Красный; но, к несчастью, позади него шла двадцатипятитысячная армия Милорадовича. Спустившись в равнину, она оказалась между Наполеоном и тремя армейскими корпусами, которые шли следом.

Таким образом, проведя ночь в Красном, в тот момент, когда армия собиралась вновь тронуться в путь, они слышали пушечную стрельбу в пяти-шести лье позади себя: это был корпус Евгения, атакованный Милорадовичем, он устилал мертвыми то поле боя, по которому, в свою очередь, должен был пройти Нея, это там, среди трупов, Поль Ришар, сам ставший теперь трупом, искал тело своего брата.

Наполеон отдал приказ колоннам остановиться; давно уже его горячо любимый Евгений искупил ошибки, совершенные в Порденоне и Сицилии: император не оставит Евгения в руках врага.

Наполеон прождал весь день, но Евгений не появился.

Вечером канонада стихла.

У Наполеона была надежда, и он громко высказал ее, чтобы увеличить свое доверие на поддержку остальных: Евгений, несомненно, отошел к Нею и Даву, на следующий день они увидят, как три корпуса прорвут линию русских войск и присоединятся к нашему арьергарду.

Прошла ночь, наступил день, но ничего не произошло; только проснулись пушки: это был Кутузов, который бил по Нею с тех же самых холмов, с которых накануне он разбил Евгения.

Наполеон вызвал к себе трех маршалов, которые были при нем: Бессьера, Мортье и Лефевра; что же до Бертье, звать его не было надобности; Бертье не покидает его никогда. Бертье — это тень Наполеона.

Очевидно, позади французской армии собралась вся русская армия. Она решила, что окружила Наполеона: ведь она пропустила его вперед, решила, что Цезарь взят, но она держала лишь его приближенных.

Если быстро пойти вперед — в то время, как враг обрушится на Евгения, Даву, Нея, — можно выиграть у противника один, два, быть может, три перехода, тогда они будут спасены, так как окажутся в Литве, дружествен-

ной стране, а русские, в свою очередь, будут на вражеской территории.

Но это было бы трусостью и подлостью бросить своих славных соратников, спасти голову за счет конечностей! Не лучше ли будет умереть всем вместе или всем вместе спастись?

Наполеон больше не приказывает, он спрашивает. Он больше не говорит: «Я хочу!», он говорит: «Хотите ли вы?»

И только один ему отвечает: «Пошли!»

Тогда кабан со стальными клыками оборачивается, но в этот момент ему говорят, что русский генерал Ожаровский обогнал его со своим авангардом; нельзя вернуться в Россию, имея русских позади себя.

Император вызывает Раппа.

— Иди на этот авангард,— говорит он ему,— не теряй ни минуты, атакуй его в темноте. Ни одного выстрела, понимаешь? Только штыки! В первый раз они проявили такую храбрость, и я хочу, чтобы она им надолго запомнилась!

Когда Наполеон приказывал, все немедленно повиновались; не сказав ни слова в ответ, Рапп бросился вперед; но едва он прошел десять шагов, как Наполеон позвал его назад.

За одну минуту через его мозг пронесся целый мир мыслей.

— Нет,— сказал он,— оставайся здесь, Рапп, я не хочу, чтобы ты погиб в этой схватке; в будущем году ты мне понадобишься в Данциге. Пусть тебя заменит Роке.

И Рапп отправился, задумавшись, в свою очередь, передать ли этот приказ генералу Роке. А задуматься было над чем, так как в самом деле это удивительно: окруженный столятидесяти тысячной армией русских, в то время, когда все кругом говорили о Франции, как о какой-то воображаемой земле, он, Наполеон, видит то, что будет делать через год, и указывает одному из своих помощников город, который тот будет защищать в ста восьмидесяти пяти лье от того места, где сам он сегодня не может защититься!

Роке ушел, напал на врага в штыковом бою, выгнал его из Ширкова и Мальево, нанеся ему такой удар, что русская армия отступила на десять лье и прекратила на сутки свое движение.

Около полуночи объявился Евгений.

Принц пробился через русскую армию, но совершенно не знал о том, что стало с Даву и Неем. По всей вероятности, они сражались, так как весь день справа от себя он слышал гром пушек.

Решительно, Кутузов был Провидением для французской армии: этот старик, такой же застывший, как и его зима, довольствовался тем, что уничтожал врага своими пушками, как зима — снегом и ветром.

Наполеон воспользовался инертностью Кутузова и той встряской, которую Роке оказал Ожаровскому, и отправил до Орши и Борисова Виктора с тридцатью тысячами человек и Шварценберга с обозом; но он не бросит в беде Даву и Нею, как не бросил Евгения, а постарается соединиться с ними. Только он совершит этот непосильный марш не для того, чтобы одержать великую победу, как это было в Экмюле, а для того, чтобы спасти двух своих маршалов с остатками их двух армий!

17-го числа он приказал быть готовыми к пяти часам утра; затем, когда вся армия, то есть то, что от нее осталось, думает, что он направится к Польше, Наполеон поворачивается к ней спиной и идет на север.

— Куда мы идем? — спрашивают все голоса, — по какой дороге мы должны идти?

— Мы идем спасать Даву и Нею! Идем по пути преданности!

И голоса смолкли; все стало ясно, все подчинилось.

Наполеон вырвет обоих своих помощников у России или останется вместе с ними. Спасенный Евгений продолжит свой путь к Лиде; после совершенного им рывка, он еще может идти, но уже не может сражаться.

Генерал Клапаред с больными и ранеными будет оборонять Красный; чтобы сдерживать врага, который падает от любого прикосновения, достаточно больных и раненых.

Днем Наполеон очутился между тремя армиями: одна — справа от него, одна — слева, одна — впереди. Этим армиям стоило лишь соединиться, и они задушили бы своими ста двадцатью тысячами солдат Наполеона с его одиннадцатью тысячами человек! Им следовало лишь подтянуть свои батареи, стрелять в течение одного дня, и они их раздавили бы! Ни один не ушел бы! Люди остались на месте; пушки молчали.

Перед русскими стояли невидимые для самих французов тени Риволи, Пирамид, Маренго, Аустерлица, Йены, Фридланда, Экмюля и Ваграма!

Понадобилось три года, чтобы стала понятна уязвимость этого Ахилла, нужна была Англия, этот яростный враг, чтобы вонзить кинжал в сердце умирающего льва; понадобился большой овраг под Ватерлоо, чтобы похоронить императорскую гвардию!

Наконец заговорили пушки; это было в Красном. Враг, не трогавший Наполеона, атаковал Клапареда.

Они оказались запертыми со всех четырех сторон.

Конечно, это было сигналом, что-то вроде того, что имело место в Кремле, но в большем объеме: шли на огонь, посреди двух стен огня.

И вдруг эта пылающая стена открылась, чудом пробитая Даву с его людьми!

Осталось освободить только Нея.

Даву ничего не слышал о нем: он знал только, что его соратник был позади, в одном дне марша. Между тем ждать его под таким огнем было невозможно: армия растопилась бы там, как бронза в печи.

Наполеон вызвал Мортье.

Он приказал ему защищать Красный возможно дольше, ожидать там Нея, в то время как сам он откроет путь всей армии через Оршу и Лиду.

Мы уже сказали, что Наполеон — это была сила, а нужна была грозная военная машина, чтобы пробить сорок тысяч русских войск, которые проскользнули за его спиной и встали на пути в Польшу, пока Наполеон двигался к Смоленску.

Император с остатками старой гвардии направляется по дороге на Красный; Мортье, Даву и Роке поддерживают отступление. Роке с молодой гвардией, возглавившие накануне колонну в Ширкове и Мальево, на следующий день в Красном превратились в арьергард, потому что от целого полка, который дважды бросался в атаку на русские батареи, оставалось только пятьдесят солдат и одиннадцать офицеров!

Вечером Наполеон прибыл в Лиду, на следующий день в Оршу.

В Смоленске у него было двадцать пять тысяч солдат, сто пятьдесят пушек, продовольствие, казна, в Орше у него остались только десять тысяч солдат, двадцать пять пушек и разграбленная казна.

Это было не отступление, а бегство. Речь шла не о том, чтобы отступить, а о том, чтобы бежать.

Отправили генерала Эбле с восемью саперными ротами обеспечить переправу этих десяти тысяч человек через Березину.

Вероятно, Наполеону надо было оставить Оршу, но тогда он бросил бы Нея.

Всю ночь, каждый час он открывает свою дверь и спрашивает:

— Есть новости от Нея?

При каждом шуме на улице он открывает окно и спрашивает:

— Это не Ней идет?

Все взгляды обращены на север, но там не видно ничего, кроме все более и более сгущающихся линий русских батальонов А, прислушиваясь, люди не слышали даже грома пушек: было тихо как в могиле; если Ней жив, он бы сражался... Ней мертв!

И как будто эта смерть была уже свершившимся фактом, люди начали повторять друг другу:

— Я видел его 15-го, вот, что он мне сказал...

— А я видел его 16-го, вот, что он мне ответил...

Наполеон же повторял:

— Ней! Мой храбрый Ней! Я не пожалею тех миллионов, которые лежат в моем подвале в Тюильри, за моего графа Эльчингена, моего Московского принца!

И вдруг среди ночи послышался галоп приближающейся лошади, затем возгласы, где произносили имя Нея.

— Ней? — крикнул Наполеон. — Кто принес вести о Нее?

К императору подтолкнули молодого человека в обтрепанном синем мундире, расшитом серебром.

Наполеон узнал в нем адъютанта Евгения.

— А! Это вы, месье Поль Ришар! — произнес император.

— Нет, сир: я — Луи Ришар... Мой брат Поль мертв! Но маршал жив, сир.

— Где он?

— В трех лье отсюда, он просит помощи.

— Даву! Евгений! Мортье! На помощь к Нею! Идите сюда, мои маршалы! Есть новости от Нея... Все наши потери восполнимы: Ней спасен!

Первым вошел Евгений.

— Евгений, этому вестнику хороших новостей крест офицера Почетного легиона.

— Вот орден моего брата, сир, — сказал молодой человек, доставая с груди крест, который он снял с мундира Поля после его смерти.

— А! Это вы, мой храбрый Луи! — воскликнул Евгений. — Какую добрую новость вы принесли, но сам вестник сделал ее еще лучше!

— Сир,— сказал входя Мортье,— я готов отправиться в путь.

— И я тоже,— сказал Евгений.

— Я — старый друг принца,— ответил Мортье.

— Сир,— продолжал Евгений,— я — король, требую прерогативы, полагающейся мне по рангу; никто не подаст Нею руки прежде меня.

Мортье отступил назад.

— Пожмите мою руку, месье,— сказал ему император.

Мортье взял руку Наполеона и со вздохом поцеловал ее.

— Когда-нибудь я сделаю тебя королем, Мортье, и тогда ты тоже скажешь: «Я хочу!»

Через два часа Ней вошел в комнату Наполеона, и тот раскрыл ему объятия с возгласом:

— Я спас своих орлов, поскольку ты жив, мой храбрый Ней!

Потом, обращаясь к тем, кто окружал его, сказал:

— Господа, три часа тому назад я отдал бы триста миллионов за эту минуту радости. Бог дал мне ее даром!

XVII

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Три года тому назад, почти день в день, перед началом этих военных сцен, мы приглашали наших читателей в личный кабинет Наполеона в Тюильри; попросим же их теперь подождать нас там среди той печальной и безмолвной темноты пустынных дворцов их хозяев; стоит декабрь 1812 года: теперь они недолго простоят темными и молчаливыми.

В самом деле, в эту минуту перед будкой у ворот дворца Тюильри, выходящих на улицу Эшель, остановилась разбитая дорожная карета и безуспешно старалась въехать во двор.

Наконец разбуженный солдатами охраны, а не стуком в ворота консьерж решил осведомиться о причине этого шума и был ошеломлен, увидев перед собой мамелюка Рустана, одетого в свою египетскую форму, который через решетку кричал ему в нетерпении:

— Да поторопись же! Это император!

Консьерж бросился к воротам, которые тотчас же со скрипом открылись, повозка проехала под будкой, пере-

секла по диагонали двор и остановилась перед главным входом.

Двое мужчин, один высокого, второй среднего роста, закутанные в меха, вышли из кареты и быстро поднялись по лестнице.

Мамелюк Рустан идет перед ними и повторяет только одно слово:

— Император! Император! Император!

Слуга, прибывший одновременно со знаменитым путником, отобрал канделябр из рук одного из своих братьев, выбежавшего на шум, и направился прямо в рабочий кабинет Наполеона.

Он знает, что сон — это всего лишь второстепенная потребность этого железного человека, которому все подчиняются.

Император пересекает кабинет, где три года назад он на минуту прилег и уснул, где бедная Жозефина, легкая, словно тень, подошла к нему и нежно, как ласковый сон, прикоснулась к его лбу губами.

На этот раз он не останавливается и не засыпает, он быстро входит и говорит:

— Великого канцлера!

Он требует по-прежнему Камбасереса, но требует его одного.

Затем, сопровождаемый мужчиной высокого роста, он идет по коридору, ведущему к императрице.

Императрица собиралась спать; она только что отпустила свою камеристку мадам Дюран и ложилась в постель, когда эта камеристка, которая также готовилась лечь спать в комнате, соседней со спальней императрицы, услышала шаги в гостиной, открыла дверь и, увидев, как входят двое мужчин, вскрикнула.

Затем, не понимая, как в подобный час два человека смогли проникнуть в эти покои, и беспокоясь в отношении намерений двух таинственных людей, закутанных в плащи, словно заговорщики, она кидается к дверям, ведущим в спальню императрицы, чтобы защитить ее от вторжения незнакомцев, как вдруг один из двух мужчин сбрасывает свой плащ на кресло, и она узнает Наполеона.

— Император! — восклицает она. — Император!

И почтительно отступает в сторону.

Тогда император, сделав знак своему спутнику подождать его, проходит в спальню со словами:

— Это я, Луиза, это я.

Так как императрица, а это уже не та прелестная креолка, стройная, несмотря на свои сорок лет, с очаровательной улыбкой, матовым цветом лица, черными глазами и смоляными волосами, добрый гений, который получил только корону, но вернул ореол; это уже не возлюбленная, популярная Жозефина. Императрица — это двадцатитрехлетняя женщина, белокурая, полная, холодная, с голубыми глазами навывкате, с бело-розовым лицом, с отвисшей нижней губой, это дочь Франциска II, племянника Марии-Антуанетты, которая превратила Наполеона в племянника Людовика XVI, это — антипатичная, непопулярная Мария-Луиза.

Неужели Наполеон ожидал другую? Зачем он пришел к этой? Тайна человеческого сердца, необъяснимая для всех, но она такая же у императора, как и у любого из его подданных.

— Император! — удивленно воскликнула Мария-Луиза.

«Бонапарт!» — воскликнула бы Жозефина радостно.

Она была права, эта белокурая дочь Арминиуса, потомок Цезарей с отвисшей губой: это не был больше Бонапарт, это был император.

Как он преодолел это расстояние от Орши, где мы его оставили и где он встретил своего Нея, то расстояние, которое отделяло его от Парижа?

Расскажем об этом в двух словах.

Во время короткой остановки, которую император сделал в Корытне, из Франции к нему прибыл курьер. Он привез письмо от графа Фрошо; это письмо заставило побледнеть императора, который не бледнел с тех пор, как оставил Москву.

Затем он схватил перо, придвинул к себе бумагу и написал длинный ответ, но, опасаясь, без сомнения, как бы его посланного не схватили русские, он разорвал то, что написал, в Орше сжег все остальные документы вместе с письмом графа Фрошо, которое никто не видел и содержания которого никто никогда не узнал; затем впечатление, произведенное письмом, постепенно стерлось с его лица, которое вновь стало спокойным, как обычно, но оно не угасло в его уме.

Наполеон еще раньше решил, что отступление пройдет через Борисов, и, как мы помним, отправил Эбле навести понтоны через Березину.

22 ноября пустились в путь по широкой дороге, обсаженной печальными, с облетевшими листьями, бере-

зами. Шагали, по колено утоная в жидкой грязи. Неве-
роятная вещь! Многие были так слабы, что, упав в эту
жижу, не могли из нее подняться и тонули в ней!

Затем начали поступать ужасные новости.

Вечером увидели скачущего во весь опор офицера,
который потребовал императора.

Чтобы подбодрить всех, император шагал пешком с
палкой в руке, как последний из его солдат.

Офицеру указали на императора.

Вестник дурной новости, он сообщил, что Борисов
взят Чичаковым.

Император невозмутимо выслушал это известие; но,
когда рассказ был окончен, он стукнул палкой о землю
и воскликнул:

— Неужели там, свыше, начертано, чтобы все было
против нас?

Тогда Наполеон остановился и приказал, чтобы со-
жгли все ненужные повозки и половину фургонов и от-
дали лошадей артиллеристам, чтобы забрали всех тягло-
вых лошадей и даже его собственных коней, но не остав-
ляли русским ни одной пушки, ни одного зарядного
ящика.

Затем, подавая всем пример, он углубился в огром-
ный темный Минский лес. Двенадцать или пятнадцать
тысяч человек вошли туда вместе с ним, мрачные и мол-
чаливые, и постепенно огромная армия исчезла среди
деревьев.

Все это следовало за Наполеоном, как древнееврей-
ские беглецы следовали за огненной колонной. Эти лю-
ди, эти призраки, боялись не врага: они страшились зи-
мы. Русские! Что это такое? Все привыкли проходить
сквозь их эскадроны; но холод, снег, лед, голод, жажда,
грязь — вот где были настоящие препятствия!

Дошли до Березины и, невзирая на русских, перепра-
вились через нее. Река была тем чудовищем, которое
схватило армию за ноги, притянуло к себе, а бездна со-
жрала часть ее: там оставили двенадцать тысяч чело-
век,— так как к этому моменту уже соединились с ар-
мейским корпусом Викторá и Удино,— но переправи-
лись.

29-го числа император оставил берега фатальной
реки.

Три реки встали на его пути ужасным барьером в три
различные эпохи: Дунай у Эсслинга, Березина у Борисо-
ва, Эльстер у Лейпцига.

30 ноября он был в Плещеницах, 4-го декабря — в Бенице, 5-го декабря — в местечке Сморгони.

Там он собрал всех своих маршалов, воздал каждому из них ту похвалу, которую они заслужили, а себе, их главе, свою долю хулы, однако добавив следующие слова:

— Будь я Бурбоном, мне было бы легко не совершать ошибок.

Затем, попросив Евгения зачитать им двадцать девятый бюллетень, он официально объявил о своем отъезде.

Этот отъезд должен был состояться в ту же ночь; его присутствие в Париже было необходимо: только из Парижа он мог послать помощь армии, сдержать австрийцев и пруссаков, перестроиться так, чтобы три месяца спустя с пятьюстами тысячами человек оказаться на Висле.

Командование армией он оставлял Неаполитанскому королю.

Было десять часов вечера. Император встал, обнял своих ближайших помощников и уехал.

Он сел в потрепанную повозку вместе с Коленкуром и переводчиком Вонсовичем; позади него в санях ехали Лобо и Дюрок; из всей своей свиты он взял с собой Рустана и выездного лакея.

Сначала он заехал в Медники, где герцог Бассано успокоил его относительно снабжения: запасов хлеба, мяса, водки и фуража было на сто тысяч, и армия могла пробыть там неделю.

Из Ковно и Вилковского, где он сел в сани, император отсылал курьеров, в то время как меняли лошадей. В Варшаве он остановился, посоветовался с польскими министрами, потребовал у них мобилизовать десять тысяч человек, выдал им кое-какие субсидии, пообещал вернуться во главе трехсот тысяч солдат и продолжил свой путь. В Дрездене он повидался с Саксонским королем и написал австрийскому императору; своему наместнику в Веймаре, месье де Сент-Эньяну, временно случившемуся в столице Саксонии, продиктовал письма своим коллегам по конфедерации на Рейне и основным военным командующим в Германии.

Там он оставил свои сани, а месье де Сент-Эньян отдал ему одну из своих карет.

Таким образом, 18-го в одиннадцать часов вечера, как мы уже говорили, он был в Тюильри.

От Москвы до Сморгони он был только Ксенофоном, руководящим своим знаменитым отступлением; от Сморгони до французской границы — лишь Ричардом Львиное сердце, возвращавшимся из Палестины, которого мог арестовать и бросить в тюрьму любой австрийский герцог; в Париже, в Тюильри, он вновь оказывался, по крайней мере на какое-то время, владыкой Европы.

Мы уже видели, как он вошел, прошел через свой кабинет и устремился в спальню Марии-Луизы. Он был там в тот момент, когда ему доложили, что Камбасерес ожидает его приказаний.

Проходя через гостиную, он обнаружил Коленкура, который заснул, ожидая его: только он один мог обходиться без сна.

— О! Это действительно вы, сир! — воскликнул Камбасерес.

— Да, мой дорогой Камбасерес, — ответил Наполеон. — Я приехал, как и четырнадцать лет тому назад, когда уехал из Египта, как беглец.

Но чего не сказал Наполеон, так это того, что при возвращении из Египта его фортуна стояла в зените, а по возвращении из России его судьба была холодной и мрачной, как та страна, которую он покинул.

Камбасерес ждал, он знал, что в данных обстоятельствах Наполеону необходимо было высказаться, ему многое надо было рассказать.

Наполеон прошелся взад и вперед, заложив руки за спину; затем остановился и обратился к Камбасересу, как будто тот мог следить за ходом его мыслей точно так же, как путешественник, склонившийся над берегом реки, следит за течением воды:

— Война, которую я веду, это политическая война; я вел ее без злобы: мне хотелось бы избавить Россию от тех бед, которые она сама себе наделала... Я мог бы вооружить против нее наибольшую часть ее населения, объявив свободу рабам: я отказался от этой меры, которая обрекла бы на смерть и самые ужасные муки тысячи семей.

Затем, по-прежнему отвечая на свои мысли, которые вернули его от болот Березины в Париж гораздо быстрее, чем сани, примчавшие его из Вилковского, он продолжал:

— Именно идеологии Франция обязана всеми теми несчастьями, которые она испытала. Ее вели заблуждения, и действительно, они привели ее к режиму тех лю-

дей, которые провозгласили принцип восстания и возвели его на уровень долга, которые заигрывают с народом, поднимая его на такой уровень суверенности, который он не способен осуществлять. Когда приходится возрождать государство, надо следовать совершенно противоположным принципам; искать преимущества и недостатки различных законодательных актов, надо искать в истории; вот что никогда не следует терять из виду должностным лицам империи: они должны, по примеру президентов Харлея и Моле, всегда быть готовыми защитить суверена, трон и законы. Самая прекрасная смерть для солдата — это смерть на поле брани, но еще более славной будет смерть должностного лица, который погибнет, защищая своего суверена, трон и законы... Но,— добавил он, воодушевляясь,— сколько на свете малодушных должностных лиц, которые постоянно не выполняют свой долг!

И, обернувшись к Камбасересу, продолжал:

— Послушайте, вы, мой друг, скажите, как же все это произошло?

Камбасерес увидел, куда лился весь этот поток слов: он понимал, что речь шла о заговоре Мале, весть о котором, полученная в Корытне, так обеспокоила императора.

— Ваше величество желает знать подробности? — спросил Камбасерес.

— Да, да,— сказал император, усаживаясь.— Скажите мне все.

— Ваше величество знало Мале?

— Нет... только с виду; однажды я увидел его, и мне сказали: «Вот генерал Мале». Я знал, что он состоит в обществе Филадельфов, был большим другом убитого в Ваграме Уде, смерть которого поставили мне в вину... В 1808 году, когда я был в Испании, этот Мале составлял заговор против меня; я мог тогда расстрелять его — у меня было, слава Богу, достаточно доказательств против него,— но что вы хотите, я ненавижу кровь... Тот маленький Штапс сам хотел умереть; я же помиловал его. Они думают, что меня ничего не стоит убить, безумцы! Но вернемся к этому человеку. ...Он находился в сумасшедшем доме, куда я разрешил перевести его... Видите, Камбасерес, вот что значит постоянно говорить со мной о снисхождении! И при этом я жестокий тиран! Где находился этот сумасшедший дом?

— У плотины Трона, сир.

- Как зовут владельца?
- Доктор Дюбюиссон.
- Друг или враг?
- Доктор?
- Да. Я спрашиваю вас, был ли он в числе заговорщиков?
- О! Боже мой! Бедняга! Он и не подозревал ни о чем.
- В конце концов он открыл дверь?
- Э-э! Нет. Мале перелез через стену.
- Один?
- С одним жителем Бордо, аббатом Лафоном; у них был целый портфель, битком набитый приказами, прокламациями. Двое из их сообщников ждали на улице. Бутрё, сборщик налогов, Рато, капрал.
- И эти два чудака позволили себе сыграть роль один — префекта полиции, другой — адъютанта?
- Да, сир.
- Мне кажется, там был еще какой-то священник... Я, однако, немало для них сделал!
- Тот был испанцем.
- Тогда это меня не удивляет...
- Он был старым знакомцем Мале по тюрьме, жил на площади Руайяль. Именно у него и были спрятаны оружие и генеральская форма, перевязь адъютанта и пояс комиссара полиции.
- Они все предусмотрели! — нетерпеливо воскликнул Наполеон. — И что было дальше?
- Переодетый, вооруженный, Мале постучался в казарму Попинкур и приказал доложить о себе полковнику под именем генерала Ламотта...
- Итак, — прошептал Наполеон, — можно совершать подобные штуки под вымышленным именем, кто угодно и как угодно! А что полковник?
- Полковник, сир, лежал больной в постели, в лихорадке; генерал Мале вошел к нему со словами: «Итак, полковник, есть новости: Бонапарт умер!»
- Бонапарт! — повторил Наполеон. — Да, для некоторых я по-прежнему Бонапарт! Но зачем тогда мне были нужны четырнадцать лет успеха, 18 брюмера, коронование, мой альянс с самой старинной европейской семьей, если наступит день, когда первый встречный скажет: «Бонапарт умер!» и все будет кончено?.. Бонапарт умер! Но Наполеон II, что с ним-то сделали? Мне кажется, что Наполеон II все еще жив?

— Сир,— ответил Камбасерес,— вы ведь знаете что такое солдат; когда он видит приказ, он не обсуждает его, а повинуется.

— Да, но если приказ фальшивый?

— Полковник считал, что он подлинный: он вызывает своего майора, приказ снова зачитан так называемым генералом Ламоттом; созывают отряд и отдают его в распоряжение Мале. С этим отрядом, у которого нет ни одного патрона и который для учений пользуется ружьями с деревяшкой вместо кремня, Мале отправляется в Арсенал, приказывает открыть двери, вызывает одного корсиканца по имени Брокшесиаampi...

— Корсиканца? — прервал Наполеон.— Я уверен, что этот не попался на удочку! И что дальше?

— А дальше были генералы Лаори и Гидаль.

— Гидаль! Еще один, которого я мог отдать под военный трибунал и отправить в Тулон: его связь с англичанами была очевидной, надеюсь!

— Да, конечно; но вместо этого ему дают мандат сенатора; затем следует Лаори, которому вручают назначение на пост министра полиции и приказ арестовать своего предшественника Ровиго.

— Этот,— подхватил Наполеон с присущим ему чувством справедливости, которое было в его характере, хотя иногда и могло ему изменить,— этот мог и ошибиться: разбуженный в четыре часа утра, освобожденный военной силой, у него было извинение... Посмотрим, Камбасерес, во что все это вылилось.

— Тут, сир, вся акция разделилась: в то время как новый министр полиции идет арестовывать прежнего, Мале прежде всего отправляет вестового в казарму Вавилон с пакетом, адресованным дежурящим там младшим офицерам; в пакете находились копии постановлений Государственного совета и приказ сменить новой ротой посты на Бирже, Казначействе, Банке и заставах.

— Кто был полковником этого отряда? — спросил Наполеон.

— Полковник Рабб.

— Этот-то хотя бы сопротивлялся, надеюсь?

— Он был так же обманут, как и полковник Сулье, сир, и подчинился приказу.

Наполеон стукнул рукой об руку.

— Да,— прошептал он,— посмотрим!

— В это время Лаори двинулся на здание общей по-

лиции, направив Бутрё на префектуру: префект арестован и переправлен в Министерство внутренних дел...

— В комнату Гидаля... Отлично сделано! Но почему он позволил себя арестовать?

— Однако, сир, посреди всей этой суматохи барон Паскье успел отправить посланного к герцогу Ровиго, но тот не сумел проникнуть к герцогу. Лаори шел быстро и взламывал двери: он собирался уже взломать дверь кабинета министра, когда тот сам появился в дверях.

— Но разве Лаори и Ровиго не были друзьями? Я сейчас уже не могу вспомнить, при каких обстоятельствах Ровиго порекомендовал мне этого человека.

— Они были на ты, сир; поэтому Лаори крикнул министру: «Сдавайся, Савари! Ты — мой пленник, я не хочу причинять тебе зла!»

— А Савари?

— Хотел сопротивляться, сир; вы же знаете, Савари не из тех, кого легко арестовать, но Лаори крикнул: «Хватайте его!», — и на министра набросились десять человек, у него не было оружия, и Гидаль проводил его, всего красного от ярости, в Министерство внутренних дел.

— Рассказывайте дальше, я слушаю!

— Тем временем Мале, которого проводили к коменданту Парижа, графу Юллэну, арестовал его по приказу министра полиции и на первое же возражение графа Юллэна выстрелил ему в челюсть из пистолета, и тот упал к его ногам. Оттуда он прошел к генерал-адъютанту Дусе, начальнику штаба, и объявил ему, что новое правительство оставляет его в прежней должности и указывает, что ему следует делать. Вдруг вошел один человек и, прервав оратора на полуслове, сказал: «Вы не генерал Ламотт, вы — генерал Мале! Вчера, быть может, даже сегодня ночью, вы были государственным преступником!»

— Наконец-то! Хоть один выступил! — воскликнул Наполеон. — Как его зовут?

— Адъютант Лаборд, начальник военной полиции... Тогда Мале, достав свой второй пистолет, приготовился выстрелить в Лаборда, но генерал Дусе остановил его руку и вытолкнул Лаборда за дверь. Там Лаборд встречает Пака, генерального инспектора министерства, который собирался договориться с адъютантом о переводе Гидаля в Тулон. К своему великому удивлению, Пак узнает от Лаборда, что Гидаль — сенатор, Лаори — министр

полиции, Бутрё — префект, что генерал Юллэн серьезно ранен выстрелом из пистолета генералом Мале, главой временного правительства... Пять минут спустя благодаря Лаборду и Паку, Мале схвачен; в свою очередь, Лаори арестован, причем он до конца так и не понял, за что его арестовали. Гидаль взят только вечером, Бутрё через неделю.

— А сегодня,— спросил Наполеон,— что после всего этого осталось?

— Остался генерал Рабб, добившийся отсрочки, и капрал Рато, дядя которого генеральный прокурор в Бордо.

— А остальные?

— Остальные?

— Да, заговорщики?

— Три генерала, полковник Сулье, майор Пикерель, четыре офицера из их корпуса и два из Парижского полка расстреляны 20 октября.

Наполеон на мгновение задумался, затем продолжал после некоторого колебания:

— Как они умерли? — Он устремил на Камбасереса взгляд, который как бы говорил: «Я требую правды».

— Хорошо, сир, так, как подобает военным, даже виновным. Мале был полон иронии, но также полностью убежден в своей правоте; остальные спокойно, твердо, но удивленно, как люди, идущие на казнь вместе с незнакомым человеком и за заговор, о котором они не знали.

— Таким образом, вы сочли нужным позволить эту казнь, мсье великий канцлер?

— Поскольку преступление было велико, я счел должным потребовать быстрого правосудия.

— Может быть, вы правы... со своей точки зрения.

— С моей точки зрения, сир?

— Да, великий канцлер, то есть верховный судья; но с моей точки зрения...

Наполеон остановился.

— Простите, сир,— сказал Камбасерес настойчиво, чтобы проникнуть в мысли Наполеона.

— Так вот, лично с моей точки зрения,— продолжал император,— то есть с политической точки зрения, я действовал бы иначе.

— Сир...

— Я говорю: я, а не вы, мой дорогой Камбасерес,

— То есть ваше величество помиловали бы?

— Всех сообщников, как подчиняющихся приказам сверху.

— А Мале?

— Мале — другое дело: я запер бы его в Шарантоне, как безумного!

— Таким образом генерала Рабба и капрала Рато?

— Пусть завтра утром их освободят, мой дорогой Камбасерес! Пусть знают, что я вернулся в Париж! Потом фамильярным жестом, с которым Наполеон обращался только к очень близким людям:

— Доброй ночи, мой дорогой великий канцлер,— сказал он.— До завтра, на Государственном совете!

И возвращаясь к себе, прошептал:

— Лаори, Лаори... бывший адъютант Моро! Я бы не удивился, узнав, что Моро у Гавра скрестил свою судьбу с английским флотом.

Он ошибся всего лишь на один год: на следующий год Моро уехал из Америки, а под Дрезденом ему оторвало обе ноги французским пушечным ядром!

1 мая 1813 года, как он и заявил своим маршалам, покидая Сморгони, император стоит уже на равнине под Лютценом во главе трехсоттысячной армии.

У него было бы пятьсот тысяч, если бы его не оставила Пруссия, а Австрия не готова была его предать.

Поэтому то была не его вина, не вина Франции, что он собрал на двести тысяч человек меньше, чем сказал.

С 29 апреля раздались вновь первые пушечные залпы.

2 мая победа под Лютценом принесла успех Наполеону и сделала его хозяином всего левого берега Эльбы, от Богемии до Гамбурга!

XVIII

ПУТЬ В ИЗГНАНИЕ

В субботу 23 сентября 1815 года большое судно с английским флагом на корме и адмиральским вымпелом на гафеле пересекло линию экватора; оно шло из Европы и, если судить по направлению, шло к Южной Америке или в Индию.

Это был день «большой бороды», как говорят англичане, а поэтому на борту был праздник.

Этот праздник Нептуна отмечается при подобных обстоятельствах на всех кораблях цивилизованных наро-

дов, одинаковый по сути на всех флотах, но различный по форме.

Как всегда в таких случаях, на борту английского корабля командование было передано экипажу, который единодушно вручил его самому старому матросу, и тот, вооружившись трезубцем, прицепив длинную бороду и украсив голову короной из позолоченной бумаги, восседал на троне, установленном возле большой мачты.

Там его величество подзывало к себе тех, кто впервые пересекал эту географическую широту, приказывал намазать ему лицо смолой, провести по щекам и подбородку огромной жестяной бритвой и, когда они были, таким образом, «обриты», по его приказу опрокидывалась огромная пивная бочка, на голову посвящаемого выливался поток соленой воды.

После этого процедура заканчивалась, и пассажир, офицер или матрос, прошедший через нее, мог идти сушиться под солнцем экватора, в то время как секретарь бога Нептуна выдавал ему справку, свидетельствующую о том, что он заплатил положенную дань.

Посреди этой церемонии на палубе появился вдруг французский офицер и, подойдя к богу Нептуну, сказал на довольно хорошем английском языке:

— Ваше величество, вот сто золотых монет, которые посылает император Наполеон.

— Император Наполеон? — сказал бог. — Я такого не знаю. Знаю только генерала Бонапарта.

— Ладно, пусть так! — сказал офицер, улыбаясь. — Я все время забываю, что генерал Бонапарт десять лет был императором; итак, повторяю: вот сто наполеондоров, присланных от имени генерала Бонапарта.

— Тогда другое дело! — сказал бог, протягивая свою широкую руку.

Но тут белая, тонкая, аристократическая рука протянулась между рукой французского офицера и рукой английского матроса, взяла сто наполеондоров со словами:

— Дайте мне этот кошелек, генерал: я полагаю, будет разумнее раздать их только сегодня вечером.

Бог Нептун заворчал в свою тростниковую бороду, но подчинился, и церемония «большой бороды» должна была продолжиться, как вдруг один матрос закричал:

— Оэ! Там, за кормой, акула!

— На акулу! На акулу! — закричали все голоса.

Даже бог Нептун покинул свой трон и пошел вместе со всеми посмотреть, что происходит на корме.

С разрешения адмирала — так как, согласно вымпелу, на корабле командовал сам адмирал, — матросы собрались на корме, месте, предназначенном только для высших офицеров.

Один из них насадил кусок сала на огромный крючок, прикрепленный к железной цепи, затем забросил эту цепь в море.

Громадная акула, спинной плавник которой скользил по поверхности воды, быстро нырнула, и через несколько секунд матросы увидели, как цепь, одним концом закрепленная на палубе, стала дергаться и натягиваться в различных направлениях. Звенья цепи скрипели, скользя по корпусу судна, можно было подумать, что она сейчас разорвется.

Наконец, рывки стали мало-помалу затихать, и все увидели что-то белое, что дергалось на конце сильно натянутой цепи: это было брюхо агонизирующей акулы.

Тогда раздались громкие крики всего экипажа; крики торжества еще более громкие, чем радостные возгласы, которые слышались в самые кульминационные моменты праздника Нептуна.

И при этих возгласах по лестнице, выходящей на корму, поднялся человек, который еще не появлялся на палубе.

На голове у него была небольшая обычная шляпа, он был одет в зеленый мундир гвардейских стрелков, на котором блестели орден Почетного легиона и простой рыцарский крест, прикрепленные к Железной короне; следом за ним поднялись тот генерал, который передал сто наполеондоров, и еще один офицер лет сорока пяти — пятидесяти в форме французского морского флота.

Это был Наполеон, следовавший за ним — Монтолон, а офицер в морской форме — Лас-Каз.

Они находились на борту «Нортумберленда», которым командовал адмирал Кокберн, корабль шел на остров Святой Елены, всем матросам, офицерам и даже адмиралу было приказано называть Наполеона только генералом Бонапартом; плыли уже с 7 августа: таким образом, исполнилось сорок семь дней с тех пор, как судно вышло с Плимутского рейда.

Только что пересекли линию экватора, но благодаря вниманию адмирала ни император, низведенный до ранга генерала Бонапарта, ни сопровождающие его лица не

подверглись смешной церемонии крещения; и только услышав, что крики на палубе изменились, именитый пленник поднялся на палубу посмотреть, в чем дело.

На борту все является развлечением: когда Наполеон узнал, что только что поймали акулу и она следует за судном на привязи, он уселся на пушке, которая была его обычным местом, и стал ждать.

Спустя некоторое время крики матросов возвестили, что животное начали поднимать наверх; затем над бортом корабля показались его остроконечная голова и пасть, снабженная тройным рядом зубов; с последним рывком его выбросили на палубу; но в тот же самый момент, когда оно падало, матросы поспешно разбежались: ни один из них не желал находиться слишком близко к нему в момент его агонии.

И действительно, едва акула почувствовала под собой твердую опору, как подскочила на высоту фок-мачты; затем, имея рядом со своей пастью лафет пушки, она так вцепилась зубами в дерево, что не смогла высвободить их и какое-то мгновение лежала неподвижно.

Этим воспользовался старший плотник: он подошел к акуле и обрушил ей на голову страшный удар топором.

Животное выдернуло зубы из деревянного лафета, где они оставили глубокий след, и перескочило с правого борта на левый. Три или четыре человека, которые попались на его пути, были опрокинуты ударом, один так и остался лежать без сознания; остальные вспрыгнули на борт, а оттуда вскарабкались на ванты с ловкостью обезьян.

Все это происходило среди криков и хохота экипажа, а маскарад матросов делал эту борьбу еще более живописной.

Сначала Наполеону показалось забавным это сражение с животным, потом, посреди всего этого движения, криков и возгласов он погрузился в глубокое раздумье.

Когда он вернулся к реальности, у акулы уже отрубили голову, вспороли живот; один матрос держал в руке ее сердце, а бортовой хирург смог констатировать, что в то время, как это безголовое туловище, разрезанное во всю длину, лежало на палубе, отделенное от него сердце продолжало сокращаться, настолько велика жизненная сила у этих страшилищ.

Наполеона охватила жалость к этой гигантской боли и страданию: он отвел глаза в сторону и увидел графа Лас-Каза.

— Пойдемте,— сказал он.— Я продиктую вам главу своих мемуаров.

Лас-Каз последовал за императором; но когда они уже спускались по лестнице, командир Росс наклонился к графу и спросил:

— Почему же уходит генерал Бонапарт?

— Император уходит,— ответил ему Лас-Каз,— потому что не может больше смотреть, как страдает это животное.

Англичане с удивлением переглянулись: им говорили, что после каждой битвы Наполеон прогуливался по полю боя, чтобы насладиться видом мертвых и усладить свой слух стонами раненых.

Когда удивление прошло, акулу убрали, отмыли палубу от крови, прерванный праздник продолжался.

А в это время Наполеон диктовал страницу за страницей свои воспоминания, где он опровергает отравление чумных больных в Яффе.

Мысль написать историю своих кампаний пришла к Наполеону от скуки.

Сезон был жарким, дни монотонны; в начале плавания император редко поднимался на палубу, никогда до завтрака, а завтракал он, как и в походе, в разное время.

Англичане же завтракали в восемь часов, французы — в десять.

После завтрака до четырех часов император читал или беседовал с Монтолоном, Бертраном или Лас-Казом. В четыре часа он одевался, проходил в общую каюту, играл в шахматы; в пять часов сам адмирал приходил к нему и сообщал, что обед подан.

Тогда все садились за стол.

Обед у адмирала продолжался обычно в течение двух часов; это было на час пятьдесят минут дольше, чем длились обеды Наполеона. Поэтому с самого первого дня в тот момент, когда подали кофе, император встал; великий маршал и Лас-Каз, также приглашенные за адмиральский стол, тоже встали и вышли.

Удивление всех было велико. Адмирал готов был рассердиться, но пробормотал по-английски несколько возмущенных фраз о недостатке воспитания у императора. Тогда мадам Бертран, задержавшаяся несколько позади остальных, ответила на том же языке:

— Господин адмирал, вы забываете, кажется, что имеете дело с человеком, который был владыкой мира, и когда он вставал из-за стола, будь то в Париже, в Бер-

лине или в Вене, короли, которым он оказал честь, пригласив их к столу, вставали вместе с ним и шли следом.

— Это правда, мадам,— ответил адмирал,— но поскольку мы не короли и не находимся ни в Париже, ни в Берлине, ни в Вене, то не будем считать дурным тоном, что генерал Бонапарт встает из-за стола до окончания обеда; только ему придется смириться с тем, что мы останемся на месте.

И, начиная с этого дня, в этом плане воцарилась полная свобода.

Именно во время этих долгих бесед на борту Лас-Каз услышал из уст самого Наполеона все те анекдоты о детстве и юности пленника Святой Елены, которые он затем приводит в своих мемуарах. Потом наступил момент, когда беседы такого рода истощились, а Наполеону надоело рассказывать, хотя его слушателю ничуть не надоело их слушать; и вот, начиная с 9 сентября, он начал диктовать историю своей Итальянской кампании.

За исключением этого развлечения, которое заняло сначала один час, затем два часа, потом дошло до трех, дни текли одинаково монотонно; так было с понедельника 7 августа до субботы 13 октября.

В тот день за обедом адмирал объявил, что на следующий день к шести часам вечера он надеется познакомиться с островом Святой Елены. Понятно, что это была великая новость на борту: в море пробыли шестьдесят семь дней!

И действительно, на следующий день, когда все сидели за столом, матрос, которого с двух часов пополудни посадили на марсовую мачту, закричал: «Земля!»

В этот момент подавали десерт; все встали и поднялись на палубу.

Император перешел на нос корабля и стал глазами искать землю.

Все, что он смог увидеть, было нечто вроде тумана, клубившегося на горизонте; только глаз моряка мог с уверенностью определить, что этот туман был твердым телом.

На следующий день, едва забрезжил свет, как все собрались на палубе. И хотя часть ночи судно оставалось неподвижным из-за поломки, все же прошли достаточно, чтобы теперь благодаря прозрачному утреннему воздуху остров стал отчетливо виден.

К полудню бросили якорь. От земли находились в трех лье. С того момента, как Наполеон покинул Париж, прошло сто десять дней. Путь к месту ссылки длился дольше, чем второе царствование после Эльбы.

Император, который вышел из своей каюты раньше обычного, прошел вдоль шкафута и устремил на остров невозмутимый взгляд: на его лице не дрогнул ни один мускул; надо сказать, эта каменная маска так хорошо подчинялась воле современного Августа, что живыми казались лишь мускулы вокруг его рта.

Однако вид острова вовсе не вызывал положительных эмоций: было видно вытянувшееся вдоль берега селение, теряющееся в глубине гигантских скал, голых, сухих, сжигаемых солнцем. Как и в Гибралтаре, можно было пообещать сто луидоров тому инженеру, который нашел бы место, где не хватало пушки.

Через десять минут созерцания этого зрелища император повернулся к Лас-Казу:

— Пошли работать! — сказал он.

Он спустился в свою каюту, усадил Лас-Каза и принялся диктовать ему, причем его голос ничуть не изменился.

Когда якорь был брошен, адмирал тотчас же спустился в свою шлюпку и приказал грести к острову.

В шесть часов вечера он вернулся, очень усталый. Он оглядел весь остров и полагал, что нашел подходящее место, но, к несчастью, там требовался ремонт, а на него уйдут по крайней мере два месяца.

Между тем английские министры категорически приказали высадить Наполеона на землю только лишь тогда, когда жилище будет готово к его приему.

Но адмирал поспешил заявить, что генерал Бонапарт устал от моря, и он взял на себя его высадку. Только в тот вечер высаживаться было уже поздно. Адмирал заявил, что завтра они пообедают на час раньше, чем обычно, чтобы сразу же после обеда можно было садиться в лодку.

На следующий день, выйдя из столовой, император увидел всех офицеров, собравшихся на юте, и три четверти всего экипажа, столпившихся на шкафуте.

Шлюпка была готова: он спустился туда вместе с адмиралом и великим маршалом.

Четверть часа спустя 16 октября 1815 года он вступил на землю Святой Елены.

Обо всем остальном можно прочесть в «Прометее» Эсхила.

ЛИЗХЕН ВАЛЬДЕЖ

В тот же самый час, когда Наполеон вступил на высушенную солнцем землю своей ссылки, в маленьком городке Вольфахе, спрятавшемся в глубине одной из самых живописных долин великого герцогства Баден, одна шестнадцатилетняя девушка, подобно Маргарите Гете, остановила колесо своей прялки и, опустив руки, прислонившись головой к стене и подняв глаза к небу, тихонько запела эту, хорошо известную в Германии песню:

Что сталось со мной?
Я словно в чаду,
Минуты покоя
Себе не найду.

Чуть отлучится,
Забьюсь, как в петле,
И я не жилища
На этой земле.

В догадках угрюмых
Брожу, чуть жива,
Сумятица в думах,
В огне голова.

Гляжу, цепenea,
Часами в окно
Заботой моею
Все заслонено.

И вижу вдали я
Походку его,
И стан горделивый,
И глаз колдовство.

И слух мой чаруя,
Течет его речь,
И жар поцелуя
Грозит меня сжечь.

Дойдя до этого места песни, девушка, полностью погруженная в свои мысли, не услышала, как открылась дверь, ведущая во внутренний дворик, и не увидела, как вошел, вернее, остановился на пороге этой двери молодой человек лет двадцати девяти-тридцати, одетый в костюм вестфальского крестьянина.

Хотя мы и говорим «одетый в костюм», но, разглядев поближе этого молодого человека, в нем можно распо-

знать, несмотря на его усилия это скрыть, определенную военную выправку, которая указывала на то, что к этой гибкой и решительной фигуре больше всего подошел бы мундир офицера.

Что же до его лица, то оно было красивым и одновременно мужественным: темно-голубые, живые глаза, светло-русые волосы, прекрасные зубы.

Девушка, которая не заметила его появления, продолжала свою песню:

Где духу набраться,
Чтоб страх победить, .
Рвануться, прижаться,
Руками обвить?

Я б все позабыла,
С ним наедине,
Хотя б это было
Погибелью мне.

Интонация молодой девушки по мере того, как она пела свою песню, становилась такой грустной, можно сказать, почти душераздирающей, что молодой человек, не имея мужества дослушать оставшиеся три или четыре куплета, которые ей осталось допеть, быстро подошел к ней и позвал:

— Лизхен!

Девушка вздрогнула, обернулась и, различив молодого человека в полутьме, которая наступила, так как она не зажигала медную лампу в три горелки, стоявшую на сундуке, произнесла почти испуганным голосом:

— Это вы!

— Да. Что это за печальную, меланхолическую песню вы там поете?

— А вы ее не знаете?

— Нет, — ответил молодой человек.

— Сразу видно, что вы француз!

— По чему видно? По тому, как я говорю по-немецки? Вы меня немного беспокоите, Лизхен, говоря мне эти слова.

— О, нет! Вы говорите по-немецки, как саксонец. Я говорю, видно, что вы — француз, потому что у нас, немцев, эта песня очень популярна, и от Рейна до Дуная, от Кёльна до Вены нет ни одной девушки, которая не пела бы ее; это — «Маргарита за прялкой» нашего великого поэта Гете.

— Да, я ее знаю, — сказал молодой человек с улыбкой. — Вот вам доказательство.

И на чистом саксонском языке, как говорила девушка, он повторил четыре первых стиха из меланхолической песни.

— Так что вы мне говорили?

— О! Боже мой, я говорил вам: «Говорите, Лизхен! Звук вашего голоса радует меня!», как я сказал бы птичке: «Пой, птичка, я люблю слушать твое пение!»

— Ну что ж, теперь я говорю.

— Да, но теперь моя очередь говорить.

Он подошел к девушке и, протянув ей руку, сказал:

— Прощайте!

— Как, прощайте? — воскликнула она.

— Лизхен, мне надо уехать, покинуть Вольфах, я должен уехать еще дальше, в глубь Германии.

— Вам грозит какая-нибудь новая опасность?

— Опасность, которая грозит изгнаннику, — быть арестованным; опасность, которая грозит приговоренному к смерти, — быть расстрелянным.

Затем с видом человека, привыкшего ко всяким опасностям, даже и к таким, добавил:

— Вот и все.

— О! Мой Бог! — сказала девушка, сложив руки. — Я не могу себе этого представить.

— И, однако, это было первым словом, которое я сказал вам три дня тому назад на этом самом месте, войдя через эту же дверь, которую случай, нет, я ошибаюсь, Лизхен, — которую само провидение открыло передо мной, я вам сказал тогда: «Я голоден, меня мучит жажда, я — изгнанник».

— Но позавчера разве вы не сказали мне также, что нашли надежное убежище?

— Лизхен, покидая вас, я должен сделать вам одно признание: это убежище — ваш дом.

Девушка с ужасом посмотрела на молодого человека.

— Наш дом? — воскликнула она. — Вы спрятались в доме моего отца без его разрешения?

— Успокойтесь, Лизхен, — сказал молодой человек. — Я покину этот дом. Но дайте мне прежде сказать вам, как я в него вошел и кого вы приняли.

Девушка оттолкнула свою прялку ногой, оперлась руками на колени и посмотрела на изгнанника дружеским и в то же время обеспокоенным взглядом.

— Я был на Эльбе вместе с Наполеоном. Он послал меня подготовить свое возвращение: тогда я попытался

связаться с полковником Лабедуайером и маршалом Неем. Но оба они были расстреляны; я был осужден так же, как и они, но, вовремя предупрежденный, что меня собираются арестовать, скрылся в Страсбург, на свою родину, где и прятался у одного друга в течение месяца. Четыре дня тому назад, предупрежденный о том, что мое укрытие вновь было обнаружено, я спрыгнул вниз с укреплений, вплавь пересек Рейн и очутился в великом герцогстве Баденском. Прошагав целый день окольными дорогами, знакомыми мне с детства, я добрался до Вольфаха. Моим намерением было пробраться в глубь Германии, где мне надо выполнить одну священную миссию; но встретил вас, Лизхен,— что вы хотите! Человек не всегда хозяин своей судьбы,— я вас встретил и, рискуя тем, что может со мной случиться, остался.

— Я думала, вы ушли. Когда увидела вас на следующий день, была счастлива видеть вас по-прежнему и не спросила, почему вы остались.

— Почему я остался,— сказал молодой человек, окидывая жарким взглядом невинную девушку, которая так наивно признавалась ему в той радости, которую испытала, вновь увидев его.— Почему я остался? Я сейчас вам скажу. Тот темный сарай, который находится во дворе, имеет маленький заброшенный чердак; там я и спрятался, покинув вас. Окошки этого чердака выходят на ваши окна; я ждал ночи, собираясь уйти,— и только бросил один взгляд в вашу сторону, посылая последнее «прости», как вдруг ваше окно открылось, и вы показали в нем... Нет необходимости, Лизхен, говорить вам, что вы красивы; но тогда, под лунным светом, вы были очаровательны!

Лизхен неразборчиво прошептала несколько слов, покраснела и опустила глаза в темноте.

Молодой человек продолжал:

— В руках вы держали букет роз; не знаю, какие чувства воодушевляли вас, какой душевный порыв освещал ваше лицо, но, устремив глаза на дорогу, по которой я должен был уйти, если бы не остался, вы отрывали эти последние лепестки осенних цветов, бледных, как те дни без солнца, когда они родились, и бросали их по направлению к этому Черному лесу, через который, по вашему, я должен был идти.

— Я их обрывала и пускала на ветер, не придавая им никакого направления,— ответила Лизхен.— Ветер понес их туда, куда он дул.

— Ну так что ж! Ветер дул из Франции: это был дружеский ветер! Вы долго пробыли так у своего окна, а я все это время смотрел на вас; потом, когда, наконец, ваше окно закрылось, я не мог заставить себя идти.

— И, однако, сегодня вы уходите? — сказала со вздохом Лизхен.

— Послушайте, — ответил изгнанник, — сегодня я видел, как по городу бродили французские жандармы. Они сотрудничают с жандармами великого герцога, и я не сомневаюсь, что в этот час они уже выслеживают меня.

— Боже мой! Что делать? — воскликнула девушка.

— О! Для меня это неважно, дорогая Лизхен, — сказал молодой человек. — Но обнаружение в вашем доме французского заговорщика скомпрометировало бы вашего отца и особенно вас, которая по моей просьбе сохранила в тайне мое пребывание.

— Эту тайну я сохранила тем более охотно, что мой отец — не знаю уж почему, он такой добрый, хороший христианин, такой отзывчивый, — относится к французам с непримиримой ненавистью; десятки раз я видела, как он вздрагивал и бледнел при одном виде кого-нибудь из ваших соотечественников! И, однако, если для вас будет более надежным остаться здесь, чем бежать, оставайтесь.

— Лизхен! Дорогая Лизхен!

— Жизнь человека в глазах Господа Бога — настолько ценная вещь, что Он, надеюсь, простит мне за то, что я сделала.

— Вы — ангел, Лизхен! — сказал молодой человек. — Но не только опасность, грозящая мне, удаляет меня от вас. Как я уже сказал, у меня есть одна святая миссия, и я должен ее выполнить. Я направляюсь в Баварию.

— В Баварию? — подняла на него девушка свои прекрасные глаза.

— Да, в поисках одной девушки, такой же прекрасной, как и вы, Лизхен, но которая была менее счастлива, чем вы... Когда я выполню эту миссию, то буду свободен, и какой бы опасности ни подвергался, находясь у границ Франции, клянусь — я вернусь к вам!

— Когда же? — спросила Лизхен.

— Когда? Не знаю. Но я прошу у вас три месяца.

— О, три месяца! — радостно воскликнула Лизхен.

— Через три месяца вы снова увидите меня, Лизхен. Обещаете ли вы меня узнать?

— Вы не подвергаете мою память слишком большому испытанию, мсье, я привыкла хранить более трех месяцев память о своих друзьях.

В это мгновение прозвонило семь часов.

Молодой офицер отсчитал один за другим семь ударов колокола.

— Семь часов,— прошептала девушка.— Мой отец сегодня утром уехал в Эттенхейм и скоро вернется.

— Да,— подхватил изгнанник,— и мне тоже пора отправляться в путь.

Он подошел к открытому окну и оглядел горизонт.

— Вы знаете, по какой дороге вам надо идти? — застенчиво спросила Лизхен.

— Да,— ответил молодой человек.— Но я смотрю не на ту дорогу, по которой должен идти, а на ту, по которой пришел.

— Бедный изгнанник! Я понимаю, Вольфах совсем рядом с Францией, и каждый шаг, который вы сделаете...

— Будет удалять меня от нее и от вас, Лизхен; да, это так.

Затем он продолжал с чувством глубокой меланхолии:

— Как странно! Моя жизнь прошла вне Франции: я приезжал туда лишь время от времени, совсем как моряк, все существование которого протекает между небом и водой, он лишь иногда вступает на остров, мимо которого проплывает. С двенадцати до пятнадцати лет я провел в Италии; с пятнадцати до двадцати — в Тироле и в Германии; с двадцати до двадцати пяти — в Иллирии, Австрии и Богемии, с двадцати пяти до двадцати семи — в Польше и России. Никогда, отправляясь в те страны, о которых я упомянул, я не сожалел, что удаляюсь от границ Франции: я следовал за своим знаменем со взглядом, устремленным на орла с развернутыми крыльями, шел туда, куда он! И вот теперь мое сердце разрывается от мысли, что надо покинуть эту Францию! Никогда не казалась она мне такой дорогой! Послушайте, это безумие, Лизхен, но поверьте мне, я отдал бы один год своей жизни, если вы полюбите меня, и десять лет, если вы не полюбите меня, чтобы еще раз увидеть сквозь рейнский туман стрелу на колокольне Страсбурга!

— Да, ведь это родина!

— Вы не представляете себе, что это такое, Лизхен! Я один на белом свете: все, кого я любил — отец, мать, брат,— все умерли. Любовь, почитание, преданность —

я все отдал одному человеку; но этот человек упал с такой высоты, что не увидел меня в своем падении! Я хотел последовать за ним на Святую Елену, как последовал за ним на Эльбу: англичане оттолкнули меня; я вернулся во Францию, там меня приговорили к смерти. Я так устал от всего, что хотя и относительно богат, быть может, и сдался бы сам, имей я в утешение мысль, что какое-нибудь сердце пожалеет меня.

— И ни одного друга? — спросила Лизхен.

— Моими друзьями были товарищи по оружию: я их видел павшими на полях сражений по всей Европе; те же, кто выжил, что с ними стало? Такие же отверженные, как и я! Они рассеяны и бродят по тому миру, который завоевали!

И молодой человек грустно пожал плечами.

— А любовь? — прошептала Лизхен.

— Любовь? Знали ли мы, что это такое, наш брат — это вооруженные люди, шагающие по миру строевым шагом, которых ветер войны гнал впереди себя, а голос, которому все подчинялись, неумолимо повторял: «Марш, марш вперед!» Это невероятно, но так. Скоро мне исполнится тридцать лет, Лизхен, а мое сердце, огрубевшее от всех страшных потрясений, готово испытать нежные волнения; отстрадав, как мужчина, я чувствую себя способным любить, как ребенок.

— Боже мой! — воскликнула вдруг девушка. — Слышите шум кареты на большой дороге?

— Да, — ответил изгнанник.

— Это возвращается из Этгенхейма мой отец.

— Что значит, я должен уходить?

Девушка протянула офицеру руку.

— Друг, — сказала она. — Поверьте мне! О! От всего сердца я хотела бы иметь возможность сказать вам: останьтесь!

Молодой человек задержал в своих руках протянутую ему руку.

— Лизхен, да, я сейчас уйду; но, прежде чем уйти, одну милость...

— Какую?

— Не дайте мне уйти, не взяв на память о вашем сострадании ко мне какой-нибудь предмет. В тот вечер я обменял бы каждый из моих дней на лепестки розы, которые вы пускали на ветер; у вас есть букетик фиалок — я чувствую их запах; дайте мне его, и я уйду!

— Букетик фиалок? — грустно повторила Лизхен.

— Да, это будет моим талисманом, который оградит меня в пути.

— Печальный талисман, мсье! — ответила ему Лизхен.— Эти фиалки — тоже последние осенние цветы, как и те розы, о которых вы только что говорили; знаете, где они были собраны?

— Мне это неважно, поскольку вы дотрагивались до них.

— Они были собраны на кладбище,— продолжала девушка,— на могиле моей сестры, умершей... да, ровно три года назад!.. Впрочем, пока холод не погубит их, я каждое утро срываю эти бедные цветы смерти с одной и той же могилы, аромат этого букета сопровождает меня весь день: для меня это как бы дыхание моей бедной сестры!

— Простите меня, я беру обратно свою просьбу.

— Нет, вот он... Теперь уходите!

— Спасибо, Лизхен, спасибо! Я уйду... я уйду дважды изгнанный: изгнанный далеко от Франции и далеко от вас, но я возвращусь... Не забывайте меня в своих молитвах, Лизхен!

— Увы! За кого я буду молиться? Я даже не знаю вашего имени.

— Молитесь за капитана Ришара.

— О! Мой отец, мой отец, там, на дороге... Уходите! Уходите!

Молодой человек схватил руку Лизхен и прижался к ней горячими губами, затем бросился наружу через одну дверь в то время, как другая открывалась.

— До свидания, Лизхен,— проговорил он быстро,— сказать, вам «прощайте» для меня было бы слишком тяжело.

XX

ПАСТОР ВАЛЬДЕК

Молодая девушка осталась одна и, вероятно, впервые в жизни не побежала навстречу своему отцу, услышав его шаги.

В тот момент, когда молодой человек исчез, она почувствовала, как силы оставили ее, и опустилась на стул, стоящий возле маленькой двери, через которую только что исчез беглец.

Она все еще сидела там, когда вошел ее отец в темную и тихую комнату.

Старику показалось таким странным, что дочь не побежала ему навстречу или по крайней мере не ждала его, что, пройдя несколько шагов, он стал искать ее в потемках.

Затем, через несколько секунд, ничего не видя и не слыша, он произнес:

— Лизхен?! — Его голос был наполовину вопросительным, наполовину зовущим.

Услышав свое имя, произнесенное голосом отца, девушка словно очнулась от сна и бросилась к нему:

— Вот я, отец!

— Пойди же сюда! — сказал немного удивленно пастор.

И, вытянув руку по направлению к этому голосу, он положил ее на свою дочь:

— Иди сюда, поцелуй же меня, — повторил он, — один раз за себя сначала, а потом еще раз за ту, которой уже нет...

Девушка обвила руками шею старика.

— О! Да, да, отец! — воскликнула она, чувствуя, как ее сердце переполняет двойное чувство. — Конечно, отец! Я поцелую вас столько раз за себя и за нее, что вы не заметите, что у вас не хватает одной дочери.

Затем, сняв с его плеч плащ и взяв из руки трость, сказала:

— Дайте это мне.

Она положила плащ на стул и поставила трость в угол.

Пастор следил за ней глазами, как будто мог ее видеть.

— Почему ты без света, Лизхен? — спросил он.

— Я забыла зажечь его, отец, — ответила молодая девушка слегка дрожащим голосом.

— Задремала.

Пастор вздохнул; ему послышалось некоторое колебание в голосе дочери.

В это время она подошла к огромному камину и, отыскав в пепле уголек, зажгла от него медную лампу.

Разгоревшись, лампа осветила лицо старика лет шестидесяти. Это лицо было красивым и серьезным, чувствовалось, что оно принадлежит человеку, который много страдал. Однако выражение его было приветливым; глубокий отпечаток грусти не мог скрыть присущую ему доброту.

Дочь не испытывала тех же соображений, что и мы, она привыкла к меланхолическому выражению этого лица; она даже нашла в нем оттенок нежной радости, которая ее поразила. Затем, увидев, что пастор держит в руке сумку, спросила:

— О! Что это вы там принесли, отец?

Пастор посмотрел на нее с еще более веселым выражением.

— Что я принес?

— Да.

Он поднял свою сумку повыше.

— Твое приданое, дитя мое.

— Мое приданое? — удивленно спросила Лизхен.

Пастор протянул ей сумку.

— Ну-ка, подними,— сказал он.

Девушка чуть было не выронила сумку, которую отец оставил у нее в руках.

— Ой! Какая она тяжелая! — воскликнула она.

— Еще бы! — с торжеством ответил старик.— В ней две тысячи талеров!

— Две тысячи талеров! — повторила девушка с интонацией настолько же грустной, насколько интонация ее отца была веселой.— Две тысячи талеров! Так вот почему вы терпите столько лишений?

— Какие лишения? — спросил старик.

— Вот почему вы работаете сверх своих сил?

— Ладно, где ты видишь, что я работаю сверх сил, девочка?

— Вы один обрабатываете весь наш виноградник.

— Дитя мое,— улыбнулся старик,— виноградник — это предмет одной из притч Евангелия, и я никогда не смог бы слишком хорошо ухаживать за ним.

— Вы всем жертвуете ради меня, отец мой, и ваша дочь упрекает вас за это,— сказала Лизхен почти сурово.

— Меня?

— Да. Вы слишком любите ее!

— Не говори мне этого, дитя мое,— подхватил старик, привлекая ее к себе.— Я мог бы привести тебе доказательства в противоположном.

— Например, отец, хотела бы я послушать!

— Разве ты не помнишь, что три года назад я уже собрал такое же приданое?

— Да, ну и что?

— Точно такое же, там было две тысячи талеров...

Но наступила страшная зима 1812—1813 года. Тогда я подумал, дорогая Лизхен, которой тогда было только четырнадцать лет, что бедные люди — тоже мои дети, что ты можешь подождать, Господь Бог ведь давал тебе пищу каждый день, тогда как они голодали! Хотели пить! Им было холодно!

— Добрый мой отец!

— Помнишь, — продолжал старик, еще нежнее прижимая свою дочь к груди, — как в один из ноябрьских вечеров, в один из таких вечеров, когда на Рейне и в Черном лесу так холодно: ветер свистел, ледяной дождь хлестал по окнам, а мы в теплой одежде сидели тут, возле весело пылающего очага, ты на этом месте, я — на том... Помнишь, Лизхен?

— О, да, отец.

— Я погрузился в раздумья, ты остановила свою прялку и сказала мне: «О чем вы думаете, отец? — Ах! ответил я. — Я думаю о тех, кому холодно и голодно, о тех, у кого не ни хлеба, ни тепла». Тогда ты встала, подошла к шкафу, взяла оттуда мешок с двумя тысячами талеров и принесла его мне... Мы поняли друг друга, мое дорогое дитя! На следующий день у тебя не было приданого, моя прекрасная Лизхен, но шестьдесят бедняков имели хлеб, дрова и одежду на всю зиму!

— Да, мой дорогой отец, — сказала девушка, обнимая старика.

— И они благодарили нас, вознося хвалу Господу Богу!

— И это возрадовало Его, так как через два года Он дал мне возможность вновь получить такую сумму; только на сей раз, дитя мое, поскольку тебе уже не четырнадцать, а семнадцатый год, я тебе обещаю, что эта сумма непременно будет потрачена по назначению... если только ты не покоришь какого-нибудь богатого рыцаря или прекрасного сеньора, как это случается иногда в наших немецких легендах...

— Вы полагаете, что это возможно, отец? — живо спросила молодая девушка.

— А почему нет? Разве ты не так же разумна, добра и хороша, как Гризельда, а Гризельда не вышла ли в свое время замуж за графа Персиваля?

— А чтобы не ходить так далеко, отец, не выходя за рамки семьи, разве мою бедную сестру Маргариту не любили сначала Ульрих, гейдельбергский студент, Виль-

гельм, сын банкира из Франкфурта, и, наконец, граф... граф Рудольф Оффенбургский?

— Увы! — прошептал пастор, помрачнев.

— О! Обещаю вам, дорогой отец, — продолжала девушка, не замечая того облачка грусти, которое только что пробежало по лицу старика. — Я обещаю вам, что не буду так требовательна!

— Да, да, — ответил со вздохом пастор, — ты выйдешь замуж, дитя мое, с помощью Всевышнего мы найдем тебе мужа, достойного тебя. А пока возьми этот мешок, хотя он и тяжел, пойди запри его в шкафу, который находится у изголовья моей постели... Вот ключ.

— И это будет моим приданым, — смеясь подхватила девушка, — если только, как вы только что говорили..

— Если только, чтобы ты хорошо устроилась, тебе будет недостаточно сохранить свое милое, улыбающееся лицо, прелестные ясные глаза и свежесть майской розы; в этом случае твое приданое будет уже не от меня, а от самого Господа Бога.

Девушка зажгла свечу и вышла с мешком в руке, от тяжести которого она немного согнулась.

Пастор посмотрел ей вслед глубоко растроганным взглядом, каким обычно отец смотрит на свое дитя.

Затем, как бы обращаясь к самому себе, сказал:

— Я не признался ей, что там не хватает трех талеров: я дал один талер старой женщине, а два — бедному паралитику, которому наш Всевышний не сказал: «Вставай! Брось свои костыли и иди!» Но до конца недели я надеюсь, что возьму их, и приданое будет полным. И пусть появится человек, достойный этого сокровища, полного доброты и благоразумия, тогда моя Лизхен будет счастлива!

Затем, подняв глаза к небу, словно искал там отражения той, кого потерял, он добавил:

— Провидение задолжало мне в этом! — Он улыбнулся, и в его улыбке были одновременно просьба и сомнение.

В этот момент девушка вернулась.

— Отец, — сказала она. — Деньги в шкафу, вот ключ.

— Хорошо, дитя мое! А теперь, не знаю уж, согласишься ли ты со мной, но по-моему, пора ужинать, что ты об этом скажешь?

— Да, отец, — рассеянно ответила девушка.

Она сделала три шага и остановилась в задумчивости.

Отец следил за ней взглядом.

— Что с тобой? — спросил он.

— Со мной? Ничего, — ответила она.

И прошла еще несколько шагов.

Затем начала накрывать на стол. Но вдруг, опершись обеими руками на стол, с некоторым беспокойством посмотрела, в свою очередь, на старика.

— Лизхен? — произнес тот.

— Отец! — ответила молодая девушка.

Старик поманил дочь к себе.

— Подойди же сюда! — сказал он.

Лизхен быстро подошла, словно этот приказ соответствовал ее желанию.

— Да, отец мой, я тут.

— Ты заболела? — спросил ее пастор.

Девушка отрицательно покачала головой.

— Нет, — сказала она.

— Ты чем-то озабочена, не так ли?

— Да, мне надо кое-что вам сказать; но я впервые колеблюсь, я в затруднении...

— Ну-ну, говори! — сказал в беспокойстве пастор. — Разве я для тебя не снисходительный отец? Ты ведь не можешь упрекнуть себя ни в чем серьезном, дитя мое?

— Кто знает? — ответила Лизхен. — Может быть, в добром деле!

— В добром деле? Но как же ты можешь упрекнуть себя за доброе дело?

— О! — сказала она. — Не из-за самого доброго дела, а из-за тайны, которая его окружает, и из-за человека, который явился предметом этого доброго дела.

— Что же это такое? Говори же, наконец!

— Послушай, отец.

— А! Теперь ты обращаешься ко мне на ты?

— Вы запрещаете мне это?

— Нет, но когда ты была ребенком, ты разговаривала со мной так только тогда, когда тебе надо было за что-либо попросить прощения.

— Я ведь предупредила вас, что виновата, не так ли?

— Ладно, я слушаю тебя.

— Вы часто говорили мне, — продолжала Лизхен, — что отцы наших отцов претерпели долгие и жестокие преследования за религиозную веру...

— Да, это было раньше, во времена Лютера и Тридцатилетней войны.

— И часто, со слезами на глазах, вы рассказывали мне о тех людях, которые ценой своей свободы, своего

состояния, даже своей жизни, давали убежище этим отверженным.

— Да, но в возмещение на то, чем они рисковали на земле, Бог, как я надеюсь, приготовил им на небе местечко рядом с собой.

— А вы не будете на меня сердиться, отец, если мое сердце разрывалось от жалости к одному человеку, которого преследования, подобные тем, о которых вы говорили, изгнали из его страны?

— К одному изгнаннику?

— Да, отец мой.

— А где он, этот изгнанник?

— Он только что был здесь, но теперь, надеюсь, он достаточно далеко.

— И чтобы рассказать мне об этом несчастном, ты подождала, чтобы он ушел?

— Прости, отец,— прошептала Лизхен неуверенно,— но этот несчастный...

— И что же?

— Это был...

— О! Я догадываюсь,— подхватил пастор,— это был француз, не так ли?

— Да, отец мой, француз, который служил при императоре Наполеоне и после того, как способствовал его возвращению с острова Эльба, вынужден был бежать из Франции.

— Ты хорошо сделала, последовав движению своего сердца, дитя мое, но плохо то, что усомнилась во мне

— Вы бы приняли его так же, как и я, не правда ли?

— Без сомнения; разве жилище пастора не является естественным убежищем для изгнанников и бездомных? А сколько лет этому французу?

— Сколько лет?

— Да.

— Лет двадцать восемь или тридцать, отец.

— А! Так это молодой человек?

— Неужели я должна была прогнать его потому лишь, что он был молод? — спросила Лизхен.

— Конечно, нет! — сказал пастор, с беспокойством глядя на дочь.

— Что вы так на меня смотрите, отец? — сказала Лизхен.

— Я ищу, — ответил пастор.

— Что, отец?

— Что ты сделала с тем букетиком фиалок, который собрала сегодня утром на могиле своей сестры?

— Я могла бы сказать, что потеряла его,— спокойно ответила девушка.— Но Боже меня сохрани от того, чтобы солгать моему доброму отцу! Эти цветы попросил у меня француз, и я их ему отдала.

— Лизхен! Лизхен! — воскликнул старик, качая головой.— До сегодняшнего дня я ставил мою дочь в пример остальным девушкам в городе...

— О! Я понимаю вас, отец, и отвечаю, не краснея и не стыдясь: иностранец попросил у меня этот букет на память во имя признательности, и я отдала ему его во имя дружбы.

— Ты никогда больше не увидишь этого молодого человека? — спросил пастор.

— Это вероятно, отец, однако...

— Однако?

— Он сказал, что надеется вернуться, и поставил срок своего возвращения три месяца.

— Лизхен! Лизхен! Остерегайся!

— Его, отец? О! Нет!

— Дети его страны приносят несчастье, дочь моя!

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, дитя мое, что сегодня не совсем обычный день,— продолжал пастор.— Это 16 октября, печальная годовщина таинственной и преждевременной кончины!

— Да, смерти нашей бедной Маргариты!

— Мы уже не носим по ней траур, но тяжелое время, каким бы суровым и холодным оно ни было, не стерло из наших сердец память о ней!

— Нет, отец, и комната Гретхен осталась такой же, какой была во время ее смерти, это как бы храм, хранящий память о ней.

— Память о жертве и о святой, дитя мое! Ты говорила мне только что о французах и спрашивала, откуда идет та ненависть, которую я питаю к ним; так вот, сегодня, в день грусти, я расскажу тебе, как была отнята от нас Маргарита, и каким грустным путем отправилась на небо эта ангельская душа, которую мне подарила твоя мать.

— О, отец,— спросила Лизхен,— что же это за ужасная история приключилась с моей сестрой, что три года спустя после ее смерти вы по-прежнему говорите о ней с таким волнением и тревогой?

— То, что с ней случилось, дорогое дитя, я хотел навеки оставить втайне от тебя; но этот француз, которому ты помогла, это обещанное им возвращение и, быть может, ожидаемое тобой, заставляют меня ничего от тебя не скрывать... Если этот француз вернется, я скажу тебе: «Помни!», если он не вернется, я скажу: «Забудь!»

— О, говорите, говорите, отец мой!

Пастор на минуту опустил голову на руки, словно заглянул в прошлое, и, подавляя вздох, начал свой рассказ.

XXI

ВЗГЛЯД НАЗАД

— Мы должны вернуться на семь лет назад, моя дорогая Лизхен,— сказал старик.— Ты была еще милым ребенком и играла в куклы, когда объявили, что со стороны Ратисбонна приближаются французы, а со стороны Мюнхена — австрийцы.

— Да! Я отлично помню все это, отец! Я вижу на плато Абенсберг, со стороны руин старого замка, небольшой белый домик с виноградом над дверью и яблонями в глубине сада.

— Тогда ты должна помнить тот день, когда вошли австрийцы?

— Прекрасно помню! Я была в гостиной, возле моей сестры Маргариты и нашего друга Штапса, когда слышался далекий барабанный бой; одновременно с этим прошли студенты, распевая хором военный марш. Штапс, сидевший подле моей сестры, встал и, подойдя к окну, сделал знак поющим... Отец, что стало со Штапсом?

— Он был расстрелян, дитя мое.

— Расстрелян?! — воскликнула девушка, побледнев

— Да, расстрелян.

— Где же?

— В Вене.

— А за что?

— За то, что попытался убить императора Наполеона.

— О! — прознесла девушка, уронив голову на руки.— Бедный Штапс!.. Но ведь это было ужасное преступление, отец? А почему он хотел убить императора?

— Потому что в его глазах это был поработитель Германии, дитя мое; кроме того, Штапс состоял в тайном обществе, вступая в которое люди отрекались от своей собственной воли.

— Тогда, несомненно, это он стрелял в императора, отец, что и послужило причиной разграбления и пожара в Абенсберге?

— Я его ни в коем случае не обвиняю, хотя все наши несчастья идут с тех пор.

— Да, вы были ранены: вас подобрали среди мертвых, а с того самого времени до дня своей смерти Маргарита непрерывно плакала... Что же тогда случилось? Каждый раз, когда я хотела заговорить об этих событиях, вы отвечали мне: «Позже, дитя мое, позже».

— Так вот что тогда случилось. Может быть, Наполеон не придавал большого значения той пуле, которая пробила его шляпу; но генерал Бертье увидел в этом преступление, которое кричало об отмщении: он приказал одному полку вернуться в Абенсберг и судить виновного, а при необходимости переложить на все селенные ответственность за преступление одного человека Полк вернулся, чтобы выполнить приказ генерала; но австрийцы взяли обратно село, только что оставленное французами. И, кажется, в этом крылось самое главное: французы стремились его отобрать, австрийцы — его удержать: этот день был ужасным! Особенно наш дом был забаррикадирован, как крепость, и я был там, среди этих солдат, отчаянно рвавшихся в бойню, считавших своим долгом защитить свою страну. Но я, мирный человек, я считаю, что все народы — братья, у них у всех одна родина, я качал головой и молился одинаково за друзей и врагов, за австрийцев и за французов. Они не поняли этого, бедные слепцы! Сочли, что раз я не за них, то против них. Они сунули мне в руки ружье и толкнули в самое пекло.

— Боже мой! — прошептала Лизхен.— И все это происходило над нашими головами?

— Да, дитя мое; но в шуме стрельбы, когда пули свистели у моих ушей, я повторял: «Всевышний, Вы всемогущи, Вы милосердны, сделайте так, чтобы когда-нибудь эти люди, посылающие сейчас друг другу смерть, обнялись по-братски!» И вдруг, среди моей молитвы я пошатнулся; голос изменил мне, глаза закрылись, и я упал, обливаясь кровью: мне навывлет прострелили грудь.

— Отец! — воскликнула Лизхен, обеими руками обняв старика за шею, словно он только что был ранен.

— И последнее, что я увидел, падая, была твоя сестра, которая выбежала из своего укрытия и в отчаянии бросилась к моим ногам... О! Что я выстрадал за эту минуту, которая отделила жизнь от забвения, день от ночи! Мне показалось, что в это мгновение сама смерть прикоснулась ко мне... Я протянул руки к дочери, которую едва увидел через кровавую пелену, попытался прошептать ее имя, дотронуться до нее, благословить, но силы оставили меня, все исчезло, и я потерял сознание.

— О! Бедный дорогой отец! — прошептала Лизхен.

— Не знаю, сколько времени я оставался в забытьи, но что я знаю, бедное мое дитя, так это то, что, открыв глаза и поглядев на чистый свет неба, я был более достоин жалости, чем тогда, когда думал, что закрыл их навеки. О, да! Это была война со всеми ее ужасами! Меня уложили посреди мертвецов с ружьем в руках и не тронули лишь потому, что сочли мертвым. Белый домик превратился в груды пепла и дымящихся обломков! Повсюду была кровь — в бороздах на полях, в ручьях на улице до самого храма Господа Бога! Именно там я нашел твою сестру, бледную, потерянную, умирающую от ужаса, бедное мое дитя, и еще более несчастную, чем если бы она уже умерла!

— Отец! Отец! — воскликнула Лизхен, разражаясь рыданиями.

— После этого, — продолжал пастор голосом, в котором звучали горечь и грусть, — и после всего этого говорят, что это была прекрасная битва, прославившая и атаковавших, и защитников города... Я оставил свою рану зарубцовываться саму собой; но не так было с твоей сестрой: заботы, нежность, преданность — ничто ей не помогло; я напрасно покинул Баварию и уехал в Вестфалию, затем переехал из Вестфалии в великое княжество Баденское, стал зваться Вальдеком вместо Штиллера, ничто не могло вернуть ее к жизни. Так же, как я, ты видела, как она бледнела, с каждым днем теряла жизненные силы, больше не улыбалась, и 16 октября 1812 года, протистив всех, отдала Богу душу!

— Бедная сестра! — прошептала Лизхен.

— Ты понимаешь теперь, не так ли, почему Гретхен, помолвленная со Штапсом, не захотела выйти замуж ни за студента из Гейдельберга, ни за сына банкира из

Франкфурта, ни за графа Оффенбурга? Потому что она была обещана капитаном Ришаром!

— Ах! — У Лизхен вырвался крик боли.

— Что такое? — спросил старик.

— Капитаном Ришаром? — повторила девушка.

— Да, капитаном Ришаром! Это имя того мерзавца, который одел нас в траур, дочь моя — тебя на один год, а меня на всю жизнь!

— Ах! Боже мой! — прошептала Лизхен, убитая звучанием имени, которое она только что услышала.

— А потому я, — продолжал пастор, — склоняя колени перед Всевышним я, которому дано прощать и благославлять, прошу у Бога лишь одно: чтобы на моем пути никогда не встретился этот человек, так как я мог бы ошибиться и поверить, что мой гнев будет справедлив!

— Отец, помилосердствуйте!

И она опустила руки старика, воздетые к небу с просьбой об отмщении.

— Да, ты права, дитя мое, — сказал пастор, — не будем больше думать об этом, или по крайней мере не будем думать с сердцем, полным ненависти, и с душой, отравленной жаждой мести... Готов ужин? Тогда давай садиться за стол; только за этим столом между нами есть пустое место, место бедной Маргариты...

И старик сел за стол, но вместо того, чтобы приступить к еде, опустил голову на руки.

Прислонившись к спинке стула напротив своего отца, Лизхен с глубокой грустью смотрела на него, как вдруг неподалеку прогремел выстрел и почти в то же время послышались поспешные шаги, затем стук двери во дворе, которая быстро открылась и тут же закрылась.

Лизхен вскрикнула.

Пастор обернулся и очутился лицом к лицу с молодым человеком, которого мы уже видели некоторое время тому назад, когда он прощался с молодой девушкой.

— Это он, отец, — прошептала Лизхен.

— Войдите, мсье, — сказал старик.

— За мной гонятся, мсье. Не спасете ли вы меня еще раз? — спросил беглец.

— Входите быстро, садитесь за стол возле меня.. Лизхен, еще один прибор!.. Вы говорите по-немецки, мсье?

— Да,— ответил молодой человек.

— Ладно, тогда вы мой гость. Спокойно, немного хладнокровия! Может быть, еще есть способ спасти вас?

Молодой человек сел за стол пастора на то самое место, где несколько минут тому назад отец огорчился, что не видиг свою дочь Маргариту.

Лизхен быстро поставила перед ним прибор и села, прошептав:

— О Боже! Что же привело его на это место, ваш гнев или ваше сострадание!

В тот же момент человек в форме жандармского бригадира облокотился о подоконник открытого окна, половина его туловища оставалась снаружи, а ухмыляющаяся физиономия появилась в комнате и оглядела всех сидящих за столом.

— О! — тихо произнесла Лизхен.— Бригадир Шлик! Мы пропали!

Но вопреки тому ужасу, который он внушил бедной Лизхен, бригадир, по всей видимости, не питал никаких враждебных намерений; он вежливо снял шляпу и обратился к пастору:

— Приятного аппетита, господин Вальдек, и всей честной компании! — сказал он.

Ришар бросил быстрый взгляд на жандарма, и ему показалось, что он уже где-то видел это лицо

В это время пастор обернулся и придал своему лицу спокойствие, которым далеко не наполнилось его сердце

— Кто это там? — спросил он.

— Не беспокойтесь, господин пастор. Это я, бригадир Шлик, к вашим услугам.

Имя жандарма, так же, как и его лицо, вовсе не были незнакомы капитану; однако он не мог вспомнить, ни где он его видел, ни где слышал. Бригадир Шлик, в свою очередь, пристально смотрел на капитана, и это доказывало, что его память была не хуже, чем у французского офицера, если не лучше.

Через несколько секунд внимательного осмотра жандарм кивнул головой, доказывая, что все его сомнения, если они и были, рассеялись.

— Бургомистр порекомендовал мне,— сказал он,— соблюсти с вами, гоёподин пастор, все приличия, вы видите, я их соблюдаю... Можно войти?

Пастор посмотрел на капитана с таким видом, который говорил: «Побольше уверенности, или вы пропали!»

Затем он обратился к бригадиру:

— Конечно, вы можете войти; никаких препятствий к этому нет.

И добавил:

— Встань, Лизхен, и посвети господину Шлику.

Лизхен встала и, взяв дрожащей рукой лампу, приготовилась осветить путь бригадиру, когда тот в один момент перешагнул через окно и сказал девушке:

— О, не беспокойтесь, прекрасная барышня, для нас окна — это те же двери.

Лизхен обернулась к французу. Он сидел совершенно спокойный и казался полностью безучастным к той сцене, которая разворачивалась, и к той, которая, по-видимому, готовилась.

— Добро пожаловать, господин Шлик! — сказал уверенным тоном пастор.

Лизхен была так бледна, что вызвала жалость у жандарма.

— Мадемуазель, — сказал он, — вы так бледны, и эта бледность, конечно, вызвана моим неожиданным появлением, я хочу доказать вам, что я не такой злой, как это может показаться.

Говоря все это, он не спускал взгляда с француза, который, сохраняя полное спокойствие, оперся локтем на стол и, положив подбородок на ладонь, смотрел на жандарма таким же спокойным взглядом, каким тот смотрел на него.

— О бригадир, — ответил пастор, протестуя против сказанного Шликом. — Совсем напротив, я всегда считал вас превосходным парнем.

Лизхен сделала над собой усилие и вызвала на свои губы легкую улыбку.

— Господин Шлик, — сказала она, — я вспоминаю, как вы частенько спорили с моим отцом.

— Спорить, мадемуазель! — воскликнул Шлик. — Спорить с таким святым и ученым человеком, как господин Вальдек? Надеюсь, что никогда я не имел несчастья совершить подобную неучтивость!

— Да нет же, господин Шлик, — настойчиво повторила Лизхен. — И если хотите, я вам напомню, по какому поводу.

— Еще бы, конечно, хочу! Скажите, мадемуазель.

— По поводу французов, господин Шлик.

— Ах, да! Это возможно: я обожаю французов, тогда как господин Вальдек их ненавидит. Разве я говорю неправду, господин Вальдек?

— Нет, господин Шлик, вы говорите истинную правду.

— О! — продолжал жандарм.— Вероятно, они совершили по отношению к вам какую-нибудь большую гадость во время последних войн, эти французы! Впрочем, не были ли вы в то время в Вестфалии или в Баварии, а в обеих этих странах, особенно в Баварии, было жарко! Я говорю об этом со знанием дела, сам был там.

— Вы там были? — спросил пастор с некоторым интересом.

— О! Боже мой, да... О моем присутствии в армии его величества императора и короля велось немало разговоров, которые неплохо бы опровергнуть... До вас они не доходили, господин Вальдек?

— Нет, никогда...

— Так вот, говорят — конечно, злые языки,— что я, пользуясь хорошим знанием не только французского и немецкого языков, что неудивительно, когда живешь в пограничном районе, но и различных диалектов других стран, таких как тирольского, литовского, венгерского, поскольку я путешествовал то там, то тут, что я докладывал императору Наполеону о том, что видел. Добавляют, что между принцем Невшательским и мною был заключен договор, по которому он мне выдавал более или менее крупные суммы денег в зависимости от важности сообщаемых мною сведений.

— О, но если это было так,— наивно сказала Лизхен,— то это называется быть шпионом.

— Вот именно, мадемуазель! Именно так и говорят злые языки, но я утверждаю, что путешествовал из любопытства, рассказывал, что видел по несдержанности, а император, которого я забавлял своей болтовней, давал мне деньги из великодушия.

— А! — сказал пастор.

— И так как император Наполеон,— продолжал бригадир,— был очень щедр, я вспоминаю, как однажды вместе с одним молодым офицером из его гвардии, которого он дал мне в спутники, я выполнил одно очень смелое поручение... Хотите, расскажу, господин пастор?

— Конечно, господин Шлик,— я не очень люблю истории про императора Наполеона, но ваши так интересны!

— Однако,— заметил Шлик, указывая на капитана,— если господин не говорит по-немецки...

— И что же? — спросила Лизхен.

— Так я могу рассказать ее по-французски!

— Не беспокойтесь обо мне, господин бригадир,— сказал на превосходном немецком языке капитан, который еще не произнес ни слова,— вы видите, что я вполне достоин послушать вас.

— О! Поскольку мы находимся среди соотечественников,— сказал Шлик,— я больше не сомневаюсь. Так вот, господин Вальдек, тот молодой офицер и я должны были всего-навсего проникнуть в руины старого замка, где собирались члены современного тайного общества....

— В Абенсберге? — спросил пастор.

— Да, вот именно! Вы знаете Абенсберг, господин Вальдек?

— Я жил там некоторое время, да,— безразлично ответил пастор.

— Так вот, речь шла о том, чтобы проникнуть в руины старого замка Абенсберг, затем вступить в общество, чтобы узнать о намерениях его членов. И действительно мы с офицером были приняты в это общество — вернее, это я был принят туда, и на следующий день мы рассказали принцу Невшательскому такую интересную историю, что от имени императора, которого эта история, кажется, сильно позабавила, генерал дал мне сто наполеондоров!

— Хорошенькая сумма, господин Шлик,— сказал пастор,— вы, вероятно, богаты, если в течение своей жизни рассказали немало таких же интересных историй.

— Человек никогда не бывает достаточно богат, господин пастор, если имеешь жену и ребенка, а ребенок этот — девочка, которой надо собрать приданое.

— Понимаю, именно это заставило вас перешагнуть через национальные соображения.

— Какие национальные соображения, господин пастор?

— В конце концов вы немец и, служа императору Наполеону...

— Немец? Вы уверены в этом, господин пастор?

— Вполне.

— То есть я житель Бадена.

— Ну и что же?

— Вот что: разве великое герцогство Баденское знает, что оно есть такое, господин Вальдек? Я не хочу превзойти его, я — баденец! Начал так же, как и великое герцогство Баденское, с того, что был немцем; затем так же, как великое герцогство Баденское, стало французским или что-то вроде этого, я сделал, как и оно. А теперь в Европе происходит масса всевозможных пертурбаций, конгресс передал нас под Рейнскую конфедерацию, в руки нового хозяина, так что великое герцогство Баденское, хотя и управляется французской принцессой, становится вновь куском Германии: таким образом, я тоже становлюсь куском великого герцогства, понимаете, становлюсь немцем!

— Иначе говоря, господин Шлик?..— спросил пастор, пристально глядя на бригадира, чтобы узнать, к чему тот клонит.

— Иначе говоря, господин Вальдек, не зная как следует, что же я такое, я принял решение, чтобы утвердиться так или иначе в жандармерию. Тем самым я теперь ни немец, ни француз, я — жандарм, к вашим услугам, как говорят мои друзья французы.

— И, наконец, господин Шлик, к какому вы заключению приходите?

— К какому заключению? А! Вы хотите знать, чем я закончу?

Он бросил взгляд на гостя пастора, чтобы увидеть, такого ли он мнения, как и его хозяин дома; капитан был невозмутим.

— Боже мой! — прошептала девушка, которая чувствовала, что все шло к развязке.

— Я делаю такой вывод! — продолжал Шлик. — Вот я жандарм, в треуголке и шпорах; кроме того, бригадир до мозга костей и в этом качестве имею поручение выследить и арестовать одного беглого француза, бывшего солдата «того, другого», он был заговорщиком при «тех» и чтобы избежать последствий смертного приговора натянул им нос, как говорят по ту сторону Рейна, и сбежал в великое герцогство Баденское.

— Как зовут этого француза? — спросил пастор.

— О! — тихо произнесла девушка, опасаясь, что бригадир произнесет это имя, и оно поразит ее отца.

— Право, не знаю, — ответил Шлик. — До сегодняшнего дня мне не сочли нужным сказать его имя, ограничившись его описанием.

Затем, глядя на капитана, произнес:

— Что же касается его описания, оно таково: «Глаза голубые, волосы русые, бледное лицо, зубы очень белые, рост пять футов шесть дюймов, возраст — лет двадцать восемь — тридцать».

Несмотря на весь испытываемый им страх, а может быть из-за него, пастор быстро взглянул на своего гостя Лизхен не было нужды глядеть на него, чтобы убедиться, что описание было точным до мельчайших подробностей. Однако видя, что ни во взгляде, ни в интонации бригадира не было никакой враждебности, пастор подбодрился и, сделав знак молодому человеку не выдавать себя, сказал:

— Но все это, господин Шлик, не объясняет нам...

— Причину моего визита, господин пастор? Будьте спокойны, я дойду до нее. Вообразите себе, что мой два жандарма и я сам выслеживаем этого парня, но не можем схватить его, хотя точно знаем, что он бродит где-то в окрестностях; сегодня вечером один из моих людей увидел одного гражданина, который тихонько двигался вдоль забора. Ему показалось, что он узнал его, он преградил тому путь своим карабином; тот пустился бежать, мой жандарм за ним следом, он вот-вот собирался схватить его, когда тот парень, добежав до стены вашего сада, хорошо тренированный, по всей видимости, прыгнул на тумбу, с нее на стену, а оттуда перемахнул через стену на ваши клумбы! Тогда мой человек выстрелил ему вслед не столько затем, чтобы попасть, сколько чтобы нас предупредить. Мы прибежали на место действия; нашли там жандарма, который перезаряжал свой карабин; он рассказал нам, как было дело, и мы пришли спросить вас, господин пастор, не видели ли вы француза, которого мы ищем?

— Я? — спросил пастор.

— И не прячете ли вы его у себя?

— Как вы можете это предполагать, мой дорогой Шлик, при той ненависти, с которой я отношусь к людям этой нации?

— Э! — произнес бригадир. — Так я и сказал своим товарищам.

— О! Не так ли? — воскликнула Лизхен, вздыхая с облегчением.

— Да, я сказал это товарищам, — продолжал жандарм, который, казалось, задался целью заставить своих

слушателей пройти через всю гамму чувств — от надежды до страха,— но я, Шлик, сказал себе: «Господин пастор так добр, что вполне способен забыть о своей ненависти и оказать гостеприимство даже своему самому злейшему врагу!»

— Господин Шлик, обшарьте весь дом и, если вы найдете того, кого ищете, забирайте его, я вам разрешаю.

— О! — ответил на это Шлик, пристально глядя на гостя пастора.— Поскольку того, кого я ищу, тут нет, бесполезно искать его в другом месте.

И он проделал то, что на языке театра называется «ложным уходом»; но пастор не поддался на эту уловку.

— Господин Шлик,— сказал он,— не доставите ли вы нам удовольствие, прежде чем уйти, выпить с нами стаканчик рейнского вина?

— Я, господин пастор? Охотно,— сказал Шлик.— Это предоставит мне случай поднять тост за моих бывших соратников французов.

— Пойди, дитя мое! — сказал пастор, обращаясь к Лизхен.— И принеси нам самого лучшего.

Девушка встала, пошатываясь от волнения, пошла за свечой, чтобы зажечь ее от лампы; но тот, кто был причиной всех этих тревожений, казался самым спокойным из всех, он взял свечу из ее рук, зажег и подал Лизхен.

Девушка вышла, бросив назад взгляд, полный тревоги.

XXII

КУЗЕН НЕЙМАНН

Бригадир Шлик проследил за Лизхен глазами, пока она совсем не скрылась.

— Да,— сказал он, как бы говоря сам с собой.— Я понимаю: девушке хотелось бы остаться и в то же время уйти: она догадывается, что я воспользуюсь ее отсутствием, чтобы позволить себе, дорогой господин Вальдек, задать вам несколько вопросов, которые не хотел рискнуть поставить при ней.

— Какие же у вас есть ко мне вопросы, господин Шлик? — сказал пастор, видя, что наступил самый трудный момент.

— Прежде всего, с вашего позволения, как говорят по другую сторону Рейна, я хочу спросить вас, не пугая нашу милую барышню Лизхен, которая и так уж очень сильно взволнована, что делает здесь этот господин.

— Но вы, кажется, видите: господин ужинает вместе с нами.

— Да, тут вы правы, что касается этого, я хорошо вижу; это не надо понимать буквально. Я хотел спросить не о том, что делает господин, но кто он такой.

— Вы не знакомы с господином? — спросил пастор.

— Нет, — ответил Шлик, — но очень хочу с ним познакомиться.

И Шлик поклонился.

— Иностранец повернул голову нетерпеливым движением, явно означавшим «Зачем дальше ломать эту комедию, которая меня унижает и утомляет? Позвольте мне сдать!» Но пастор, который несомненно знал лучше него, как надо вести себя с бригадиром Шликом, сделал своему гостю знак потерпеть еще некоторое время.

— Знаете ли вы господин Шлик, — сказал он, — что прежде чем жить в Вольфахе...

— Да, господин пастор, вы проживали в Вестфалии и Баварии, вы сделали мне честь, рассказав об этом.

— Так вот, часть моей семьи осталась в Баварии.

— В Абенсберге?

— Вот именно.

— И этот господин, — сказал Шлик, — ваш родственник?

— Это сын моей сестры, мой племянник Нейманн, — ответил с некоторым колебанием пастор, так как не привык лгать, каким бы святым ни был повод, толкающий его на эту ложь.

— И он прибыл сюда?.. — спросил бригадир.

— Кто знает? — ответил пастор, стараясь улыбаться.

— Да, понимаю, — сказал Шлик, — предполагается свадьба: кузен Нейманн приехал, чтобы жениться на кузене Лизхен... Господин Нейманн, я поздравляю вас от всего сердца!

Мнимый Нейманн ограничился легким поклоном.

Это явно не устраивало бригадира Шлика, а потому он подошел к молодому человеку и сказал:

— Вашу руку, господин.

Молодой человек протянул ему руку, но нахмурил брови с таким выражением, что понадобился почти пове-

лительный взгляд пастора, чтобы заставить его продолжать играть роль в этой комедии. Однако рука молодого человека осталась абсолютно спокойной и твердой в руке Шлика, а глаза, встретившие взгляд бригадира, не моргнули.

— Ну, ну! — прошептал бригадир. — Это храбрец! И семь лет назад я ничуть не ошибался, когда окрестил его Ричардом Львиное сердце.

Последние слова он произнес достаточно громко, чтобы офицер смог их услышать; но тот, по всей очевидности, не понял их — либо потому, что они показались ему лишены смысла, либо не вызвали никаких воспоминаний.

К тому же в этот момент вернулась Лизхен; частично внимание пастора и его гостя обратилось на девушку.

Она держала в руке одну из тех бутылок красноватого стекла с длинным горлышком, одна форма которой является украшением стола; только поставив бутылку на стол рядом со своим отцом, она решила взглянуть на всех актеров этой сцены, явно старалась догадаться, какой оборот приняли события за время ее отсутствия. Добродушное выражение лица Шлика несколько успокоило ее.

Естественно, речь держал бригадир, а он посматривал на Лизхен с хитрым видом.

— В самом деле, — сказал он, — шестнадцать-семнадцать лет, молодая и красивая...

Затем, обернувшись к капитану, произнес:

— Лет двадцать восемь — тридцать, глаза голубые, волосы светло-русые, бледный цвет лица, рот средний, белые зубы; что касается роста, я не могу судить, но если господин встанет, то я поклялся бы, что он равен приблизительно пяти футам и четырем дюймам... Да, они составили бы очаровательную пару!

— То самое описание! — прошептали вместе пастор и Лизхен.

«Он меня узнал», — подумал капитан.

В это время пастор налил вина в стакан бригадира, тот взял его и встал:

— Честное слово, моя прекрасная барышня, — сказал он. — Поскольку я держу в руке стакан такого отличного вина, я не смогу отказаться: я пью его за ваше здоровье, за здоровье кузена Нейманна и за ваше семейное счастье!

Лизхен посмотрела поочередно на своего отца и на молодого человека, словно спрашивая, что означает этот тост.

— Так что,— спросил жандарм,— разве я не прав? Однако я говорю из лучших побуждений, клянусь!

— За здоровье моего кузена Нейманна? За мое семейное счастье? Я не понимаю,— ответила девушка, она не могла догадаться о том, что произошло в ее отсутствие.

Пастор опустил голову.

Офицер не мог дольше сдерживаться; он встал и сказал по-французски, обращаясь к бригадирю:

— Мсье, бесполезно дальше играть эту комедию, я тот человек, которого вы ищете.

Но бригадир положил ему руку на плечо и заставил снова сесть.

— Замолчите! — сказал он ему вполголоса.— Я помню, что был французом, а теперь я пью за здоровье кузена Нейманна, жениха милой мадемуазель Лизхен, и ничего больше.

Затем сказал громко, обращаясь ко всем:

— Итак, за здоровье кузена Нейманна!

— Господин Шлик! — воскликнул пастор.— Вы славный человек!

— Да замолчите же, гром и молния! — проворчал бригадир.— Нас могут услышать.

— Это правда,— заметила Лизхен.

— Я только хотел доказать вам, что человек, которому генерал-майор императора Наполеона (бригадир приподнял свою шляпу) поручил добыть для него интересные новости, вовсе не является простофилей, как говорят по ту сторону Рейна.

— О! Господин Шлик! — не смогла удержаться Лизхен.— Как мы вам признательны!

— Тихо!.. А в другой раз, поймите меня как следует,— тихо произнес бригадир,— вы не всегда будете иметь дело с таким Шликом... А теперь,— добавил он громким голосом,— я могу пойти и сказать своим товарищам, что там, где я думал найти заговорщика, нашел только жениха; только,— он вновь понизил голос — советую жениху идти и сыграть свадьбу в другом месте!

— О! Дорогой господин Шлик! — прошептала девушка, соединив руки в знак признательности.

— Итак, тихо! — продолжал бригадир.— Спрячьте господина, где хотите, неважно куда, но спрячьте его, и

пусть он не выходит, пока все мои люди не лягут спать. А теперь добрый вечер, господин пастор! Добрый вечер, мадемуазель Лизхен! Добрый вечер, кузен Нейманн!

И бригадир вышел, еще раз жестом попрощавшись с собравшимися.

Действующие лица этой сцены, наполовину комической, наполовину драматической, которая только что имела место, проводили бригадира глазами до двери, которая закрылась за ним. Затем, не произнеся более ни слова, но несколько задыхаясь, пастор пошел закрывать ставни окна, через которое прошел бригадир; через отверстие в ставнях он увидел, как тот разговаривал со своими людьми.

В это время Лизхен подошла к офицеру.

— О! Какая я несчастная,— сказала она ему.— Я чуть было не погубила вас, и, будь на месте Шлика кто-то другой, вы бы пропали!

— Да,— сказал пастор,— но благодаря этому славному человеку вы спасены!

— Спасибо, сто раз спасибо вам, отец мой! — произнес улыбаясь офицер, целуя руку пастору.

— Капитан Ришар, целующий руку отцу Маргариты! — прошептала Лизхен.— Боже мой! Это ваше милосердие, а не гнев привели его сюда!

— Теперь, месье, верьте мне,— сказал пастор,— последуйте совету, который дал вам Шлик.

Затем он указал ему на комнату Маргариты и добавил:

— Возьмите этот ключ, поднимитесь в ту комнату, переступите порог ее с уважением, ибо это комната несчастной жертвы... Идите! И сидите там до тех пор, пока я вас не позову.

— Спасибо, месье,— ответил ему молодой человек.— Но, быть может, мне придется бежать, не увидев вас, не имея времени поговорить с вами... поэтому я хотел бы сказать вам пару слов.

— И что же, месье? — ответил пастор, который чувствовал, как к нему возвращается ненависть к французам по мере того, как опасность отступала.

— Этот человек, бригадир, вам напомнил только то, что вы проживали в Вестфалии...

— Да.

— А потом в Баварии...

— И что же, месье?
— Он даже назвал селение Абенсберг.
— Ну и что?
— Вы действительно жили в Абенсберге?
— Боже мой! — прошептала Лизхен.— Что он сейчас скажет?

И она подошла к молодому человеку, готовая остановить его, если увидит, что он продолжает идти по тому же пути, на который вступил.

— В Абенсберге,— продолжал капитан,— не было ли среди ваших благочестивых коллег одного достойного человека по имени Штиллер?

Лизхен с трудом удержалась от крика; она положила свою руку на локоть молодого человека, но тот, казалось, не понимал.

— Штиллер!.. Штиллер!..— повторил пастор, с удивлением глядя на офицера.

— Да, Штиллер.

— Я знал его,— сказал пастор.

— Месье,— прошептала Лизхен,— месье, подумайте о той опасности, которой вы подвергаетесь, не следуя советам бригадира!

— Еще одно слово, мадемуазель, Бога ради!

И вновь, обратившись к пастору, продолжал:

— Месье, я разыскиваю господина Штиллера, к которому меня призывает одно крайне важное дело: найду я его в Абенсберге?

— Что вы от него хотите? — спросил пастор изменившимся голосом.

— Простите, месье,— сказал молодой человек,— но речь идет об одной тайне, которая мне не принадлежит. Поэтому я только повторяю свой вопрос.

И, несмотря на пожатие руки Лизхен, он настойчиво сказал:

— Найду я его еще в Абенсберге или же он умер от своей раны?

— Отец! — сказала девушка, приложив палец к губам и умоляя пастора промолчать.

Пастор кивнул головой и прошептал:

— Да, дитя мое, будь спокойна.

И продолжал, обращаясь к молодому человеку:

— Пастор Штиллер умер от своей раны.

— Умер! — вполголоса сказал молодой человек.— Умер!..

Затем спросил громко:

— Но у него была дочь?

Лизхен прислонилась к спинке кресла, боясь упасть в обморок.

— У него их было две, месье,— ответил пастор,— о которой вы говорите?

— О его дочери Маргарите, мсье.

Лизхен прижала рот обеими руками, чтобы сдержать крик.

Пастор страшно побледнел.

— Вы знаете,— взволнованным голосом сказал он,— что у него была дочь по имени Маргарита?

— Да, я знаю это, месье.

Затем он заколебался, так как чувствовал, что вся душа его брата, которого он так любил, содержалась в вопросе, который он собирался задать:

— А его дочь Маргарита счастлива ли?

— О, да, очень счастлива, месье,— воскликнул пастор,— счастливее, чем на этом свете: она на небе.

— Тоже умерла!— прошептал молодой человек, опуская голову.

Затем после минутного молчания, взяв свечу из рук Лизхен, он сказал:

— Спасибо, месье,— сказал он.— Мне больше не о чем спрашивать.

И когда пастор, в свою очередь, сделал движение, чтобы удержать своего гостя, Лизхен встала между ними.

— Отец,— сказала она,— вы забыли, что господин должен спрятаться, что речь идет о его жизни? Бога ради,— продолжала она, подталкивая молодого человека к лестнице,— ни минуты не оставайтесь здесь дольше, поднимайтесь в комнату моей сестры!

Удивленный молодой человек остановился.

— Да, поднимайтесь туда,— проговорила она вполголоса,— а когда вы будете там несчастный, посмотрите на портрет, висящий между обоими окнами, и бегите!

Офицер увидел, что лицо Лизхен было необычайно взволновано, поэтому он немедленно подчинился, догадываясь, что в сердцах девушки и старика происходит нечто такое, что по крайней мере в этот момент ему не могли объяснить.

Он послушно пошел за девушкой, и в то время, как старик, глядя то на Лизхен, то на своего гостя, задавал себе вопрос, кто бы это мог быть и почему он пустился на поиски пастора Штиллера, молодой человек открыл дверь и скрылся в комнате.

Едва за ним закрылась дверь, как Лизхен почувствовала, как силы оставили ее, и опустилась на стул.

Пастор подошел к ней и, подняв глаза к небу, сказал:

— Боже мой, благодаря Вам один спасен! Теперь мне остается спасти другую!

И, протянув руку Лизхен, продолжал:

— Ну-ну, дитя мое, мужайся!

— Что вы хотите сказать, отец мой? — спросила девушка, живо поднимая голову.

— Я хочу сказать, мое бедное дитя, что ты любишь этого молодого человека!

— Его? — в ужасе спросила Лизхен.

— Да, его, — ответил старик.

— О, нет, отец мой, — воскликнула Лизхен. — Клянись вам, что вы ошибаетесь!

— Зачем ты пытаешься солгать, Лизхен? Ты же знаешь, что со мною это бесполезно.

— Я вам не лгу, отец... или по крайней мере могу вам поклясться в одном.

— Ты клянешься!

— Да, на могиле моей сестры Маргариты!

— А в чем ты клянешься, дитя мое, такой святой клятвой?

— В том, что этот молодой человек никогда не будет для меня никем!

— Ты его не любишь?

— Я не только не люблю его, отец, но он приводит меня в ужас!

— Он пугает тебя?

— Отец, во имя Неба, не будем говорить о нем!

— Напротив, давай поговорим о нем... Он пугает тебя, почему же?

— Ничего... Боже мой, не слушайте то, что я говорю: я сошла с ума!

— Но что же в конце концов?

Вместо ответа Лизхен отступила на шаг, пристально, со страхом глядя на дверь.

— Отец, господин Шлик! — пробормотала она.— Зачем он опять пришел?

Пастор обернулся и действительно увидел бригадира, стоящего на пороге.

XXIII

ЦЕНА ГОЛОВЫ

У Шлика был неуверенный вид; в руке он держал свой мушкет, и это указывало на его более враждебные намерения, чем в первый раз, поскольку тогда он явился без оружия.

Пастор вопросительно посмотрел на него.

— О, да! — сказал Шлик.— Вы полагали, что отделались от меня, господин Вальдск? Я так же думал; но знаете, человек предполагает, а Бог располагает!

— Да, я знаю это, но что мне неизвестно...

— Так это то, что меня привело к вам снова... Я хорошо понимаю... Черт побери! Это так трудно сказать...

— Говорите, господин Шлик.

— Господин пастор, перед вами находится человек, который чувствует себя, конечно, в самом большом затруднении из всей Рейнской конфедерации.

— В затруднении? Как так? — спросил пастор. А Лизхен, задыхаясь, глотала слова бригадира по мере того, как тот их произносил.

— Я сказал вам недавно,— продолжал Шлик,— что ожидаю новые сведения.

— Да.

— Так вот, вернувшись домой, я их нашел.

Затем, подойдя к пастору, он проговорил:

— Кажется, что тот, кого мы разыскиваем, является человеком, гораздо более опасным, чем мы думали.

— Боже мой! — прошептала Лизхен.— Значит, еще не все кончено?

— Более опасным, чем вы думали? — повторил старик.

— Настолько опасным, что его голова, господин Вальдек, оценена...

Лизхен бросила быстрый взгляд на комнату сестры; но даже этот мимолетный взгляд Лизхен бригадир перехватил.

— Очень хорошо,— сказал он про себя,— значит, наш парень еще не ушел!

— Оценена? — спросил пастор, который знал слабость бригадира Шлика к деньгам и понял, что борьба снова начинается.

— В две тысячи талеров всего лишь, господин Вальдек.

— И что же? — сказал пастор, давая таким образом бригадиру свободно высказаться.

— А то, что тот, кто его схватит, получит неплохой куш; вот что я говорю.

Лизхен, мертвенно-бледная, обменялась полным ужаса взглядом со своим отцом.

— Не считая повышения в должности, — добавил бригадир.

— Повышения в должности? — повторил пастор.

— Конечно! Вы отлично понимаете, господин Вальдек: если бригадир арестует заговорщика, он станет сержантом, если это будет сержант, то станет младшим лейтенантом; а между тем, так как его непременно поймут...

— Шлик, что вы такое говорите? — воскликнул пастор.

— Я говорю, что его непременно поймут, господин Вальдек, если не здесь, то где-нибудь недалеко... И я вернулся, чтобы сделать вам одно предложение, справедливость которого вы поймете.

— Какое предложение?

— Так вот, мне кажется, что лучше я получу эту премию и повышение, чем кто-то другой.

— Несчастный! — воскликнул пастор.

Лизхен не сказала ничего, но протянула обе руки к бригадиру.

— Проклятие! — продолжал Шлик. — Я жандарм, господин пастор, а две тысячи талеров — это мое жалование за два года.

— О!.. И вы, который были только что так великодушны, господин Шлик, за такую жалкую сумму...

— Черт побери! Господин Вальдек, что вы говорите! Две тысячи талеров — это не жалкая сумма, а в те времена, когда я рассказывал свои истории генерал-майору, я часто рисковал своей головой за пять сотен!

— Но несчастный! — воскликнул пастор. — Этот человек, голова которого оценена, один из ваших бывших соратников по оружию!

— Я это отлично знаю, — сказал, почесывая ухо, Шлик, — и это меня огорчает.

Лизхен несколько воспряла духом.

— И вы, Шлик, позволите его расстрелять?

Девушка почувствовала, как ее охватила дрожь.

— Право, господин Вальдек! Я в полном отчаянии! — ответил бригадир. — Но что вы хотите! Сейчас деньги — вещь редкая, и, поймите меня, если надо подняться лишь на двенадцать ступенек, чтобы на тринадцатой подобрать мешок с двумя тысячами талеров, это очень заманчиво!

И при этих словах жандарм, чтобы не оставить никаких сомнений у пастора, бросил взгляд на дверь комнаты второго этажа.

— О! Вы, господин Шлик, вы такой честный человек, — прошептала Лизхен.

— Вот именно, барышня, — сказал ей Шлик, прервав на полуслове, — и остаюсь честным человеком, поскольку я жандарм, а мой долг арестовывать людей в случае необходимости.

— О! Даже будучи жандармом, вы не отрицаете, что у вас есть сердце! — воскликнула девушка.

— Да, конечно, у меня есть сердце, барышня, но в то же время у меня есть жена, которую надо кормить, и дочь на выданье; не выдают же девушку замуж без приданого, вы это знаете, господин Вальдек, вы ведь во всем себе отказываете, чтобы собрать приданое для мадемуазель Лизхен, — вот-вот эти две тысячи талеров будут придаными для моей дочери!

— Вы забываете, господин Шлик, что часть этой суммы отойдет вашим товарищам.

— Ни в коем случае; в предписании великого герцога говорится: «Тому, кто арестует...» А между тем мои два товарища легли спать, и я поостерегусь будить их! А так как я один задержу заговорщика, вся премия достанется мне одному.

— Отец мой, — прошептала Лизхен на ухо пастора, — я никогда не выйду замуж!

Пастор посмотрел на свою дочь с глубокой нежностью.

— И ты еще говоришь, что не любишь его! — прошептал он.

Затем он обернулся к жандарму.

— Послушайте, Шлик.

— Слушаю, господин пастор, но разрешите мне, пока я вас слушаю, не спускаю глаз с этой двери. — И он обер-

нулся к двери комнаты Маргариты...— Вот так, теперь я вас внимательно слушаю.

— Вы сожалеете о том, что должны сделать, не так ли? — спросил его пастор.

— Я в отчаянии от этого, — ответил бригадир.

— Так что, если вы заработаете эти две тысячи талеров, но не станете арестовывать этого несчастного изгнанника...

— За жалость не платят, господин пастор.

— Иногда, господин Шлик.

— Кто же?

— Те, для кого жалость не только добродетель, но и долг.

— О! Отец мой! — радостно воскликнула девушка.

— Если, например, я дал бы вам две тысячи талеров?

— Вы?

— Да, я, чтобы спасти жизнь этого человека.

— Остается продвижение по службе, господин Вальдек.

— Но это продвижение не обязательно состоится!

— Поэтому, господин Вальдек, слово чести, тогда, поскольку я тоже со своей стороны хочу чем-то пожертвовать, я жертвую продвижением по службе.

— И дадите скрыться человеку, которого преследуете?

— То есть, — подхватил, улыбаясь, жандарм, — если бы вы мне дали две тысячи талеров, господин Вальдек, это было бы прекрасно с вашей стороны, я был бы так восхищен этим поступком, что вам осталось бы лишь указать мне, в какую сторону повернуть голову и сказать, на сколько времени надо закрыть глаза!

— Дитя мое! — сказал пастор Лизхен. — Возьми этот ключ. Ты знаешь, где лежат деньги.

— Отец! О, отец! — воскликнула девушка, целуя руку пастору.

— Одну минуту, господин Вальдек! — сказал Шлик.

— Боже мой! Боже мой! — прошептала Лизхен.

— Что такое? Вы берете назад свое слово? — спросил пастор

— Нет, — сказал Шлик, — слово есть слово, и договор остается в силе, только я хочу, чтобы вы знали, что я не краду у вас ваши две тысячи талеров. Вот постановление, о котором идет речь.

Он положил на стол рядом с собой свой карабин, с которым не расставался ни на одно мгновение, и выта-

шил из кармана бумагу с правительственной печатью, которую сам прочел:

«Будет выдана сумма в две тысячи талеров любому сотруднику вооруженных лиц, который передаст в руки властей капитана Ришара...»

— О! — воскликнула в отчаянии Лизхен. — Все пропало!

— Капитан Ришар? — повторил пастор, побледнев так, что можно было подумать, будто он при смерти. — Капитан Ришар? Там действительно стоит это имя?

— О да, черт побери! — сказал Шлик. — Прочитайте сами...

— Капитан Ришар! — произнес пастор, бросаясь к карабину, положенному бригадиром на стол, и хватая его таким быстрым движением, что жандарм не успел этому воспрепятствовать. Тогда не вы, а я, я сам...

И он кинулся вверх по лестнице, но на первой же ступеньке натолкнулся на Лизхен, которая обняв его, закричала:

— Отец, именем сестры Маргариты, которая простила, умирая!

— О, что такое, — прошептал Шлик, — что же такое происходит?

На какое-то мгновение все замерли на месте; затем пастор медленно выпустил из рук карабин, который держал в левой руке, а правой протянул Лизхен ключ от шкафа.

— На, возьми, дочь моя, — сказал он, — делай так, как тебе подсказывает твое сердце, и пусть на то будет Божья воля!

— О! — воскликнула Лизхен. — Отец мой, вам вся моя любовь, вам вся моя жизнь!

Тогда пастор, почти потеряв сознание, бессильно упал в кресло на глазах удивленного жандарма.

В это время дверь комнаты Маргариты, которая на мгновение быстро открылась, снова медленно закрылась.

— Господин Шлик, — сказал через минуту пастор, вытирая пот со лба, который свидетельствовал о той борьбе, которую он выдержал сам с собой, — господин Шлик, вы получите свою сумму, за вычетом трех талеров, так

как сегодня утром я отдал их несчастным, и они принесли мне счастье, поскольку сегодня вечером я смог спасти жизнь одному из себе подобных.

— Три талера? — сказал Шлик. — Э! Право, господин Вальдек, я не стану придираться к такой мелочи, совершая доброе дело. Однако, как объясню я своей жене отсутствие этих трех талеров? Если бы я был французом, то сказал бы, что их проел, но я немец, и скажу ей, что я их пропил!

Бригадир заканчивал высказывать это соображение, указывающее на глубокое знание им темперамента обоих народов, к которым он по очереди принадлежал, когда вернулась Лизхен с мешком в руке.

— Вот деньги, — сказала она, запыхавшись, так как она бежала за ними туда и обратно.

— Спасибо, моя прекрасная барышня, — сказал бригадир, беря мешок с деньгами из рук Лизхен, — если бы вы были менее красивы, у меня были бы угрызения совести; но с вашей внешностью, спасибо Господу Богу, нет необходимости иметь приданое!

— Господин Шлик, — серьезно сказал пастор, — на этот раз я имею ваше честное слово!

— О, господин Вальдек, будьте спокойны! Только попросите кузена Нейманна как можно быстрее вернуться в Абенсберг, даже если вам придется поехать туда к нему вместе с вашей прелестной дочкой и отпраздновать там помолвку!

В то же самое время, когда за бригадиром закрылась дверь во двор, дверь из комнаты открылась, и капитан спустился по лестнице, но ни Лизхен, ни старик не заметили его. Тем более что едва исчез Шлик, как Лизхен бросилась в объятия пастора.

— О, дорогой мой отец, — проговорила она, — как вы добры, какое у вас великое сердце!

Старик прижал на минуту дочь к своему сердцу с глубокой, меланхолической улыбкой; затем, отстранив ее от себя, сказал:

— Подожди, теперь я позову этого человека...

— Но ни одного слова, не так ли, отец мой, ни одного упрека? — сказала Лизхен.

— О, будь спокойна, дитя мое, — сказал ей пастор. — Без этого в чем же будет заслуга моего поступка?

Но когда он поднял голову, чтобы позвать капитана Ришара, то заметил его, прислонившегося к перилам лестницы. Вся кровь прилила к его сердцу.

— Вы были тут, месье? — спросил он.

— Да, — ответил молодой человек. — Я все слышал и должен сказать вам то же самое, что только что сказала ваша дочь. О! Господин Штиллер, как вы добры, какое у вас великое сердце!

— А! Так вы знаете, кто я такой?

— Этот портрет в простенке между двух окон...

— Вы узнали ее, мсье?

Молодой человек вытащил из кармана медальон.

— Благодаря этой миниатюре, которую мой брат получил на память, — проговорил он, — и которую оставил мне, умирая, поручив найти пастора Штиллера и его дочь Маргариту, которой он завещал все свое состояние не для того, чтобы исправить, а чтобы искупить то зло, которое он ей сделал.

— Таким образом, месье, — задыхаясь, воскликнула Лизхен, — капитан Ришар?..

— Нас было два брата, дорогая Лизхен, два брата-близнеца, мы оба были военными, оба капитанами, так походили друг на друга, что нас различали лишь по разным мундирам. Шлик, который был знаком с моим братом, как вы только что видели, спутал меня с ним... Это мой брат был виновником вашей трагедии, Лизхен, а, умирая, он поручил мне просить у вас прощения.

— О! Отец, отец! — прошептала Лизхен, опускаясь к ногам старика.

Восемь дней спустя пастор Штиллер получил из Амстердама письмо, в котором были только эти слова:

«Приезжайте ко мне как можно скорее вместе с Лизхен, отец мой! Я в безопасности.»

Луи Ришар».

XXIV

АВГУСТ ШЛЕГЕЛЬ

В 1838 году я ездил по берегам Рейна и собирал там легенды и сведения о национальных традициях, которые превращают старую немецкую реку в самую поэтическую из всех рек, и вот однажды, во время одной из остановок — в Бонне — я имел честь быть представлен поэтом Симроком старому профессору Августу-Вильгельму

Шлегелю, основателю журнала «Атеней», автору «Параллели между Федрой Расина и Федрой Эврипида», переводчика «Рамаяны», близкого друга мадам де Сталь, Гете и Шиллера.

Это был красивый семидесятилетний старик, который, занимаясь всю свою жизнь только критикой, не изнашивается так, как это могло бы произойти с поэтом или романистом, вынужденными постоянно черпать идеи в себе самом. Он сохранил в себе весь запас ума, учености и свежести суждений.

Понятно, что, оказавшись перед одним из самых образованных людей Германии, я изложил ему цель своего путешествия и попросил предоставить мне его запас легенд и традиций.

— Что бы вы сказали,— ответил он мне,— если бы я рассказал вам об одной французской истории вместо немецкой легенды?

— Я был бы рад ее услышать, господин, как и все, что исходит от вас.

— Мне хотелось бы создать небольшой роман или рассказ, так страниц в пятьдесят; но наступает возраст, господин Дюма, когда человек уже не уверен в том, что он успеет написать роман даже в пятьдесят страниц! Вы молоды (тогда мне было тридцать пять лет, ровно половина возраста Шлегеля); у вас много времени: именно вы создадите из моих пятидесяти страниц роман в два или три тома.

— Я охотно сделаю это.

— Но, однако, при одном условии.

— Каком же?

— Так как я был знаком с этими людьми, а двое из главных героев еще живы, вы ничего не будете менять ни в их характерах, ни в ходе событий.

— Согласен.

— Вы мне обещаете это?

— Обещаю.

Он попросил принести чаю; я взял свою дорожную тетрадь, чтобы помочь моей памяти записью некоторых событий в случае, если между этим рассказом и написанием романа пройдет долгое время, и Шлегель начал рассказывать мне о тех событиях, о которых вы только что прочли.

Он был знаком со всеми героями этой истории, начиная с Наполеона и кончая шпионом Шликом, только его имя он попросил меня изменить.

Я слушал знаменитого профессора, как слушали его ученики. Затем, когда он закончил свой рассказ, который продолжался полчаса, и, видя, что я улыбаюсь, спросил меня:

— Ну и что вы думаете о моей истории?

— Что я о ней думаю?... Черт побери! — ответил я. — Я не осмеливаюсь заниматься критикой перед первым в мире критиком.

— Давайте, говорите! Ваш баснописец¹ — а баснописцы — это переодетые критики, — написал притчу о человеке, который видит соломинку в глазу своего соседа, не замечая бревна в своем собственном.

— Так вот, — сказал я ему, ободренный этим разрешением, — я полагаю, что из всей военной части рассказа можно многое сделать: всякий раз, как в рассказе появляется Наполеон, этот гений побед, как называет его Гюго, рассказ становится возвышенным и принимает размеры великой эпопеи; эпизод со Штапсом интересен и любопытен; смерть Поля Ришара драматична; но...

Я заколебался.

— Давайте! Давайте! — сказал профессор. — Я готов все услышать.

— Но разрешите сказать мне, что с того момента, когда Луи Ришар попросил гостеприимства у пастора Штиллера, мне кажется, вы впали в пастушеский стиль.

— А это означает?

— Что ваша французская история превращается в немецкую идиллию.

— Ладно.

— По моему мнению, — продолжал я, — в этом самое большое несчастье немецкой литературы; ей не хватает золотой середины: либо она поднимается до возвышенного, либо падает до крайней наивности.

— То есть вы считаете, что мы перепрыгиваем через естественный ход событий?

— Вот именно!

— Таким образом, согласно вашему «французскому вкусу», сцены между Лизхен и Луи?..

— ...Представляют из себя образчик манерной поэзии, доходящей иногда до ребячества.

¹ Имеется в виду Лафонтен. (Примеч. переводчика.)

— Приведите мне пример.

— О! Выбрать есть из чего! Так, например, букет фиалок: у нас есть десятка два водевилей, которые начинаются с преподнесения букета, а заканчиваются возвращением букета обратно.

— Таким образом, во Франции больше не берут и не возвращают букетов? На мой взгляд, всегда существовал один символ, который не стареет, потому что возрождается каждый год,— это цветы.

— О! Я вовсе не утверждаю, высокочтимый критик, что цветы стареют: я говорю вам, что испрашиваемый букетик кажется мне слишком простеньким присмом, присущим поэту, сочиняющему свой первый сонет, или испрашиваемый клерком либо нотариусом, впервые влюбившимся: но что касается офицера, тридцатилетнего мужчины, солдата, принимавшего участие в императорских войнах, прошедшего через битвы Аустерлица, Иены, Ваграма, Москвы, который испытал страшное отступление, потерял таким ужасным образом горячо любимого брата, последовал за императором на Эльбу, вернулся с ним, размышлял над сражением под Ватерлоо, самым философским из всех сражений, и вы полагаете, что такой человек влюбляется в девушку, когда та обрывает и пускает по ветру лепестки роз, а вынужденный покинуть эту девушку, просит у нее при расставании в качестве талисмана букетик фиалок?

Шлегель следил за моими критическими замечаниями с глубочайшим вниманием, а когда я закончил, спросил меня:

— Господин Дюма, вы любите молодым?

— Очень молодым, месье.

— Любили вы так, как полюбил капитан Луи Ришар?

— Да, потому что я был крестьянином, но не солдатом; потому что мне было пятнадцать, а не тридцать лет.

— Послушайте следующее: так как теперь я вам отвечаю, в свою очередь.

— Слушаю.

— Вы говорили со мной с философской точки зрения; я же буду говорить с вами с точки зрения реализма.

— Немец реалист, дорогой господин Шлегель. Это нечто новое.

— Сердце переживает четыре времени года, как жизнь и как год, не так ли?

— Есть даже такие люди, которые переживают всего лишь одно.

— Весну?

— Вот именно! Пусть я проживу до ста лет, но я уверен в одном: мое сердце и в сто лет будет цвести, как свадебный букет.

— Так вот тут я вас и поймал, господин критик! Эта весна сердца для одних начинается в пятнадцать лет, для других — в двадцать, для третьих — в тридцать; Руссо, начавший писать в сорок лет, делает это так же свежо, быть может, даже более, чем Вольтер, который начал писать в восемнадцать!

— Я понимаю, куда вы ведете!

— Это нетрудно! Для Луи Ришара, у которого не было юности, который до тридцати лет знал только эти кровавые, страшные игры войны, весна сердца — это первая встреченная им девушка, в которую он влюбляется, а раз это его первая любовь, для его сердца начинается весна. Какое значение имеют все его военные тревобления, все те страны, которые он повидал! Какое значение имеют все те сражения, которые он выигрывал и проигрывал, будучи их стотысячной частицей! Все это шум, движение, слава, позор, стыд, преданность — все что угодно, но не любовь! Любовь — это весна, а весна рождает цветы, любовь их срывает.

— Почему же тогда вы не довели ваш букетик фиалок до конца? Почему не превратили его в развязку, как это сделал Скриб в «Валери»?

— Вы желаете целиком погрузиться в истину?

— Ну что ж, сделайте развязку сами, используя этот букетик.

Я улыбнулся.

— Месье Дюма,— серьезно продолжал Шлегель,— как я вам уже сказал, я был знаком с главными действующими лицами истории, которую только что рассказал.

— С Луи Ришаром?

— Да, с Луи Ришаром. С двух сторон его камин висели две рамки: в одной из них крест офицера Почетного легиона, который он снял с трупа своего брата и который император отдал ему... Догадываетесь, что было в другой?

— Нет.

— Тот знаменитый букетик фиалок, который Лизхен дала ему в вечер его отъезда.

Я наклонил голову.

— Теперь,— добавил он,— помните о том обещании, которое вы мне дали?

— Я дал вам обещание?

— Да, обещание — или не опубликовывать мою историю, а если опубликовать, то ничего не менять в характерах моих персонажей.

Я свято сдержал обещание, данное мною известному писателю. И теперь нас обоих пусть судит читатель.

— К о н е ц —



ЖОРЖ

РОМАН

Перевод
А. Н. Тетеревниковой, М. С. Трескунова



I

ИЛЬ ДЕ ФРАНС

Не случилось ли вам в один из грустных и холодных зимних вечеров, когда наедине со своими мыслями вы слушаете, как ветер свистит в коридорах и дождь хлещет по стеклам окон, не случилось ли вам, когда вы сидите у камина и смотрите на потрескивающие в нем угли, не случилось ли вам почувствовать отвращение к нашему мрачному климату, к нашему сырому и грязному Парижу и умчаться в мечтах в какой-то волшебный оазис, зеленый и свежий, где вы можете в любое время года, на берегу живительного источника, у подножия пальмы, в тени ямбозы задремать, постепенно погружаясь в блаженство и негу?

Ну, так вот! Этот рай, о котором вы мечтаете, существует, этот Эдем¹, куда вы стремитесь, вас ждет, этот

¹ По библейскому сказанию — земной рай, местопребывание человека до грехопадения.— *Здесь и и далее примечания переводчика М. Трескуйова.*

ручей, убаюкивающий вашу дневную дремоту, ниспадает каскадом и рассыпается водяной пылью; пальма, охраняющая ваш сон, колышет на ветерке свои длинные листья, словно султан на шлеме великана. Ветви ямбозы, покрытые плодами, отливающими цветами радуги, манят вас в свою благоухающую тень. Следуйте за мной.

Поплывем в Брест. Брест — это воинственный брат торгового Марселя, вооруженный часовой, сторожащий океан; и там среди сотен кораблей, охраняющих его порт, выберем один из бригов с узким корпусом, с легкими парусами и удлиненными мачтами, какими наделил своих смелых пиратов соперник Вальтера Скотта¹, автор поэтических романов о море. Сейчас как раз сентябрь — месяц, благоприятствующий долгим путешествиям. Взойдем на борт корабля, которому мы доверили нашу общую судьбу, оставим за собой лето и пойдем на встречу с весной. Прощай, Брест, привет тебе, Нант, привет, Байонна, прощай, Франция.

Видите ли вы направо от нас этого гиганта высотой в десять тысяч футов, гранитная голова которого теряется в облаках, словно парит в них? Сквозь прозрачную воду можно различить его каменные корни, врастающие в бездну. Это пик Тенериф, древняя Нивария, место встречи океанских орлов: вы видите, как они летают вокруг своих гнезд; отсюда они кажутся не крупнее лесных голубок. Но проплывем мимо, не это цель нашего путешествия, ведь здесь только цветник Испании, а я обещал вам сад мира.

Видите ли вы слева эту голую скалу, лишенную растительности, непрерывно обжигаемую тропическим солнцем: к этой скале шесть лет был прикован современный Прометей²; это пьедестал, на котором Англия сама воздвигла памятник своему позору, подстать костру Жанны д'Арк и эшафоту Марии Стюарт; это политическая Голгофа, которая в течение восемнадцати лет была местом паломничества всех проходящих кораблей; но мы направляемся не сюда. Проплывем мимо, нам здесь нечего делать; цареубийца Святая Елена лишилась останков погибшего на ней мученика.

Вот мы и у мыса Бурь. Вы видите гору, устремляю-

¹ Речь идет об Эжене Сю, авторе исторического романа «Жан Кавалье» и обширного цикла морских рассказов.

² Император Франции Наполеон I.

щуюся вверх посреди туманов, это тот самый великий Адамастор¹, который предстал перед автором «Лузиады». Мы проплываем мимо крайней точки земли, этот мыс, обращенный к нам, выглядит, словно нос корабля. В самом деле, посмотрите, как свирепо об него разбивается океан, но он бессилен, потому что корабль не боится бурь, потому что он направляется в порт вечности, а ведет его сам Бог. Проплывем мимо; за зеленеющими горами мы увидели бы бесплодные земли и обожженные солнцем пустыни. Проплывем мимо; я обещал вам прохладные воды, нежную тень ветвей, непрерывно зреющие фрукты и вечные цветы.

Привет Индийскому океану, куда нас несет западный ветер, привет тем местам, где происходит действие сказок «Тысячи и одной ночи», мы приближаемся к цели нашего путешествия. Вот печальный остров Бурбон, подтачиваемый вечным вулканом; бросим взгляд на пылающий там огонь и улыбнемся царящим вокруг ароматам, потом, сделав еще несколько узлов, пройдем между островами Плоским и Пушечным клином, обогнем мыс Канониров; остановимся у флагманского судна. Бросим якорь, рейд здесь удобный, наш бриг, утомленный столь долгим переходом, требует отдыха. Впрочем, мы достигли цели своего путешествия, потому что это и есть та счастливая земля, которую природа, кажется, скрыла на краю света, как ревнивая мать прячет девственную красоту своей дочери от оскверняющих ее взглядов, потому что эта земля — земля обетованная, жемчужина Индийского океана, это Иль де Франс.

А теперь, целомудренная дочь морей, родная сестра острова Бурбон, счастливая соперница Цейлона, позволь мне приподнять край твоей вуали и показать моему другу иностранцу, сопровождающему меня брату-путешественнику, позволь мне развязать твой пояс, о прекрасная пленница, ведь мы два странника из Франции, а быть может, когда-нибудь Франция выкупит тебя, богатая дочь Индии, ценою какого-нибудь захудалого королевства Европы.

А вы, следившие за нами глазами и мыслью, позвольте теперь рассказать вам о чудесной стране, о ее всегда плодородных полях, где урожаем собирают два раза в год, где весна и лето следуют друг за другом, бес-

¹ Мифологический персонаж эпической поэмы «Лузиады» португальского поэта Камозэнса Луиша ди (1524—1580).

престанно чередуясь, и где фрукты приходят на смену цветам, а цветы — плодам. Позвольте мне рассказать вам о поэтическом острове, ноги которого погружены в море, а голова прячется в облаках; словно Венера, его сестра, этот остров, рожденный морской пеной, поднимается из влажной колыбели к своему небесному царству, украшенный то сверкающим днем, то звездной ночью, вечными нарядами, дарованными ему самим Господом, которых Англия не смогла еще у него отнять.

Пойдемте же! Если воздушные путешествия пугают вас не больше, чем морские, ухватитесь, подобно новому Клеофасу¹, за край моего плаща, и я перенесу вас на перевернутый конус Питербота, самой высокой горы на острове после пика Черной реки. Когда мы окажемся там, мы посмотрим во все стороны, направо, потом налево, вперед и назад, вниз и вверх.

Над нами вы видите небо, всегда чистое, усеянное звездами, как лазурная скатерть, где Бог своей поступью поднимает золотую пыль, любая пылинка которой является собой целый мир.

Перед нами весь остров, он расстилается у наших ног, как географическая карта в сто сорок пять лье в окружности со своими шестьюдесятью речками, которые кажутся отсюда серебряными нитями, привязывающими море к берегам острова, и тринадцатью горами, украшенными лианами и пальмами. Среди всех речек обратите внимание на водопады Редюи и Ла Фонтэн, которые из глубины лесов, где они зарождаются, устремляют свои потоки и со страшным шумом, подобным грохоту бури, несутся на встречу с морем, которое ждет их и, спокойное или бушующее, отвечает на их вечный вызов то презрением, то гневом; победители соревнуются, кто из них совершит на земле больше опустошений и пуше прогремит. Потом, после этой картины обманутого тщеславия, полюбуйте Черной речкой, спокойно катящей живительные воды; она отдает свое славное имя всему, что ее окружает, доказывая тем самым победу мудрости над силой и спокойствия над гневом. Среди всех этих гор вы увидите еще мрачный Брабант — гигантский часовой, стоящий на северной оконечности острова, чтобы защищать его от внезапных нападений врага и от яростных волн океана. Посмотрите на Тройной Пик, у

¹ Имя героя романа Алена Лесажа «Хромой бес».

подножия которого протекают реки Тамарэн и Рампар, как будто индийская Исида ¹ захотела во всем оправдать свое имя. Наконец, посмотрите на Пус, самый величественный пик острова после Питербота, на вершине которого мы с вами находимся. Пус как будто поднимает к небу палец, чтобы показать хозяину и его рабам, что над ними есть Судия, который рассудит их дела по справедливости.

Перед нами Пор Луи, бывший Пор Наполеона, столица острова с многочисленными домами, с двумя ручьями, которые после каждой грозы превращаются в потоки, с островом Бочаров, защищающим подступы к городу с его пестрым населением; последнее, кажется, состоит из представителей всех народов мира, начиная с ленивого креола, который, если ему нужно перейти на другую сторону улицы, заставляет нести себя в паланкине, а говорить для него так утомительно, что он приучил своих рабов повиноваться жестам, и до негров, которых утром ведут на работу, погоняя кнутом, а вечером тот же кнут возвращает их домой. Между этими двумя крайними ступенями социальной лестницы вы видите ласкаров ², одетых, в зеленое и красное, — вы их отличите по тюрбанам исключительно тех же цветов и по бронзовым лицам, являющим смесь малайского и малабарского типов. Посмотрите на негра волофа, высокого и красивого уроженца Сенегамбии, черного, как агат, с глазами, горящими, как гранаты, с белыми, словно жемчуг, зубами. Маленький китаец с плоской грудью и широкими плечами, с голым черепом и висячими усами; никто не понимает, что он говорит, и все же все с ним общаются, потому что китаец продает любые товары, знает все ремесла и все профессии; потому что китаец — это еврей колонии. Малайцы, медного цвета, маленькие, мстительные, хитрые, всегда забывают благодеяние и вечно помнят обиду; как цыгане, они продают такие вещи, о которых спрашивают только вполголоса. Мозамбикцы, кроткие, добрые и глупые, их уважают только за их физическую силу. Малагасийцы хитрые, изворотливые, с оливковым цветом лица, с широким носом и тонкими губами, отличаются от негров-сенегальцев красноватым оттенком кожи. Намакейцы, высокие, стройные, ловкие

¹ В древнеегипетской мифологии Исида — богиня плодородия, воды и ветра, волшебства, мореплавания и т. д.

² Л а с к а р ы — мужественные матросы с Индостана.

и гордые, с детства приученные к охоте на тигров и слонов, изумляются, что их перевезли на землю, где нет чудовищ, с которыми надо бороться. Наконец, среди всех этих народностей — английский офицер из островного гарнизона или служащий в порту; офицер в красном жилете с круглым вырезом, с кивером в форме фуражки и в белых штанах; английский офицер, который с высоты своего величия смотрит на креолов и мулатов, на хозяев и рабов, на колонистов и туземцев, говорит только о Лондоне, хвалит только Англию и уважает лишь самого себя.

За нами Большой порт, бывший Имперский порт, когда-то построенный голландцами, но покинутый ими, потому что ветер там всегда дует с моря к острову, и тот же бриг, который гонит корабли в этот порт, мешает им из него выйти. Поэтому порт развалился и превратился в поселок, где дома понемногу поднимаются из развалин, теперь это маленькая бухта, где шхуна ищет укрытия от абордажа пиратов, вокруг нее горы, покрытые лесами, где раб спасается от тирании хозяина. Потом... переведа взгляд поближе, мы различим почти у себя под ногами, на внешней стороне гор, окружающих порт Моку, благоухающую алоэ, гранатами, смородиной. Местность Мока такая свежая, что она, кажется, вечером снимает сокровища своего урожая, чтобы на заре вновь украсить ими; Мока, которая наряжается каждое утро так же, как другие местности наряжаются к празднику, Мока — сад острова, названного нами садом мира.

Займем наше прежнее положение, повернемся лицом к Мадагаскару и посмотрим налево: у наших ног, по ту сторону опорного пункта, расстилаются равнины Уильямса, они начинаются за Мокой, самой прелестной частью острова, заканчиваются у равнины Сен-Пьер горой Кордегардии, по форме похожей на спину лошади; потом за горой и за большими лесами расположен район Саванн; здесь протекают реки, получившие нежные названия: речка Лимонных деревьев, Купальня негрятенок. Аркады, со своим портом, так хорошо защищенным крутыми берегами, что туда не может проникнуть никакой враг; вокруг него пастбища, соперничающие с равнинами Сен-Пьер, там такая девственная почва, какая встречается только в безлюдной Америке; наконец, в глубине лесов — большой пруд, где водятся такие гигантские мурены, что их уже нельзя назвать угрями — это змеи; случалось, что они затаскивали к себе преследуемых

охотниками оленей и пожирали их, а также беглых негров, рискнувших выкупаться в пруду.

Посмотрим направо. Вот район Крепости, над которым возвышается Пик Открытия; над вершиной его парят мачты кораблей, которые отсюда кажутся тонкими и гибкими, как ветви ивы. Вот мыс Несчастный, вот бухта Могил, вот церковь Пампельмусов. В этом районе находились по соседству друг с другом хижины мадам де ла Тур и Маргариты¹; о мыс Несчастный разбился «Сен-Жеран»; у бухты Могил нашли тело девушки, сжимавшей в руке чей-то портрет; в церкви Пампельмусов два месяца спустя рядом с этой девушкой похоронили юношу такого же возраста. Вы уже угадали имена этих двух возлюбленных, покоящихся в одной могиле, под одним камнем. Это Поль и Виржини, два тропических зимородка; море, со стоном разбиваясь о прибрежные скалы, кажется, беспрестанно оплакивает их, как тигрица, вечно оплакивающая своих тигрят, которых сама же и растерзала в приступе ярости или ревности.

И теперь, пройдете ли вы по острову от Декорна на юго-западе, или от Мазбура до Малого Малабара, спуститесь ли по рекам, или перевалите через горы, будь то под ослепляющим диском солнца, сжигающего равнину пламенными лучами, или под лунным серпом, серебрящим холмы своим печальным светом,— тогда, о спутник мой, если ноги у вас устали, голова отяжелела, а веки слипаются, если, опьянев от благоухания китайских роз, испанских жасминов или плумерии, вы ощущаете, что все ваши чувства растворяются в некоем подобии опиумного забытья,— тогда вы можете без опасения предаться сокровенному и глубокому блаженству тропического сна. Ложитесь же в густую траву, спите спокойно и проснитесь без страха, потому что легкий шум, который, приближаясь, колышет листву, устремленные на вас черные сверкающие глаза,— это не шорох ямайской змеи, это не глаза бенгальского тигра. Спите спокойно и просыпайтесь безмятежно. Никогда на острове эхо не повторяло резкого шипения змеи или ночного рева хищного зверя. Нет, это молодая негритянка раздвигает стебли бамбука, чтобы показать свою красивую головку и с любопытством посмотреть на вновь прибывшего европейца. Подайте ей знак, даже не изменив позы,

¹ Персонажи романа Бернардена де Сент Пьера «Поль и Виржиния» (1867).

она сорвет для вас сочный банан, душистый плод манго или стручок тамаринда, скажите ей хоть одно слово, и она ответит вам гортанным голосом: «Позвольте мне услужить вам». Она обрадуется, если за ее услугу заплатят приветливым взглядом, тогда она предложит проводить вас в жилище своего хозяина. Следуйте за ней, куда бы она ни повела, и когда вы увидите красивый дом, окруженный цветами, к которому ведет обсаженная деревьями аллея, значит, вы пришли: это жилище плантатора, тирана или патриарха, доброго или злого; но, будь он тем или другим, это вас не касается и не имеет для вас значения. Входите смело, садитесь за семейный стол, скажите: «Я ваш гость», и тогда перед вами поставят самую красивую китайскую тарелку с прекрасной гроздью бананов и хрустальный в серебре бокал, наполненный лучшим пенистым пивом острова; вы будете охотиться, сколько захотите, с ружьем хозяина в его саваннах, вы будете ловить рыбу в речке его сетями, и каждый раз, когда вы придете к нему сами или пошлете своего друга, будет заколот жирный теленок, потому что появление гостя — это праздник, такое же счастье, как некогда было возвращение блудного сына.

Вот потому-то англичане, вечные завистники Франции, издавна устремили взгляд на ее любимую дочь, беспрестанно присматривались к ней, пытаясь то соблазнить ее золотом, то напугать угрозами, но на все эти предложения прекрасная креолка отвечала презрением, так что скоро стало очевидно, что влюбленным англичанам не удастся соблазнить ее, и они решили завладеть ею силой. Пришлось не спускать с нее глаз, охраняя ее, как испанскую монахиню. Некоторое время они пытались захватить ее, но это были недостаточно серьезные, а следовательно, безрезультатные попытки. Наконец, Англия, не в силах больше сдерживаться, бросилась на остров очертя голову, и, когда однажды утром на Иль де Франс узнали, что его брат, остров Бурбон, уже захвачен, его обитатели попросили своих защитников лучше охранять их, чем в прошлом, и те начали всерьез точить ножи и раскалять ядра, потому что врага ждали с минуты на минуту.

23 августа 1810 года по всему острову загремела грозная канонада, возвестившая о прибытии врага.

ЛЬВЫ И ЛЕОПАРДЫ

Было около пяти часов вечера в один из нечастых в нашей Европе чудесных летних дней. Половина обитателей Иль де Франса расположилась полукругом на холмах, возвышающихся над Большой гаванью, и, затаив дыхание, созерцала битву, разыгравшуюся внизу, как когда-то римляне с высоты ступеней Колизея смотрели на бой гладиаторов или на гибель мучеников. Только на этот раз ареной служила широкая бухта, окруженная подводными скалами, где сошлись противники. Лишенные возможности маневрировать, бойцы без помех терзали друг друга. И здесь не было весталок, которые, поднимая палец, требовали бы пощады побежденным; все хорошо понимали, что бой идет смертельный, бой до полного уничтожения. Десять тысяч зрителей хранили тревожное молчание. Молчало и море, так часто бушующее в этих широтах, как будто стараясь не заглушать рев грохочущих пушек.

А произошло вот что:

Двадцатого утром капитан Дюперре, шедший от Мадагаскара на фрегате «Беллона» в сопровождении корветов «Минерва», «Виктор», «Цейлон» и «Уиндгэм», распознал Горы Ветров, что на Иль де Франс, и решил зайти в Большую Гавань отремонтировать свои суда, сильно потрепанные после трех сражений, из которых он вышел победителем; это было тем легче, что остров принадлежал французам, и трехцветный флаг, развевающийся на укреплениях острова Пасс и на трехмачтовом судне, стоявшем на якоре у его берега, внушал храброму моряку уверенность в том, что он будет встречен друзьями. Поэтому капитан Дюперре велел обогнуть остров Пасс, расположенный приблизительно в двух лье от Маэбура, и, чтобы осуществить этот маневр, приказал корвету «Виктор» выйти вперед, «Минерве», «Цейлону» и «Беллоне» следовать за ним, а «Уиндгэму» замыкать строй. Итак, флотилия пустилась в путь, причем корабли следовали друг за другом, потому что ширина пролива не позволяла даже двум судам идти рядом. Когда «Виктор» приблизился на расстояние пушечного выстрела к трехмачтовому судну, стоявшему на якоре у форта, с этого корабля подали сигналы, означавшие, что в виду острова курсируют английские суда. Капитан Дюперре ответил, что он это отлично знает; флотилия, замеченная с корабля,

состояла из «Волшебницы», «Неренды», «Сириуса» и «Ифигении», и командовал ими командир Ламбер. Поскольку с подветренной стороны острова находился еще капитан Гамлен с кораблями «Предприимчивый», «Ла-Манш» и «Астрея», сил у французов хватало, чтобы принять бой, если неприятель станет его навязывать. Несколько секунд спустя капитану Буве, шедшему вторым, показалось, что он замечает враждебные действия на корабле, только что подававшем сигналы. К тому же, сколько он ни рассматривал этот корабль во всех его деталях проницательным взглядом, так редко обманывающим моряка, он не мог признать, что это судно принадлежит французскому флоту. Буве поделился своими наблюдениями с капитаном Дюперре; тот приказал подготовиться к бою. Что касается «Виктора», то ему невозможно было передать эти распоряжения, он ушел вперед слишком далеко, и всякий поданный ему сигнал мог быть замечен с форта или с подозрительного корабля.

Итак, «Виктор» продолжает доверчиво идти вперед, подгоняемый свежим юго-восточным бризом; весь его экипаж высыпал на палубу. Два других корабля, идущих за «Виктором», с тревогой следят за движением на трехмачтовом судне и на форте; впрочем, это судно и «Виктор» пока не выражают враждебных намерений; два корабля, стоящие совсем близко друг к другу, обмениваются даже несколькими словами. «Виктор» продолжает путь, он уже прошел мимо форта, как вдруг по бокам судна, стоявшего на якоре, и на зубцах крепости появляется полоса дыма. Внезапно загремели сорок четыре пушки, пробивая ядрами французский корвет, разрывая его паруса, поражая экипаж, ломая фор-марсель. В то же время трехцветный французский флаг исчезает с укрепления и с трехмачтового судна, уступая место английскому знамени. Нас одурачили, мы попали в ловушку.

Но вместо того, чтобы повернуть обратно, что было бы возможно, если бы капитан Дюперре покинул корвет, он подает сигнал «Уиндгэму», который уходит в море, и приказывает «Минерве» и «Цейлону» формировать пролив. Сам он будет поддерживать их огнем, а «Уиндгэм» тем временем предупредит командование французского флота о положении, в котором находятся эти четыре корабля.

Суда продолжают двигаться вперед, не так уверенно, как «Виктор», но с зажженными фитилями; каждый мат-

рос стоит на своем посту; на корабле царит глубокое молчание, обычно предшествующее великим событиям. Вскоре «Минерва» оказывается борт о борт с вражеским трехмачтовым судном, но на этот раз она предупреждает его; двадцать две пушки стреляют одновременно, защитные заслоны английского судна разлетаются на куски, слышатся приглушенные крики, потом судно отвечает всеми своими орудиями и возвращает «Минерве» вестников смерти, которых она только что получила; артиллерия флота тоже бьет по «Минерве», но при этом лишь убивает нескольких матросов и обрывает тросы.

Подходит «Цейлон», красивый двадцатидвухпушечный бриг, за несколько дней перед тем захваченный у англичан, который так же, как «Виктор» и «Минерва», должен теперь сражаться за Францию, свою новую повелительницу. Он движется, легкий и грациозный, как морская птица, едва касаясь волн. Когда он приближается к форту и трехмачтовому судну, то судно и «Цейлон» сразу воспаляются, поднимаются оглушительный шум, оттого что все стреляют одновременно, и дым их смешивается, так близки они друг к другу.

Остается капитан Дюперре, командующий «Беллоной». Уже тогда это был один из самых храбрых и искусных офицеров нашего флота. Он подходит, в свою очередь, держась ближе к острову Пасс, чем остальные корабли; потом стоящие борт о борт суда воспаляются, обмениваясь смертью в упор, на расстоянии пистолетного выстрела. Корабли проходят через пролив, четыре судна оказались в гавани: они встречаются подле реки Цапель и встают на якорь между островами Обезьян и мысом Колонии.

Капитан Дюперре тотчас же связывается с городом и узнает, что остров Бурбон взят, но, несмотря на попытки захватить Иль де Франс, неприятель смог овладеть только островом Пасс. Тотчас к храброму генералу Декаену, губернатору острова, направляют курьера, чтобы сообщить ему о том, что в Большую Гавань прибыли четыре французских корабля: «Виктор», «Минерва», «Цейлон» и «Беллона». Генерал Декаен получает эти сведения двадцать первого, в полдень, и передает их капитану Гамлену, который тут же дает находящимся под его командованием судам приказ сниматься с якоря, сухопутным путем посылает капитану Дюперре подкрепление и предупреждает его, что сделает все возможное, что-

бы прийти к нему на помощь, так как, по-видимому, Дюперре угрожают превосходящие его силы.

В самом деле, двадцать первого, в четыре часа утра, пытаясь стать на якорь в устье Черной реки, «Уиндгэм» был захвачен английским фрегатом «Сириус». Командовавший этим фрегатом капитан Пим узнает, что четыре французских судна под командованием капитана Дюперре вошли в Большую Гавань, где их задерживает ветер; он тотчас приказывает выходить капитанам «Волшебницы» и «Ифигении», и все три фрегата пускаются в путь. «Сириус» возвращается в Большую Гавань с попутным ветром, а два других фрегата, гонимые ветром, направляются туда же.

Капитан Гамлен наблюдает эти маневры; сопоставив их с переданными ему новыми сведениями, он предполагает, что капитан Дюперре будет атакован. Поэтому он сам спешит сняться с якоря, но, как ни старался, к выходу он готов лишь 22 утром. Три английских фрегата опережают его на три часа, и ветер, который дует с юго-востока, усиливаясь с минуты на минуту, еще усугубляет препятствия, испытываемые капитаном на пути к Большой Гавани.

Двадцать первого вечером генерал Декаен садится на коня и в пять часов утра прибывает в Маэбур вместе с главными плантаторами и неграми, на которых они могут положиться. Господа и рабы вооружены ружьями; если англичане предпримут десант, каждый островитянин сможет сделать пятьдесят выстрелов. Генерал Декаен встречается с капитаном Дюперре.

В полдень английский фрегат «Сириус», шедший под ветром, а следовательно, испытывавший меньше трудностей, чем два других фрегата, появляется у входа в пролив, приближается к трехмачтовому судну, стоящему на якоре у форта, фрегату «Нереида» под командованием капитана Виллоуби. Эти корабли, словно собираясь атаковать французскую флотилию, движутся на нас, следуя тем же курсом, которым идем мы, слишком приблизившись к берегу. «Сириус» сел на мель; его экипаж потратил целый день, чтобы сняться с мели. Ночью прибыло подкрепление — матросы, посланные капитаном Гамленом; их размещают на четырех французских кораблях, где оказалась тысяча четыреста матросов и сто сорок две пушки. Чуть ли не сразу после их размещения капитан Дюперре посадил на мель свою флотилию; таким образом, каждый корабль подставил врагу один

борт, и лишь половина судовых пушек вскоре примет участие в готовящемся кровавом пире.

В два часа пополудни фрегаты «Волшебница» и «Ифигения» появляются у входа в пролив; подходят к «Сириусу» и «Нереиде», и все четыре корабля идут против нас. Два из них сели на мель, два стали на якорь, имея тысячу семьсот матросов и двести пушек.

Наступает торжественный и напряженный момент, когда десять тысяч зрителей, расположившихся на холмах, увидели, как четыре вражеских фрегата приближаются без парусов, только благодаря слабому напору ветра, дующего в такелаж; их численное превосходство позволяет им чувствовать себя уверенно, и они выстроились на расстоянии менее половины пушечного выстрела от французской флотилии. Они так же, как и мы, встретили немало препятствий на своем пути, но, как и мы, заранее решили сражаться.

Началась борьба не на жизнь, а на смерть, схватились львы и леопарды и принялись терзать друг друга медными зубами и ревущими залпами.

Наши моряки, менее терпеливые, чем французские гвардейцы при Фонтенуа ¹, первые подают сигнал к битве. По бокам на бортах четырех кораблей, на носу которых развевались трехцветные флаги, появляется полоса дыма, в то же время раздается рев семидесяти пушек, и ураган огня обрушивается на английскую флотилию.

Англичане отвечают почти тотчас, и тогда начинается одна из тех смертных схваток, каких со времен Абукира и Трафальгара еще не засвидетельствовала морская летопись. Вначале можно было подумать, что преимущество на стороне врага, так как первые залпы англичан вывели из строя часть орудий «Минервы» и «Цейлона», и огонь двух кораблей оказался в значительной части прикрытым. Но под командованием своего капитана «Беллона» берет на себя все, отвечая стрельбой четырем английским судам; словно действующий вулкан, в течение двух часов она непрерывно извергает огонь, пока «Цейлон» и «Минерва» устраняют полученные повреждения. Эти корабли, стремясь наверстать упущенное время, в свою очередь, принимаются преследовать врага. Им нужно было спасти «Беллону», вернуть ее в свою

¹ Селение в Бельгии.

флотилию и тем самым восстановить единство отряда кораблей.

Тогда же капитан Дюперре замечает, что «Нереида», уже поврежденная тремя залпами французской флотилии при форсировании пролива, ослабила стрельбу. Тотчас был отдан приказ усилить обстрел и не давать ей ни малейшей передышки. В течение целого часа на «Нереиду» падали ядра и пули, надеясь, что она спустит флаг, но, поскольку флаг оставался на месте, обстрел продолжался, круша ее мачты, сметая все с палубы, пробивая подводную часть, пока, испустив предсмертный вздох, не замолчала ее последняя пушка. Теперь «Нереида», оголенная, как понтон, оставалась в неподвижном безмолвии смерти.

В то время, когда капитан Дюперре отдавал приказание своему помощнику Руссену, осколок картечи попадает ему в голову и опрокидывает его на батарею; поняв, что опасно, быть может, смертельно ранен, он зовет капитана Буве, передает ему командование «Беллоной», приказав взорвать четыре корабля, но не сдаваться; отдав такой приказ, пожимает Буве руку и теряет сознание. Никто не заметил этого момента; Дюперре не покидает «Беллону», его заменяет Буве.

К десяти часам стемнело настолько, что приходилось стрелять наугад, но наблюдавшие с берега люди понимали, что это всего лишь передышка, и оставались на своих местах. В самом деле, в час ночи появилась луна, и при ее бледном свете битва возобновилась. Во время передышки «Нереида» получает дополнительное вооружение; заменяются пять или шесть разбитых пушек, фрегат, который считали мертвым, был всего лишь в агонии, он приходит в себя, подает признаки жизни и даже снова атакует нас.

Тогда Буве посылает лейтенанта Руссена на борт «Виктора», капитан которого ранен. Руссен получает приказ снять «Виктора» с якоря, подойти к «Нереиде» и разбить ее в упор всей своей артиллерией; прекратить пальбу только тогда, когда фрегат будет уничтожен.

Руссен точно выполняет приказ: «Виктор» разворачивает кливер и грот-марсель и без единого выстрела бросает якорь в двадцати шагах от кормы «Нереиды»; отсюда он и открывает огонь, на который «Нереида» отвечает на каждый залп. На заре фрегат умолкает. На этот раз он окончательно разбит, но английский флаг

все еще развевается на его гафеле. «Нереида» гибнет, но не сдается.

Вдруг на «Нереиде» раздаются крики: «Да здравствует император!» Это семнадцать французов, взятых в плен фрегатом на острове Пасс и запертых в трюме, ломают дверь своей тюрьмы и выходят через люки с трехцветным знаменем в руках. Знамя Великобритании свергнуто, на его месте развевается трехцветное. Лейтенант Руссен дает приказ идти на abordаж, но в тот момент, когда наши матросы начинают цепляться за борт фрегата, враг направляет огонь на «Нереиду», которая ему уже не подвластна. Бесполезно продолжать борьбу, «Нереида» теперь всего лишь понтон; французы его захватят, как только будут уничтожены другие корабли. «Виктор» оставляет фрегат плавать, подобно мертвому киту; он забирает на борт семнадцать пленников, занимает свое место в ряду сражающихся и залпом батареи возвещает англичанам, что он снова в строю.

Французским кораблям отдается приказ направить огонь на «Волшебницу»; капитан Буве намеревается разбить вражеские фрегаты один за другим; к трем часам пополудни «Волшебница» становится целью для всех пушек, в пять часов она лишь слабо отвечает на наш огонь, словно готова была пойти ко дну; в шесть часов с земли замечают, что ее экипаж готовится покинуть судно, сначала крики, затем сигналы предупреждают об этом французскую флотилию, сила огня удваивается, два вражеских фрегата посылают «Нереиде» шлюпки, с нее бросают пушки в море и спускают на воду лодки; оставшиеся невредимыми и легко раненные матросы садятся в шлюпки, но пока они добираются до «Сириуса», две из них тонут от ядер, и море покрывается матросами, плывущими к двум соседним фрегатам.

Вскоре из бортовых люков «Волшебницы» появляется легкий дымок; с минуты на минуту он становится все гуще, и вот через люки можно разглядеть выползающих оттуда людей, они тащатся, поднимают искалеченные руки, зовут на помощь, потому что дым уже сменился пламенем, из всех отверстий судна вырываются огненные языки, они выходят наружу, ползут по снастям, поднимаются на мачты, окружают рен, и среди этого пламени слышатся душераздирающие крики, потом вдруг корабль раскалывается, как разверзается кратер вулкана. Раздается сильный взрыв. «Волшебница» разлетается на куски. Некоторое время все следят за тем, как ее горя-

щие обломки взлетают вверх, падают и, шипя, угасают в воде. От прекрасного фрегата «Волшебница», которая еще накануне считала себя царицей океана, не остается ничего: ни обломков, ни раненых, ни убитых. Одно лишь обширное пустое место между «Нереидой» и «Ифигенией». Потом, устав от борьбы, с ужасом глядя на это зрелище, англичане и французы затихают; остаток ночи посвящается отдыху.

На рассвете бой возобновляется. Теперь французская флотилия избирает своей жертвой «Сириус». Огонь четырех кораблей, «Виктора», «Минервы», «Беллоны» и «Цейлона», уничтожает «Сириуса». На него направляются все ядра и картечь. Два часа спустя у него уже не остается ни одной мачты, борт снесен, вода проникла в трюм через многие пробоины: если бы он не сидел на мели, то пошел бы ко дну. Наконец, команда покидает его, капитан сходит последним. Как и на «Волшебнице», возникает пожар, огонь на борту достигает пороха и в одиннадцать часов утра раздается страшный взрыв — «Сириус» исчезает навсегда!

Тогда на «Ифигении», сражавшейся не снимаясь с якоря, понимают, что дальнейшая борьба невозможна. Она остается одна против четырех судов, потому что, как мы уже сказали, «Нереида» представляет собой безжизненную громаду; «Ифигения» разворачивает паруса и, пользуясь тем, что она цела и почти невредима, так как не подвергалась обстрелу, удаляется, чтобы укрыться под защитой форта.

Капитан Буве тут же приказывает «Минерве» и «Беллоне» произвести ремонт и сняться с мели. Дюперре, лежа на окровавленной койке, узнает все, что произошло. Он приказывает, чтобы ни один из англичан не смог спастись и сообщить Англии о поражении. Нам нужно отомстить за Трафальгар и Абукир¹! В погоню! В погоню за «Ифигенией»!

И оба доблестных фрегата, изувеченные, собираются с духом, разворачивают паруса и плывут, приказав «Виктору» захватить «Нереиду». Что до «Цейлона», то он до такой степени искалечен, что не может сдвинуться с ме-

¹ В 1805 году у мыса Трафальгар во время войны Франции против 3-й антифранцузской коалиции английский флот адмирала Нельсона уничтожил франко-испанский флот адмирала Вильнева Абукир — остров и мыс в устье Нила. Здесь в 1798 году во время египетской экспедиции Наполеона Бонапарта английский флот нанес поражение французской эскадре, и армия Наполеона оказалась замкнутой в Египте.

ста, пока матросы не законопатят его многочисленные раны.

И тогда раздаются громкие торжествующие крики: все население острова, до тех пор хранившее молчание, вновь обретает дыхание и голос, чтобы поддержать «Минерву» и «Беллону», преследующих английский фрегат. И «Ифигения», менее поврежденная, чем два ее неприятеля, заметно опережает их. «Ифигения», миновав остров Цапель, подходит к форту Пасс, «Ифигения» вот-вот выйдет в открытое море и будет спасена. Ядра, которыми ее преследуют «Минерва» и «Беллона», уже не достигают ее и тонут за кормой, как вдруг при входе в залив появляются три корабля с трехцветным флагом; это капитан Гамлен прибыл из Пор-Луи в сопровождении «Предприимчивого», «Ла-Манша» и «Астреи». «Ифигения» и крепость Пасс оказываются между двух огней; они должны сдаться на милость победителя; не ускользнет ни один англичанин. В это время «Виктор» во второй раз приближается к «Нереиде». Боясь какой-либо неожиданности, «Виктор» подходит к ней осторожно. Но молчание, царящее на корабле, это, несомненно, признак смерти. Палуба покрыта трупами, лейтенант, первым взошедший на судно, по щиколотку погружается в кровавое месиво.

Один из раненых приподнимается и рассказывает, что шесть раз отдавался приказ спустить флаг и шесть раз французские залпы сбивали матросов, пытавшихся выполнить его. Капитан ушел в свою каюту, и больше его никто не видел. Лейтенант Руссен направляется в каюту и находит капитана Вилоугби за столом, на котором стоят кувшин с грогом и три стакана. У капитана оторваны нога и рука. Перед ним лежит его первый помощник Томсон, убитый картечью, прошившей ему грудь; рядом с капитаном — его племянник, Уильям Маррей, раненный картечью.

Затем капитан Вилоугби единственной рукой отдает лейтенанту Руссену шпагу; лейтенант, приветствуя умирающего англичанина, говорит:

— Капитан, когда шпагой дерутся столь доблестно, как вы, она принадлежит только Богу!

И приказывает сделать все возможное, чтобы оказать капитану Вилоугби помощь. Но тщетны усилия: мужественный защитник «Нереиды» скончался на следующий день.

Племянник оказывается счастливее дяди. Рана Уильяма Маррея, хоть и глубокая и опасная, не смертельна. Вот почему он еще будет играть роль в нашем повествовании.

III

ТРОЕ ДЕТЕЙ

Само собой разумеется, что англичане, потеряв четыре корабля, все же не отказались от намерения завоевать Иль де Франс. Напротив, теперь им предстояло одержать победу и отомстить за былое поражение. Не прошло и трех месяцев после событий, о которых мы только что рассказали читателю, как в Пор-Луи, то есть в точке, диаметрально противоположной той, где происходило описанное сражение, разгорелась новая битва, не менее ожесточенная, чем первая, но приведшая к совсем иным результатам.

На этот раз дело шло не о четырех кораблях и не о тысяче восьмистах матросах. Двенадцать фрегатов, восемь корветов и пятьдесят транспортных судов высадили на остров двадцать или двадцать пять тысяч солдат, и эта армия двинулась на Пор-Луи, который назывался тогда Пор Наполеон. Трудно изобразить зрелище, какое являла собой столица острова, в то время как ее атаковали столь мощные военные силы. Со всех концов острова стекались массы народа, на улицах царил необычайное волнение. Поскольку никто не был осведомлен о действительной опасности, каждый создавал ее в своем воображении, и больше всего верили самым преувеличенным, самым неслыханным рассказням. Время от времени вдруг появлялся один из адъютантов главнокомандующего, он отдавал очередной приказ и обращался к толпе, стараясь пробудить в ней ненависть к англичанам и вызвать патриотизм. Когда он говорил, со всех сторон взлетали шляпы, надетые на конец штыка, раздавались крики «Да здравствует император!»; люди клялись друг другу победить или умереть; трепет энтузиазма охватил толпу, которая перешла от пассивного ропота к ожесточенным действиям и бурлила теперь, требуя приказа выступить навстречу врагу.

Больше всего народа собралось на плацдарме, то есть в центре города. Можно было видеть то направлявшиеся туда фургоны с несущейся галопом парой малень-

ких лошадок из Тимора или Пегю, то пушку, которую ка-тили артиллеристы-добровольцы, юноши пятнадцати — восемнадцати лет, с лицами, опаленными порохом и по-тому казавшимися бородами. Сюда стягивались на-циональные гвардейцы в военной форме, добровольцы в причудливой одежде, приделавшие штыки к охотничьим ружьям, негры, наряженные в остатки военных мундиров, вооруженные карабинами, саблями и копьями,— все это смешивалось, сталкивалось, валило друг друга с ног, создавало невообразимый шум, поднимавшийся над горо-дом подобно гулу огромного роя пчел над гигантским ульем.

Однако ж, прибыв на площадь, эти люди, бегущие по-одиночке или группами, принимали более солидный и спокойный вид. Дело в том, что на площади была вы-строена в ожидании приказа о выступлении половина гарнизона острова, состоявшего из пехотных полков, об-щей численностью тысяча пятьсот или тысяча восемьсот солдат; они держались гордо и в то же время беззаботно, как бы воплощая молчаливое осуждение беспорядка, создаваемого теми, кто был хуже осведомлен о событи-ях, но все же обладал мужеством и искренним желанием принять участие в них. Пока негры толпились на краю площади, островитяне-добровольцы, как бы повинувась военной дисциплине солдат, остановились против частей гарнизона и построились в таком же порядке, как они, стараясь подражать, хоть безуспешно, правильности их рядов.

Тот, кто командовал добровольцами и кто изо всех сил старался достичь упомянутого порядка, человек лет сорока — сорока пяти, носил погоны командира батальо-на. Природа наградила его одной из тех заурядных фи-зиономий, которым никакое волнение не способно при-дать то, что принято называть выразительностью. Впро-чем, он был завит, побрит, подтянут, как будто пришел на парад; время от времени он расстегивал пуговицы сюртука сверху вниз одну за другой: под сюртуком мож-но было видеть пикейный жилет, рубашку с жабо и бе-лый галстук. Возле командира стоял красивый мальчик лет двенадцати, которого на расстоянии нескольких ша-гов ожидал слуга-негр, одетый в куртку и брюки из хлоп-чатобумажной ткани; мальчик же с непринужденностью, свойственной тем, кто привык хорошо одеваться, носил рубашку с большим вышитым воротником, сюртук из зеленого камлота с серебряными пуговицами и серую

фетровую шляпу, украшенную пером. На боку у него висели ножны, а маленькую саблю он держал в правой руке, стараясь подражать воинственному виду офицера, которого мальчик время от времени громко называл «отец», чем командир батальона, казалось, гордился не меньше, нежели высоким положением в Национальной гвардии, до которого его вознесло доверие граждан.

На небольшом расстоянии от этой группы, явно выставлявшей напоказ свое превосходство, можно было увидеть другую, хотя и менее блестящую, но, несомненно, более примечательную. Она состояла из мужчины лет сорока пяти — сорока восьми и двоих его детей, мальчиков четырнадцати и двенадцати лет. Мужчина этот был высокий, крепкий, поджарый, слегка сутулый. Его нельзя было назвать пожилым, но бросалась в глаза униженность и смиренность, с какими он держался. В самом деле, по темному цвету лица, по вьющимся волосам можно было с первого взгляда узнать в нем мулата. Он был одним из тех, кто благодаря своей предприимчивости нажил в колониях большое состояние и кому все же не могли простить цвета кожи. Одет он был богато, но просто, в руке держал карабин, украшенный золотой насечкой, и был вооружен штыком; на боку у него висела кирасирская сабля. Патронами были наполнены и его патронташ, и карманы брюк.

Старший из двух детей, сопровождавших этого человека, был, как мы уже сказали, четырнадцатилетний подросток. Привычка охотиться еще в большей степени, чем африканская кровь, придала темный цвет его коже. Находясь постоянно в движении, он вырос сильным юношей, потому отец и разрешил ему принять участие в предстоящем сражении. Он также был вооружен двустволкой, гой самой, которой привык пользоваться во время прогулок по острову, и, несмотря на юные годы, уже снискал себе репутацию умелого стрелка, служившую предметом зависти самых известных охотников острова. Однако, хотя он и казался старше своего возраста, сейчас он вел себя как мальчик. Положив ружье на землю, он возился с огромной собакой мальгашской породы, которая, казалось, явилась сюда на тот случай, если англичане привезут с собой несколько своих бульдогов.

Брат юного охотника, младший сын высокого и смиренного с виду человека, тот, кто дополнял изображаемую нами группу, был подростком лет двенадцати, хрупким и хилым; ему не достались ни высокий рост отца, ни

внушительная осанка брата, который, казалось, захватил всю силу, предназначавшуюся им обоим. Поэтому в противоположность Жаку, так звали старшего брата, маленький Жорж выглядел года на два моложе, чем ему было на самом деле. Будучи небольшого роста, с грустным бледным лицом, обрамленным длинными черными волосами, он не выглядел сильным; однако в его тревожном и пронизательном взгляде сквозил такой пылкий ум, а в нахмуренных бровях была такая решимость и твердая воля, что можно было лишь удивляться, как в одном существе сочеталось столько слабости и столько силы.

У мальчика не было оружия; он стоял подле отца, крепко сжимая маленькой рукой ствол его красивого, с золотой насечкой карабина, переводя живые пронизательные глаза с отца на командира батальона, и, казалось, размышлял о том, почему его отец, более ловкий и сильный, чем командир, не был отмечен, подобно тому, каким-либо почетным знаком, особым отличием.

Негр, одетый в синий полотняный костюм, так же, как другой негр, приставленный к мальчику с вышитым воротником, ждал, когда войска двинутся в путь: если отец и брат пойдут сражаться младший мальчик должен будет остаться с негром в полотняном костюме.

С самого рассвета слышался грохот пушек, потому что еще утром генерал Вандермасен, командовавший остальной частью гарнизона, вышел навстречу врагу, чтобы остановить его в ущельях Длинной горы и у переправ через реки Пон-Руж и Латанье. С утра генерал упорно держался на этих рубежах; но, не желая сразу вводить в бой все силы и опасаясь, что наблюдаемое им наступление предпринято лишь для отвода глаз и что англичане войдут в Пор-Луи через какую-то другую брешь в обороне, он взял с собой только восемьсот человек, оставив, как мы уже сказали, для защиты города половину гарнизона и добровольцев-островитян. В результате, проявляя чудеса храбрости, его маленькое войско, сражавшееся против четырех тысяч англичан и двух тысяч сипаев, вынуждено было сдавать позицию за позицией, используя каждую неровность местности, если она представляла собой недолговременный рубеж и давала возможность задержать неприятеля. Однако приходилось отступать дальше и дальше. С площади, где были сосредоточены резервы, по возрастающему с каждой минутой гулу артиллерии можно было судить о том, насколько

ко близко подошли англичане. Скоро в мощные залпы орудий вкрался стрекот мушкетов; нужно сказать, однако, что этот звук не только не испугал защитников Порт-Луи, осужденных приказом генерала на бездействие и неподвижное стояние на площади, но возбудил в них храбрость. В то время как пехотинцы, рабы дисциплины, кусали себе губы и бормотали сквозь зубы ругательства, добровольцы-островитяне бряцали оружием и громко кричали, что, если приказа выступать не последует, они разойдутся и пойдут воевать каждый поодиночке.

И в этот момент раздался сигнал тревоги. Тотчас прискакал адъютант и, подняв вверх шляпу, отдал команду: «К укреплениям! На врага!» Мгновенно загремел барабан регулярных войск; солдаты, построившись в ряды, двинулись навстречу врагу.

Как ни соперничали добровольцы с регулярными войсками, они не могли действовать так же умело. Некоторое время ушло на построение; но, построившись, они внезапно замешкались. Тогда высокий человек, вооруженный карабином, обнял младшего сына и, оставив его на попечение негра в синем костюме, побежал вместе со старшим, чтобы скромно занять место в ряду добровольцев. Но при приближении двух отверженных их соседи справа и слева сдвинулись, оттолкнув при этом стоявших рядом, так что оба мулата, отец и сын, оказались в центре круга, нарушив тем самым ряды волонтеров.

Командир батальона, который только что перед тем с большим трудом выровнял строй добровольцев, заметил возникший беспорядок и, обращаясь к виновникам сутолоки, приказал:

— В ряды становись!

Но на этот приказ, произнесенный не допускавшим возражений тоном, ответил общий крик добровольцев:

— Не желаем терпеть мулатов! Нам не нужны мулаты!

Весь батальон, словно эхо, повторил эти слова. Офицер понял причину сумятицы, увидев в центре широкого круга вооруженного мулата и его старшего сына, пылавшего гневом против тех, кто вытолкнул его из боевой шеренги. Командир батальона, быстро пройдя сквозь ряды добровольцев, направился к мулату. Приблизившись к нему, он смерил его с ног до головы возмущенным взглядом и заявил:

— Мюнье, разве вы не слышали, что ваше место не здесь, вас тут не хотят терпеть!

Пьеру Мюнье стоило только поднять свою мощную руку на толстяка, так грубо разговаривавшего с ним, и он сокрушил бы его одним ударом. Вместо этого Мюнье ничего не ответил; растерянно подняв голову и встретив взгляд командира, он смущенно отвел от него глаза; это еще больше обозлило толстяка.

— Что вам здесь надо? — сказал он, толкая мулата в сторону.

— Господин де Мальмеди, — ответил Пьер Мюнье, — я надеялся, что в такой день, как сегодня, разница в цвете кожи померкнет перед общей опасностью.

— Вы надеялись, — сказал толстяк, пожимая плечами и громко посмеиваясь, — вы надеялись; и кто же скажите, пожалуйста, внушил вам эту надежду?

— Я готов умереть, чтобы спасти наш остров.

— Наш остров, — пробурчал командир батальона, — наш остров! Эти люди только потому, что имеют такие же плантации, как мы с вами, вообразили, что и остров принадлежит им.

— Остров не более наш, чем ваш, господа белые, я это хорошо знаю, — робко ответил Мюнье. — Но если мы будем спорить об этом в тот момент, когда нужно сражаться, то вскоре он станет и не вашим, и не нашим.

— Довольно! — сказал командир батальона, топнув ногой, чтобы заставить замолчать своего собеседника. Довольно; состоите ли вы в списках Национальной гвардии?

— Нет, сударь, ведь вам это известно, — ответил Мюнье, — когда я явился к вам, вы отказались принять меня.

— Ну хорошо, а чего же вы хотите теперь?

— Я прошу разрешения стать добровольцем и следовать за вами.

— Невозможно, — сказал толстяк.

— Но почему невозможно? Ведь если бы вы захотели, господин де Мальмеди...

— Невозможно, — повторил командир батальона, — господа, которыми я командую, не хотят, чтобы среди них были мулаты.

— Нет! Не хотим мулатов! Не нужно мулатов! — в один голос закричали национальные гвардейцы.

— Но тогда ведь я не смогу сражаться, сударь,— сказал Пьер Мюнье, в отчаянии опустив руки и едва сдерживая слезы, дрожавшие у него на ресницах.

— Организуйте отряд из цветных и станьте во главе их или присоединяйтесь к отряду чернокожих, который последует сейчас за нами.

— Но...— прошептал Пьер Мюнье.

— Приказываю вам покинуть батальон; я вам приказываю,— грубо повторил де Мальмеди.

— Идемте же, отец, идемте, оставьте этих людей, которые вас оскорбляют,— произнес дрожащий от гнева мальчишеский голос.

— Кто-то стал оттаскивать Пьера Мюнье с такой силой, что он сделал шаг назад.

— Да, Жак, я иду с тобой.

— Это не Жак, отец, это я, Жорж.

Мюнье с удивлением оглянулся. Действительно, то был Жорж, который вырвался из рук негра и подошел к отцу, чтобы дать ему урок чести.

Пьер Мюнье глубоко вздохнул.

В это время ряды Национальной гвардии выровнялись, господин де Мальмеди занял место во главе отряда, и солдаты двинулись ускоренным маршем. Пьер Мюнье остался с сыновьями, лицо у одного из них было багровое, у другого — мертвенно-бледное. Расстроенный вид сыновей был для отца горьким упреком.

— Ничего не поделаешь, дорогие мои детки, вот как с нами обращаются.

Жак по натуре был беспечным философом. Вначале эта сцена произвела на него, разумеется, тягостное впечатление, но с помощью здравого смысла он быстро утешился.

— В конце концов черт с ним, пусть этот толстяк презирает нас! — ответил он отцу. — Вы богаче и сильнее его, не правда ли, отец? Пусть только мне попадетя его сынок, и я залеплю ему такую пощечину, что он запомнит меня навсегда.

— Мой дорогой Жак! — сказал Пьер Мюнье, как бы благодаря его за утешение; затем он обратил взор на младшего сына, чтобы проверить, настроен ли он так же благоразумно, как старший.

Жорж оставался безучастным; все, что отец мог заметить на его холодном лице, была чуть заметная усмешка; впрочем, как ни было его лицо непроницаемо, в

этой усмешке таилось столько презрения и жалости, что Пьер Мюнье, не зная, что сказать, воскликнул:

— Боже мой, но что же, по-твоему, я мог сделать?!

И он ожидал, что ему ответит мальчик, с тем смутным беспокойством, в котором не признаешься самому себе, особенно когда ожидаешь оценки своему поступку от своего подопечного.

Жорж ничего не ответил, но, взглянув на площадь, сказал:

— Там стоят негры, они ждут того, кто будет ими командовать.

— Ну что же, ты прав, Жорж,— радостно произнес Жак, преисполнившись чувством собственного достоинства, и повторил изречение Цезаря: «Лучше командовать этими, чем подчиняться тем».

Пьер Мюнье, уступая совету младшего сына и мнению старшего, подошел к неграм, спорившим о будущем командире; увидев человека, которого каждый на острове уважал, они столпились вокруг него, как вокруг истинного вождя, и попросили возглавить отряд.

И Мюнье странным образом преобразился: чувство унижения, которое он не мог побороть перед лицом белых, исчезло, уступив место чувству собственной значимости. Он выпрямился во весь свой могучий рост, глаза его, выражавшие смирение, когда он стоял перед де Мальмеди, загорелись. Дрожавший прежде голос зазвучал грозно и убежденно; вскинув ружье на плечо, вытащив саблю из ножен и протянув мускулистую руку в сторону противника, он отдал команду: «Вперед!»

Затем, бросив взгляд на младшего сына, стоявшего подле негра и с одобрением приветствовавшего отца, он направился с отрядом вслед за пехотинцами гарнизона и солдатами Национальной гвардии, в последний раз крикнув негру:

— Телемак, береги моего сына!

Линия обороны была разделена на три части. Налево — бастион Фанфарон, выстроенный у самого моря и вооруженный восемнадцатью пушками, в середине — главное укрепление: двадцать четыре орудия, направо — батарея Дюма, защищенная только шестью пушками.

Англичане вначале двигались тремя колоннами, преследуя три разные цели, но, обнаружив силу двух первых батарей, они сосредоточились на третьей, которая не только, как мы сказали, была самой слабой, но была укомплектована лишь местными артиллеристами. Одна-

ко же против всякого ожидания, при виде плотной массы, грозно двигавшейся на нее, воинственная молодежь батареи вовсе не растерялась. Все поспешили занять свои посты и, маневрируя быстро и ловко, подобно опытным солдатам, открыли прицельный огонь. Вражеские войска решили, что они ошиблись относительно мощности батареи и числа обслуживающих ее людей. И все же они шли вперед, потому что, чем смертоноснее был огонь, тем насущнее была необходимость его погасить. Но вот проклятая батарея совсем разгневалась и, подобно фокуснику, который заставлял нас забывать один свой невероятный фокус, тут же показав нам другой, удвоила залпы, посылая вслед за ядрами картечь, причем с такой быстротой, что в рядах врагов началось смятение. В то же время, поскольку англичане подошли на расстояние оружейного выстрела, началась перестрелка, так что неприятель, видя, как его ряды редеют или вовсе уничтожаются, удивленный этим неожиданным отпором, отступил и занял новую позицию.

По приказу главнокомандующего регулярные войска и батальон национальных гвардейцев, до того сосредоточенные в самом опасном месте, пошли в атаку на фланги противника, в то время, как грозная батарея продолжала громить его с фронта. Регулярные войска, точно осуществив маневр, бросились на англичан, прорвали их ряды, вызвав замешательство в боевых порядках. Батальон островитян под командой де Мальмеди действовал безуспешно. Вместо того чтобы обрушиться на левый фланг и пойти в атаку вслед за регулярными войсками, он взял неверное направление и атаковал англичан с фронта. И батарее пришлось прекратить огонь, так устрашавший противника. Англичане, видя, что у неприятеля меньше солдат, чем у них, осмелели и обрушили свой огонь на национальных гвардейцев, которые, следует отдать им должное, выдержали удар, не отойдя ни на шаг. Однако они не могли долго сопротивляться. Зажатые врагом, более опытным и превосходящим их числом с одной стороны, и своей батареей, вынужденной бездействовать, — с другой, добровольцы начали отступать. Левый фланг англичан теснил батальон островитян, и он чуть было не погиб. Англичане, подобно морскому приливу, уже почти окружили своими волнами этот островок солдат, как вдруг раздался возглас: «Франция! Франция!»; последовала страшная стрельба, затем наступила тишина, более грозная, чем грохот орудий.

В задних рядах противника возникло необъяснимое волнение, которое передалось и передним рядам; «красные мундиры» не выдержали мощной атаки штыками — они были подкошены, словно колосья серпом крестьянина. Теперь неприятель попал в окружение, настала его очередь отражать нападение и справа, и слева, и с фронта. Это подошедшие свежие силы добровольцев не давали ему передышки, и некоторое время спустя отряд Мюнье, пробившись сквозь кровавую брешь в строю противника, вышел к злосчастному батальону национальных гвардейцев. Выполнив эту задачу, негритянский отряд устремился в атаку на противника. Мальмеди туда же направил и своих добровольцев, так что перед батареей не осталось французских войск: не теряя времени, она поспешила на помощь, изрыгая на неприятеля потоки картечи,— это и обеспечило полную победу французам.

Почувствовав себя вне опасности, де Мальмеди подумал о своих освободителях, которых уже видел в сражении, но он все еще колебался, признавать или не признавать их подвиг и тот факт, что они спасли ему жизнь,— ведь это был столь презируемый им отряд цветных добровольцев, следовавший за национальными гвардейцами. Во главе его стоял Пьер Мюнье, который, видя, что враги окружили де Мальмеди, направил ему на выручку триста своих бойцов и разгромил англичан! Да, то был Пьер Мюнье, задумавший этот маневр как гениальный полководец и осуществивший его как храбрый солдат. В этот час, когда ему не грозило ничего, кроме смерти, он бился в первых рядах, выпрямясь во весь свой огромный рост, раздувая ноздри, с пылающим взглядом и развевающимися волосами,— вдохновенный, отважный, великолепный! — наконец, тот самый Пьер Мюнье, чей голос слышался из самой гущи схватки, перекрывая ее чудовищный гул призывом: «Вперед!» — и его солдаты бесстрашно двигались вперед, атакуя ряды англичан. Но вот раздался возглас: «Захватим их знамя! Захватим знамя!» — Мюнье бросился в середину группы англичан, упал, поднялся, исчез в их рядах, но через секунду появился вновь в разорванной одежде, с окровавленной головой, но со знаменем в руках.

В этот момент генерал Вандермасен, боясь, что победители слишком далеко продвинулись вперед, преследуя англичан, и попадут в какую-нибудь ловушку, приказал отступить. Первыми повиновались войска гарнизона, уво-

дя с собой пленных, затем национальная гвардия, уносившая убитых, наконец, замыкали шествие негры добровольцы, окружившие знамя.

Весь город сбежался в порт, люди толпились, отталкивая друг друга, чтобы приветствовать героев. Жители Пор-Луи считали, что вражеская армия потерпела полное поражение, и надеялись, что англичане не возобновят нападения; победителей, проходивших по площади, встречали возгласами: «Ура!». Все были счастливы, все считали себя героями, люди уже не владели собой. Неожиданная радость наполняла сердца, кружила головы. Жители острова — мужчины, женщины, дети, — узнав об успешном сражении, поклялись ценою жизни защитить остров. Каждый произносил клятву с твердым намерением исполнить свой долг. Но чего стоили эти обещания, если не придет подкрепление!

Среди всеобщего ликования ничто и никто так не привлекало внимания, как английское знамя и тот, кто его захватил; вокруг Пьера Мюнье и его трофея постоянно раздавались удивленные возгласы, на которые негры отвечали бахвальством, а их командир, вновь ставший смиренным мулатом, — с робкой учтивостью.

Возле победителя, опираясь на двустволку, не бездействовавшую в сражении, и на окровавленный штык, стоял Жак с гордо поднятой головой, а Жорж, убежавший от Телемака к отцу, судорожно сжимал его могучую руку, безуспешно стараясь едержать слезы радости.

Подле Пьера Мюнье стоял господин де Мальмеди, уже не столь напыщенный и подтянутый, каким он был в момент выступления войск, а покрытый потом и пылью, с разорванным галстуком, с превратившимся в лохмотья жабо; его тоже окружала и поздравляла семья, поздравляла не победителя, а человека, только что избежавшего опасности. Вот почему, стоя в центре группы, он казался смущенным и, чтобы придать себе достоинство, спросил, где его сын Анри и слуга Бижу. Но они уже приближались, расталкивая толпу: Анри, чтобы броситься в объятия отца, а Бижу, чтобы поздравить своего господина.

В это время Пьеру Мюнье сообщили, что один из негров, сражавшихся под его командованием, смертельно раненный и находящийся в соседнем доме, чувствуя, что умирает, хочет попрощаться с ним. Мюнье огляделся, ища Жака, чтобы вручить ему знамя, но Жак нашел в это время своего друга, мальгашскую собаку, прибежав-

шую тоже поздравить победителей, и резвился с нею не-
вдалеке от отца. Жорж все это видел, и, протянув руку,
сказал:

— Отец! Дайте знамя мне. Я сохранию его для вас!

Пьер Мюнье улыбнулся, ему и в голову не могло прийти,
что кто-нибудь покусится на трофей, принадлежав-
ший ему по праву победителя; он поцеловал Жоржа и
отдал ему знамя, которое мальчик едва мог удержать
обеими руками. Сам же Мюнье поспешил к умирающему,
одному из своих храбрых добровольцев.

Жорж остался один, но не чувствовал себя одиноким,
слава отца охраняла его, и сияющим взглядом он взирал
на окружавшую его толпу; взгляд его встретился со
взглядом мальчика в расшитом воротнике и вспыхнул
презрением. Мальчик, в свою очередь, завистливо раз-
глядывал Жоржа и, без сомнения, задавался вопросом,
отчего это не его отец захватил знамя. В результате он
пришел к мысли, что если у него нет своего знамени, то
нужно присвоить себе чужое. Анри смело подошел к
Жоржу, который, хоть и угадал его враждебные намере-
ния, однако не сделал ни шагу назад.

— Дай мне это,— сказал Анри.

— Что «это»? — спросил Жорж.

— Знамя,— продолжал Анри.

— Знамя не твое. Оно принадлежит моему отцу.

— Какое мне дело, я хочу его взять, и все.

— Ты его не получишь.

Мальчик с вышитым воротником протянул руку, что-
бы схватить древко знамени, Жорж, закусив губу, по-
бледнев сильнее обычного, немного отступил. Это лишь
подбодрило Анри, который, как все избалованные де-
ти, думал, что достаточно пожелать чего-либо, чтобы
желание тотчас исполнилось; он сделал два шага впе-
ред, теперь верно рассчитав расстояние. Ему удалось
схватить древко, и он грубо обратился к Жоржу:

— Говорю тебе, я хочу это знамя.

— А я тебе говорю, что ты его не получишь,— повто-
рил Жорж, отталкивая Анри одной рукой, а другой при-
жимая завоеванное знамя к груди.

— А, несчастный мулат, ты посмел тронуть меня,—
вскричал Анри.— Ну, хорошо! Сейчас увидишь.

И, вытащив свою маленькую саблю из ножен, пре-
жде чем Жорж успел подготовиться к защите, он изо всех
сил ударил его по голове.

— Подлец! — хладнокровно сказал Жорж.

Разъяренный этим оскорблением, Анри хотел повторить удар, но Жак, одним прыжком очутившийся возле брата, сильно ударил обидчика кулаком по лицу так, что тот отлетел шагов на десять. Схватив саблю, которую Анри, падая, уронил, Жак сломал ее, плюнул на нее и бросил ему обломки.

Настала очередь мальчика с вышитым воротником почувствовать кровь на своем лице, хотя эта кровь была от удара кулака, а не саблей.

Вся сцена разыгралась так быстро, что ни господин де Мальмеди, который, как мы уже сказали, стоял в нескольких шагах от детей, принимая поздравления семьи, ни Пьер Мюнье, вышедший из дома, где только что скончался негр, не успели помешать тому, что произошло, они подбежали к детям после драки оба в одно время: Пьер Мюнье едва переводя дух, подавленный, господин де Мальмеди, раскрасневшийся и гневный.

— Вы,— задыхаясь, вскричал де Мальмеди,— вы видели, что сейчас произошло?

— Увы, да, мсье де Мальмеди,— ответил Пьер Мюнье,— и поверьте, если бы я был здесь, этого бы не случилось.

— И все же ваш сын поднял руку на моего,— вскричал де Мальмеди.— Сын мулата посмел ударить сына белого.

— Я в отчаянии от того, что произошло, мсье де Мальмеди,— пробормотал несчастный отец,— и смиренно прошу у вас извинения.

— Ваши извинения! Подумаешь, ваши извинения,— продолжал колонист, заносчивость которого росла по мере того, как становился все более покорным его собеседник.— Вы думаете этим ограничиться?

— Но что еще я могу сделать, сударь?

— Что вы можете сделать, что вы можете сделать!— повторил де Мальмеди, сам не зная, какое удовлетворение хотел бы он получить.— Вы можете отхлестать мерзкого парня, который ударил моего Анри.

— Отхлестать меня, меня! — сказал Жак, поднимая с земли свою двустволку.— Ну что ж, попробуйте-ка вы, господин де Мальмеди!

— Жак, замолчи! — вскричал Пьер Мюнье.

— Прости, отец,— сказал Жак,— но я прав и не буду молчать. Это Анри ударил моего брата саблей, а он ничего ему не сделал; тогда я ударил мсье Анри, стало быть, Анри не прав, а прав я.

— Ударил саблей моего сына! Ударил саблей моего Жоржа! Жорж, мое любимое дитя! — вскричал Пьер Мюнье, бросаясь к своему сыну. — Правда ли, что ты ранен?

— Не велика беда, отец, — произнес Жорж.

— Как не велика? — вскричал Пьер Мюнье. — Но у тебя рана на лице. Слушайте, господин де Мальмеди, вы видите, Жак говорит правду, ваш сын чуть не убил моего Жоржа.

Так как отрицать очевидное было невозможно, господин де Мальмеди обратился к сыну:

— Послушай, Анри, как было дело?

— Папа, я не виноват, я хотел взять знамя и принести его тебе, а этот мерзкий мальчишка не давал мне его.

— Почему же ты не захотел отдать знамя моему сыну, наглец ты этакий? — спросил господин де Мальмеди.

— Потому что знамя принадлежит не вашему сыну и не вам — знамя принадлежит моему отцу.

— Что же было дальше? — расспрашивал де Мальмеди сына.

— Видя, что он не хочет отдать мне знамя, я решил отобрать его силой, но тут подошел этот огромный ребенок и ударил меня кулаком в лицо.

— Значит, все так и произошло?

— Да, отец.

— Он врет, — сказал Жак, — я ударил его только после того, как увидел кровь на лице брата, если бы не это, я не стал бы его бить.

— Молчи, негодяй! — вскричал де Мальмеди. Потом он обратился к Жоржу: — Дай мне знамя!

Жорж изо всех сил прижал знамя к груди и отошел в сторонку.

— Дай знамя, — угрожающим тоном сказал де Мальмеди.

— Но, послушайте, ведь это я отобрал знамя у англичан, — возразил Пьер Мюнье.

— Мне это известно, но мулат не имеет права не выполнять мои приказания. Я требую знамя.

— Но все же, мсье...

— Я так хочу, я приказываю, выполняйте приказ командира.

Пьеру Мюнье хотелось ответить: «Вы не мой командир, ведь вы не захотели зачислить меня в солдаты», но слова замерли у него на устах; обычное смирение побороло храбрость, и хотя ему нелегко было подчиниться столь несправедливому приказанию, он взял знамя из рук Жоржа и отдал его командиру батальона, который удалился с отнятым трофеем.

Это казалось странным, невероятным; обидно было видеть, как умный, сильный человек уступает свое законное право ничтожной, грубой личности. Уму непостижимо, но это было так, такие порядки существовали в колониях. Привыкнув с детства почитать белых как людей высшей расы, Пьер Мюнье всю жизнь позволял этим «аристократам цвета» угнетать себя и теперь, не пытаясь сопротивляться, уступил; встречаются такие герои, которые идут с поднятой головой, не боясь картечи, но становятся на колени перед предрассудком. Лев нападает на человека, являющего земной образ Божества, но, говорят, в ужасе убегает, услышав крик петуха.

Что касается Жоржа, не пролившего ни одной слезинки, когда почувствовал на своем лице кровь, то он горько заплакал, когда у него отняли знамя, отец даже не пытался его утешить. А Жак кусал себе руки от гнева и клялся, что когда-нибудь отомстит Анри, господину де Мальмеди и всем белым.

Через десять минут после описанной сцены прибыл гонец и объявил, что десять тысяч англичан спускаются по равнинам Уильямса и Малой реки. Почти тотчас же после этого наблюдатель, стоявший на холме Открытия, просигналил о появлении новой английской эскадры, которая, бросив якорь в бухте Большой реки, высадила на берег пять тысяч человек. Наконец тогда же стало известно, что части английской армии, оттесненные утром, собрались на берегах реки Латанье и готовятся идти на Пор-Луи, сочетая свои маневры с действиями двух других частей оккупационных войск, которые продвигались вперед, одна вдоль бухты Куртуа, а вторая через Убежище. Сопротивляться таким силам не было возможности. Лицам, обращавшимся к главнокомандующему и в отчаянии напоминавшим ему о данной ими клятве победить или умереть, и требовавшим, чтобы их вели в сражение, главнокомандующий ответил, что распорядился отпустить национальных гвардейцев и добровольцев, и объявить населению, что он, облеченный всей полнотой власти императором Наполеоном, решил договориться с англичанами о сдаче города.

Только безумцы могли противостоять этому решению — двадцать пять тысяч солдат противника окружали неполные четыре тысячи островитян. Итак, по приказу командующего добровольцы вернулись домой; в городе остались только регулярные войска.

В ночь со 2-го на 3-е декабря вопрос о капитуляции был решен и в пять часов утра был подписан акт и произведен обмен договорами; в тот же день неприятель занял главные военные объекты, а на следующий день завладел городом и рейдом.

Через неделю пленная французская эскадра вышла из порта на всех парусах, увозя с собой гарнизон, подобно бедной семье, изгнанной из родительского дома. Пока можно было различить развевающиеся флаги, толпа оставалась на набережной, но когда последний фрегат исчез из виду, все в мрачном молчании разошлись. Только два человека остались в порту — мулат Пьер Мюнье и негр Телемак.

— Месье Мюнье, пойдите туда, на гору, оттуда мы сможем увидеть маленьких господ Жака и Жоржа.

— Да, ты прав, мой славный Телемак, — воскликнул Пьер Мюнье, — и если мы не заметим их, то по крайней мере увидим корабль, на котором они плывут.

И Пьер Мюнье быстро, словно юноша, ринулся к холму Открытия, в одно мгновение поднялся на него и до наступления ночи следил взглядом если не за сыновьями, то хотя бы за фрегатом «Беллона», на борту которого они находились.

Дело в том, что Пьер Мюнье решил, чего бы это ему ни стоило, расстаться с детьми и послал их во Францию, под покровительство мужественного генерала Декаэна. К тому же, отец поручил заботиться о них двум-трем богатым негоциантам Парижа, с которыми он уже давно состоял в деловых отношениях. Детей отправляли под тем предлогом, что они должны получить образование. Настоящая же причина их отъезда — ненависть, которую питал к ним де Мальмеди из-за скандала со знаменем, и бедный отец боялся, что рано или поздно они станут жертвой этой ненависти, ведь то были дети с непокорными и независимыми характерами.

Другое дело Анри: мать так сильно любила его, что не могла расстаться с ним. Впрочем, ему и не нужно было знать ничего, кроме того, что любой цветной человек должен уважать его и подчиняться ему. А это Анри уже успел усвоить.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

День, когда на горизонте возникало судно, направлявшееся к порту, всегда был праздником на Иль де Франс. Дело в том, что покинувшие родную землю обитатели колонии с нетерпением ожидали новостей из-за океана от соотечественников, семей или знакомых; каждый на что-то надеялся и потому, заметив вдаль корабль, уже не сводил глаз с морского вестника, думая, что тот, быть может, везет к нему друга или подругу, портрет или письмо.

Этот корабль, предмет страстных ожиданий, источник стольких надежд, был хрупкой цепью, соединявшей Европу с Африкой, летучим мостом, переброшенным с одной стороны света на другую. Потому никакая новость не могла бы распространиться по всему острову столь мгновенно, как произнесенные с пика Открытия слова: «Корабль на горизонте».

Мы говорим: с пика Открытия, потому что обычно судно, направляемое восточным ветром, проходит мимо большого порта на расстоянии двух-трех лье от берега, огибает мыс Четырех Кокосов, проходит проливом между Плоским островом и Пушечным Клином, после чего появляется у Пор-Луи, и местные жители, с вечера предупрежденные сигналами о приближении корабля, в ожидании его толпятся на набережной.

Теперь, когда мы поведали, с каким нетерпением островитяне не ожидали вестей из Европы, читатель, разумеется, не удивится столпотворению на пристани в конце февраля 1824 года около одиннадцати часов утра.

Именно в это время можно было увидеть, как становился на рейд «Лейстер», красивый тридцатипушечный фрегат.

Мы хотим, чтобы читатель познакомился, а точнее будет сказать, возобновил знакомство с двумя мужчинами, прибывшими на борту фрегата. Один из них был светловолосый человек выше среднего роста с правильными чертами спокойного лица, с голубыми глазами; на вид ему можно было дать не более тридцати лет, хотя на самом деле ему уже было сорок. На первый взгляд в нем не замечалось ничего выдающегося, но обращала на себя внимание какая-то особая благопристойность. При более внимательном взгляде можно было заметить, что руки и ноги у этого пассажира были небольшие, пра-

вильной формы, а это во всех странах, и в особенности у англичан, считается признаком благородного происхождения. У него был высокий и четкий голос, хотя и лишенный интонаций и, так сказать, глуховатый. Его светло-голубые глаза, обычно не очень выразительные, были прозрачны, но взгляд их не останавливался ни на чем и ни во что не старался проникнуть. Иногда, впрочем, этот человек щурил глаза, как будто их утомляло солнце, и при этом слегка раздвигал губы так, что можно было заметить двойной ряд мелких, ровных и белых, как жемчуг, зубов. Это была своего рода привычка, лишавшая его взгляд и той незначительной выразительности, которая была ему присуща; но, наблюдая за ним внимательно, можно было, напротив, заметить, что именно в такие моменты из-под его прищуренных век исходил яркий луч, проникающий в самую глубь души собеседника в поисках его тайной мысли. Тем, кто видел его впервые, он чаще всего казался глуповатым, и он знал, что люди посредственные считают его таким, но почти никогда, то ли по расчету, то ли из равнодушия, он не старался изменить их мнение в свою пользу. Уверенный в том, что сможет это сделать, как только ему в голову придет такая прихоть или настанет подходящий момент, потому что на самом деле его обманчивая внешность скрывала удивительно глубокий ум: ведь бывает, что два дюйма снега скрывают пропасть глубиной в тысячу футов. Таким образом, сознавая свое превосходство почти над всеми, он терпеливо ждал, чтобы ему представился случай восторжествовать. И как только ему встречался человек, выражавший мысли, противоположные его собственным, и, по его мнению, достойный того, чтобы поспорить с ним, он ввязывался в разговор, которому до тех пор не придавал значения, затем понемногу воодушевлялся, широко раскрывался и словно вырастал; ибо его пронзительный голос и сверкающие глаза прекрасно дополняли живую, язвительную, яркую речь, увлекательную и в то же время разумную, ослепительную и доказательную; если же подобного рода повод не возникал, он молчал, и окружающие по-прежнему считали его обыкновенным человеком. Нельзя сказать, что он был лишен самолюбия; напротив, он даже был чрезмерно горделив. Но такова была его манера держаться, и он никогда ей не изменял. Всякий раз, когда он сталкивался с ложным суждением, ошибочным предположением, неумело скрываемым тщеславием, наконец, с явной нелепостью,— ему,

при его тонком уме, стоило большого труда удержаться от язвительного сарказма или насмешливой улыбки; но он тут же подавлял всякое внешнее выражение иронии, а уж если ему не удавалось полностью скрыть эту вспышку презрения, то он маскировал невольно вырвавшуюся насмешливую гримасу подмигиванием, вошедшим у него в привычку, поскольку он отлично сознавал, что лучший способ все видеть, все слышать, все постигать,— это казаться слепым и глухим. Вероятно, он хотел бы, подобно Сиксту Пятому, выдавать себя и за паралитика, что потребовало бы от него слишком долгого и утомительного притворства, и потому он решил обойтись без этого.

Второй — молодой брюнет с бледным лицом, обрамленным длинными черными волосами. С первого взгляда в нем угадывался твердый характер, хотя глаза, большие, с восхитительным разрезом, чудесно бархатистые, смягчали эту твердость; за внешней безмятежностью чувствовалось, что мысль его постоянно работает. Если он сердился, что случалось редко, то следовал не инстинкту, а нравственному побуждению; глаза его загорались как бы изнутри и метали молнии, рождавшиеся в глубине его души. Хотя черты его лица были приятны, им не доставало правильности; отлично вылепленный лоб прорезал шрам, почти незаметный, когда он был спокоен, но становившийся отчетливой белой полоской, когда кровь подступала к лицу. Черные усы, красивые, как и брови, оттеняли большой рот с полными губами, за которыми блестели великолепные зубы. Выражение его лица было серьезно, лоб почти всегда нахмурен, брови сдвинуты, манеры сдержанны, — по всему этому можно было догадаться о его склонности к размышлениям и непоколебимой решимости. Вероятно, поэтому, хотя ему было всего двадцать пять лет, он выглядел на все тридцать, в полную противоположность своему сорокалетнему спутнику с неопределенными чертами лица, которому нельзя было дать больше тридцати — тридцати двух лет. Он был невысок, но хорошо сложен, и хотя казался хрупким, чувствовалось, что под воздействием какой-либо сильной страсти нервное напряжение придавало ему силы. И все же было ясно, что природа одарила его гораздо в большей мере ловкостью и проворством, нежели грубой мощью. Одевался он изящно и просто, сейчас на нем были панталоны, жилет и редингот, покрой которых свидетельствовал о том, что они вышли из рук одного из лучших парижских портных, а в петлице редингота он

носил с элегантною небрежностью орденские ленточки Почетного Легиона и Карла III.

Эти два человека встретились на борту «Лейстера»; один сел на корабль в Портсмуте, другой — в Кадиксе. С первого взгляда они узнали друг друга, так как ранее уже встречались в салонах Парижа и Лондона; поэтому они поздоровались, как старые знакомые. Но, не будучи представлены друг другу, они долго не могли разговаривать: мешала сдержанность, присущая воспитанным людям, которые даже в исключительных обстоятельствах соблюдают правила приличия. Однако одиночество на борту корабля, ограниченность пространства, а также взаимное влечение, которое испытывают светские люди друг к другу, скоро сблизило их; вначале спутники обменялись несколькими словами, затем их разговор стал более оживленным. За несколько дней каждый из них увидел в своем спутнике человека необыкновенного, им просто повезло, что они встретились теперь, когда им предстояло трехмесячное плавание; в силу обстоятельств их связала дружба такого рода, которая, не имея корней в прошлом, развлекает в настоящем и ничего не загадывает на будущее. Здесь, на экваторе, во время долгих вечеров и прекрасных тропических ночей, у них было время изучить друг друга и прийти к выводу, что в искусстве, в науке и в политике оба они познали все, что возможно познать человеку как в теории, так и на практике. Оба они противоборствовали друг другу как два противника равных по силе; за время долгого плавания лишь однажды первый из них явил свое превосходство над вторым: это случилось во время шквала, застигнувшего фрегат у мыса Доброй Надежды, когда капитан «Лейстера» был ранен при падении стеньга и унесен в каюту, поскольку потерял сознание. Тогда белокурый пассажир завладел рупором и, устремясь на шканцы, сумел заменить помощника капитана, также больного и не покидавшего каюты; с твердостью человека, опытного в морском деле и привыкшего командовать, он отдал необходимые распоряжения, так что после ряда маневров фрегат устоял против урагана; когда шквал пронесся, лицо этого человека, лишь на миг просияв той же высшей гордостью, которая озаряет чело всякого творения, вступающего на своего творца, вновь приняло обычно свойственное ему выражение. Голос его, перекрывающий раскаты грома и свист бури, вновь стал негромким; и наконец движением настолько же обыденным, насколько не-

задолго до того были вдохновенны и патетичны все его движения, он отдал лейтенанту рупор — этот скипетр капитана, наделяющий того, кто берет его в руки, абсолютной властью на судне.

Все это время спутник его, на спокойном лице которого, скажем сразу, нельзя было прочесть и следа какого бы то ни было волнения, не спускал с него глаз с выражением той зависти, которая возникает у человека, вынужденного признаться самому себе, что он ниже того, кого почитал себе равней. Когда опасность миновала и они снова оказались рядом, он лишь ограничился вопросом:

— Значит, вам приходилось командовать кораблем, милорд?

— Да,— просто отвечал тот, кого наградили этим пышным титулом.— Я даже достиг чина коммодора, но вот уже шесть лет, как я перешел на дипломатическую деятельность, и лишь теперь, в миг опасности, вспомнил свое прежнее ремесло, только и всего.

Впоследствии между ними никогда не было речи об этом эпизоде, но чувствовалось, что младший из них был втайне унижен столь неожиданно проявившимся превосходством своего попутчика, о котором он так бы ничего и не узнал, если б не случай.

Вопрос, приведенный нами, и ответ на него показывают, что за три месяца, проведенных вместе, спутники не интересовались тем, какое положение каждый из них занимает в обществе, хотя и считали себя братьями по духу. Они знали лишь, что направляются на Иль де Франс, и больше ни о чем друг друга не расспрашивали.

Очевидно было, что оба с нетерпением ждут прибытия, потому что каждый просил предупредить другого, когда на горизонте покажется остров. Для одного из них это сообщение оказалось запоздалым, потому что именно черноволосый молодой человек находился на палубе в тот момент, когда стоявший на вахте матрос произнес: «Впереди земля!» — слова, во все времена вызывающие радость у привычных моряков. Услышав эти слова, спутник молодого человека быстро подошел к нему, и они разговорились.

— Ну что ж, милорд,— сказал молодой человек,— вот мы и прибыли, во всяком случае, нас уверяют в этом: хотя, к стыду своему, как я ни вглядываюсь в горизонт, я вижу там только нечто вроде пара, и это, может быть,

просто туман, плывущий над морем, а не остров в океане.

— Да, я вас понимаю,— ответил старший,— только глаз моряка может с уверенностью различить, особенно на таком расстоянии, воду от неба или землю от облаков; но я,— продолжал он, прищурившись,— я, старый морской волк, вижу очертания острова.

— Да, милорд,— ответил молодой человек,— вот и опять проявилось ваше превосходство надо мной, и только вера в него заставляет меня допустить невозможное.

— Возьмите же подозрную трубу,— сказал моряк,— я опишу вам берег острова, и вы убедитесь, что я прав.

— Милорд, я уверен, что вы знаете этот остров лучше, чем кто-либо из нас, и не сомневаюсь в правоте ваших слов, так что, поверьте, вам не нужно подтверждать их какими-либо доказательствами; если я и взял подозрную трубу, то скорее повинюсь вашей просьбе, чем простому любопытству.

— Ну, оставьте,— смеясь, сказал светловолосый человек,— я вижу, что воздух земли уже действует на вас и вы становитесь льстецом.

— Я льстец, милорд? — воскликнул молодой человек и покачал головой.— О, ваша милость ошибается. Клянусь, «Лейстер» мог бы несколько раз пройти путь от одного полюса до другого и совершить не одно кругосветное путешествие, но вы не обнаружили бы во мне какую-либо перемену. Нет, я не лгу вам, милорд, я только благодарю вас за то внимание, какое вы оказывали мне во время этого бесконечного плавания, и, осмелюсь сказать, за дружбу, с какой ваша милость относилась к такой незначительной личности, как я.

— Дорогой спутник,— ответил англичанин, протягивая руку собеседнику,— надеюсь, что для вас, как и для меня, чужды в этом мире только люди вульгарные, глупые и бесчестные, и сродни каждый благородный человек: ведь, где бы мы его ни встретили, мы всегда узнаем в нем представителя нашей среды. Однако довольно комплиментов, мой юный друг; возьмите подозрную трубу и смотрите, потому что мы движемся так быстро, что скоро географический экскурс, который я хотел бы предпринять, потеряет всякий смысл.

Молодой человек взял подозрную трубу и посмотрел в нее.

— Видно? — спросил англичанин.

— Великолепно.

— Направо от нас остров, похожий на конус, стоящий одиноко посреди моря. Видите Круглый остров?

— Прекрасно вижу.

— Видите недалеко Плоский остров, у подножия которого сейчас проходит бриг; мне кажется по очертаниям, что это военный бриг. Сегодня вечером мы будем в том месте, где он находится сейчас, и пройдем там, где он курсирует.

Молодой человек опустил подзорную трубу и попытался разглядеть то, что его спутник так легко различал невооруженным глазом. Улыбаясь, он сказал с удивлением:

— Чудеса, — и снова поднес трубу к глазам.

— Вы видите Пушечный клин, — продолжал его спутник, — он отсюда почти сливается с мысом Несчастливым, навевающим печальные размышления. Видите Бамбуковый пик, за которым поднимается Фаянсовая гора? Видите гору Большой Гавани, а слева от нее холм Креолов?

— Да, да, вижу и узнаю, потому что все эти вершины знакомы мне с детства, и я хранил их в памяти, как мы храним реликвии. Но и вы, — продолжал молодой путешественник, — не впервые видите эти берега, вы мне описали его скорее по воспоминаниям, чем по тому, что видите сейчас.

— Это правда, — улыбаясь, сказал англичанин, — про вести вас невозможно. Я уже видел этот берег, хотя воспоминания о нем у меня менее приятны, чем у вас! Да, я приехал сюда в то время, когда, по всей вероятности, мы могли быть врагами, друг мой, ведь с тех пор прошло четырнадцать лет.

— Правильно, я именно тогда покинул Иль де Франс.

— Вы еще были на острове, когда произошла морская битва в Большой Гавани, о которой я не должен бы говорить, хотя бы из чувства национальной гордости, так здорово нас там побили.

— О говорите, милорд, говорите, — прервал его наш герой, — вы так часто брали реванш, господа англичане, что, право, можете признаться в единственном поражении.

— Так вот, я тогда служил на флоте и прибыл сюда...

— Вероятно, как гардемарин?

— Как помощник капитана фрегата.

— Но, позвольте заметить, милорд, вы ведь были тогда ребенком?

— Сколько, по-вашему, мне лет?

— Мы приблизительно одного возраста, я думаю, вам не более тридцати.

— Скоро исполнится сорок,— улыбаясь, ответил англичанин,— я вам уже сказал, что сегодня вы мне льстите.

Молодой человек посмотрел на своего спутника более внимательно и убедился по морщинкам у глаз, что тот и вправду мог быть старше, чем казался. Затем, перестав разглядывать англичанина, он продолжал разговор.

— Да,— сказал он,— я помню эту битву и помню другую, ту, что происходила на противоположной стороне острова. Вы были в Пор-Луи, милорд?

— Нет, я был опасно ранен в бою, увезен пленником в Европу и не видел Индийского океана; однако теперь мне придется провести там некоторое время.

Последние слова, которыми они обменялись, пробудили в них давние воспоминания; затем, предавшись раздумьям, они разошлись; один направился к носовой части корабля, другой — к рулевому управлению.

На следующий день, обогнув Янтарный остров и пройдя мимо Плоского острова, фрегат «Лейстер», как мы уже сказали в начале этой главы, встал на рейд в Пор-Луи при большом стечении публики, привычно ожидающей каждый корабль из Европы.

На этот раз встречавших было особенного много; власти острова ждали прибытия нового губернатора, который, когда корабль огибал остров Бочаров, вышел на палубу в парадном генеральском мундире. Лишь тогда черноволосый пассажир понял, кто был его спутник; до тех пор он знал только, что тот — аристократ.

Представительный англичанин был не кто иной, как лорд Уильям Маррей, член палаты лордов; после службы в Адмиралтействе он стал послом, и ныне приказом Его величества короля Великобритании назначен губернатором Иль де Франс.

Вот вы и повстречались, читатель, с английским лейтенантом, которого мельком видели на борту «Нереиды», когда тот лежал у ног своего дяди капитана Вилоуби, раненный картечью. Ранее мы предупреждали вас, что лейтенант объявится в качестве одного из главных действующих лиц нашей истории.

Расставаясь со своим спутником, лорд Маррей обратился к нему:

— Через три дня я устраиваю для властей прием и обед; надеюсь, вы окажете мне честь быть одним из моих гостей.

— С величайшим удовольствием, милорд,— ответил молодой человек,— но прежде чем принять приглашение, считаю своим долгом сказать вашей милости, кто я...

— Вы доложите о себе, когда будете на приеме, сударь,— ответил лорд Маррей,— тогда я узнаю, кто вы, а пока мне известно, что вы — благородный человек, и этого мне довольно.

И, пожав с улыбкой руку своему спутнику, новый губернатор вместе с капитаном спустился в правительственную шлюпку, где их ждали десять сильных гребцов, удалился от корабля и вскоре ступил на землю Иль де Франс у фонтана Свинцовой Собаки.

Солдаты, построенные в боевом порядке, отдали честь, забили барабаны, прогремел залп пушек с фортов и с фрегата, и, подобно эху, им ответили другие корабли; раздался возглас: «Да здравствует лорд Маррей!». Люди радостно приветствовали нового губернатора, который, поклонившись всем, кто устроил ему столь почетную встречу, направился к дворцу, окруженный правителями острова.

Люди, которые приветствовали теперь посланца Его величества короля Британии, были те самые островитяне, что прежде оплакивали отъезд французов. Однако с тех пор прошло четырнадцать лет; старшее поколение частью умерло, новое же самоуверенное поколение хранит воспоминания о прошлом, как хранят старые семейные документы. Прошло четырнадцать лет, и этого более чем достаточно, чтобы забыть о смерти лучшего друга и нарушить клятву, чтобы убить, похоронить или изменить имя великого человека или великой нации.

V

БЛУДНЫЙ СЫН

Толпа не сводила глаз с лорда Маррея, пока он не вошел в здание правительства, но когда двери дворца за ним закрылись, внимание всех обратилось к фрегату.

В этот момент наш герой сходил с корабля, и любопытство толпы было приковано к нему, ведь все видели,

как лорд Маррей учтиво разговаривал с ним и дружески пожал ему руку. Поэтому собравшаяся толпа решила, со свойственной ей пронизательностью, что незнакомец принадлежит к высшей знати Франции или Англии. Это предположение превратилось в полную уверенность, когда присутствующие увидели двойную ленточку в его петлице, одна из которых, надо признаться, в ту эпоху встречалась не так часто, как теперь. Впрочем, у обитателей Пор-Луи было время рассмотреть вновь прибывшего, который, разглядывая собравшихся, казалось, искал кого-нибудь из своих друзей или родственников. Он остановился на берегу моря, ожидая, пока выгрузят лошадей губернатора. Затем его слуга с загорелым лицом, в одежде африканских мавров, с которым чужеземец обменялся несколькими словами на неизвестном языке, оседлал двух коней и повел на поводу, потому что нельзя было доверять их онемевшим ногам; он последовал за своим хозяином, который шел пешком, оглядываясь вокруг, как будто ожидая, что увидит среди равнодушных лиц кого-либо из своих знакомых.

Среди людей, встречавших иностранцев в том месте, которое носит меткое название «Мыс Болтунов», стоял толстый человек лет пятидесяти — пятидесяти пяти, с седеющими волосами, грубыми чертами лица, с резким голосом; тут же находился красивый молодой человек двадцати пяти или двадцати шести лет; пожилой мужчина носил шерстяной коричневый сюртук, нанковые брюки и белый пикейный жилет. На нем был вышитый галстук и длинное жабо, обшито кружевом. Черты молодого человека были немного резче, чем черты его спутника, и все же он походил на него, было очевидно, что эти двое состоят в самом близком родстве; младший носил серую шляпу и шелковый платок, небрежно завязанный на шее. На нем был жилет и белые брюки.

— Удивительно интересный мужчина, — обмолвился толстяк, глядя на незнакомца, проходившего в тот момент мимо него, — и если он останется здесь на острове, то матери и мужья должны приглядывать за своими дочерьми и женами.

— Смотрите, вот замечательная лошадь, — сказал его собеседник, поднося лорнет к глазам, — если не ошибаюсь, чистокровно арабская.

— Ты знаешь этого господина, Анри?

— Нет, отец, но если он пожелает продать свою ло-

шадь, то на нее найдется покупатель, он заплатит тысячу пиастров.

— Купит ее Анри де Мальмеди, не так ли,— заметил отец,— и правильно: ведь ты богат и можешь позволить себе такую роскошь.

Несомненно, чужак слышал слова Анри и одобрение, высказанное его отцом; он презрительно вздернул верхнюю губу и окинул отца и сына высокомерным взглядом, в котором промелькнула угроза; затем, очевидно, более осведомленный о них, нежели они о нем, он двинулся дальше, процедив сквозь зубы:

— Опять они! Всегда они!

— Что надо от нас этому шеголю? — спросил отец.

— Не знаю,— ответил Анри,— но при первой же встрече с ним, если он злобно на нас посмотрит, я потребую объяснения.

— Чего ты от него требуешь, Анри! Это приезжий человек, он не знает, кто мы такие.

— Хорошо, тогда он узнает это от меня,— пробормотал Анри.

В это время иностранец, презрительный взгляд которого вызвал столь угрожающий диалог, даже не обернулся и, не беспокоясь о произведенном впечатлении, продолжал свой путь к крепостной стене. Когда он подошел к парку Компании¹, его внимание привлекла группа людей, собравшаяся на мостике, который соединял парк с двором красивого дома. В середине мостика стояла очаровательная девушка пятнадцати или шестнадцати лет. Иностранец, вероятно, человек близкий к искусству, а следовательно, поклонник красоты во всех ее проявлениях, остановился, чтобы вдоволь полюбоваться ею. Девушка стояла на пороге своего дома, она, очевидно, принадлежала к одной из богатых семей острова; подле нее находилась гувернантка, по белокурым волосам и холерности кожи можно было признать в ней англичанку. Здесь же стоял старый негр, готовый по первому знаку исполнить любое приказание девушки.

Может быть, в силу контраста красота девушки, по нашему мнению, необычайная, еще ярче оттенялась безобразием стоящего перед ней человека, у которого она хотела купить веер из слоновой кости, хрупкий, прозрач-

¹ В XVIII веке на острове возникла Французская Ост-Индская компания, развивавшая торговые отношения со многими странами мира. Старое название сада сохранилось до нашего времени.

ный, словно кружево. То был человек с большой соломенной шляпой на голове, из-под которой свешивалась длинная коса; одет он был в синие холщовые брюки и в блузу из той же материи. У его ног лежал шест, на концах которого были прикреплены корзины, наполненные мелкими безделушками, которые в колониях, да и во Франции в элегантных магазинах Альфонса Жиру и Сюсса, кружат голову девушкам, а иногда даже их матерям. И как мы уже сказали, прекрасная креолка из сокровищ, разложенных на коврике у ее ног, обратила внимание на веер, изображающий дома, пагоды и невероятные дворцы, собак, львов и фантастических птиц, наконец, множество изображений людей, зданий и животных, которые существовали только в прихотливом воображении жителей Кантона и Пекина

Она спросила цену этого веера. Но в том-то и заключалась трудность: китаец, высадившийся на острове всего несколько дней тому назад, не знал ни французского, ни английского, ни индийского языков; потому он ничего не ответил на заданный ему простой вопрос на этих трех языках Обитателя берегов Желтой реки в Пор-Луи не называли иначе как Мико-Мико; только эти два слова он произносил, пробегая по улицам города, с длинным бамбуком и корзинами то на одном плече, то на другом. По всей вероятности, эти слова означали «Покупайте, покупайте» Общение, возникшее между Мико-Мико и его клиентами, было просто-напросто общением посредством жестов и знаков. А так как эта красивая девушка никогда не имела случая глубоко изучить язык аббата Эпе¹, она никак не могла объясниться с Мико-Мико.

В этот-то момент к ней и приблизился чужеземец.

— Простите, мадемуазель,— сказал он,— видя, что вы в недоумении, я осмеливаюсь предложить вам свои услуги: соблаговолите воспользоваться мною как переводчиком.

— О, сударь,— ответила гувернантка, в то время как девушка зарделась,— я благодарна вам за ваше предложение; вот уж десять минут, как мадемуазель Сара и я вспоминаем все известные нам языки и не можем заставить этого человека понять нас. Мы обращались к нему и по-французски, и по-английски, и по-итальянски, но он не отвечает ни на один из этих языков.

¹ Эпе Шарль Мишель (1712—1789) — известный учредитель школ глухонемых во Франции.

— Может быть, господин знает язык, на котором говорит этот человек, голубушка Анриет,— сказала девушка,— мне так хочется купить этот веер, что, если бы господину удалось узнать его цену, он оказал бы мне истинную услугу.

— Но вы же видите, что это невозможно,— возразила Анриет,— этот человек не говорит ни на каком языке.

— Во всяком случае, он говорит на языке страны, где родился,— сказал иностранец.

— Да, но он родился в Китае, а кто же говорит по-китайски?

Незнакомец улыбнулся и, повернувшись к торговцу, обратился к нему на незнакомом языке.

Мы напрасно старались бы передать удивление, появившееся на лице бедного Мико-Мико, когда слова родного языка зазвучали в его ушах, словно отголосок далекой музыки. Он уронил веер, который держал в руках, и, бросившись к тому, кто заговорил с ним, схватил его руку и поцеловал ее; и, так как иностранец повторил свой вопрос, он решился, наконец, ответить; но умильное выражение его лица и обожающая интонация в голосе самым странным образом не соответствовали смыслу его слов, ибо он всего-навсего назвал цену веера.

— Двадцать фунтов стерлингов, мадемуазель,— сообщил иностранец, повернувшись к девушке,— приблизительно девяносто пиастров

— Горячо благодарю вас, сударь,— ответила Сара, смутившись. Потом она обратилась к гувернантке:

— Не правда ли, как нам повезло, милая Анриет, что мсье говорит на китайском языке?

— Да, и это так удивительно.

— Все очень просто, мадам,— сказал иностранец по-английски — Моя мать умерла, когда мне было три года, моя кормилица — бедная женщина с острова Формозы служила у нас в доме. Ее язык был первым, на котором я начал лепетать, и хотя мне не часто приходилось на нем говорить, я, как вы видите, запомнил несколько слов — и всю жизнь не перестану радоваться этому, ведь благодаря тем нескольким словам, я смог оказать вам столь малую услугу.

Потом, сунув в руку китайцу монету и сделав знак своему слуге следовать за ним, молодой человек ушел, непринужденно поклонившись Саре и Анриет.

Чужеземец пошел по улице Мока, но едва лишь он прошел с милю по дороге, ведущей в Пай, и приблизил-

ся к подножию горы «Открытие», как вдруг остановился, устремив взгляд на скамейку, стоящую у подножия горы. На скамье неподвижно, положив обе руки на колени, а глаза устремив к морю, сидел старик. Чужеземец посмотрел на этого человека, словно усомнившись в чем-то, но потом сомнение как будто исчезло.

— Да, это он,— прошептал незнакомец.— Боже! Как он изменился!

Потом, вновь посмотрев на старика с особым вниманием, молодой человек пошел по дороге с тем, чтобы подойти к нему незаметно. Это ему удалось, но он несколько раз останавливался, прижимая руки к груди, чтобы успокоить слишком сильное волнение.

Что до старика, то он не пошевелился при приближении незнакомца, можно было подумать, что он не слышал его шагов. Но это было бы ошибкой, потому что, как только пришелец сел рядом с ним на скамейку, старик повернул к нему голову и, робко поклонившись, встал и сделал несколько шагов, намереваясь удалиться.

— Не беспокойтесь, сударь,— сказал молодой человек.

Старик сразу же вернулся и снова присел на скамью.

Тут наступило молчание: старик продолжал смотреть на море, а незнакомец на старика. Наконец, через несколько минут безмолвного созерцания, иностранец заговорил:

— Сударь,— сказал он своему соседу,— вас, наверное, не было на набережной, когда «Лейстер» бросил якорь в порту?

— Простите меня, сударь, я был там,— ответил старик, удивленно глядя на Жоржа.

— Значит, вы не интересуетесь прибытием корабля из Европы?

— Как так? — удивленно спросил старик.

— Если бы вы интересовались, то не сидели бы здесь, а пришли бы в порт.

— Вы ошибаетесь, сударь, вы ошибаетесь,— грустно ответил старик, качая поседевшей головой,— напротив, я с большим интересом, чем кто-либо другой, отношусь к прибытию судов. Каждый раз, как приходит корабль из любой страны, вот уже четырнадцать лет я прихожу сюда и жду, не доставил ли он писем от моих сыновей или не возвратились ли они сами. Слишком тяжело стоять на ногах, потому я прихожу сюда с утра и сажусь здесь, на то же место, откуда я смотрел, как уходили мои дети,

и остаюсь здесь целый день, пока все не разойдется, и теряю последнюю надежду.

— Но почему вы сами не идете в порт? — спросил иностранец.

— Я ходил туда в первые годы, — ответил старик, — но тщетны были мои ожидания. Каждое новое разочарование становилось все тяжелее, в конце концов я стал ждать здесь, а в порт посылаю своего слугу Телемака. Таким образом, надежда теплится дольше. Если он возвратится вскоре, я думаю, что он сообщит об их прибытии; если задержится, полагаю, что он ждет письма. Он постоянно приходит с пустыми руками. Тогда я иду домой один, вхожу в безлюдный дом, провожу ночь в слезах и говорю себе: «Наверно, приедут в следующий раз».

— Бедный отец! — прошептал незнакомец.

— Вы жалеете меня? — с удивлением спросил старик.

— Конечно, я вас жалею.

— Значит, вы не знаете, кто я такой?

— Вы человек, и вы страдаете.

— Но я ведь мулат, — тихо, с глубоким смирением ответил старик.

Лицо собеседника слегка покраснело.

— И я тоже мулат, мсье.

— Вы! — вскричал старик.

— Да, я.

— Вы мулат, вы?

И старик с удивлением посмотрел на красно-синюю ленточку, красовавшуюся на пиджаке собеседника.

— Вы мулат, ох, ну тогда ваше сострадание меня не удивляет. Я принял вас за белого, но если вы цветной человек, как и я, тогда другое дело, тогда вы друг и брат.

— Да, друг и брат, — сказал наш герой, протягивая старику обе руки. Потом он прошептал, глядя на него с глубокой нежностью:

— А может быть, и более того.

— Тогда я могу сказать вам все, — продолжал старик — Я чувствую, что мне станет легче, если я расскажу вам свое горе. Представьте себе, что у меня есть дети, или, вернее, были, потому что Бог знает, живы ли они еще; представьте себе, что у меня было двое сыновей, которых я любил, как только может любить отец, в особенности младшего

Незнакомец вздрогнул и еще ближе придвинулся к старику.

— Это вас удивляет, не так ли,— продолжал старик,— что я по-разному отношусь к своим детям и что одного я люблю больше, чем другого? Да, я признаю, это несправедливо, но он был младше и слабее своего брата, меня можно простить.

Незнакомец поднес руку ко лбу, и, пользуясь моментом, когда старик, стыдясь только что произнесенной исповеди, отвернулся, он смахнул слезу.

— О, если бы вы знали моих детей,— продолжал старик,— вы бы это поняли. Дело не в том, что Жорж был красивее брата, нет, напротив, его брат Жак был гораздо красивее, но хотя Жорж был слаб телом, в нем жил такой мощный и пылкий ум, что если бы я отдал его в коллеж в Пор-Луи, чтобы он учился там вместе с другими детьми, то я уверен, что он скоро обогнал бы всех учеников.

Глаза старика на мгновение сверкнули гордостью и воодушевлением, но это состояние вскоре изменилось, его взгляд вновь принял непроницаемое выражение и затуманился.

— Я не мог отдать его в местный коллеж. Коллеж был основан для белых, а мы ведь мулаты.

Лицо незнакомца загорелось, его словно осветило пламя презрения и гнева.

Старик продолжал:

— Вот почему я отправил их обоих во Францию, надеясь, что воспитание отучит старшего бродить без дела и смягчит слишком упрямый характер младшего; но, видимо, Бог не одобрил моего решения, потому что, поехав однажды в Брест, Жак поступил на борт пиратского судна, и с тех пор я получил от него лишь три письма. И каждый раз из различных стран земного шара. А по мере того, как Жорж рос, в нем усиливалась та непреклонность, которой я так опасался. Он писал мне чаще, чем Жак, то из Англии, то из Египта, то из Испании, потому что он тоже много путешествовал, и хотя письма его очень интересные, клянусь вам, я не посмел бы показывать их кому-либо.

— Так, значит, ни тот, ни другой ни разу не сообщили вам, когда они вернутся?

— Ни разу. И кто знает, увижу ли я их когда-нибудь, хотя тот момент, когда я их увижу, был бы самым счастливым моментом моей жизни, но я никогда не угова-

ривал их вернуться. Раз они остаются там, значит, они там счастливее, чем были бы здесь, если они не ощущают желания увидеть своего старого отца, значит, они нашли в Европе людей, которых полюбили больше, чем его. Пусть все будет так, как они хотят, и в особенности если они будут счастливы. И хотя я сильно скучаю по обоим, все-таки больше всего мне не хватает Жоржа, и больше всего горя мне доставляет то, что он никогда не упоминает о своем приезде.

— Если он не говорит вам о своем возвращении, сударь,— заметил собеседник, тщетно пытаясь подавить волнение, то, быть может, потому, что хочет явиться к вам внезапно, чтоб не мучить вас ожиданием и сразу обрадовать вас.

— Дай-то Бог,— сказал старик, воздев руки к небу.

— Может быть,— продолжал молодой человек, все более волнуясь,— он хочет предстать перед вами неузнанным и внезапно обрести ваши объятия, вашу любовь и ваше благословение.

— Ах! Могу ли я не узнать его!

— Однако же,— вскричал Жорж, неспособный больше сдерживать глубокого волнения,— вы не узнали меня, отец?

— Вы... ты... ты...— вскричал, в свою очередь, старик, окинув незнакомца жадным взглядом, дрожа всем телом.

Потом он произнес:

— Нет, нет, это не Жорж, правда, он немного похож на вас, но он невысокий, он не такой красивый, как вы, он ребенок, а вы — мужчина.

— Это я, я, отец, неужели вы не узнаете меня,— вскричал Жорж,— подумайте, ведь прошло четырнадцать лет с тех пор, как я вас покинул, подумайте, ведь мне скоро двадцать шесть лет, а если вы сомневаетесь, то смотрите — вот шрам у меня на лбу, это след удара, который мне нанес Анри де Мальмеди в тот день, когда вы так прославились, захватив английское знамя. Примите меня в свои объятия, отец, и, когда вы меня обнимете и прижмете к своему сердцу, вы увидите, вы перестанете сомневаться в том, что я ваш сын.

С этими словами незнакомец бросился к своему отцу, который глядя то на небо, то на сына, долго не мог поверить своему счастью и не решался поцеловать Жоржа.

В этот момент у подножия горы «Открытие» появился Телемак, он шел, опустив руки и голову, уныло глядя

перед собой, в отчаянии от того, что опять возвращается к своему хозяину, не принося ему известий ни от одного из его сыновей.

VI

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Теперь пусть читатели позволят нам покинуть отца с сыном во время их счастливой встречи и, вернувшись вместе с нами к прошлому, согласятся проследить духовное преобразование, происшедшее за четырнадцать лет с героем нашей истории, которого мы ранее показали мальчиком, а только что — взрослым человеком.

Вначале мы хотели передать читателю то, что рассказал Жорж отцу о событиях, имевших место четырнадцать лет назад, но подумали, что такое повествование явилось бы отражением личных впечатлений и могло бы вызвать недоверие к человеку с таким характером, каким наделен у нас Жорж. Потому мы решили по-своему рассказать эту историю и, поскольку это не личная исповедь, мы не скроем ничего, ни плохого, ни хорошего, и не утаим никаких мыслей, будь они похвальные или постыдные.

Итак, начнем.

Пьер Мюнье, чей характер мы уже пытались очертить, еще в начале своей сознательной жизни и, тогда, когда он стал взрослым мужчиной, занял по отношению к белым позицию, от которой не отступал никогда: чувствуя, что у него нет ни сил, ни воли сразиться с бесчеловечным предрассудком, он решил обезоружить противников смирением и покорностью. Человек глубокого ума, он не пытался занять какую-либо должность или особое положение в обществе, старался затеряться в толпе, не бросаясь в глаза. Стремление, заставившее его отвлечься от общественных интересов, руководило им и в личной жизни. Щедрый по натуре человек, богатый, он не признавал в своем доме никакой роскоши и содержал его с монашеской скромностью. К тому же у него было около двухсот негров, что соответствует ренте более чем в двести тысяч ливров. Путешествовал он всегда верхом, до тех пор, пока возраст, а вернее, огорчения, сломившие его раньше времени, не заставили сменить эту скромную привычку; он купил паланкин, такой же простой, как у самого бедного обитателя острова. Тщательно избегая

малейших ссор, всегда вежливый и любезный, он готов был оказать услугу даже тем, к кому в глубине души не чувствовал симпатии. Он предпочел бы потерять десять арпанов земли, чем начать или даже продолжить судебный процесс, в результате которого мог бы выиграть двадцать. Если у кого-нибудь из обитателей острова случалась нужда в участке, засаженном кофе, маниоком или сахарным тростником, он мог быть уверен, что найдет его у Пьера Мюнье, который еще и поблагодарит его за то, что тот обратился именно к нему. Все эти добрые поступки, совершаемые по велению отзывчивого сердца, могли быть отнесены за счет его покорного характера. Это снискало ему дружбу соседей, но дружбу своеобразную: соседям и в голову не приходило сделать ему добро, они ограничивались тем, что не причиняли ему зла. В то же время среди них имелись и завистники, которые не в состоянии были простить Мюнье значительное состояние, наличие рабов и безупречную репутацию; они постоянно старались унижить его напоминанием о том, что он мулат; господин де Мальмеди и его сын Анри были в их числе.

Жорж рос в тех же условиях, что и его отец. Слабый здоровьем, но наделенный природным умом, он раньше времени возмужал, как это часто бывает с болезненными детьми, и невольно наблюдал за поведением отца, переживания которого были понятны и близки ему. Глубокая обида, жившая в груди с ранних лет, заставила его ненавидеть белых, презиравших его, и относиться с пренебрежением к мулатам, которые терпели подобного рода унижения. Потому он твердо решил, в отличие от отца, избрать для себя иной образ жизни и смело противостоять абсурду расовых предубеждений. Он готов был сразиться с нелепыми предубеждениями, как Геркулес с Антеем. Юный Ганнибал¹, подстрекаемый отцом, поклялся в вечной ненависти к целой нации; юный Жорж, вопреки желанию отца, объявил смертельную войну предрассудкам.

После описанной нами сцены Жорж покинул колонию, прибыл во Францию вместе с братом и поступил в коллеж Наполеона. Едва попав на школьную скамью, он понял закон неравенства и захотел быть первым: превос-

¹ Ганнибал (ок 247—183 до н. э) — карфагенский полководец. В 221 г. принял командование войсками Карфагена, действовавшими в Испании. Покончил жизнь самоубийством.

ходство означало для него необходимость самодисциплины; он усваивал знания легко и быстро. Первый успех укрепил в нем веру в себя, показав меру его возможностей. Воля Жоржа крепла, а успехи приумножались. Правда, в напряженном состоянии духа, при постоянных упражнениях мысли он ощущал физическое недомогание; и все же Бог дал опору бедному деревцу. Жорж мог спокойно жить, опекаемый Жаком, который был самым сильным и вместе с тем ленивым учеником в классе, в то время как Жорж — самым прилежным.

К несчастью, такое положение продолжалось недолго. Через два года после приезда, когда Жак и Жорж вместе поехали на каникулы в Брест к другу отца, которому были рекомендованы, Жак, влюбленный в морскую стихию, воспользовался случаем и, не желая больше скучать в «тюрьме», как он называл коллеж, поступил матросом на корсарское судно; в письме же к отцу сообщил, что поступил на «государственный корабль». Когда Жорж вернулся в коллеж, отсутствие брата сказалось на нем самым жестоким образом. Теперь он был беззащитен перед завистью, вызванной его школьными успехами, и она превратилась в прямую ненависть, как только смогла дать себе волю: его оскорбляли одни, колотили другие, и все издевались над ним. У каждого находилось для него обидное слово. Это было тяжким испытанием; Жорж его храбро выдержал.

Теперь он серьезнее, чем когда-либо, размышлял о своем положении и понял, что моральное превосходство ни к чему не ведет без превосходства физического; для того, чтобы заставить уважать первое, нужно иметь второе, и только сочетание этих достоинств образует совершенного человека. Начиная с этого времени он полностью переменял образ жизни; будучи робким, несобщительным, вялым, он сделался игроком, непоседой, заводилой. Он еще оставался прилежным учеником, но лишь постольку, поскольку стремился сохранить преимущество в умственном развитии, обретенное им в первые годы учения. Сначала он был неловок, и над ним смеялись. Жорж не выносил насмешек: он сделал свои выводы. Жорж обладал от природы не храбростью сангвиника, но бесстрашием флегматика, то есть первым его движением было не бросаться очертя голову в опасную переделку, но сделать шаг назад, дабы избежать ее. Ему надо было поразмыслить, прежде чем храбро пойти на риск, и хотя это и есть подлинная храбрость, храбрость

души, он ужасался этой черты в себе, как трусости. При каждой ссоре он затевал драку, вернее, бывал бит; но и побежденный он продолжал драться упорно и ежедневно, пока наконец не вышел в победители; он победил не потому, что был сильнее, а потому, что был выносливее: в разгаре самой неистовой драки он сохранял замечательное хладнокровие, благодаря которому использовал малейший промах своего противника. Это внушило уважение к нему, его уже остерегались задевать — ведь как бы враг ни был слаб, но если он отважен, с ним не захочешь лишний раз связываться; впрочем, этот необычайный задор, с которым он бросился в новую жизнь, принес свои плоды: Жорж постепенно окреп; к тому же, ободренный первыми успехами, Жорж ни разу не раскрыл книги во время следующих каникул; он начал учиться плаванию, фехтованию, верховой езде, доводя себя до утомления, а подчас и до болезни, но в конце концов привык к физическим упражнениям. Тогда упражнения на ловкость сменились трудом, развивающим силу; часами он работал доплатой, как землекоп; по целым дням таскал тяжести, как грузчик; вечерами, вместо того чтобы лечь в мягкую и теплую постель, он заворачивался в плащ; бросался на медвежью шкуру и так спал до утра. На какой-то миг изумленная природа оставалась в нерешительности — сдать ли ей или торжествовать. Жорж и сам чувствовал, что подвергает свою жизнь опасности, но зачем ему эта жизнь, если он не станет сильным и ловким! Природа выдержала; телесная слабость, побежденная силой воли, исчезла, как нерадивый слуга, выгнанный непреклонным хозяином. Наконец, три месяца подобного режима настолько укрепили жалкого заморыша, что, когда он вернулся в коллеж, товарищи с трудом узнали его. Теперь он сам искал ссоры и, в свою очередь, колотил тех, от кого столько раз терпел побои. Теперь его боялись, а поскольку боялись, то и уважали.

В силу естественной гармонии, по мере того как его тело наливалось мощью, хорошело и его лицо: у Жоржа всегда были великолепные глаза и зубы; он отрастил подлиннее свои черные волосы, смягчил уходом их природную жесткость. Болезненно бледная кожа стала матовой, и белизна ее говорила об утонченности его натуры, склонной к печальным размышлениям; наконец юноша так же постарался стать привлекательным, как старался ребенком стать сильным и ловким.

Окончивший философский факультет, Жорж был теперь элегантным молодым человеком среднего роста, с прекрасным сложением. Он знал, что обладает знаниями, необходимыми светскому человеку. Однако он понял, что ему недостаточно не уступать обыкновенным людям, ему надо добиться превосходства над ними.

Занятия, которые он сделал для себя обязательными, не отягощали его. Он установил такой порядок дня: утром, в шесть часов, отправлялся верхом, в восемь шел в тир стрелять из пистолета, с десяти утра до полудня занимался фехтованием, от полудня до двух слушал лекции в Сорбонне, с трех до пяти занимался рисованием в мастерской того или иного художника, наконец вечером посещал театр. Его охотно принимали в светском обществе. Жорж завел знакомства среди лучших парижских артистов, ученых и светских людей; будучи достаточно сведущим в искусстве, науке и модах, он вскоре прослыл одним из самых утонченных умов и самых блистательных юношей столицы. Таким образом, он почти достиг своей цели.

Однако же ему еще оставалось сделать последнее испытание: уверенный в своем превосходстве над другими, он не знал, может ли повелевать самим собой. Но Жорж был не такой человек, который терпит неуверенность в чем-либо: он решил избавиться от сомнений насчет самого себя.

Жорж часто боялся, что станет игроком.

Однажды он вышел из дома с карманами, полными золотых монет, и направился к Фраскати. Он сказал себе: «Я буду играть три раза, каждый раз по три часа, и на каждые три часа я ассигную 10 000 франков; по прошествии трех часов, выиграю я или проиграю, я прекращаю игру».

В первый день Жорж проиграл свои десять тысяч франков меньше чем за полтора часа. Но он не уходил, пока не прошли три часа с начала его игры. Он смотрел, как играют другие, и, хотя у него в бумажнике оставалось двадцать тысяч ассигнациями, предназначенные для того, чтобы рискнуть ими, в следующие два раза он не поставил ни одного франка сверх того, что назначил сам.

На второй день Жорж сначала выиграл двадцать пять тысяч франков, потом, согласно своему решению, продолжал играть, пока не прошли три часа, спустил весь свой выигрыш и, кроме того, еще две тысячи фран-

ков; тут он заметил, что играет уже три часа, и прекратил игру с такою же пунктуальностью, как и накануне.

На третий день Жорж сначала проигрывал, но когда у него оставалась последняя ассигнация, ему вдруг начало везти; оставалось играть три четверти часа, и в течение этих сорока пяти минут ему сопутствовала такая удача, которая становится легендой в устах завсегдатаев игорного дома; можно было подумать, что на эти сорок пять минут Жорж заключил договор с дьяволом, чтобы тот подсказывал ему на ухо выигрышные цвет и карту. К великому изумлению присутствующих, перед Жоржем выросла куча золота и ассигнаций. Жорж даже перестал думать, он бросал деньги на стол и говорил крупье: «Ставьте, куда хотите»,— тот ставил деньги наугад, и Жорж выигрывал. Два профессиональных игрока, которые следили за игрой Жоржа и, подражая ему, выиграли огромные суммы, подумали, что настал момент делать ставки, противоположные тем, что делал Жорж; так они и поступили. Но удача осталась верной Жоржу. Они потеряли все, что выиграли до сих пор, затем все, что у них было с собой, потом, поскольку им здесь доверяли, они одолжили у крупье пять тысяч франков, которые тут же проиграли. Что касается Жоржа, то он совершенно бесстрастно, со спокойным лицом смотрел, как перед ним вырастает масса золотых монет и ассигнаций, время от времени поглядывая на стенные часы, которые должны были пробить час его ухода. Наконец этот час настал. Жорж тут же прекратил игру, вручил выигранные деньги слуге и с тем же спокойствием, с тою же бесстрастностью, с которой он играл, выигрывал или проигрывал, вышел, сопровождаемый завистливыми взглядами тех, кто присутствовал при этой сцене и ожидал увидеть его на следующий день. Но против всеобщего ожидания Жорж больше не появился. Более того, он положил золотые монеты и ассигнации в ящик своего секретера, с тем чтобы открыть его только через неделю. Когда прошла неделя, он открыл ящик и пересчитал свои деньги. Он выиграл двести тридцать тысяч франков.

Жорж был доволен собой: он победил свою страсть к игре.

Как и всеми уроженцами тропиков, Жоржем владели пылкие чувства. После какой-то оргии приятели повели его к куртизанке, известной своей красотой и кап-

ризм характером. В этот вечер у современной Лансы был приступ добродетели. Время прошло в разговорах о морали, можно было подумать, что хозяйка дома претендует на приз Монтиона. Однако же глаза прекрасной проповедницы порой, устремляясь на Жоржа, выражали страстное желание, противоречащее ее холодной речи. А Жоржу эта женщина показалась еще более желанной, чем ему о ней говорили. И в течение трех дней воспоминание об этой соблазнительной Астарте преследовало девственное воображение молодого человека. На четвертый день Жорж направился к дому, где она жила; сердце его отчаянно билось, когда он поднимался по лестнице, он позвонил так сильно, что чуть не оборвал шнур звонка, потом, слыша приближающиеся шаги горничной, он приказал своему сердцу перестать биться, лицу своему принять спокойное выражение, и голосом, в котором невозможно было угадать и следа волнения, он попросил горничную отвести его к хозяйке. Та услышала его голос. Она прибежала чуть ли не вприпрыжку, потому что образ Жоржа не покидал ее с первой встречи, когда юноша произвел на нее глубокое впечатление; теперь она надеялась, что этого красивого молодого человека привела к ней если не любовь, то по крайней мере желание.

Она ошибалась: это тоже было испытание, которому Жорж решил себя подвергнуть; он пришел, чтобы противоставить железную волю пламенным чувствам; он объяснил свою холодность тем, что хочет выиграть заключенное им пари, и, одновременно противясь напору своих чувств и ласкам блудницы, победил в этом втором испытании, как победил и в первом, и через два часа ушел.

Жорж был доволен собой: он победил свои чувства.

Мы говорили, что у Жоржа не было той физической храбрости, которая бросает человека в самое опасное место, но только та необходимая храбрость, которая проявляется, если без нее нельзя обойтись. Жорж в самом деле боялся, что по природе он не храбрец, и часто дрожал при мысли, что при неизбежной опасности он, возможно, не будет уверен в себе и может повести себя, как трус. Эта мысль страшно мучила его, поэтому он решил, как только представится случай, ухватиться за него и подвергнуть свою душу испытанию. Такой случай представился, и довольно необычным образом.

Однажды Жорж был с одним из своих приятелей у Лепажы и в ожидании, пока освободится место, смотрел, как стреляет один из завсегдатаев тира, который, как и сам Жорж, считался в числе лучших стрелков Парижа. Тот, кто упражнялся сейчас, выполнял почти все невероятные фокусы, которые предание приписывает Шевалье Сен-Жоржу и которые приводят в отчаяние новичков, а именно — попадал каждый раз в яблочко, всаживая пулю на пулю, разрезал пулю надвое, стрелял в лезвие ножа и проводил всегда удачно множество подобных опытов. Нужно сказать, что самолюбие стрелка было возбуждено присутствием Жоржа, тем более что слуга, подавая стрелку его револьвер, тихо сказал ему, что Жорж стреляет по меньшей мере так же метко, как он. Поэтому при каждом выстреле он старался превзойти себя, но вместо того, чтобы услышать от Жоржа заслуженную похвалу, он, напротив, слышал, как Жорж отвечал на удивленные восклицания зрителей:

— Да, конечно, это удачный выстрел, но было бы иначе, если б этот господин стрелял в человека.

Это постоянное отрицание его ловкости как дуэлянта сначала удивило стрелка и в конце концов оскорбило его. Он обернулся к Жоржу, когда тот в третий раз высказал свое сомнение, и, глядя на него полунасмешливо-полуугрожающе, сказал:

— Простите, сударь, но мне кажется, вот уже два или три раза вы высказали сомнение, оскорбительное для моей храбрости; не будете ли вы так добры дать мне ясное и точное объяснение произнесенных вами слов?

— Мои слова не нуждаются в комментариях, — ответил Жорж, — они сами объясняют свой смысл.

— Тогда, сударь, будьте добры, повторите их еще раз, — продолжал стрелок, — с тем, чтобы я мог одновременно понять, что они означают и с каким намерением сказаны.

— Я сказал, — совершенно спокойно ответил Жорж, — видя, как вы попадаете в яблочко при каждом выстреле, что вы не были бы так уверены в меткости вашей руки и глаза, если бы вместо того, чтобы целиться в мишень, вы целились в грудь человека.

— А почему, скажите, пожалуйста? — спросил стрелок.

— Потому что мне кажется, что в тот момент, когда вы целитесь в себе подобного, вы непременно испытываете некое волнение, влияющее на точность выстрела.

— Вы часто дрались на дуэли, сударь? — спросил стрелок.

— Никогда, — ответил Жорж.

— Тогда неудивительно, если вы предполагаете, что в подобных обстоятельствах можно бояться, — продолжал стрелок с улыбкой, в которой сквозил оттенок иронии.

— Простите меня, — ответил Жорж, — но вы меня, наверное, плохо поняли: мне кажется, что в тот момент, когда убиваешь человека, можно дрожать не только от страха.

— Я никогда не дрожу, сударь, — сказал стрелок.

— Возможно, — ответил Жорж все так же флегматично, — но я все же уверен, что с двадцати пяти шагов, то есть с того же расстояния, с какого вы здесь попадаете каждый раз...

— И что же? с двадцати пяти шагов?

— С двадцати пяти шагов вы не попадете в человека.

— А я уверен, что попаду.

— Позвольте мне не поверить вам на слово.

— Значит, вы уличаете меня во лжи?

— Нет, я просто устанавливаю истину.

— Но, я полагаю, вы не захотите проверить ее на себе, — усмехаясь, продолжал стрелок.

— А почему бы и нет? — ответил Жорж, пристально глядя на него.

— Но на ком-нибудь другом, не на вас самих, я полагаю.

— На другом или на себе, не все ли равно?

— Предупреждаю вас, это была бы безрассудная храбрость с вашей стороны, сударь, отважиться на подобное испытание.

— Нет, потому что я сказал то, что думаю, а следовательно, убежден в том, что не слишком рискую.

— Итак, сударь, вы во второй раз повторяете мне, что за двадцать пять шагов я не попаду в человека, в которого буду целиться?

— Вы ошибаетесь, сударь, я повторяю вам это не во второй, а, кажется, в пятый раз.

— Ну, это уж слишком, вы хотите оскорбить меня.

— Можете думать, если вам угодно, что таково мое намерение.

— Хорошо, сударь. В котором часу?

— Если вам угодно, хоть сейчас.

- А где?
— Мы в пятистах шагах от Булонского леса.
— Какое оружие вы предлагаете?
— Какое оружие? Ну, конечно, пистолеты. Ведь это не дуэль, мы просто ставим опыт.
— К вашим услугам, сударь.
— Что вы! Это я к вашим услугам.

Оба сели в свои кабриолеты, каждый в сопровождении приятеля.

Когда они прибыли на место, секунданты хотели уладить дело, но это оказалось трудно. Противник Жоржа требовал извинений, но Жорж возражал, что он должен будет извиниться, только если его ранят или убьют, потому что лишь в том случае он окажется неправ.

Двое секундантов потратили четверть часа на переговоры, которые не привели ни к какому результату.

Потом они хотели поставить противников на расстоянии тридцати шагов друг от друга, но Жорж заметил, что расстояние должно равняться тому, с которого обычно стреляют в тирах, то есть двадцати пяти шагам. В результате отмерили двадцать пять шагов.

Потом хотели решить, кому стрелять первым, подбросив в воздух луидор. Но Жорж объявил, что это излишне, потому что право первенства, естественно, принадлежит его противнику. Противник же настаивал на том, что это дело его чести и что, поскольку оба они очень сильные стрелки, удача, конечно, окажется на стороне того, кто будет стрелять первым.

Молодой человек, служивший в тире, последовал за дуэлянтами. Он зарядил пистолеты такими же пулями, какими противник Жоржа стрелял в тире, и положил столько же пороха. Пистолеты были те же самые, Жорж потребовал этого как условия *sine qua non*¹.

Они встали на расстоянии двадцати пяти шагов, и каждый получил из рук своего секунданта заряженный пистолет. Потом секунданты удалились с тем, чтобы противники могли стрелять друг в друга в условленном порядке.

Жорж не принял никаких предосторожностей, обычных в подобных обстоятельствах: он не пытался заслонить пистолетом какую-либо часть своего тела. Рука его

¹ Непременное условие (лат.).

висела вдоль бедра, и грудь была совершенно беззащитна.

Противник не мог понять, что означает поведение Жоржа, он уже много раз попадал в такое положение, но никогда не видел подобного хладнокровия. И глубокая уверенность Жоржа постепенно возымела свое действие. Этот стрелок, такой ловкий, всегда попадавший в цель, начал сомневаться в себе.

Два раза поднимал он пистолет, чтобы прицелиться в Жоржа, и оба раза опускал его. Это было против всех правил дуэли, но каждый раз Жорж говорил ему:

— Не торопитесь, сударь, не торопитесь.

На третий раз ему стало стыдно за себя, и он выстрелил. В этот момент свидетели испытали щемящий страх. Но как только прозвучал выстрел, Жорж повернулся сначала налево, потом направо, приветствуя свидетелей и показывая им, что он невредим.

— Ну, так вот, сударь,— сказал он своему противнику,— вы видите, что я был прав и что когда вы стреляете по человеку, то вы чувствуете себя менее уверенным, чем когда вы стреляете по мишени.

— Хорошо, сударь, я был не прав. Ваша очередь, стреляйте.

— Моя? — возразил Жорж, поднимая свою шляпу, которую он поставил на землю, и отдавая свой пистолет мальчику из тира.— А зачем мне в вас стрелять?

— Но это ваше право, сударь,— воскликнул его противник,— и я не потерплю, чтобы вы отказались. К тому же мне любопытно видеть, как вы сами стреляете.

— Простите, сударь,— сказал Жорж со своим невозмутимым хладнокровием,— давайте объяснимся. Я не говорил, что попаду в вас. Я сказал только, что вы не попадете в меня. Вы в меня не попали. Я был прав.

И какие бы причины ни выдвигал его противник, как бы он ни настаивал, чтобы Жорж стрелял в свою очередь, Жорж сел в свой кабриолет и направился к въезду Звезды, повторяя своему другу:

— Вот видишь? Я ведь говорил тебе, что стрелять в куклу — это не то, что стрелять в человека?

Жорж был доволен собой, теперь он был уверен в своей храбрости.

Эти три приключения наделали шуму и создали Жоржу завидное положение в обществе. Две или три кокетки решили покорить современного Катона, и, так как у него

не было причин сопротивляться, он скоро вошел в моду. Но в тот момент, когда его считали наиболее связанным любовными похождениями, подошло время, назначенное им самим для путешествий, и однажды утром Жорж попрощался со своими любовницами, послав каждой из них по царскому подарку, и уехал в Лондон.

Поселившись затем в Лондоне, Жорж был всюду учтиво принят; он держал лошадей, собак и петухов, заставляя одних драться, а других бегать, соглашался на всякое пари, с аристократическим хладнокровием выигрывал и проигрывал сумасшедшие деньги; спустя год он покинул Лондон с репутацией безупречного джентльмена, как прежде, покидая Париж, имел репутацию блестящего кавалера. Во время пребывания в столице Британии он встречался с лордом Марреем, но, как мы уже сказали, тогда между ними не завязалось близкого знакомства.

В ту эпоху вошли в моду путешествия на Восток. Жорж посетил Грецию, Турцию, Малую Азию, Сирию и Египет. Он был представлен Мухаммеду Али¹; Ибрагим-Паша² в то время готовил экспедицию в Саид. Жорж сопровождал сына вице-короля, дрался у него на глазах и получил от него почетную саблю и двух арабских лошадей, самых породистых в королевском табунае.

Во Францию Жорж вернулся через Италию. Готовился поход в Испанию. Примчавшись в Париж, он просил разрешения отправиться добровольцем; разрешение было ему дано. Жорж занял место в рядах первого батальона, находившегося на передовых позициях. К несчастью, вопреки ожиданиям, испанцы воевали плохо, и война, которая обещала быть ожесточенной, оказалась, в общем, просто военной прогулкой. Однако в Трокадеро ситуация изменилась, и стало ясно, что придется брать силой этот оборонительный рубеж революции на полуострове.

Полк, к которому был приписан Жорж, не предназначался для осады крепости, поэтому Жорж вышел из него и присоединился к гренадерам. Когда была пробита брешь во вражеских укреплениях и был дан сигнал к штурму, Жорж находился среди наступавших и вошел в крепость третьим.

¹ Мухаммед Али (1769—1849) — паша Египта с 1805 года. Основатель династии. Создал регулярную армию.

² Ибрагим Паша (1789—1848) — египетский полководец, отличился во время военной кампании 1816—1818 г.

Его имя было упомянуто в приказе по армии, он получил из рук герцога Ангулемского¹ орден Почетного Легиона, а из рук Фердинанда VII² — крест Карла III. Честолюбивый молодой человек был наверху блаженства.

Тогда он подумал, что ему пора вернуться на Иль де Франс: все, о чем он мечтал, исполнилось, все, чего хотел достичь, было достигнуто; ему больше нечего было делать в Европе. Борьба с цивилизацией кончилась, начиналась борьба с варварством. Эта исполненная гордости душа не согласилась бы истратить на счастье в Европе силы, так старательно собранные для битвы в родном краю; все, что он сделал за последние десять лет, было сделано для того, чтобы превзойти своих соотечественников, мулатов и белых, и одному уничтожить расовый гнет, на борьбу с которым до сих пор не решился ни один цветной. Ему не было дела до Европы и до ста пятидесяти миллионов ее обитателей, не было дела до Франции и тридцати трех миллионов ее жителей; ему безразлично было, правят там депутаты или министры, республика там или монархия. Всему остальному миру он предпочитал маленький уголок земли, затерянный на карте, как песчинка на дне моря. Этот уголок занимал его мысли; в этом краю ему предстояло совершить подвиг, решить великую задачу. У него было одно воспоминание — то, что пережито, и одна надежда — исполнить свой долг.

Между тем «Лейстер» зашел в Кадикс. Фрегат направлялся на Иль де Франс, где должен был остаться на продолжительное время. Жорж попросил, чтобы его взяли на борт корабля, и так как был рекомендован капитану французскими и испанскими властями, получил разрешение. Подлинная причина проявленной к нему милости заключалась в следующем: лорд Маррей узнал, что тот, кто просил разрешения идти на «Лейстере», был уроженцем Иль де Франс; для лорда Маррея было вовсе не лишним, чтобы на одном корабле с ним плыл человек, который в течение перехода в четыре тысячи лье мог бы сообщить ему многие сведения политического или жи-

¹ Ангулем Луи Антуан — герцог, старший сын графа Артуа, впоследствии короля Карла X (1785—1844).

² Фердинанд VII (1784—1833) — король Испании в 1808 и 1814—1833 гг.

тейского характера, столь важные для губернатора, приступающего к исполнению своих обязанностей.

Читатель видел, как сблизились друг с другом Жорж и лорд Маррей и как, ступая на берег Пор-Луи, они договорились встретиться.

Мы знаем также: Жорж, хотя он и был почтительным и преданным сыном, явился к отцу лишь после трудных испытаний, каким так долго себя подвергал. Радость старика была тем сильнее, чем меньше он надеялся на возвращение сына, к тому же вернувшийся был так не похож на того, кого он ждал, что по дороге в Мока отец не сводил глаз с сына, а иногда, останавливаясь, так крепко прижимал его к сердцу, что Жорж, несмотря на умение владеть собой, чувствовал, как слезы появляются у него на глазах.

Через три часа они пришли на плантацию, но Телемак обогнал их; поэтому Жорж и отец увидели негров, ждавших их с радостью и вместе с тем со страхом: Жорж, которого они знали ребенком, стал теперь их новым хозяином, а каким он окажется?

Что означало для этих людей появление Жоржа? Счастье или беда ждет их в будущем? Казалось, все должно было сложиться хорошо. Жорж начал с того, что освободил их на два дня от работы. А так как за этими днями следовало воскресенье, то их ждал трехдневный отдых.

Ему не терпелось осмотреть свои земли; наскоро пообедав, в сопровождении отца он обошел плантацию. Выгодная торговля, прилежная работа под умелым руководством хозяина превратили ее в одну из лучших на острове. В центре имения стоял дом, простое и просторное здание, окруженное тройной цепью банановых кустов, манговых и тамариндовых деревьев. От дома к дороге тянулась длинная аллея, обсаженная деревьями, задняя дверь дома вела в душистые фруктовые сады. Далее, насколько охватывал глаз, расстилались огромные поля сахарного тростника и кукурузы, которые, казалось, устали под грузом плодов и молили о том, чтобы рука сборщика их освободила.

Наконец они пришли к тому месту, которое на каждой плантации называется Лагерем черных.

Посреди лагеря возвышалось большое здание, зимой служившее амбаром, а летом танцевальным залом; оттуда доносились радостные крики и звуки тамбуринов, тамтама и мальгашской арфы. Негры, воспользовавшись

тем, что их отпустили, тотчас же начали праздник; эти простые натуры легко переходят от трудов к удовольствиям и, танцуя, отдыхают от усталости. Жорж и отец неожиданно появились среди них.

Негры сразу прекратили танцы, бал был прерван, каждый встал подле соседа, стараясь образовать ряды, как это делают солдаты при неожиданном появлении командира. Наступила тишина, затем хозяев приветствовали громкие голоса присутствующих. Это было искреннее выражение чувств. Негров здесь хорошо кормили, хорошо одевали, редко наказывали, потому что они добросовестно трудились; они обожали Пьера Мюнье, может быть, единственного мулата в колонии, который не был жесток в обращении с неграми. Что до Жоржа, внушавшего серьезные опасения этим добрым людям, то, угадав, какое впечатление произвел на них его внешний вид, он дал знак, что хочет говорить. Воцарилось глубокое молчание. Негры жадно ловили каждое его слово, медленное, как клятва, торжественное, как обет.

«Друзья мои, я взволнован оказанным мне приемом и еще более тем, что вижу улыбки на ваших лицах, я знаю, что с отцом вы были счастливы, я благодарен ему; мой долг, так же, как и его, сделать счастливыми тех, кто будет мне послушен. Вас здесь триста человек, и на всех лишь девяносто хижин. Мой отец хочет, чтобы вы построили еще шестьдесят, тогда получится одна на двоих; у каждой хижины будет маленький сад, и всем будет позволено сажать там табак, картофель и держать свиней и кур; те, кто захочет превратить это в деньги, в воскресенье пойдут на рынок в Пор-Луи, а выручкой смогут распоряжаться по своему усмотрению.

Если обнаружится воровство, тот, кто обокрал своего брата, будет сурово наказан; если кого-нибудь несправедливо побьет надзиратель, пусть тот докажет, что не заслужил наказания, и с надзирателем поступят по закону. Я не предвижу случая, чтобы кто-нибудь из вас сбежал, потому что вы счастливы здесь, надеюсь, и в дальнейшем будете довольны и не покинете нас».

Вновь раздались возгласы радости в ответ на эту речь, которая, очевидно, покажется наивной шестидесяти миллионам европейцев, живущим при конституционном режиме, но которую слушатели приняли с большим воодушевлением: ведь то была первая хартия такого рода, дарованная неграм в колонии.

Вечером следующего дня, в субботу, большая группа негров, не столь счастливых, как те, с которыми мы уже познакомились, собралась под широким навесом и, сидя вокруг большого очага, где горели сухие ветки, устроила, как говорят в колониях, «берлок», то есть встречу людей разных склонностей, которые собрались каждый со своей работой: один изготавливал какое-нибудь изделие, чтобы на следующий день продать его, другой варил рис, маниоку или жарил бананы. Кто-то, достав деревянную трубку, курил табак, выращенный в своем саду, некоторые вполголоса разговаривали. Среди собравшихся присутствовали женщины и дети, их обязанностью было поддерживать огонь в очаге, но, несмотря на то, что люди были заняты делом и этот вечер предшествовал дню отдыха, чувствовалось, что над несчастными неграми нависло нечто тоскливое и тревожное,— страх перед надсмотрщиком, который сам был мулатом. Навес находился в нижней части равнины, у подножия горы с тремя вершинами, вокруг которой располагались владения нашего старого знакомого — господина де Мальмеди.

Не то чтобы де Мальмеди был плохим хозяином в том смысле, какой мы во Франции придаем этому слову. Нет, де Мальмеди был полный, словно бочка, незлобивый человек, но в высшей степени тщеславный, придававший большое значение своему собственному положению; он был исполнен гордости, когда думал о чистоте крови, текущей в его жилах, и с глубокой убежденностью, воспринятой от предков, разделял предрассудок расовых различий, который на острове Иль де Франс ущемлял права цветных. Что касается рабов, то им жилось не хуже у него, чем жилось бы у других хозяев, но рабы были несчастны повсюду; для де Мальмеди негры не считались людьми, они были машинами, им полагалось приносить доход. А если машина не дает дохода, который она должна приносить, ее заводят механическим способом; де Мальмеди просто и ясно применял к своим неграм эту теорию. Если негры переставали работать из-за лености или усталости, надсмотрщик пускал в ход кнут; машина снова начинала крутиться, и к концу недели хозяин получал прибыль сполна.

Что до Анри де Мальмеди, то он был точный портрет отца, только на двадцать лет моложе, и еще заносчивее своего родителя.

Словом, как мы сказали, моральное и имущественное положение негров равнины Уильямса сильно отличалось от образа жизни негров района Мока. Поэтому на вечерних сборищах у рабов Пьера Мюнье царило принужденное веселье, в то время как у негров господина де Мальмеди его надо было возбуждать песней, сказкой или импровизированным представлением. Впрочем, в тропиках, так же как и в наших странах, под навесом у негров, как и на солдатском бивуаке, всегда найдется шутник, который берет на себя задачу рассмешить собравшихся, за что благодарные слушатели не остаются в долгу, но если общество забывает расплатиться, что иногда случается, тогда шут напоминает ему о его долге.

Тот, кто во владениях де Мальмеди исполнял обязанности Трибуле либо Анжели, знаменитых шутов королей Франсиска I и Людовика XIII, был человек низкого роста, тучный торс которого держался на таких тонких ногах, что даже не верилось, что подобная фигура могла существовать в природе. Руки его были невероятно длинные, как у обезьян, расхаживающих на задних лапах и не нагибаясь хватающих все, что им попадает на землю.

Новый персонаж, которого мы только что ввели в действие, представлял собою странную смесь смешного с ужасным; в глазах европейца безобразное брало верх и внушало непреодолимое отвращение, но негры, не столь преданные прекрасному, не такие ценители внешней привлекательности, как мы, видели в нем только комическую сторону, хотя по временам эта обезьяна показывала тигриные когти и зубы.

Его звали Антонио, он родился в Тингораме, и, чтобы не путать его с другими Антонио, которых такая ошибка обидела бы, все звали его Антонио-Малаец.

Берлок, то есть вечернее сборище, тянулся довольно скучно, когда Антонио, проскользнув за один из столбов, поддерживавших навес, высунул свое зеленовато-желтое лицо и тихо свистнул, подражая змее в капюшоне, одной из самых грезных рептилий Малайского полуострова. Если бы этот свист раздался на равнинах Танасерина, в болотах Явы или в песках Килоа, тот, кто услышал бы его, замер бы в ужасе, но на Иль де Франс, кроме акул, стаями плавающих вдоль берега, нет никаких опас-

ных животных; этот крик никого не испугал и заставил только чернокожую компанию широко раскрыть глаза и взглянуть на пришедшего. Раздался возглас:

— Антонио-Малаец! Viva Антонио!

Только два или три негра вздрогнули и поднялись, опершись на локоть, это были малагасийцы, йокофы, занзибарцы, которые в молодости слышали такой же свист и не забыли его.

Один из них, молодой негр, встал; если бы не темный цвет его лица, то его можно было принять за кавказца; шум нарушил его раздумья; посмотрев, что происходит, он снова развалился на камне, с презрением пробормотав:

— Э, Антонио-Малаец!

Антонио в три прыжка очутился в центре круга; потом, перепрыгнув через очаг, уселся с другой стороны, поджав ноги, как сидят портные.

— Антонио, песню! Спой песню! — закричали все.

Вопреки обыкновению виртуозов, гордых своим мастерством, Антонио не заставил себя упрашивать; он вытащил из-под лангути плохонькую дудку, поднес ее к губам, извлек несколько звуков, как бы исполняя своеобразную прелюдию, затем, сопровождая слова причудливыми жестами, он спел такую песню:

Уз так мала моя домиска,
Вхозу, согнута пополам —
Я головой уперта в крыска,
Когда уперта в пол ногам.
Мне по ночам не надо света,
Я засыпаю луцце всех:
Видна луна сквозь крыска эта,
Уз больно много в ней прорех.

Моя постель — худой матраца,
Под голова кладу цурбак,
Моя кувсынка — калебаса,
Там к Новый год дерзу арак.
Когда моя хозяйка в миске
Субботний узин подала,
Моя пеку в моей домиске
Банан в горячая зола.
Моя дверей не запирает.

Замок в домиске не найти,
Зато никто не забирает
Из мой сундук мой лангути.
В воскресный день моя играет,
Берет за выигрыш табак

И всю неделю дым пускает
Из важный трубка у очаг¹.

Читателю следовало бы пожить среди этой породы людей, простых и неразвитых, на которых любая мелочь производит сильное впечатление, чтобы иметь представление о том, как подействовала на них песня Антонио, несмотря на бедные рифмы и убогое содержание. Первый и второй куплеты завершились под взрывы смеха и рукоплескания. После третьего раздался восторженный крик «браво» и «ура». И только молодой негр, ранее выказавший Антонио свое презрение, с отвращением пожал плечами. Что же касается Антонио, то вместо того, чтобы упиваться своим успехом и важничать, как следовало бы ожидать, он оперся локтями о колени, опустил голову в ладони и, казалось, глубоко задумался. Тогда, поскольку Антонио был признанным затейником, уныние вновь овладело обществом. Его снова стали упрашивать, чтобы он рассказал что-нибудь или спел еще одну песню.

Но Антонио сделал вид, что не слышит, и, несмотря на самые настойчивые просьбы, упрямо молчал. Наконец, один из тех, кто сидел ближе всех к нему, хлопнул его по плечу:

— Что с тобой, Малаец, ты мертв?

— Нет,— ответил Антонио,— я жив.

— А что ты делаешь?

— Я думаю.

— О чем?

— Я думаю, что время берлока — хорошее время. Когда Бог тушит солнце и настает час любимых занятий, каждый работает с удовольствием, потому что каждый работает для себя; правда, есть и лентяи, которые курят и теряют время, как, например, ты, Тукал, или лакомки, забавляющиеся тем, что жарят бананы, вроде тебя, Комбеба. Но, как я уже сказал, некоторые работают. Ты, Кастор, делаешь стулья, ты, Боном,— деревянные ложки, ты, Назим, бьешь баклуши.

— Назим делает то, что хочет,— ответил негр.— Назим — олень Анжуана, а Лаиза — лев Анжуана, и что бы ни делали львы и олени,— змеям нечего туда совать нос.

Антонио прикусил губу и после минуты молчания, когда, казалось, еще звенел голос молодого негра, продолжал:

¹ Перевод М. Квятковской.

— Я уже сказал вам, что вечер — хорошее время, но чтобы работа не была утомительной для тебя, Кастор, и для тебя, Боном, чтобы дым табака был тебе приятен, Тукал, чтобы ты не заснул, пока жарится твой банан, Камбеба, нужно, чтобы кто-то рассказывал вам занятные байки или пел песенки.

— Это правда,— сказал Кастор,— Антонио знает забавные истории и поет славные песни.

— Но если Антонио не поет песни и ничего не рассказывает,— продолжал Малаец,— что тогда происходит? Да, мы спим — устали целую неделю работать. Тогда нет и берлока; ты, Кастор, перестаешь мастерить бамбуковые стулья, ты, Боном, не делаешь деревянных ложек, у тебя, Тукал, гаснет трубка, а у тебя, Камбеба сгорел банан, не правда ли?

— Правда,— хором ответили все, а не только те рабы, кого назвал Антонио. Лишь Назим хранил презрительное молчание.

— Тогда вы должны быть благодарны тому, кто рассказывает вам интересные истории, чтобы вы не заснули, и поет вам забавные песни, чтобы рассмешить вас.

— Благодарим, Антонио, спасибо! Благодарим все.

— Кроме Антонио, кто может рассказать вам что-нибудь?

— Лаиза, Лаиза тоже знает очень занятные случаи.

— Да, но его рассказы наводят на вас ужас.

— Это правда,— ответили негры.

— А кроме Антонио, кто может спеть вам песни?

— Назим, Назим знает очень хорошо песни.

— Да, но от его песен вы плачете.

— Это правда,— сказали негры.

— Значит, один лишь Антонио знает песни и сказочки, которые вас смешат.

— Это тоже правда,— отвечали негры.

— А кто пел вам песенку четыре дня тому назад?

— Ты, Малаец.

— Кто рассказал вам сказочку три дня тому назад?

— Ты, Малаец.

— Кто пел вам песню позавчера?

— Ты, Малаец.

— А кто вчера позабавил вас рассказом?

— Ты, Малаец.

— Ну, а кто сегодня спел вам песню и собирается рассказать сказочку?

— Ты, Малаец, как и всегда.

— Значит, благодаря мне вы развлекаетесь за работой, получаете большое удовольствие и не спите, пока жарятся ваши бананы. А так как я не могу ничего сделать, потому что жертвую собой для вас, было бы справедливо, чтобы за мои труды мне что-нибудь дали.

Справедливость этого замечания поразила всех, однако же долг историка — говорить только правду, и это заставляет нас признать, что лишь несколько голосов, вырвавшихся из самых наивных сердец в этом обществе, ответили согласием.

— Так значит,— продолжал Антонио,— будет справедливо, если Тукал даст мне немного табаку, чтобы я мог курить его в своей хижине, не так ли, Камбеба?

— Справедливо,— вскричал Камбеба в восторге от того, что контрибуцией облагается не он, а кто-то другой.

И Тукалу пришлось разделить свой табак с Антонио.

— Теперь,— продолжал Антонио,— я потерял свою деревянную ложку. У меня нет денег, чтобы купить ложку, ведь вместо того, чтобы работать, я пел песни и рассказывал вам истории: было бы справедливо, если бы Боном дал мне ложку, чтобы я мог есть похлебку. Правда, Тукал?

— Справедливо! — воскликнул Тукал, в восхищении от того, что Антонио берет налог не только с него.

И Антонио протянул руку к Боному, который вручил ему ложку.

— Теперь у меня есть табак,— продолжал Антонио,— и у меня есть ложка для похлебки, но у меня нет денег, чтобы купить мясо для бульона. Поэтому будет справедливо, если Кастор отдаст мне табурет, который мастерит, чтобы я продал его на базаре и купил говядины, не так ли, Тукал, не так ли, Боном, не так ли, Камбеба?

— Правильно,— в один голос закричали Тукал, Боном и Камбеба.— Правильно.— И Антонио, наполовину с его согласия, наполовину силой, вытащил из рук Кастора табурет, когда он только что приколотил к нему последний кусок бамбука.

— Теперь,— продолжал Антонио,— я спел песню и очень устал, а сейчас я расскажу вам историю, но будет справедливо, если я съем что-нибудь и наберусь сил, не так ли, Тукал? Не так ли, Боном? Не так ли, Кастор?

— Да, да,— в один голос ответили уплатившие подать.

Тут испугался Камбеба.

— Но мне нечего положить на зубок,— сказал Антонио, показав свои челюсти, сильные, как у волка; Камбеба почувствовал, что волосы у него встали дыбом, и машинально протянул руку к очагу.

— Значит, будет справедливо,— продолжал Антонио,— если Камбеба даст мне банан, как вы думаете?

— Да, да, так будет справедливо,— крикнули в один голос Тукал, Боном и Кастор,— да, справедливо, банан, Камбеба.— И все голоса подхватили хором:— Банан, Камбеба.

Несчастный Камбеба с растерянным видом посмотрел на собрание негров и бросился к очагу, чтобы спасти свой банан, но Антонио остановил его, схватил веревку с крюком и зацепил крюком пояс Камбебы. Камбеба вдруг почувствовал, что его отрывают от земли и под улюлюканье всей компании он стал подниматься к небу. Примерно на высоте десяти футов Камбеба повис, судорожно протягивая руки к злосчастному банану, отнять который у своего врага у него теперь не было никакой возможности.

— Bravo, Антонио, bravo, Антонио,— закричали все присутствующие, изнемогая от хохота, в то время как Антонио, отныне полновластный хозяин банана, вокруг которого завязался спор, осторожно раздул золу и вытащил дымящийся банан, в меру поджаренный и потрескивающий так, что у зрителей потекли слюнки.

— Мой банан, мой банан,— воскликнул Камбеба с глубоким отчаянием в голосе.

— Вот он,— сказал Антонио, показав банан Камбебе.

— Я не могу его взять.

— Ты не хочешь его?

— Мне его не достать.

— Тогда,— продолжал Антонио, передразнивая несчастного,— тогда я его съем, чтобы он не сгнил.

И Антонио начал снимать кожуру с банана с такой комичной серьезностью на лице, что хохот присутствующих перешел в конвульсии.

— Антонио,— крикнул Камбеба,— Антонио, прошу тебя, отдай мне банан, этот банан для моей несчастной жены, она больна и не может есть ничего другого. Я его украл, он мне был очень нужен.

— Краденое добро не идет на пользу,— наставительно но ответил Антонио, продолжая чистить банан.

— А! Бедная Нарина, бедная Нарина, ей нечего будет есть, она будет голодна, сильно голодна.

— Но пожалейте же этого несчастного,— сказал негр из Анжуана, который среди всеобщего веселья оставался серьезным и печальным.

— Я не такой дурак,— сказал Антонио.

— Я не с тобой разговариваю,— заметил Назим.

— А с кем же ты разговариваешь?

— Я говорю с мужчинами.

— Так вот, я говорю с тобой: замолчи, Назим.

— Отвяжите Камбебу,— решительно заявил молодой негр с таким достоинством, которое оказало бы честь даже королю.

Тукал, державший веревку, повернулся к Антонио, не уверенный в том, должен ли он повиноваться. Но Малаец повторил:

— Я тебе что сказал? Замолчи, Назим!

— Когда пес дает на меня, я ему не отвечаю и продолжаю свой путь. Пес ты, Антонио.

— Берегись, Назим,— сказал Антонио, качая головой,— когда нет здесь твоего брата, ты беспомощен и не посмеешь повторить того, что сказал.

— Ты пес, Антонио,— произнес Назим вставая.

Негры, сидевшие между Назимом и Антонио, раздвинулись, так что благородный негр из Анжуана и отвратительный Малаец оказались на расстоянии десяти шагов друг против друга.

— Ты говоришь это, находясь в сторонке, Назим,— сказал Антонио, стиснув от гнева зубы.

— Я сказал это вблизи,— вскричал Назим, одним прыжком оказавшись подле Антонио, и гневно, презрительно произнес в третий раз:

— Ты собака, Антонио.

Белый человек бросился бы на своего врага и задушил бы его, если на то хватило сил. Антонио сделал шаг назад, изогнулся, как змея, которая готова броситься на добычу, и незаметно вытащил нож из кармана куртки.

Назим понял намерение Антонио и поджидал, не сходя с места.

Малаец наблюдал за врагом, потом, выпрямившись со змеиной гибкостью, воскликнул:

— Лаизы здесь нет, горе тебе.

— Здесь Лаица,— произнес чей-то суровый голос.

Эти слова были произнесены спокойным тоном, Лаица не сопровождал их каким-либо жестом, и все же при звуке этого голоса Антонио внезапно остановился, нож выпал из его руки.

— Лаица! — закричали все негры, повернувшись к вновь прибывшему и выразив готовность повиноваться.

Человек, произнесший это слово, произвел сильное впечатление на всех негров и, конечно же, на Антонио. То был мужчина в расцвете лет, среднего роста, с мощными мускулами, свидетельствовавшими о колоссальной силе. Он стоял неподвижно, скрестив руки, и взгляд его глаз, полуприкрытых веками, словно глаза подстерегающего льва, был спокоен и властен. Видя, как все они, исполненные покорности, ждут слова или знака этого человека, можно было подумать, что это африканское войско ждет войны или мира, о чем оповестит их царь, но это было всего лишь раб среди рабов.

Постояв несколько минут неподвижно, как статуя, Лаица медленно поднял руку и протянул ее к Камбебе, который все это время оставался подвешенным на веревке и смотрел молча, как другие, на разыгравшуюся только что сцену. Тукал опустил веревку, и Камбеба, обрадовавшись, очутился на земле. Первой его заботой было разыскать банан; но в сумятице, последовавшей за сценой, которую мы сейчас рассказали, он исчез.

Во время поисков банана Лаица вышел, но вскоре вернулся, неся на плечах отбившегося от стада дикого кабана, которого он бросил возле очага.

— Вот, друзья, я подумал о вас, берите для всех.

Этот щедрый подарок взволновал сердца негров, тронул в них самые чувствительные струны — аппетит и восторженность.

— О, какой хороший ужин будет у нас сегодня,— сказал негр с Малбара.

— Он черный, как мозамбиканец,— сказал малагасиец

— Он жирный, как малагасиец,— сказал негр из Мозамбика.

Но, как легко представить, восхищение — чувство слишком возвышенное, и оно вскоре уступило место обыкновенному делу; в мгновение ока животное было рассечено на куски, часть их отложили на следующий день, а остальное мясо разрезали на довольно тонкие

ломти — их положили на уголья, а более толстые куски стали жарить на огне.

Тут негры заняли свои прежние места, лица их повеселели, потому что каждый предвкушал хороший ужин. Один Камбеба стоял в углу, печальный и одинокий.

— Что ты там делаешь, Камбеба? — спросил Лаица

— Я ничего не делаю, папа Лаица, — грустно ответил Камбеба.

Как известно каждому, «папа» — это почетный титул у негров, и все негры плантации, от самого юного до самого старого, так называли Лаицу.

— Тебе все еще больно, ведь тебя повесили за пояс? — спросил негр.

— О нет, папа, я ведь не такой неженка.

— Тогда у тебя случилось горе?

На этот раз Камбеба согласился, кивнул головой.

— Какое у тебя горе? — спросил Лаица.

— Антонио взял мой банан, я украл его для больной жены, и жене теперь нечего есть.

— Ну, так дай ей кусок этого кабана.

— Она не может есть мяса, не может, Лаица.

— Кто здесь даст мне банан? — громко спросил Лаица.

Из-под золы была вытащена по крайней мере дюжина бананов. Лаица выбрал самый лучший и передал его Камбебе, тот схватил его и убежал, не успев даже поблагодарить Лаицу. Повернувшись к Боному, которому принадлежал этот банан, Лаица сказал:

— Ты не прогадаешь, Боном: вместо банана получишь порцию кабана, предназначавшуюся Антонию.

— А я, — нагло спросил Антонио, — что получу я?

— Ты уже получил банан, ведь ты его украл у Камбебы

— Но он пропал, — заявил Малаец.

— Это меня не касается, — сказал Лаица.

— Верно! — отозвались негры. — Ворованное добро никогда не идет на пользу.

Малаец встал, злобно посмотрел на людей, которые голько что одобряли его требования, а теперь согласились его наказать, и вышел из-под навеса.

— Брат, — сказал Лаице Назим, — берегись, я его знаю, он сыграет с тобой дурную штуку.

— Берегись ты, Назим, напасть на меня он не осмелится.

— Ну, ладно! Значит, я буду охранять тебя, а ты меня,— сказал Назим.— Но сейчас дело вот в чем, нам нужно с тобой поговорить наедине.

— Да, но не здесь.

— Давай выйдем.

— Да, как только все сядут ужинать, никто не обратит на нас внимания.

— Ты прав, брат.

И оба негра принялись тихо болтать о чем-то незначительном, но, как только мясо поджарилось на углях, воспользовавшись суетой, которая всегда предшествует еде, приправленной хорошим аппетитом, они оба вышли, причем, как предвидел Лаиза, остальные даже не заметили их исчезновения.

VIII

ПРЕВРАЩЕНИЕ В БЕГЛОГО НЕГРА

Было около десяти часов вечера, ночь сияла звездами, как обычно в тропических странах: на небе сверкали некоторые из созвездий, знакомые нам с детства — Малая Медведица, Пояс Ориона и Плеяды, но расположенные совсем не так, как мы привыкли их видеть, и поэтому европейцу даже трудно было бы их узнать; зато среди них блистал Южный Крест, невидимый в нашем северном полушарии. Безмолвие ночи нарушалось только шорохом, издаваемым многочисленными тенреками¹, населяющими район Черной реки и грызущими кору деревьев. Слышалось пение голубых славок, а также фонди-джали, этих малиновок и соловьев Мадагаскара, и почти неразличимый треск уже высохшей травы, ломающейся под ногами братьев.

Они шли молча, время от времени тревожно осматриваясь и останавливаясь, затем продолжали путь; наконец, дойдя до более густых зарослей, они вошли в маленькую бамбуковую рощу и остановились посреди нее, снова прислушиваясь и оглядываясь вокруг. Конечно, результат этого наблюдения успокоил их; они сели у подножия дикого бананового куста, простиравшего свои широкие листья, подобно роскошному вееру, среди тонких стеблей окружавшего его тростника.

¹ Тенреки — Млекопитающие, тело которых покрыто шерстью и колючками.

Первым заговорил Назим:

— Ну, так что же, брат?

— А ты не изменил своего решения, Назим? — спросил Лаиза.

— Я тверд, как никогда. Видишь ли, здесь я просто умру. До сих пор я не изменил принятому решению работать — я, Назим, сын вождя и твой брат; но я устал от этой жалкой жизни: я должен вернуться в Анжуан — или умереть.

Лаиза вздохнул.

— Анжуан далеко отсюда, — сказал он.

— Ну так что ж? — ответил Назим.

— Сейчас как раз время дождей.

— Тем быстрее погонит нас ветер.

— А если лодка опрокинется?

— Мы будем плыть, пока хватит сил, а когда не сможем больше плыть, в последний раз посмотрим на небо, где нас ожидает Великий Дух, обнимемся и утонем.

— Увы! — сказал Лаиза.

— Это лучше, чем быть рабом, — возразил Назим.

— Значит, ты хочешь покинуть остров?

— Хочу.

— С риском для жизни?

— С риском для жизни.

— Десять шансов против одного, что ты не доберешься до Анжуана.

— Но зато есть один шанс против десяти, что я туда доберусь.

— Хорошо, — сказал Лаиза, — пусть будет по-твоему, брат. Однако же подумай еще.

— Два года я уже думаю. Когда вождь монгаллов взял меня в плен, как взял в плен и тебя, и продал капитану — негрооторговцу, так же как был продан ты, я сразу решил! Я был в цепях и попытался задушить себя этими цепями. Меня приковали к трапу. Тогда я решил разбить себе голову о стенку корабля. Мне под голову положили соломы; тогда я начал голодовку. Мне открыли рот, но не могли заставить меня есть, зато заставили пить. Затем высадили на острове и продали за полцены; тут я решил броситься с утеса. И вдруг услышал твой голос, брат, ощутил волнение твоего сердца и почувствовал себя таким счастливым, подумав, что смогу жить. Так продолжалось год. А потом, прости меня, брат, твоя дружба не облегчила мою жизнь. Я вспом-

нил наш остров, вспомнил отца, вспомнил Зирну. Работа показалась мне крайне тяжелой, унижительной, нестерпимой. Тогда я сказал тебе, что хочу бежать, вернуться в Анжуан, увидеть Зирну, увидеть отца, а ты, ты был добр, как всегда, ты сказал мне: отдохни, Назим, ты слаб, я буду работать за тебя, я сильный. И ты стал каждый вечер выходить на работу, вот уже четыре дня ты работал, пока я отдыхал. Правда, Лаиза?

— Да, Назим, но все-таки послушай: лучше еще подождать,— продолжал Лаиза, подняв голову.— Сегодня рабы, а через месяц или через три месяца, через год, может быть, хозяева!

— Да,— сказал Назим,— да, я знаю твою тайну, знаю, на что ты надеешься.

— Значит, ты понимаешь, какое это будет счастье — видеть, что белые, гордые и жестокие, будут унижаться и умолять нас в свою очередь? Понимаешь ли ты, как мы будем счастливы, ко да заставим их работать по двенадцать часов в день? Понимаешь ли ты, что мы, в свою очередь, сможем их бить палками, стегать розгами? Их двенадцать тысяч, а нас двадцать четыре, в тот день, когда мы все соберемся, они пропали.

— Я сомневаюсь, что тебе это удастся.

— Но я отвечу тебе так же, как ты мне,— сказал Лаиза,— есть один шанс против десяти, что мне это удастся; прошу, оставайся.

— Душа матери повелела мне вернуться на родину.

— Она тебе являлась?

— Вот уже две недели каждый вечер птичка фондиждали садится на ветвь над моей головой: та самая, что пела над ее могилой в Анжуане. Она прилетела ко мне через море. Я узнал ее пение, послушай!

И, в самом деле, в тот же миг мадагаскарский соловей, сидевший на самой высокой ветке дерева, подле которого лежали Лаиза и Назим, начал мелодично издавать трели над головой братьев. Оба слушали, грустно опустив голову, до того момента, пока соловей не умолк, и, улетаая в родные края рабов, он снова завел ту же мелодию, самые громкие трели которой можно было услышать лишь с трудом.

— Он вернулся в Анжуан,— сказал Назим,— и он еще прилетит за мной и будет указывать мне путь до тех пор, пока я не приду в свой край.

— Тогда беги,— сказал Лаиза.

— А как это сделать?

— Все готово. В одном из глухих мест на Черной реке напротив утеса я выбрал огромное дерево, в стволе его выдолбил челнок, из ветвей вырезал два весла. Я надпилил дерево выше и ниже челнока, но не повалил его, чтобы никто не заметил пустого места посреди чащи; стоит толкнуть ствол — и дерево упадет, а там — дотащишь челнок до реки и плыви себе по течению. Если ты решил бежать, Назим, ну что ж, тогда сегодня ночью отправляйся!

— А ты разве не поедешь со мной? — спросил Назим.

— Нет, — ответил Лаиза, — я остаюсь.

Назим глубоко вздохнул.

— А почему ты не хочешь, — спросил он, помолчав с минуту, — вернуться вместе со мной в страну наших отцов?

— Почему я не поеду, я тебе уже объяснил, Назим, вот уже год, как мы готовим восстание, наши друзья выбрали меня вождем. Я не могу предать наших друзей, не могу покинуть их.

— Не это удерживает тебя, брат, — сказал Назим, покачав головой, — есть и другая причина.

— Какая же другая, как ты думаешь, Назим?

— Роза Черной реки, — ответил негр, пристально глядя на Лаизу.

Лаиза вздрогнул, потом, помолчав немного, сказал:

— Это правда. Я люблю ее.

— Бедный брат, — продолжал Назим, — и что же ты думаешь делать?

— Не знаю.

— На что ты надеешься?

— Увидеть ее завтра, как видел ее вчера, как видел ее сегодня.

— Но она, знает ли она?

— Сомневаюсь.

— Она когда-нибудь говорила с тобой?

— Никогда.

— А что же наша родина?

— Я забыл ее.

— А Нессали?

— Я не помню ее.

— А наш отец?

Лаиза схватился руками за голову, затем продолжил:

— Послушай, все, что ты сказал мне, чтобы заставить меня уехать,— так же бесполезно, как и мой совет тебе, чтобы ты остался. Она все для меня, и семья, и родина! Мне нужна ее жизнь, чтобы жить, я хочу дышать тем же воздухом, что и она. Пусть каждый живет, как ему суждено. Назим, возвращайся в Анжуан, а я остаюсь здесь.

— А что я скажу отцу, когда он меня спросит, почему не вернулся Лаиза?

— Ты скажешь ему, что Лаиза умер,— сдавленным голосом ответил негр.

— Он мне не поверит,— сказал Назим, качая головой.

— Почему?

— Он мне скажет: если бы мой сын умер, то ко мне явилась бы душа моего сына; душа Лаизы не появлялась перед отцом: Лаиза не умер.

— Ну, ладно! Скажи ему, что я люблю белую девушку, и он проклянет меня. Но я ни за что не покину остров, пока она здесь.

— Великий Дух внушит мне, как поступить,— ответил Назим, вставая,— сведи меня туда, где находится челнок.

— Подожди,— сказал Лаиза и, подойдя к дуплу дерева, вытащил оттуда осколок стекла и флакон, полный кокосового масла.

— Что это? — спросил Назим.

— Послушай, брат,— сказал Лаиза,— возможно, что при попутном ветре ты через неделю и достигнешь Мадагаскара или даже Большой Земли. Но возможно и так, что завтра или послезавтра шторм отбросит тебя обратно к берегу. Тогда все узнают о твоём побеге, твои приметы будут сообщены по всему острову, тогда тебе придется стать беглым негром и бежать из одного леса в другой, от одного утеса к другому.

— Брат, меня прозвали оленем Анжуана, как тебя прозвали львом.

— Да, но, как и олень, ты можешь попасть в ловушку. Надо все предусмотреть, чтобы они не могли тебя поймать, чтоб ты ускользнул из их рук. Вот стекло, чтобы срезать волосы, вот кокосовое масло, чтобы намазать тело. Иди сюда, брат, я сейчас сделаю из тебя настоящего беглого негра.

Назим и Лаица вышли на лужайку, и при свете звезд Лаица начал брить своего брата так умело, как не мог бы сделать самый ловкий брадобрей. Когда была закончена эта операция, Назим сбросил свою одежку; брат полил его плечи кокосовым маслом, а молодой человек размазал масло рукой по всему телу. Так, умащенный с головы до ног, красивый негр из Анжуана стал похож на древнего атлета, готовящегося к борьбе.

Но, чтобы совсем успокоить Лаицу, нужно было произвести еще одно испытание. Лаица, как Алкидамос¹, мог остановить лошадь, схватив ее за задние ноги, и лошадь напрасно старалась бы вырваться из его рук. Лаица, как Милон² из Кротона, хватал быка за рога и взваливал его себе на плечи или бросал на землю. Если Назим сможет выскользнуть у него из рук, значит, выскользнет у кого угодно, Лаица схватил Назима за руку и сжал пальцы изо всей силы своих железных мускулов. Назим потянул свою руку к себе, и она выскользнула из объятий Лаицы, как уж из рук охотника. Лаица схватил Назима вокруг пояса, прижав его к груди, как Геркулес прижимал Антея; Назим оперся о плечи Лаицы и выскользнул из рук, как змея проскальзывает между когтями льва. Только тогда негр успокоился: Назима нельзя было захватить врасплох, и если бы пришлось состязаться в беге с оленем, Назим опередил бы оленя, чье имя стало его прозвищем.

Тогда Лаица отдал Назиму фляжку, на три четверти полную кокосовым маслом, советуя беречь его тщательней, чем корни маниока, которыми он должен был питаться в пути, и воду для питья. Назим обмотал фляжку ремнем и привязал к поясу. Потом оба брата, взглянув в небо и поняв по расположению звезд, что миновала полночь, направились к утесу Черной реки и скоро исчезли в лесах, покрывающих подножие горы с тремя вершинами. Но следом за ними, в двадцати шагах от зарослей бамбука, где произошел переданный нами разговор между двумя братьями, вдруг поднялся какой-то человек; прежде он лежал, не шелохнувшись, так что его можно было принять за упавший ствол одного из деревьев, среди которых он прятался. Словно тень про-

¹ Алкидамос — по-видимому, Алкид (первоначальное имя Геракла).

² Милон — знаменитый греческий атлет (род. ок. 520 г. до н. э.). Неоднократный победитель на Олимпийских играх.

скользнув в чашу, он на секунду появился на опушке леса и, угрожающе махнув рукой вслед двумя братьям, едва они исчезли, бросился в Пор-Луи.

Человек этот — Антонио-Малаец — решил отомстить Лаизе и Назиму и собирался исполнить свое намерение.

А теперь, как бы он быстро ни бежал на своих длинных ногах, нам нужно, если позволят наши читатели, опередить его в столице Иль де Франс.

IX

РОЗА ЧЕРНОЙ РЕКИ

Заплатив Мико-Мико за китайский веер, цену которого сообщил ей Жорж, девушка, на мгновение появившаяся перед нами на пороге, вернулась в дом в сопровождении своей гувернантки, в то время как ее слуга помогал торговцу убирать в корзины товар. Весьма довольная сегодняшней покупкой, о которой она вскоре забудет, девушка подошла к дивану ленивой походкой, которая придает креолкам поразительное очарование. Диван стоял в глубине прелестного маленького будуара, заставленного пестрым китайским фарфором и японскими вазами; стены его были обиты красивым ситцем, который жители Иль де Франс привозят с берега Короманделя и называют патна. Наконец по обыкновению, существующему в тропических странах, стулья и кресла были из бамбука, а два окна, расположенные друг против друга, выходили одно на двор, засаженный деревьями, другое — на обширную террасу, пропускающую морской ветерок и аромат цветов сквозь занавески, сплетенные из стеблей бамбука.

Как только девушка улеглась на диван, маленький, величиной с воробья, попугай с серой головкой вылетел из клетки и, усевшись у нее на плече, стал клевать веер, которым забавлялась его хозяйка, машинально то раскрывая, то закрывая его. Мы говорим: машинально, так как девушка, судя по всему, задумалась вовсе не о веере, как бы прелестен он ни был и как бы она ни радовалась покупке. В самом деле, она устала в одну точку, хотя там, куда она глядела, казалось, не было ничего примечательного, и, не видя окружающих предметов, погрузилась в мечтательное раздумье. Более того, мечты эти, по-видимому, настолько живо существовали в ее воображении, что время от времени легкая улыбка

пробегала по ее лицу, а губы шевелились, словно она мысленно перебирала некий разговор. Подобное поведение настолько было не свойственно девушке, что сразу привлекло внимание воспитательницы; какое-то время она молча следила за сменой выражения на лице Сары и, наконец, спросила ее:

— Что с вами, милая Сара?

— Со мной! Ничего,— ответила девушка, вздрогнув от неожиданности.— Как видите, я играю с попугаем и веером, вот и все.

— Да, я вижу, вы играете с попугаем и веером, но когда я потревожила вас, вы, вероятно, не думали ни о каком попугае.

— О, Анриет, клянусь вам...

— Вы не привыкли лгать, Сара, и в особенности мне,— прервала ее гувернантка,— зачем же вы говорите неправду?

Девушка залилась румянцем, потом, мгновение поколебавшись, сказала:

— Вы правы, дорогая Анриет, я думала совсем о другом.

— А о чем вы думали?

— Я думала о том, что это за молодой человек, который так вовремя появился здесь и помог нам. Раньше я ни разу не встречала его, наверное, он прибыл на корабле, доставившем сюда губернатора. А что, разве предосудительно думать о нем?

— Нет, дитя мое, здесь нет ничего дурного, но вы солгали мне, когда сказали, что думаете о другом.

— Я была неправа, простите меня,— сказала девушка.

И она потянулась своей прелестной головкой к гувернантке, и та поцеловала ее в лоб.

Обе на мгновение замолчали, но так как голубушка Анриет, будучи строгой англичанкой, не хотела, чтобы воображение ее ученицы слишком долго предавалось воспоминаниям, и так как Саре тоже было неловко молчать, обе они одновременно решили поговорить о чем-либо другом. На этот раз Сара начала первая:

— Что вы хотели сказать, милая Анриет?

— Но ведь это вы, Сара, хотели что-то сказать. Так что же?

— Я желала бы знать о нашем новом губернаторе: он что, молод?

— А если молод, вы будете очень довольны, не так ли, Сара?

— Конечно. Если он молод, он будет справлять праздники, давать обеды, балы, и все это оживит наш скучный Пор-Луи, где всегда так грустно. О, в особенности балы! Если бы он мог устроить прием!

— Значит, вы очень любите танцевать, дитя мое?

— Люблю ли я танцевать! — воскликнула девушка. Милая Анриет улыбнулась.

— Разве неприлично любить танцы? — спросила Сара.

— Неприлично, Сара, всему предаваться с такою страстностью, как вы это делаете.

— Чего же ты хочешь, голубушка Анриет, — сказала Сара полным очарования ласковым голосом, к которому она при случае умела прибегать. — Такой уж у меня характер: я люблю или ненавижу и не умею скрывать ни свою ненависть, ни свою любовь. Разве ты сама не говорила мне, что скрытность — большой недостаток?

— Конечно, но между тем, чтобы скрывать свои чувства и непрестанно предаваться своим желанием, я даже сказала бы — инстинктам, существует большая разница, — ответила серьезная англичанка, которую смущали откровенные рассуждения ее воспитанницы, так же как и ее неудержимые порывы.

— Да, я знаю, вы часто говорили мне это, милая Анриет, я знаю, что женщины в Европе, те, которых называют хорошо воспитанными, нашли нечто среднее между откровенностью и скрытностью — молчание и сдержанность. Но, милая бонна, от меня нельзя слишком много требовать, я ведь не цивилизованная женщина, а маленькая дикарка, выросшая среди дремучих лесов, на берегах больших рек. Если то, что я вижу, мне нравится, я желаю, чтоб это мне принадлежало. Видите ли, Анриет, меня немного избаловали, и я стала своевольной. Что бы я ни просила, мне не отказывали, а если и отказывали, то я брала сама.

— А что же произойдет, когда с таким отличным характером вы станете женой Анри?

— О, Анри покладистый юноша, мы уже условились с ним, что я буду позволять ему делать все, что он захочет, и сама буду делать все, что пожелаю. Не правда ли, Анри? — продолжала Сара, повернувшись к двери, которая в этот момент открылась, чтобы пропустить господина де Мальмеди и его сына.

— В чем дело, дорогая Сара? — спросил молодой человек, подойдя к ней и целуя ей руку.

— Правда, что если мы поженимся, вы никогда не

будете мне противоречить и будете делать все, что я захочу?

— Черт! — сказал Мальмеди. — Вот так женушка, она заранее ставит свои условия.

— Правда, — продолжала Сара, — что если я все еще буду любить балы, вы будете туда ходить со мной и ждать меня, а то ведь эти противные мужья потанцуют немного и уходят. Смогу ли я при вас петь сколько захочу, удить рыбу? А если мне захочется красивую шляпу из Франции, вы мне ее купите? Красивую шаль из Индии, вы ее купите? Красивую арабскую или английскую лошадь, вы мне ее купите?

— Конечно, — улыбаясь, произнес Анри. — Что до арабских лошадей, то мы сегодня видели двух очень красивых, и я рад, что вы их не видели. Ведь они не продаются, и если бы вам случайно захотелось иметь их, я бы не смог вам их подарить.

— Я их тоже видела, — сказала Сара, — они, наверное, принадлежат молодому иностранцу, брюнету с чудесными глазами.

— Послушайте, Сара, — сказал Анри, — вы, кажется, обратили внимание лишь на всадника, а не на его лошадь?

— Да нет, Анри, всадник подошел ко мне и заговорил со мной, а лошадей я видела издали, они даже не ржали.

— Как, этот юный фат заговорил с вами, Сара? А по какому поводу?

— Да, по какому поводу? — спросил господин де Мальмеди.

— Во-первых, — сказала Сара, — я не заметила в нем ни капли фатовства, да вот наша Анриет была со мной, но она тоже не заметила в нем самодовольства. По какому поводу он заговорил со мной? О, Боже мой, да нет ничего проще. Я возвращалась из церкви, а у дверей дома меня ждал китаец с корзинами, полными всякой всячины. Я спросила у него, сколько стоит вот этот веер... Посмотрите, какой он красивый, Анри.

— Ну и что же дальше? — спросил де Мальмеди. — Все это не объясняет нам, почему этот человек заговорил с вами

— Сейчас объясню, дядя, сейчас объясню, — ответила Сара, — я спросила у китайца цену, но он не смог мне ответить, ведь он говорит только по-китайски. Мы были

в большом затруднении, милая Анриет и я, мы спрашивали тех, кто окружал нас, чтобы полюбоваться красивыми предметами, которые разложил китаец, нет ли среди присутствующих кого-нибудь, кто мог бы стать нашим переводчиком, и тогда незнакомец подошел к нам, предложил помощь, поговорил с китаецем на его языке и, повернувшись к нам, сказал: восемьдесят пиастров. Это ведь не дорого, правда, дядя?

— Гм! Столько стоил негр, пока англичане не запретили торговать ими¹,— сказал де Мальмеди.

— Так, значит, этот господин говорит по-китайски? — с удивлением спросил Анри.

— Да,— ответила Сара.

— Ох, отец,— воскликнул Анри, раздражаясь хохотом,— слышали ли вы что-либо подобное? Он говорит по-китайски!

— Ну и что же! Что тут смешного? — спросила Сара.

— Конечно, ничего,— продолжал Анри, не переставая хохотать.— Ну как же! У этого красавца иностранца прелестный талант, и он счастливый человек. Он может разговаривать с коробками для чая и с ширмами.

— Вообще-то китайский язык не очень распространен,— сказал месье де Мальмеди.

— Это какой-нибудь мандарин,— сказал Анри, продолжая забавляться, смеясь над молодым незнакомцем, высокомерный взгляд которого он не мог забыть.

— Во всяком случае,— ответила Сара,— это образованный мандарин, потому что после того, как он поговорил с торговцем по-китайски, он разговаривал со мной по-французски и с нашей милой Анриет по-английски.

— Черт! Так, значит, он говорит на всех языках, этот молодчик,— сказал господин де Мальмеди.— Такой человек был бы не лишним в моих конторах.

— К сожалению, дядя,— сказала Сара,— тот, о ком вы говорите, как мне кажется, был на такой службе, которая отбила у него охоту служить в других местах.

— А на какой же?

— На службе у короля Франции. Вы не видели, что он носит в петлице ленточку ордена Почетного Легиона и еще какую-то ленточку!

¹Запрет торговли неграми объявлен в 1832 году.

— Ох, в настоящее время, чтобы получить этот орден, вовсе не обязательно быть военным.

— Но все-таки нужно, чтобы человек, которому дают орден, отличался от других людей,— возразила Сара. Задетая, сама не зная почему, она защищала иностранца, следуя инстинкту, присущему простым сердцам и заставляющему их защищать тех, на кого несправедливо нападают.

— Ну, что ж,— сказал Анри,— наверное, его наградили за то, что владеет китайским языком. Вот и все!

— Впрочем, мы узнаем все это,— сказал де Мальмеди тоном, доказывающим, что он нисколько не заметил ненависти, возникшей между двумя молодыми людьми,— потому что он прибыл на корабле губернатора, а так как на Иль де Франс не приезжают для того, чтобы уехать на следующий день, он, конечно, на некоторое время останется здесь.

В это время вошел слуга и вручил письмо с печатью губернатора, которое только что принесли от лорда Маррея. Это было приглашение, адресованное господину де Мальмеди, Анри и Саре на обед в следующий понедельник и на бал, который состоится после обеда.

Сомнения Сары относительно губернатора рассеялись: значит, он был учтивым человеком, если начал свою деятельность на острове с торжественного приема, Сара обрадовалась, узнав, что сможет провести вечер в танцах. Она особенно ликовала, потому что как раз получила из Франции прелестные украшения для платьев, состоящие из искусственных цветов; теперь ей представлялся случай показать их на балу

Что касается Анри, то эта новость, с каким бы благодушием он ее ни принял, не была для него безразлична: Анри считал себя одним из красивейших молодых людей колонии, и хотя его брак с кузиной был делом решенным и он считался ее женихом, он не отказывался поухаживать за другими женщинами. Это было для него тем легче, что Сара по своей беспечности или по привычке никогда не выражала никакой ревности.

Что касается де Мальмеди-отца, он заважничал, узнав о приглашении,— ведь не прошло и двух часов после приезда губернатора, как он уже был приглашен на обед — честь, которую, по всей вероятности, губернатор оказывал только самым значительным лицам острова.

Это приглашение несколько изменило планы семьи де Мальмеди. Анри назначил большую охоту на оленей на следующее воскресенье и понедельник, в саванне, в эту эпоху еще пустынной; там в изобилии водилась крупная дичь, и так как охота должна была происходить частью во владениях отца Анри, его сын пригласил человек двенадцать своих друзей, в воскресенье утром, на принадлежащую ему прелесную виллу на берегу Черной реки, в одном из самых живописных мест острова. Теперь оказалось невозможным охотиться в эти дни, потому что в один из них губернатор назначил свой бал, следовательно, было необходимо перенести охоту. Поэтому Анри вернулся к себе, чтобы написать письма, которые Бижу должен был отнести адресатам с оповещением о том, что охота назначается на день раньше.

Тем временем де Мальмеди попрощался с Сарой, объяснив, что у него деловое свидание, но на самом же деле он пошел объявить соседям, что через три дня сможет поделиться с ними своим мнением о новом губернаторе.

Что касается Сары, то она заявила, что в таких неожиданных обстоятельствах у нее слишком много дел, связанных с подготовкой к балу; в субботу утром она не сможет поехать с господами, но присоединится к ним в субботу вечером или в воскресенье утром. Остаток дня и весь следующий день прошел, как и предвидела Сара, в приготовлениях к торжественному вечеру. Благодаря разумным распоряжениям Сара смогла уехать, как она и обещала своему дяде. Самое важное было сделано, платье примерено, и портниха, женщина опытная, пообещала, что оно будет готово вовремя.

Итак, Сара уехала в самом хорошем настроении; кроме вечерних балов, она больше всего любила природу. В самом деле, за городом она могла предаваться лени или совершать прогулки, ничего подобного не могло быть в городе, ведь за городом Сара могла себя вести вольно, не признавать власти над собой, в том числе и указаний милой Анриет. Если она предавалась лени, то выбирала красивое место, ложилась под кустом ямбоз или грейпфрутов, находясь среди цветов, птиц, дышала изумительным воздухом, слушала пение птиц, забавлялась, глядя, как обезьяны прыгают с одной ветки на другую или висят, зацепившись хвостом за сучок, следила за грациозными движениями зеленых ящериц, которых так много на Иль де Франс, они встречаются

на каждом шагу. Там она оставалась целыми часами, словно слившись с природой. Если у нее появлялась потребность в движении, она становилась газелью, птицей, бабочкой; она плавала через потоки рек, гонялась за стрекозами с блестящими, как рубины, головками, она склонялась над пропастью, чтобы сорвать цветы с широкими листьями, на которых дрожали капли росы; она проходила, похожая на русалку, под водопадом, водяная пыль которого обволакивала ее, словно газом; в отличие от других креолок, чьи лица редко бывают румяными, ее щеки покрывались таким алым румянцем, что негры, привыкшие на своем поэтическом и красноречивом языке давать каждой вещи выразительное имя, называли Сару не иначе как «Роза Черной реки».

Сара, как мы уже говорили, была очень счастлива; наступали дни, когда ей предстояло предаться тому, что она любила больше всего на свете: природу и праздничный бал.

Х

КУПАНИЕ

В то время остров еще не был, как теперь, пересечен дорогами, позволяющими ехать в экипаже в различные части колонии, единственными средствами передвижения были верховые лошади или паланкины. Всякий раз, когда Сара ездила за город с Анри или господином де Мальмеди, она предпочитала лошадь, потому что верховая езда была одним из самых привычных упражнений девушки; но когда они путешествовали вдвоем с голубушкой Анриет, ей приходилось отказываться от этого вида передвижения, да и строгая англичанка решительно предпочитала паланкин. И вот теперь Сара и ее гувернантка находились в паланкине, который несли четыре негра. За ними следовали еще четыре человека, чтобы сменить носильщиков, когда они устанут. Сара и Анриет сидели достаточно близко друг к другу и могли разговаривать, отдернув разделявшие их занавески. А несущие паланкин негры, уверенные в том, что получат хорошее вознаграждение, громко распевали, оповещая таким образом прохожих о щедрости их молодой хозяйки. Впрочем, Анриет и Сара в физическом и в духовном отношении представляли резкий контраст. Читатель уже знает Сару, капризную черноволосую девуш-

ку с черными глазами, с цветом лица, меняющимся, как и ее настроение, с жемчужными зубами, стройную, как сильфида. Пусть читатель теперь позволит нам сказать несколько слов о голубушке Анриет.

Анриет Смит родилась в Англии, она была дочерью учителя. Отец, предназначая ее к преподавательской деятельности, с детства обучал итальянскому и французскому языкам, на которых она говорила столь же свободно, как на своем родном языке, благодаря тому, что начала изучать их в детстве. Преподавание, как знает каждый, не такая профессия, с помощью которой можно скопить большое состояние. Джек Смит умер бедным, оставив свою дочь Анриет без гроша приданого, поэтому девушка достигла двадцатипятилетнего возраста, так и не найдя себе мужа.

К тому времени одна из ее подруг, прекрасная музыкантша, так же, как Анриет, превосходный филолог, предложила мадемуазель Смит объединить свои усилия и вместе открыть пансион. Предложение было принято, и хотя обе компаньонки добросовестно воспитывали девушек, проявляя к ним исключительное внимание, их заведение не процветало, и им пришлось разойтись.

Тем временем отец одной из учениц Анриет Смит, богатый лондонский негодант, получил от своего корреспондента де Мальмеди письмо, в котором тот просил найти гувернантку для его племянницы и предлагал достаточно солидную оплату за ее труд. С письмом ознакомили мисс Анриет. У бедной девушки не было никаких средств к жизни, она не желала оставаться в стране, где ей пришлось влачить жалкое существование. Она сочла предложение ниспосланным с небес и села на первый же корабль, направлявшийся на Иль де Франс. Ее рекомендовали господину де Мальмеди как особу, достойную самого глубокого уважения. Господин де Мальмеди принял ее подобающим образом, поручив ей воспитание своей племянницы Сары, которой тогда было девять лет.

Прежде всего мисс Анриет спросила де Мальмеди, какое воспитание он хотел бы дать своей племяннице. Тот ответил, что это его совершенно не касается, что он выписал воспитательницу для того, чтобы она освободила его от всяких забот, и что она, которую ему рекомендовали как очень знающую особу, должна научить Сару всему тому, что знает сама. Он оговорил только, как своеобразное условие, что, поскольку девушка пред-

назначалась в жены своему кузену Анри, крайне важно, чтоб она не полюбила никого другого. Решение господина де Мальмеди о будущем союзе его сына и племянницы было обусловлено не только его любовью к ним обоим, но также и тем обстоятельством, что Сара, оставшись сиротой, когда ей было три года, получила в наследство около миллиона, и эта сумма должна была удвоиться за те годы, что де Мальмеди был опекуном Сары.

Вначале Сара очень боялась этой воспитательницы, которую ей выписали из-за океана, и, нужно сказать, с первого взгляда вид мисс Анриет не очень ее успокоил. В самом деле, это была тогда высокая женщина тридцати двух лет от роду, которой работа в пансионе придавала строгость, свойственную учительницам: холодный взгляд, бледный цвет лица, тонкие губы; в ней было нечто от автомата, и даже ее волосы, ярко-желтые, с большим трудом смягчали исходившее от нее впечатление ледяного холода. Она была аккуратно одета, затянута в корсет, причесана с самого утра; Сара ни разу не видала ее неприбранной и долгое время верила, что вечером мисс Анриет вместо того, чтобы лечь в постель, как делают все смертные, вешала себя в платяной шкаф, подобно куклам Сары, и выходила из него на следующее утро в том же виде, в каком вошла в него накануне. В результате первое время Сара довольно безотказно подчинялась своей гувернантке и выучилась немного английскому и итальянскому языкам. Что касается музыки, то Сара сама была, как соловей, свободно играла, почти не учась, на рояле и на гитаре, хотя ее любимым инструментом была малагасийская арфа, из которой она извлекала звуки, восхищавшие самых знаменитых на острове мадагаскарских виртуозов. Однако при всех успехах Сара оставалась сама собой, и ее природная сущность оставалась неизменной. Со своей стороны, мисс Анриет тоже оставалась такой, какою ее создали Господь Бог и воспитание; таким образом, эти столь различные натуры существовали бок о бок, ни в чем не поддаваясь друг другу. Впрочем, поскольку они обе, каждая в своей сфере, обладали превосходными качествами характера, воспитательница в конце концов от души привязалась к своей воспитаннице, а Сара, в свою очередь, искренне подружилась с гувернанткой. Их взаимная нежность выражалась в том, что учительница называла Сару «мое дитя», а Сара, находя общепринятое обра-

ние «мисс» или «мадемуазель» слишком холодным для ее чувства к воспитательнице, изобрела более подходящее: «моя голубушка Анриет».

Голубушка Анриет терпеть не могла всякого рода физических упражнений. И в самом деле, поскольку полученное ею образование было направлено только на развитие душевных качеств, оставляя ее физическое развитие без внимания, голубушка Анриет выросла неловкой, и сколько бы чи уговаривала ее Сара, она ни за что не соглашалась заняться верховой ездой, даже на Берлоке, спокойной я-айской лошадке, принадлежавшей садовнику и служившей для перевозки овощей. Если ей приходилось идти по узкой горной тропинке, у нее начиналось такое головокружение, что она предпочитала сделать крюк в несколько миль, только бы не проходить над пропастью. Если она садилась в лодку, сердце у нее сильно сжималось, а когда она уже сидела на месте и лодка отчаливала, у бедной гувернантки начиналась морская болезнь, которая ни на мгновение не покидала ее во время всего перехода от Портсмута до Пор-Луи, то есть в течение более чем четырех месяцев. В результате вся жизнь голубушки Анриет проходила в бесперывном страхе за Сару, и когда она смотрела, как ее воспитанница, смелая, словно амазонка, носится верхом на лошадях Анри, легкая, словно лань, прыгает со скалы на скалу, или же, грациозная, как русалка, скользит по поверхности воды, вдруг исчезая в ее глубине, почти материнское сердце Анриет заранее мучалось, предвкушая множество забот, которые по своему обыкновению доставит ей Сара. А девушка с восторгом думала о предстоящих ей двух счастливых днях.

Утро было чудесное. То был один из прекрасных дней начала осени, потому что май, наша весна, это осень для Иль де Франс, время, когда природа перед тем, как укрыться вуалью дождя, нежно прощается с солнцем. По мере того как они продвигались вперед, пейзаж становился все более диким; они пересекали двойной рукав реки Укрытия и водопад речки Тамарен по мосткам, хрупкость которых бросала в дрожь Анриет. Когда они прибыли к подножию горы с тремя вершинами, Сара справилась о своем дяде и кузене и узнала, что они сейчас охотятся с друзьями между большим бассейном Черной реки и равниной Сен-Пьер. Наконец они перешли через речку Буко, объехали вокруг холма, который

огихает Черная река, и оказались напротив виллы господина де Мальмеди.

Прежде всего Сара посетила постоянных обитателей этого дома, которых она не видела уже две недели, потом пошла поздороваться со своими птицами, заключенными в огромном вольере из проволоки, окружавшем кусты. Здесь были горлицы из Гиды, голубые и серые славки, фонди-джали и мухоловки. От птиц Сара перешла к своим цветам; почти все они были вывезены из метрополии: туберозы, китайская гвоздика, анемоны, лютики и индийские розы, среди которых поднималась, словно королева тропиков, бессмертная красавица с Мыса. Все это окружали изгороди из миндальных деревьев и китайских роз, которые, как некоторые сорта наших роз, не перестают цвести круглый год. Это было собственное царство Сары; остальная часть острова была ее завоеваниями.

Пока Сара оставалась в садах, окружавших виллу, голубушка Анриет могла быть спокойна: всюду дорожки, усыпанные песком, вокруг была свежая тень и благоухающий воздух. Но было ясно, что это спокойствие продлится недолго. Саре оставалось только перекинуться дружескими словами со старой мулаткой, которая когда-то прислуживала ей, а теперь доживала свои дни на Черной реке; поцеловать свою любимую горлицу, сорвать два или три цветка и украсить ими волосы,— и это было все. Наступало время прогулки, и тут начались мучения бедной гувернантки. Вначале мисс Анриет собиралась сопротивляться юной своевольнице и заставить ее согласиться на более спокойные удовольствия, но ей пришлось признать, что это невозможно — Сара ускользала из ее рук и убегала без нее, так что в конце концов, поскольку ее беспокойство за воспитанницу было сильнее, чем постоянный страх за себя, она решила сопровождать Сару. Правда, почти всегда она довольствовалась тем, что садилась на каком-нибудь пригорке, откуда можно было следить глазами, как девушка поднимается на скалы и спускается с них. Ей казалось, что она по крайней мере может удержать Сару жестами и поддержать взглядом. На этот раз, как и всегда, голубушка Анриет, видя, что Сара собирается выйти, как обычно, подчиняясь необходимости, взяла книгу, которую намеревалась читать, пока девушка будет бегать, и приготовилась сопровождать Сару.

Но на этот раз Сара затеяла не простую прогулку, а купание — в прекрасной заводи Черной реки, спокойной и тихой; ее воды были настолько прозрачны, что на глубине в тридцать футов явственно были видны звездчатые кораллы, поднимающиеся с песчаного дна, и целое семейство рачков, суетящихся среди их ветвей. И, как обычно, Сара поостереглась предупредить об этом голу-бушку Анриет, зато она дала знать заранее о своем намерении старой мулатке, и та поджидала Сару в условленном месте, захватив для нее купальный костюм.

Итак, гувернантка и ее воспитанница спускались по берегу Черной реки, которая постепенно расширялась; вдали сверкала бухта, похожая на огромное зеркало. По берегам выросли густые леса, деревья которых, словно высокие колонны, поднимали к небесам, к воздуху и солнцу, обширный купол из листьев, такой плотный, что только в редких местах можно было видеть небо. Корни же этих деревьев, похожие на многочисленных змей, не в силах прорасти сквозь скалы, которые беспрерывно скатываются с вершины утесов, охватывали их своими переплетениями. По мере того как русло реки становилось шире, деревья на двух берегах наклонялись и образовали как бы своды гигантского шатра. Весь этот пейзаж казался пустынным, спокойным, исполненным печальной поэзии и хранившим некую тайну; единственный звук, раздававшийся здесь, был резкий крик сероголового попугая, единственными живыми существами — стайка рыжеватых обезьян, которых называют эгретками; это бич плантаций, их столько на острове, что все попытки уничтожить их ни к чему не приводят. Только время от времени испуганный звуком шагов Сары и ее гувернантки, зеленый зимородок с белой грудкой и брюшком, испуская резкий жалобный крик, срывался с манговых деревьев, погружавших свои ветви в воду, быстро, как стрела, пересекал реку, блеснув, как изумруд, и углубляясь в манговые деревья на другом берегу, исчезал в них. И вся эта тропическая растительность, безлюдные пространства, дикая гармония, великолепно сочетающая скалы, деревья и реку, — это и была та самая природа, тот пейзаж и те небеса, которые Сара любила больше всего, потому что они больше всего отвечали ее воображению дикарки; ни пером, ни карандашом, ни кистью невозможно передать всю прелесть этой природы, но она была созвучна душе девушки.

Сразу скажем, что голубушка Анриет тоже не оставалась равнодушной к такому великолепному зрелищу, но, как мы уже знаем, вечный страх лишал ее возможности восхищаться пейзажем. Поднявшись на верхушку маленькой горы, откуда было видно довольно далеко, она устроилась здесь. После безуспешных попыток усадить Сару рядом с собой ей осталось только смотреть, как девушка вприпрыжку удаляется от нее. Тогда Анриет, вытащив из кармана десятый том «Кларисы Гарлоу»¹, своего любимого романа, принялась перечитывать его в двадцатый раз.

Сара же продолжала идти вдоль берега бухты и скоро исчезла за огромной зарослью бамбука: там ее ждала мулатка с купальным костюмом.

Девушка приближалась к берегу реки, прыгая с одного утеса на другой, похожая на трясогузку, любующуюся на свое отражение в воде, потом с робкой стыдливостью античной нимфы, убедившись в том, что вокруг никого нет, она начала сбрасывать с себя одно за другим все, что было на ней надето, и облачилась в тунику из белой шерсти, плотно облегающую шею и талию, спускающуюся ниже колен и оставляющую обнаженными руки и ноги, чтобы она могла свободно двигаться в воде. Так, стоя, одетая в этот костюм, девушка напоминала Диану-охотницу, готовую войти в реку. Сара взобралась на вершину скалы, над самым глубоким местом, и затем — смелая, уверенная в своем превосходстве над стихией, которая для нее, как и для Венеры, была, можно сказать, родимой колыбелью, — прыгнула со скалы, ушла в воду и, вынырнув, поплыла дальше. Вдруг мисс Анриет услышала, что ее зовут; она подняла голову, оглядываясь вокруг, затем, когда ее позвали во второй раз, повернулась в ту сторону, откуда доносился зов, и увидела прекрасную купальщицу, свою русалку, которая плыла посередине реки.

Первым побуждением бедной гувернантки было позвать Сару к себе, но так как она знала, что это бесполезно, она только с упреком махнула своей воспитаннице рукой и, встав, приблизилась к берегу, насколько позволяла крутизна утеса, на котором она сидела. Впрочем, в тот момент ее внимание было рассеяно знаками, которые ей подавала Сара. Загребая одной ру-

¹ Роман английского писателя Самюэля Ричардсона (1689—1761).

кой, она протягивала другую в сторону чащи леса, показывая, что под этими темными сводами зелени что-то происходит. Мисс Анриет вдруг услышала отдаленный лай своры собак. Через секунду ей показалось, что лай приближается, и новые знаки Сары подтвердили это ощущение; в самом деле, с каждым мигом шум становился все явственнее, и скоро раздался топот быстрого бега, доносившегося из высокого леса; на двести шагов ниже того места, где сидела Анриет, показался красавец олень с откинутыми назад рогами, он выбежал из леса, одним прыжком перескочил через реку и исчез на другом берегу.

Секунду спустя появились собаки, они пересекли реку в том же месте, где ее перепрыгнул олень, бросились по его следу и скрылись в лесу.

Сара следила за этим зрелищем с азартом истинной охотницы. Когда собаки бросились за оленем, она вскрикнула от радости; но вдруг, словно отвечая на ее крик, послышался вопль отчаяния. Потрясенная Анриет обернулась. Старая мулатка на берегу, словно обратившись в статую Ужаса, простирала руки к огромной акуле, очевидно, перескочившей вместе с приливом через ограждение; акула плыла по течению, направляясь к Саре. У гувернантки даже не было силы крикнуть, она упала на колени. Услышав крик мулатки, Сара обернулась и увидела угрожающую ей опасность. Тогда, с удивительным присутствием духа, она направилась к берегу. Но с какой бы силой и ловкостью она ни плыла, было ясно, что чудовище настигнет ее раньше, чем она доплывет до берега.

В это время во второй раз раздался крик, и негр, сжимавший в зубах длинный кинжал, выскочил из чащи и бросился в реку, затем сразу же, со сверхчеловеческой силой, поплыл наперерез акуле, но та, уверенная, что овладеет добычей, с удивительной быстротой поплыла к девушке. Сара, поворачивая голову при каждом взмахе руки, видела, как к ней приближались на равной скорости ее враг и ее защитник.

Настал страшный момент для старой мулатки и для Анриет. Они, стоя на пригорке, видели это ужасное зрелище, и обе, обезумев от страха, протянув руки, не имея никакой возможности помочь Саре, громко кричали. Несмотря на все усилия пловца, акула опередила его. Негр был в двадцати шагах от акулы, когда чудовище находилось уже совсем близко от девушки. Удар хво-

стом неимоверной силы еще приблизил акулу к Саре. Бледная как смерть, она слышала плеск воды в десяти шагах позади себя. В отчаянии она бросила последний взгляд на берег, до которого не могла доплыть; поняв, что бесполезно дальше бороться за жизнь, подняла глаза к небу, надеясь на Бога, единственного, кто мог ей помочь. Акула уже было повернулась, чтобы схватить свою добычу, и вместо ее зеленоватой спины на поверхности воды появилось ее серебристое брюхо. Мисс Анриет закрыла рукой глаза, чтобы не видеть того, что неминуемо должно было произойти, но в этот момент раздался двойной выстрел из ружья и чей-то спокойный и звучный голос тоном довольного собой охотника прознес:

— Точно, попал!

Мисс Анриет обернулась и увидела молодого человека, который, держа в одной руке дымящееся ружье, а другой ухватившись за тростник, следил за конвульсиями акулы.

В самом деле, раненая акула мгновенно повернулась, словно искала поразившего ее врага, затем, увидев негра, который был от нее на расстоянии трех или четырех взмахов руки, покинула Сару и бросилась на него, но при ее приближении негр нырнул и исчез под водой; вскоре река заволновалась под ударами хвоста акулы, поверхность воды окрасилась кровью и стало ясно, что под водой идет борьба.

В это время мисс Анриет спустилась или, вернее, соскользнула со своей скалы и подбежала к берегу, чтобы подать руку Саре, которая, обессилев и еще не веря, что действительно избежала смертельной опасности, долго не могла прийти в себя. Что до мисс Анриет, то, увидев, что ее ученица спасена, она упала почти без чувств.

Как только женщины пришли в себя, первое, что поразило их, был Лаиза, покрытый кровью, с истерзанной рукой и бедром; труп акулы колыхался на поверхности воды.

Потом обе одновременно обратили свой взор к скале, на которой появился спаситель. На скале никого не было, ангел исчез, но не так быстро, чтобы они не успели узнать в нем молодого иностранца, с которым уже познакомились в Пор-Луи

Сара обернулась к негру, только что совершившему величайший подвиг. Безмолвно взглянув на Сару, негр бросился в лес.

Сара напрасно оглядывалась вокруг: исчезли и иностранец, и негр.

XI

ЦЕНА НЕГРОВ

Тут же прибежали двое мужчин: с высокого берега они видели сцену, о которой мы только что рассказали; это были господин де Мальмеди и Анри. Девушка вдруг спохватилась, что она в купальном костюме, и, покраснев при мысли, что ее увидят без платья, позвала старую мулатку, надела пеньюар и, опираясь на руку Анриет, все еще дрожавшей от ужаса, подошла к своему дяде и Анри.

Они шли по следу оленя и выбрались на берег реки как раз в то время, когда раздался выстрел Жоржа: сначала они подумали, что один из охотников стреляет в оленя; они посмотрели в ту сторону, откуда донесся выстрел, и издали увидели разыгравшуюся драму.

Вслед за господином де Мальмеди пришли другие охотники. Сара и мисс Анриет скоро оказались в кругу собравшихся. Охотники расспрашивали их о том, что же произошло, но мисс Анриет была еще слишком потрясена и взволнована, чтобы отвечать: рассказывать стала Сара. Хотя ее слушатели не видели сами ужасающей драмы, которую мы постарались передать во всех подробностях, тем не менее рассказ об этом происшествии устами той, что чудом уцелела, да еще когда находишься на месте, где только что разыгрались события, когда дым от выстрелов еще не рассеялся, а морское чудовище тут же, у вас на глазах, содрогается в последних конвульсиях — такой рассказ, несомненно, производит сильное впечатление. Каждый из слушателей учтиво сожалел, что не оказался на месте неизвестного героя или негра. Каждый уверял, что он стрелял бы так же метко, как незнакомец, и оказался бы таким же могучим пловцом, как негр. На все эти уверения в ловкости и смелости тайный голос сердца Сары отвечал: только те двое могли сделать то, что сделали.

В эту минуту лай собак возвестил, что олень уже загнан. Известно, какой это праздник для настоящих охот-

ников — присутствовать при том, как собаки терзают животных, за которыми они гонялись все утро. Сара спасена, ей нечего больше бояться. Поэтому незачем терять время на сочувственные речи по поводу происшествия, которое в конце концов не имело никаких неприятных последствий; можно лучше использовать это время; два или три охотника, стоявшие поодаль от девушки, исчезли, они поспешили в ту сторону, откуда доносился лай, за ними последовали еще четверо. Анри заметил, что с его стороны было бы невежливо, если бы он бросил тех, кого сам пригласил и кому должен был показать свои владения; некоторое время спустя около Сары и мисс Анриет остался один только господин де Мальмеди. Все трое вернулись на виллу, где охотников ждал вкусный обед; они вскоре появились во главе с Анри. Он галантно преподнес своей кухне ногу оленя в качестве трофея. Сара поблагодарила его за трогательное внимание, а Анри со своей стороны поздравил ее с тем, что лицо ее вновь разругнилось, и теперь казалось, что ничего особенного не произошло; другие охотники подтвердили хром то, что он говорил.

За обедом было очень весело. Голубушка Анриет просила разрешения не присутствовать на нем; бедная женщина пережила такой страх, что у нее поднялась температура. Что касается Сары, то она по крайней мере внешне была совершенно спокойна и исполняла роль хозяйки со свойственным ей очарованием.

За десертом было произнесено несколько тостов; надо сказать, что несколько упомянули о разыгравшейся утром драме, но никто не назвал имени негра и охотника-иностранца; благодарность за происшедшее чудо была обращена лишь к Провидению, спасшему для де Мальмеди и Анри так нежно любимую ими племянницу и невесту.

Но если во время обеда никто ни слова не сказал о Лаизе и Жорже, — зато многие долго говорили о своих собственных подвигах, и Сара с пленительной иронией наделила каждого похвалой за его ловкость и смелость.

Когда уже вставали из-за стола, вошел надсмотрщик; он сообщил господину де Мальмеди, что пойман негр, пытавшийся бежать, и что его только что привели в лагерь. Так как подобные вещи случаются каждый день, де Мальмеди сдержанно ответил:

— Хорошо, пусть его накажут, как принято.

— В чем дело, дядя? — спросила Сара.

— Да ничего, дитя мое,— сказал господин де Мальмеди.

И гости продолжали начатый разговор.

Десять минут спустя доложили, что лошади готовы.

Так как обед и бал у лорда Маррея был назначен на завтра и все хотели освободить завтрашний день, чтобы подготовиться к этому торжественному приему, решили вернуться в Пор-Луи сразу же после обеда.

Сара прошла в комнату мисс Анриет: бедная гувернантка чувствовала себя скверно и была по-прежнему взволнована; Сара потребовала, чтобы она осталась на Черной реке. Впрочем, Саре повезло: из-за того, что мисс Анриет задержалась здесь, ей не обязательно было возвращаться в паланкине, она поехала верхом.

Когда кавалькада выезжала из ворот, Сара увидела, как несколько негров резали на куски акулу; мулатка указала им, где ее найти, и они вытащили из реки мертвое чудовище, чтобы использовать его жир.

Приближаясь к горе, охотники издали увидели, что там собрались все негры, и, подъехав, всадники поняли, что это сборище ожидает начала экзекуции, потому что в таких случаях было принято, чтобы все негры плантации присутствовали при наказании невольника.

Виновный, молодой человек семнадцати лет, связанный по рукам и ногам, сидел возле стремянки, к которой его должны были привязать, и ожидал часа наказания; по настоятельной просьбе другого негра оно было отложено до прибытия охотников; негр, просивший этой милости, заявил, что он должен сообщить что-то важное господину де Мальмеди.

В тот момент, когда де Мальмеди проезжал мимо пойманного негра, другой негр, сидевший около него, занятый тем, что бинтовал ему рану на голове, встал и подошел к дороге, но надзиратель задержал его.

— В чем дело? — спросил де Мальмеди.

— Господин,— обратился к нему надсмотрщик,— сейчас негр Назим будет наказан: сто пятьдесят ударов кнута!

— А за что его столь жестоко наказывают? — спросила Сара.

— Потому, что он хотел сбежать,— ответил надсмотрщик.

— А! Это тот негр, который совершил побег?

— Тот самый.

— А как вы его поймали?

— О, Боже мой! Очень просто: я подождал, пока он будет от берега так далеко, что не сможет достичь его ни вплавь, ни на веслах; тогда я взял шлюпку с восемью гребцами, чтобы догнать его; обогнув юго-западный мыс, мы увидели его примерно в двух лье от берега. Поскольку у него было только две руки, а у нас — шестнадцать, и у него была плохонькая лодчонка, а у нас великолепная пирога, мы скоро его догнали. Тогда он бросился вплавь, пытаясь вернуться на остров, ныряя, как морская свинья, в конце концов он первый выбился из сил, и, так как это становилось утомительным, я взял у гребца весло и в тот момент, когда он выплыл на поверхность воды, так сильно ударил его по голове, что подумал: на этот раз он не вынырнет. Но вскоре он опять выплыл, мы положили его в пирогу, связали по ногам и рукам и привезли в бессознательном состоянии.

— Этот несчастный, быть может, тяжело ранен? — вмешалась Сара.

— Нет, Боже мой, нет, — возразил надсмотрщик, — у него просто царапина. Эти чертовы негры страшные неженки.

— Почему же медлят и не наказывают его? — сказал де Мальмеди. — Я приказал, и мое приказание должно быть исполнено.

— Мы так бы и поступили, — ответил надсмотрщик, — но его брат — прилежный работник, уверил меня, что должен сообщить вам какую-то важную вещь, прежде чем ваш приказ будет исполнен. Я решил подождать вас.

— И хорошо сделали, — сказала Сара. — А где же он?

— Кто?

— Брат этого несчастного.

— Да, где он? — спросил де Мальмеди.

— Я здесь, — сказал Лаица, выступив вперед.

Сара была поражена: в брате осужденного она узнала того, кто так героически доказал ей свою преданность и спас ей жизнь. Однако же удивительно! Негр даже не взглянул в ее сторону, как будто не знал ее; вместо того, чтобы просить ее быть заступницей, на что, конечно, имел право, он подошел к де Мальмеди.

Она не ошиблась: на руке и на бедрах негра виднелись кровоточащие раны, нанесенные акулой.

— Что тебе надо? — спросил де Мальмеди.

— Прошу у вас милости, — ответил Лаица, понизив

голос, чтоб его брат, сидевший поблизости, не услышал этих слов.

— Какой?

— Назим слабый! Назим — хилый мальчик, он ранен в голову, потерял много крови! У Назима слишком мало сил, он не выдержит заслуженного им наказания. А вы потеряете негра, который, во всяком случае, стоит не меньше двухсот пиастров ..

— Ну, ладно, так что ты хочешь?

— Хочу предложить вам обмен.

— Какой обмен?

— Прикажите дать мне сто пятьдесят ударов кнутом, которые он заслужил. Я сильный, я перенесу их, и это не помешает мне завтра, как обычно, выйти на работу, а он, повторяю вам, он умрет.

— Невозможно, — ответил де Мальмеди, в то время как Сара, не сводя глаз с невольника, смотрела на него с глубоким удивлением.

— А почему это невозможно?

— Потому, что это было бы несправедливо.

— Вы ошибаетесь, ведь я главный виновник.

— Ты?

— Да, я, — сказал Лаица, — это я уговорил Назима бежать, это я соорудил челнок, на котором он плыл, это я побрил ему голову осколком бутылки, это я дал ему кокосовое масло, чтобы он натер себе тело. Вы видите, что наказывать надо меня, а не Назима.

— Ты ошибаешься, — ответил Анри, вмешавшись в их спор. — Вы оба должны быть наказаны, он — за то, что сбежал, а ты — за то, что помог ему сбежать.

— Тогда прикажите дать мне триста ударов кнутом!

— Надсмотрщик, — сказал де Мальмеди, — прикажите дать каждому из них по сто пятьдесят ударов, и на том все будет кончено.

— Минутку, дядя, — вмешалась Сара, — я требую, чтобы вы помиловали их.

— А почему? — удивленно спросил господин де Мальмеди.

— Потому, что этот человек сегодня утром смело бросился в воду, чтобы спасти меня.

— Она меня узнала! — воскликнул Лаица.

— Потому, что вместо наказания, которого он заслужил, его надо вознаградить! — воскликнула Сара.

— Тогда, если вы думаете, что я заслужил вознаграждение, помилуйте Назима.

— Черт побери! — сказал господин де Мальмеди. — Вот он чего захотел. Ты спас мою племянницу?

— Нет, не я, — ответил негр, — без молодого охотника она бы погибла.

— Но он сделал все, что смог, чтобы спасти меня, дядя. Он боролся с акулой, — вскричала девушка, — и посмотрите, вы видите? Из его ран все еще течет кровь.

— Я боролся с акулой, но боролся защищаясь, — продолжал Лаиза. — Акула набросилась на меня, и мне пришлось убить ее, чтобы спасти себя.

— Ну, что, дядя, вы откажете мне, не помилуете их? — спросила Сара.

— Нет, конечно, ни в коем случае не помилую, — ответил де Мальмеди, — потому что если один раз подать пример — помиловать в подобных обстоятельствах, они все сбегут, эти черномазые, и будут надеяться на то, что найдется какой-нибудь нежный голосок, вроде вашего, который заступится за них.

— Но, дядя..

— Спроси у этих господ, возможна ли такая вещь, — сказал де Мальмеди доверительным тоном, обратившись к молодым людям, сопровождавшим его сына.

— Конечно, — ответили они, — подобная милость была бы плохим примером.

— Видишь, Сара...

— Человека, который рисковал ради меня жизнью, нельзя наказывать, да еще в тот же день. И если вы должны его наказать, то я должна его вознаградить.

— Ну, что ж, у каждого из нас есть свой долг: когда он будет наказан, ты его вознаградишь.

— Послушайте, дядя, в конце концов что такого плохого сделали эти несчастные люди, чем они вам так навредили?

— Чем они мне навредили? Грош им теперь цена. Беглый негр обесценен. Эти два молодца еще вчера стоили восемьсот пиастров. Ну так вот, если я сегодня запрошу за них шестьсот пиастров, мне их не дадут.

— Я, например, сейчас не дал бы за них шестьсот пиастров, — сказал один из охотников, сопровождавших Анри.

— Ну, сударь, послушайте, я буду щедрее вас, — произнес голос, заставивший Сару задрожать, — я даю за них тысячу.

Девушка повернулась и узнала иностранца, с которым она познакомилась в Пор-Луи, ангела-спасителя, появившегося на утесе. Он стоял, одетый в изящный охотничий костюм, опираясь на двустволку. Он все слышал.

— А, это вы, сударь,— сказал господин де Мальмеди,— разрешите сначала поблагодарить вас, потому что моя племянница сказала, что она обязана вам жизнью, и если бы я знал, где найти вас, я поторопился бы вас увидеть не для того, чтобы пытаться как-то вознаградить вас, сударь, это невозможно, но чтобы выразить вам свою благодарность.

Незнакомец молча поклонился, и не без высокомерия, что не укрылось от Сары; она торопливо сказала:

— Мой дядя прав, за такой подвиг немыслима никакая награда, но заверяю вас, пока я жива, буду помнить, что я обязана вам своей жизнью.

— Две свинцовые пули не стоят благодарности, мадемуазель, а я буду счастлив, если господин де Мальмеди продаст мне виновных негров.

— Анри,— тихо сказал господин де Мальмеди,— нам ведь сообщили, что прибывает корабль работорговцев?

— Да, отец!

— Хорошо! Сможем приобрести новых рабов.

— Я жду вашего ответа,— сказал незнакомец.

— Ну, конечно, сударь, я согласен, негры ваши, вы можете взять их, но на вашем месте я бы наказал их, и сегодня же, даже если они несколько дней после этого не смогут работать.

— Теперь уж это мое дело,— улыбаясь сказал иностранец,— тысяча пиастров будет у вас сегодня вечером.

— Простите, сударь,— сказал Анри,— но вы ошибаетесь: мой отец не намерен продавать негров, он их подарит вам. Жизнь двух ничтожных негров не может идти в сравнение с драгоценной жизнью моей милой кузины. Но позвольте по крайней мере подарить вам то, что у нас есть и что вы, кажется, хотели бы иметь.

— Нет, сударь,— ответил незнакомец, гордо подняв голову, в то время как де Мальмеди с укоризной смотрел на своего сына,— не таковы были наши условия.

— Ну, тогда позвольте мне их нарушить,— сказала Сара,— ради той, кому вы спасли жизнь, примите от нас этих негров.

— Благодарю вас, мадемуазель,— сказал иностранец,— было бы нелепо настаивать на своем. Значит,

я принимаю ваш дар и теперь считаю себя обязанным вам.

И иностранец, в знак того, что не хочет дольше задерживать уважаемую компанию на дороге, поклонившись, отошел в сторону.

Мужчины обменялись поклонами, Сара и Жорж посмотрели друг на друга.

Кавалькада продолжала путь. Жорж некоторое время провожал ее глазами, нахмурив брови, как всегда, когда его занимала терзавшая его мысль, потом, подойдя к Назиму, сказал:

— Прикажите освободить этого человека, он и его брат принадлежат мне.

Надсмотрщик слышал разговор незнакомца с господином де Мальмеди и поэтому исполнил приказание без всяких возражений. Назим был отвязан и передан новому владельцу.

— Теперь, друзья мои,— сказал иностранец, повернувшись к неграм и вынимая из кармана кошелек, полный золотых монет,— так как я получил подарок от вашего хозяина, будет справедливо, если я сделаю вам подарок. Возьмите этот кошелек на всю компанию.

И он отдал кошелек рядом стоявшему негру, потом обратился к двум рабам:

— Ну, а вы,— сказал он им,— делайте теперь, что хотите, идите, куда хотите, вы свободны.

Лаиза и Назим радостно вскрикнули, они даже не могли поверить столь великодушному поступку человека, которому они не оказали никакой услуги. Жорж еще раз повторил свои слова, и тогда Лаиза и Назим стали на колени и поклонились, в порыве неопишуемой благодарности целуя руку своему освободителю.

Смеркалось, Жорж надел соломенную шляпу, которую до того держал в руке, и, вскинув ружье на плечо, продолжал свой путь в Моку.

ХII

БАЛ

На следующий день, как мы упомянули, во дворце губернатора должны были состояться обед и бал, об этом только и говорили в Пор-Луи.

Кто не бывал в колониях, в особенности на Иле де Франс, не имеет никакого понятия о той роскоши, ко-

торая царит на двадцатом градусе южной широты. В самом деле, кроме всевозможных парижских чудес, присланных из-за морей затем, чтобы украсить богатых и грациозных креолок острова Маврикия, они получают из первых рук отборнейшие алмазы Визапура, жемчужины Офира, кашемировые шали из Сиана, муслин из Калькутты. Еще ни один корабль, прибывающий из стран «Тысячи и одной ночи», не причаливал к берегам Иль де Франс, не оставив на его берегах часть сокровищ, предназначенных для Европы. Таким образом, даже для человека, привыкшего к парижскому щегольству или к английскому богатству, здешнее избранное общество представляет блистательное зрелище

К тому же лорд Маррей сам принадлежал к высшему обществу и, будучи сторонником всевозможных ухищрений в роскоши, за три дня полностью обновил убранство губернаторского дома, и тот к четырем часам назначенного дня выглядел не хуже, чем модный особняк на улице Монблан или Риджент-стрит. Вся колониальная аристократия была здесь; мужчины в одежде простого кроя, предписанного современной модой; женщины, усыпанные бриллиантами, увешанные жемчугами, в бальных нарядах, с той восхитительной и мягкой грацией движений, которая и отличает креолок от европейских дам. Каждого нового гостя встречали улыбкой: разумеется, здесь все были знакомы меж собой. Если входила женщина, общее любопытство вызывалось лишь ее нарядом: откуда платье выписано, из какой ткани сшито, какой отделкой украшено. Особенно интересовали креолок англичанки, ибо в постоянной борьбе кокетства местные дамы намеревались одержать победу над иностранками с помощью роскоши. Гул голосов, усиливающийся с приходом каждой гостьи и шепот, сопровождающий ее, были особенно громкими, если слуга объявлял английское имя, варварские звуки которого так же отличались от местных имен, как смуглые девы тропиков отличаются от бледных дочерей Севера.

Лорд Маррей с аристократической вежливостью, характерной для англичан высшего света, встречал каждого нового гостя: женщине предлагал руку и, сопровождая в зал, говорил что-нибудь приятное; мужчину встречал рукопожатием и обменивался с ним любезностями, и все единодушно решили: новый губернатор — очаровательный человек.

Объявили о приходе господ де Мальмеди и мадемуазель де Мальмеди. Их ждали с нетерпением, ведь де Мальмеди принадлежал к наиболее состоятельным и знатым гражданам Иль де Франс, а Сара была одной из самых богатых и элегантных девушек острова, вот почему все с любопытством следили за губернатором, когда он пошел навстречу Саре; приглашенных же красавиц прежде всего интересовал ее туалет.

К удивлению креолок и вопреки их ожиданиям, туалет Сары был весьма прост: восхитительное платье из индийской ткани, прозрачной и легкой, как тот газ, который Ювенал назвал воздушным, без вышивки, без единой жемчужины, без единого бриллианта, украшенное только веткой розового боярышника. Те же цветы венчали ее, да букет красовался у пояса; ни одного браслета не было на руках, ожерелье не оттеняло золотистый цвет ее кожи; волосы, тонкие, шелковистые, черные, падали длинными локонами на плечи. В руке она держала веер — чудо китайского искусства, купленный у Мико-Мико.

Как мы уже говорили, на Иль де Франс все знали друг друга, и когда приехала семья де Мальмеди, гости решили, что ждать больше некого, потому что те, кто по своему положению и состоянию имели обыкновение собираться вместе, были здесь; взгляды собравшихся, естественно, уже не были устремлены на двери. А когда общество начало проявлять нетерпение: кого еще ждет лорд Маррей, дверь отворилась и слуга объявил:

— Господин Жорж Мюнье.

Вероятно, удар грома не произвел бы большего впечатления на собравшихся, чем эти простые слова. Каждый был заинтригован, каждый недоумевал, кто бы это мог быть; имя Жоржа Мюнье было хорошо известно на Иль де Франс, но он длительное время отсутствовал, и все успели о нем забыть.

Жорж вошел в зал.

Молодой мулат был одет с простотой, свидетельствующей об изысканном вкусе. Фрак прекрасно сидел на нем, из петлицы свисали на золотой цепочке два орденских крестика. Свободно облегающие панталоны подчеркивали стройность и грацию его сложения, присущего цветным; но, вопреки обыкновению, на Жорже не было никаких украшений, кроме тонкой золотой цепочки, конец которой уходил в карман белого пикейного жилета. Черный галстук, повязанный с намеренной небреж-

ностью, свойственной светскому человеку, поддерживал круглый воротник, обрамляющий прекрасное лицо Жоржа, матовую бледность которого подчеркивали черные волосы и усы.

Лорд Маррей поспешил к нему навстречу с еще большей предупредительностью, чем к прочим гостям, и, взяв под руку, представил дамам и английским офицерам, стоявшим поблизости; затем, обратившись к благородному собранию, произнес:

— Господа, я не представляю вам господина Жоржа Мюнье, вы его знаете, он ваш соотечественник, и прибытие столь замечательного человека должно стать для нас национальным праздником.

Жорж поклонился в знак благодарности, однако, как ни уважали здесь губернатора, никто не пожелал произнести какие-нибудь слова в ответ на представление.

Маррей не придавал этому значения и, так как слуга объявил, что обед подан, взял под руку Сару, и все направились в столовую.

Зная характер Жоржа, можно предположить, что он сознательно заставил себя ждать. Решительно восстав против ложных суждений о людях с темной кожей, он бесстрашно предстал теперь перед врагом: его появление в обществе произвело именно то впечатление, которого он ожидал.

Из представителей высшего света больше всех была взволнована Сара. Зная, что молодой охотник с Черной реки приехал на Иль де Франс вместе с лордом Марреем, она ждала встречи и, может быть, именно ради прибывшего из Европы придала своему туалету элегантную простоту, которая так ценится у нас и которую в колониях, надо признать, слишком часто заменяет чрезмерная роскошь.

Войдя в зал, она надеялась увидеть Жоржа. Однако ей достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться: его здесь нет. Решив, что он скоро придет и о его приходе будет объявлено, Сара надеялась таким образом узнать его имя.

Предположения Сары подтвердились. Едва она заняла свое место в кругу женщин, а господа де Мальмеди — среди мужчин, как объявили о приходе Жоржа Мюнье.

При этом имени, столь известном на острове, но столь непопулярном в высшем свете, Сара вздрогнула от неяс-

ного предчувствия и в испуге обернулась. Она узнала в вошедшем незнакомца, с которым недавно говорила в Пор-Луи. Но теперь при его уверенной походке, спокойном челе и высокомерном взгляде он показался ей еще красивей и благородней, чем при первых встречах.

С волнением Сара следила за тем, как лорд Маррей представил Жоржа собравшемуся обществу, и сердце ее сжалось, когда неприязнь к мулату выразилась в оскорбительном молчании; глаза ее затуманились слезами, когда она заметила быстрый и пронизательный взгляд, брошенный на нее Жоржем.

Затем лорд Маррей предложил ей руку, и она уже больше ничего не видела, потому что, поймав взгляд Жоржа, почувствовала, что краснеет, и, убежденная, что все смотрят на нее, потупилась, чтобы скрыть смущение. Однако Сара заблуждалась: никто не думал о ней, потому что никто, кроме господина де Мальмеди и его сына, ничего не знал о событиях, сблизивших молодого мулата и девушку, поэтому никто и не мог предположить, что таинственная нить соединила Сару де Мальмеди и Жоржа Мюнье.

Сидя за столом, Сара обвела взором присутствующих. Она занимала место по правую руку от губернатора, по левую — сидела жена военного коменданта; напротив расположился сам комендант между двумя дамами, принадлежавшими к уважаемым семействам острова. Направо и налево от этих дам сидели господа де Мальмеди, отец и сын; что касается Жоржа, то он был предупредительно усажен лордом между двумя англичанками. Сара почувствовала себя свободнее; она знала, что расовые предрассудки, столь ненавистные Жоржу, не были присущи иностранцам, их придерживались уроженцы метрополий, длительное время проживавшие в колониях. Она заметила, что Жорж вел себя, как галантный кавалер, и что английские дамы в восторге от того, как их сосед говорит по-английски, будто родился в Англии.

Внезапно Сара заметила устремленный на нее взгляд Анри. Она поняла, что могло происходить в душе ее жениха, и, покраснев, невольно опустила глаза.

Лорд Маррей был настоящим аристократом, прекрасно исполнявшим роль хозяина дома; научиться этому невозможно, если не усвоить эту манеру с юных лет. Когда некоторая напряженность торжественного обеда рассеялась, лорд заговорил с гостями: английским офице-

рам он напомнил о знаменитых сражениях, коммерсантам рассказал о выгодных сделках; когда же он обращался к Жоржу, речь шла о предметах, близких образованному человеку, а не только о коммерции или военном деле.

Так прошел обед Будучи человеком скромным и обладая острым и проницательным умом, Жорж отвечал на вопросы губернатора так, что присутствующие офицеры понимали, что он был на войне, а коммерсанты — что он разбирается в коммерции, превращающей весь мир в семью, объединенную общими интересами. В разговоре упоминались имена тех, кто занимал высокое положение в обществе Франции, Англии и Испании. Жоржу известны были эти имена, он был осведомлен о талантах, характере и положении людей, о которых шла речь

Несмотря на то, что большинство гостей, если можно так выразиться, пропустило этот разговор мимо ушей, среди приглашенных было несколько человек, достаточно просвещенных, чтобы оценить превосходство Жоржа; поэтому, хотя чувство неприязни к молодому мулату не исчезло, многие были удивлены, а вместе с удивлением в иные сердца закралась и зависть. Анри же, находивший, что Сара интересуется Жоржем больше, чем это допускают положение невесты и достоинство белой женщины, чувствовал, как в глубине его сердца рождается досада. К тому же при имени Мюнье в нем проснулись детские воспоминания; он вспомнил день, когда хотел вырвать знамя из рук Жоржа, и брат Жоржа, Жак, сильно ударил его кулаком в лицо. Прежние обиды, причиненные обоими братьями, отдавались глухой болью в груди Анри. Мысль же, что Сара накануне была спасена Жоржем, не только не смягчала прошлую обиду, но еще более усиливала ненависть к нему. Что касается господина де Мальмеди, то он в течение всего обеда рассуждал с соседом о новом способе очистки сахара, который должен был увеличить на одну треть его доходы. Удивившись вначале, что Жорж стал спасителем Сары и что он встретил его затем у лорда Маррея, он больше не обращал на него внимания.

Как мы уже сказали, Анри был настроен по-иному: он внимательно прислушивался к вопросам Маррея и ответам Жоржа, в последних он уловил и основательность, и серьезную мысль; он поймал ясный взгляд Жоржа, выражающий непреклонную волю, и понял, что перед ним

не прежний мальчик, но энергичный и умный противник, готовый отразить любые удары.

Если бы Жорж, вернувшись на Иль де Франс, оставался в том же положении, которое, по мнению белых, было определено ему природой, Анри, возможно, не заметил бы его или, во всяком случае, не вспомнил бы обиду, нанесенную четырнадцать лет назад. Но дело обстояло совсем иначе: гордый мулат вернулся открыто и успел к тому же оказать великое благодеяние семье Анри. Превосходя Анри умом, он на равных правах занял положение в обществе, и теперь они сидели за одним столом. Этого Анри не мог стерпеть и мысленно уже объявил Жоржу войну.

Когда гости вышли из салона и направились в сад, Анри подошел к Саре, сидевшей вместе с другими женщинами под сенью деревьев вблизи тенистого уголка, где мужчины пили кофе. Сара вздрогнула, инстинктивно почувствовав, что ее кузен заговорит с ней о Жорже.

— Ну что, моя прелестная кузина,— спросил Анри, опираясь на спинку бамбукового стула, на котором сидела девушка,— как вам понравился обед?

— Я думаю, вы спрашиваете меня не о сервировке стола? — улыбаясь, ответила Сара.

— Нет, дорогая кузина, хотя, быть может, для некоторых из гостей, кто в жизни питается не только росой, воздухом и ароматами, подобно вам, такой вопрос был бы уместен. Нет, я спрашиваю вас, понравился ли вам обед с точки зрения общественных нравов, если можно так выразиться.

— Как вам сказать, по-моему, все было прекрасно; мне кажется, что лорд Маррей — замечательный хозяин, он был чрезвычайно любезен со всеми.

— Да, бесспорно! Но я глубоко удивлен, что столь воспитанный человек, как он, рискнул поступить с нами весьма неосмотрительно.

— А в чем дело? — спросила Сара, понявшая, что имеет в виду кузен, и решительно настроенная против него.

— А вот в чем,— ответил Анри, смущенный суровостью ее взгляда,— ведь он пригласил к одному столу нас и Жоржа Мюнье!

— Меня удивляет другое, Анри: почему именно вы говорите мне об этом, а не кто-нибудь другой?

— Но почему же я не могу сказать об этом, дорогая кузина?

— Да ведь если бы не Жорж Мюнье, чье присутствие вас так оскорбляет, я могла бы погибнуть; и люди оплакивали бы меня, а вы и ваш отец были бы сейчас в трауре.

— Да,— ответил Анри, покраснев,— да, я понимаю, как мы должны быть благодарны мсье Жоржу за то, что он спас столь драгоценную жизнь. Вы видели... Вчера, когда он решил купить двух негров, которых отец собирался наказать, я подарил их ему.

— И, подарив ему жизнь этих двух негров, вы считаете, что щедро вознаградили его? Благодарю вас, кузен, за то, что вы цените жизнь Сары де Мальмеди в тысячу пиастров.

— Боже мой! Дорогая Сара,— сказал Анри,— как вы странно рассуждаете. Разве я мыслил назначать цену за жизнь той, ради которой я отдал бы свою? Нет, я только хотел обратить ваше внимание на затруднительное положение, в которое лорд Маррей поставил бы женщину, если бы господин Жорж вздумал пригласить ее танцевать.

— По-вашему, дорогой Анри, эта женщина должна была бы ему отказать?

— Не сомневаюсь.

— Не подумав о том, что своим отказом она оскорбит человека, не только ни в чем не виновного перед нею, но даже, вероятно, оказавшего ей услугу; а ведь это оскорбление такого рода, что он вправе требовать объяснений ее поступку от отца, брата или мужа.

— Полагаю, что в случае отказа господин Жорж образумится и придет к выводу, что белый никогда не снизойдет до объяснения с мулатом.

— Прошу прощения, кузен, за то, что осмеливаюсь высказывать свое мнение на сей счет,— возразила Сара,— но либо я после всего, что видела, ничего не понимаю в характере господина Жоржа, либо следует признать, что если честь подобного человека, доказавшего свою храбрость двумя орденами, будет задета, то вряд ли он способен примириться с этим, как вы полагаете, безо всяких на то оснований.

— В любом случае, дорогая Сара,— в свою очередь, возразил Анри, покраснев от злости,— я надеюсь, что опасение навлечь на нас с отцом гнев господина Жоржа убережет вас от опрометчивости и вы не пойдете танцевать с господином Жоржем, если он возымеет дерзость вас пригласить.

— Я не буду танцевать ни с кем, — холодно проговорила Сара, встала и подошла к англичанке, сидевшей за обедом рядом с Жоржем; это была одна из ее подруг.

Анри застыл на месте, пораженный неожиданной для него твердостью Сары. Затем подошел к группе молодых креолов, где его идеи встретили не в пример больше сочувствия, чем у кузины.

В это время Жорж, в центре другого кружка, беседовал с офицерами и английскими коммерсантами, не разделяющими (или почти не разделяющими) расовых предубеждений, свойственных его соотечественникам.

Час приготовлений к балу прошел; распахнулись двери в залы, освобожденные от мебели и сияющие огнями. И заиграл оркестр, подавая знак к началу танцев.

Ценою величайшего усилия Сара заставила себя спокойно смотреть, как танцуют ее подруги. Как мы уже говорили, балы она любила страстно. Но вся ее досада из-за принесенной жертвы пала на того, кто ее к этой жертве принудил. Напротив, к тому, ради кого она принесла жертву, в ее душе понемногу зарождалось чувство глубочайшей нежности, еще неизвестное ей доныне. Высочайшее достоинство женщины, которую природа и общество создали слабым существом, в том, что она проникается горячим сочувствием к угнетенным, испытывая благородное восхищение перед борцом, восстающим против гнета, в чем и проявляется двойственность ее слабости.

И потому, когда Анри, как ни в чем не бывало, подошел к ней с приглашением на танец, полагая, что его кузина неспособна устоять при звуках музыки, Сара удовлетвовалась ответом:

— Вы знаете, кузен, что я сегодня не танцую.

Анри до крови прикусил губу и инстинктивно стал искать глазами Жоржа. Жорж занял место среди танцующих, его партнершей была англичанка, которую он под руку сопровождал к столу. Движимая совершенно иным чувством, чем ее кузен, Сара посмотрела в ту же сторону.

Да, Жорж танцевал с другой. Он, может быть, и не думал о ней — той, которая только что принесла ему жертву, на какую еще накануне не считала себя способной. Время, пока продолжалась кадрили, было мучительным для Сары.

Когда кадрили кончилась, Сара стала пристально следить за Жоржем. Проводив англичанку на место, он, как показалось Саре, стал глазами искать кого-то; он искал лорда Маррея. Заметив его, он подошел и сказал ему несколько слов; потом оба направились к Саре. Сара почувствовала, как у нее вся кровь прихлынула к сердцу.

— Мадемуазель,— обратился к ней лорд Маррей,— вот мой спутник по плаванию, который, слишком считающая европейские обычаи, не осмеливается пригласить вас на танец, не имея чести быть вашим знакомым. Позвольте же представить вам господина Жоржа Мюнье, одного из самых достойных людей, каких я знаю.

— Как вы справедливо заметили, милорд,— отвечала Сара, с трудом овладев своим голосом,— господин Жорж и в самом деле излишне щепетилен, ведь мы с ним уже знакомы. В день своего приезда господин Жорж оказал мне услугу, а вчера он сделал для меня еще больше — он спас мне жизнь.

— Возможно ли? Значит, тот молодой человек, которому посчастливилось забрести туда, где вы купались, как раз вовремя подстрелив чудовищную акулу,— это и был господин Жорж?

— Он самый, милорд,— подтвердила Сара, краснея от стыда при мысли, только теперь пришедшей ей в голову: что Жорж видел ее в купальном костюме.— Вчера я была еще настолько взволнована и перепугана, что не имела сил выразить благодарность господину Жоржу. Но сегодня я воспользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить его: ведь только его ловкости и хладнокровию я обязана тем, что имею счастье присутствовать на вашем прекрасном балу, милорд.

— Мы также благодарим господина Жоржа,— вмешался Анри, подходя к ним.— Мы ведь тоже вчера были потрясены и огорчены этим происшествием, так что едва успели сказать господину Жоржу несколько слов.

Жорж, не сказав еще ни слова, взглядами, казалось, проникал в самую глубину сердца девушки; он молча поклонился, и это было его единственным ответом.

— В таком случае я надеюсь, что господин Жорж и сам сумеет изложить вам свою просьбу,— сказал лорд Маррей,— оставляю на вас своего подопечного.

— Мадемуазель де Мальмеди, не окажете ли мне честь, дав согласие на кадрили?— обратился к ней Жорж.

— О, сударь,— сказала Сара,— я, право, сожалею, и надеюсь, вы простите меня. Я только что отказала своему кузену, потому что не собираюсь танцевать сегодня.

Жорж улыбнулся с видом человека, который все понимает, и бросил на Анри взгляд, исполненный такого презрения, что лорд Маррей догадался, сколь глубокая и закоренелая ненависть разъединяет этих людей, однако сделал вид, что ничего не заметил, и сказал:

— Сара, не вчерашнее ли ужасное происшествие так удручает вас?

— Да, милорд,— ответила она,— я плохо себя чувствую и прошу кузена предупредить моего дядю, что хотела бы уйти с бала.

Анри и лорд Маррей направились сообщить о намерении девушки, Жорж наклонился к ней.

— У вас благородное сердце, мадемуазель,— сказал он полголоса,— я благодарю вас.

Сара вздрогнула и хотела было ответить, но лорд Маррей уже вернулся. Она лишь невольно обменялась взглядом с Жоржем.

— Вы не изменили решения покинуть нас, мадемуазель? — спросил губернатор.

— Увы, нет,— ответила Сара.— Я бы так хотела остаться, милорд, но я действительно плохо себя чувствую.

— В таком случае я понимаю, что эгоистично было бы пытаться удерживать вас; экипажа господина де Мальмеди, вероятно, нет у ворот, поэтому я сейчас прикажу заложить свой.

И лорд Маррей удалился.

— Сара,— начал Жорж,— когда я покидал Европу, единственным моим желанием было встретить девушку с отзывчивым сердцем, но мне казалось, что надежда моя не сбудется.

— Сударь,— прошептала Сара, невольно подчиняясь проникновенному голосу Жоржа,— я не понимаю, что вы хотите этим сказать.

— Я хочу сказать, что со дня моего приезда сюда во мне живет мечта, и если эта мечта когда-нибудь осуществится, я буду самым счастливым человеком.

Не ожидая ответа, Жорж почтительно поклонился и, видя приближающихся господина де Мальмеди с сыном, удалился.

Вскоре вновь появился лорд Маррей, сообщил Саре, что экипаж готов, и предложил ей руку. Дойдя до дверей, девушка с грустью окинула взором зал, который сулил ей столько радости, и вышла.

Но взгляд ее при этом встретился со взглядом Жоржа, неотвязно следующим за ней.

Возвращаясь в дом, после того как он проводил мадемуазель де Мальмеди к экипажу, губернатор встретил в передней Жоржа, который также собирался покинуть бал.

— И вы тоже? — спросил лорд Маррей.

— Да, милорд, вы ведь знаете, я живу в Моке и должен проехать восемь лье. Антрим доставит меня за час.

— Между вами и Анри никогда не происходило серьезной размолвки? — с интересом спросил губернатор.

— Нет, милорд, пока нет, но, судя по всему, может произойти.

— Возможно, я ошибаюсь, мой друг, — сказал губернатор, — но думаю, что причина вашей вражды с этой семьей лежит в далеком прошлом.

— Да, милорд, бывшие мальчишеские ссоры перешли ныне в неистребимую мужскую ненависть; уколы булавами могут стать ударами шпаг.

— И нет возможности все уладить? — спросил губернатор.

— Я на это надеялся, милорд; я думал, что четырнадцать лет английского владычества искоренили унижительный предрассудок, но я ошибся; борец должен выйти на арену.

— Не встретите ли вы больше мельниц, чем великанов, мой дорогой Дон-Кихот?

— Посудите сами, — улыбаясь, сказал Жорж. — Вчера я спас жизнь мадемуазель Саре де Мальмеди. Знаете ли вы, как ее кузен отблагодарил меня сегодня?

— Нет.

— Он запретил ей танцевать со мной.

— Невероятно!

— Да, клянусь честью, милорд.

— Но почему?

— Потому что я мулат.

— И что же вы думаете делать?

— Я?

— Простите мою нескромность, вы же знаете, с какой симпатией я отношусь к вам, ведь мы старые друзья.
— Что я думаю делать?—улыбаясь, повторил Жорж.
— Да. Ведь вы что-то придумали.
— Да, я действительно принял решение.
— Какое же? Я скажу вам свое мнение.
— Через три месяца я стану супругом мадемуазель де Мальмеди.

И, прежде чем лорд Маррей успел произнести слово, Жорж поклонился и вышел. У дверей его ждал слуга с двумя арабскими лошадьми.

Жорж вскочил на Антрима и галопом поскакал в Моку.

Вернувшись домой, он справился об отце; ему сообщили, что тот вышел из дома в семь часов вечера и еще не вернулся.

ХІІІ

ТОРГОВЕЦ НЕГРАМИ

На следующее утро Пьер Мюнье первым посетил сына. Приехав, Жорж несколько раз осматривал великолепное имение, принадлежавшее его отцу, и, сообразно европейским вкусам, задумал несколько его видоизменить. Отец, с его практической сметкой, сразу же понял значение этого замысла, однако им недоставало рабочих рук. Запрещение торговли неграми неизмеримо повысило цену рабов. Без огромных затрат невозможно было купить на острове пятьдесят или шестьдесят невольников. Случайно Пьер Мюнье в отсутствие Жоржа узнал о том, что вблизи острова появился корабль работорговца. По обыкновению, принятому среди колонистов и торговцев невольниками, он вышел прошлой ночью к берегу, чтобы принять сигнал с корабля и вступить с ним в переговоры.

Обменявшись сигналами, Пьер Мюнье пришел объявить Жоржу эту новость. Было условлено, что вечером отец и сын будут около девяти часов у мыса Кав, ниже Пти-Малабара. Договорившись таким образом, Пьер Мюнье как обычно пошел проверять работы на плантациях, а Жорж взял ружье и направился в лес, чтобы предаться мечтам.

То, что Жорж, расставаясь с лордом Марреем, сказал ему накануне, не было бахвальством, а, наоборот, вполне

твердым решением. **В**сю жизнь молодой мулат посвятил, как известно, тому, чтобы воспитать в себе волю, ни с чем не сравнимую, дерзновенную волю. Достигнув во всех отношениях успехов, будучи достаточно обеспеченным, чтобы жить во Франции или в Англии, в Лондоне или в Париже, Жорж, воодушевленный идеей борьбы, вернулся на Иль де Франс. Именно здесь укоренилась явная несправедливость в отношениях между белыми, неграми и мулатами — то зло, с которым он считал своим долгом повести борьбу. Исполненный благородной гордости, он надеялся одержать победу. Жорж скрывал от многих свой приезд на остров, поэтому мог изучить своего врага, причем враг не знал, когда произойдет схватка, а он готов был напасть на недруга в такой момент, когда тот меньше всего этого ожидал.

Выйдя на берег и увидев тех же людей, которых он оставил, покидая остров, Жорж понял неоспоримую истину, над которой часто раздумывал в Европе; на Иль де Франс ничего не изменилось, хотя прошло четырнадцать лет и остров стал английским и назывался островом Маврикия. Отныне Жорж держался настороже и готовился к поединку в нравственной сфере, как другие готовятся к обыкновенной дуэли; со шпагой в руке он ждал случая нанести удар противнику.

Подобно Цезарю Борджиа, который намеревался завоевать Италию после смерти своего отца, но неожиданно сам оказался при смерти, Жорж неожиданно для себя был вынужден вступить в схватку и получил рану как раз тогда, когда сам готовил удар. В день приезда в Пор-Луи случай свел его с пленительной девушкой, и эта встреча запала ему в душу. Затем Провидение привело его к ней в тот самый миг, когда жизни ее грозила опасность, и он спас ту, о которой уже смутно мечтал, едва увидев ее. После спасения Сары мечта о ней еще глубже пустила корни в его душе. Наконец, судьба вновь соединила их пути накануне, и, когда их взгляды встретились, он понял, что любит ее и любим ею. Борьба отныне обрела для Жоржа новый смысл: теперь он шел на борьбу не только ради своей чести, но и ради своей любви.

Но если на Жоржа, разочарованного в жизни, девушка произвела глубокое впечатление, то его облик и те обстоятельства, в которых он предстал перед ней, всколыхнули юную девственную душу Сары. Воспитанная в доме господина де Мальмеди с того дня, когда она потеряла родителей, как бы судьбой предназначенная удвоить сво-

им приданым состояние наследника этого дома, она привыкла смотреть на Анри как на своего будущего мужа и тем легче подчинилась своей судьбе, что Анри был красивый и смелый юноша, один из самых богатых и элитных колонистов не только в Пор-Луи, но и на всем острове. Что касается друзей Анри, ее кавалеров на охоте и на балах, она слишком давно их знала, чтобы ей пришло в голову полюбить кого-либо из них. Для Сары они были друзьями юности, и ей казалось, что их дружба будет длиться всю жизнь.

Сара пребывала в подном спокойствии духа, когда впервые увидела Жоржа. В жизни любой девушки нечаянная встреча с молодым героем — всегда событие, и тем более на Иль де Франс.

Его лицо, его голос, произнесенные им слова запечатлелись в ее душе, словно мелодия, которую, однажды услышав, запоминаешь навсегда. Сара, вероятно, через несколько дней уже не помнила бы об этой встрече, если бы снова увидела Жоржа в обычных обстоятельствах; вероятно, в следующий раз, приглядевшись к нему, она не только не нашла бы его привлекательным, но, напротив, — отвернулась бы от него. Но случилось иначе. По воле Провидения Жорж и Сара встретились при драматических обстоятельствах на Черной реке. Любопытство, обычное при первом появлении героя, при втором его появлении обернулось восхищением и благодарностью. Внезапно Жорж преобразился в глазах девушки: посторонний человек, он вдруг превратился в ангела-спасителя. Он избавил ее от ужаса неминуемой смерти. Все счастье, все будущее, которое жизнь обещает в шестнадцать лет, Жорж вернул ей в тот момент, когда она чуть было все это не потеряла. Наконец, они встретились на балу, когда она уже была готова выразить ему благодарность, переполнявшую ее душу, но ей запретили общаться с ним, ее понуждали нанести ему обиду, что было совершенно невыносимо в ее представлении. Тогда благодарность, подавленная в ее сердце, превратилась в любовь, один ее взгляд все сказал Жоржу, а одно его слово все сказало Саре. Сара не могла ничего отрицать, поэтому Жорж поверил в ее чувство. Затем первые впечатления сменились размышлением. Сара невольно сравнивала поведение Анри, своего будущего мужа, с поведением этого чужого человека, который даже не был ей знаком. Когда она увидела его впервые, насмешки Анри над неизвестным юношей больно задела ее. Равнодушие

Анри, бросившегося в погоню за оленем сразу же после того, как она, его невеста, едва не погибла, уязвило ее в самое сердце. Наконец, на балу повелительный тон Анри оскорбил ее гордость: это привело к тому, что Сара, быть может, впервые задала себе вопрос — а любит ли она кузена, и впервые осознала, что не любит его. Ей оставался только шаг для того, чтобы осознать свою любовь к Жоржу.

Как бывает в таких случаях, после размышления о себе самой Сара стала думать о тех, кто жил с нею рядом: она подвергла анализу привязанность своего дяди; вспомнила, что имеет полтора миллиона, то есть в два раза больше, чем кузен; она усомнилась, что ее дядя был бы столь же нежен, заботлив и добр к ней, будь она бедной сироткой, а не богатой наследницей, и увидела в опекунстве господина де Мальмеди лишь то, чем оно по сути и было: расчет отца, устраивающего сыну выгодный брак. Возможно, она судила слишком строго, но таковы уязвленные сердца: признательность покидает их, а боль ожесточает.

Жорж предвидел все это и рассчитывал на чувства Сары, чтобы добиться взаимности и одержать верх над соперником. Основательно поразмыслив, он решил в тот день ничего не предпринимать, хотя в глубине души ему не терпелось вновь увидеть Сару. И он вышел с ружьем на плече, надеясь найти в охоте, своей главной страсти, развлечение, которое помогло бы ему убить время. Но Жорж ошибся: любовь к Саре говорила уже в его сердце громче всех других чувств.

Итак, около четырех часов, не в силах больше сопротивляться желанию повстречаться с Сарой, Жорж приказал оседлать Антрима и затем, освободив удила легкому сыну Аравии, меньше чем через час прибыл в столицу острова.

Жорж приехал в Пор-Луи с единственной надеждой, но, как мы сказали, эта надежда всецело зависела от случая. На этот раз Жоржу не повезло. Напрасно он ездил по всем улицам, соседним с домом господина де Мальмеди, и дважды пересекал парк Кампани, место обычных прогулок жителей Пор-Луи, напрасно объезжал Марсово Поле, где шла подготовка к предстоящим бегам, нигде, даже издали, он не видел женщины, фигура которой могла бы напомнить ему силуэт Сары.

В семь часов Жорж потерял всякую надежду и с тяжелым сердцем, словно перенесся большое горе, разбитый

и усталый, вернулся к Большой реке. Обрато он двигался шагом, удерживая коня, потому что он удалялся от Сары. Она, конечно, не догадывалась, что Жорж много раз проехал по Театральной улице и по улице Правительства не более чем в ста шагах от ее дома.

Он проезжал по лагерю свободных негров, находившемуся за чертой города, и все еще сдерживал Антрима, не привыкшего к такой необычной езде, когда вдруг из какого-то барака вышел человек и бросился к стремяни его коня, обнимая колени Жоржа и целуя ему руку— это был продавец Мико-Мико.

Жорж тут же понял, чем может быть полезен ему этот человек: его торговля позволяла ему проникать в каждый дом, а незнание языка исключало всякое недоверие к нему.

Жорж спешил и вошел в лавку Мико-Мико, где сразу же увидел все его сокровища. Нельзя было ошибиться в том чувстве, которое этот бедняга питал к Жоржу, оно вырывалось из его сердца при каждом слове. Это объяснялось просто: кроме двух или трех его соотечественников торговцев, а следовательно, если не врагов, то во всяком случае соперников, Мико-Мико не нашел в Пор-Луи ни одного человека, с кем бы он мог поговорить на своем родном языке. Он хотел знать, чем бы он мог услужить Жоржу. Жорж попросил совсем простую вещь: внутренний план дома месье де Мальмеди, чтобы при случае знать, где найти Сару.

С первых же слов Мико-Мико все понял.

Чтобы облегчить общение Мико-Мико с Сарой, а может быть, и из других соображений, Жорж написал на визитной карточке цены различных предметов, которые могли бы понравиться девушке, и предупредил Мико-Мико, чтобы тот показал эту карточку только Саре.

Потом он дал торговцу монету и велел ему прийти в Моку на следующий день около трех часов.

Мико-Мико обещал быть на месте вовремя, а до того узнать и запомнить расположение комнат в доме Мальмеди с такой точностью, как если бы он сам его построил.

Часы пробили восемь, а так как свидание с отцом было назначено в девять, Жорж снова сел на коня и пустился в путь по направлению к Малой реке; ему стало легче на сердце — немного нужно влюбленному, чтоб изменилось его настроение.

Наступила темная ночь, когда Жорж прибыл к месту встречи. Его отец, перенявший от белых привычку к точности, уже ждал его. Взошла луна.

Этого момента ждали Жорж и отец. Устремив взгляд к островам Бурбон и Песчаный, они там заметили блеснувший луч, отразившийся от зеркальной поверхности моря. Увидев этот сигнал, хорошо известный колонистам, Телемак, сопровождавший своих господ, зажег на берегу огонь. Огонь горел пять минут и погас. Потом они стали ждать.

Не прошло и получаса, как на море появилась черная полоска, похожая на какую-то рыбу, плывущую по поверхности воды. Потом эта полоска увеличилась и приняла форму пирога. Скоро выяснилось, что это большая шлюпка, и, хотя плеска весел пока не было слышно, их движение угадывалось по мерцанию лунных лучей на поверхности моря. Наконец шлюпка вошла в устье Малой реки и пристала к берегу.

Жорж с отцом вышли ей навстречу. Человек, сидевший на корме, тоже покинул шлюпку. За ним на берег сошла дюжина матросов, вооруженных мушкетами и топорами. Это были те самые люди, которые гребли с ружьями на плече. Человек подал им знак, и они начали высаживать негров, уложенных на дно шлюпки. Их было тридцать, вторая шлюпка должна была привезти еще столько же. Тогда оба мулата и человек, первым сошедший на берег, обменялись несколькими словами. Жорж и его отец убедились, что перед ними — сам капитан-работорговец.

То был человек приблизительно тридцати или тридцати двух лет, со всеми признаками физической силы, которая, естественно, вызывала к нему уважение; круто вьющиеся волосы были черны, бакенбарды спускались до самой шеи, а усы сходились с бакенбардами; лицо и руки, загоревшие под солнцем тропиков, были того же цвета, что у индийцев Тимора или Пегю. Он был одет в синий полотняный пиджак и брюки, какие носят охотники на Иль де Франс, на нем была широкополая соломенная шляпа и ружье на плече, на поясе у него висела еще арабская сабля.

Если капитан-работорговец стал предметом внимательного изучения со стороны двух обитателей Моки, то и он не менее внимательно рассматривал их. Казалось, он не может глаз от них отвести. Жорж и его отец не замечали этой настойчивости, они начали торговаться —

для того они и пришли сюда,— оглядывая одного за другим негров, доставленных с первой шлюпкой. Почти все они происходили с западных берегов Африки, то есть из Сенегамбии и Гвинеи. Это обстоятельство повышало их цену, потому что, в отличие от малагасийцев, мозамбикцев и кафров, у них мало надежды вернуться на родину, и они почти никогда не пытаются бежать. Несмотря на это, капитан запросил за негров очень умеренную цену. Сделка была заключена, когда прибыла вторая шлюпка. Быстро договорились и относительно второй партии негров: капитан привез прекрасный товар, он был отличным знатоком своего дела. Для Иль де Франс было просто удачей, что он привез свой корабль сюда,— до тех пор он привозил негров главным образом на Антильские острова.

Когда все негры сошли на берег и сделка была заключена, Телемак, родом из Конго, приблизился к ним и заговорил на их родном языке. Он расхваливал их будущую жизнь, сопоставляя ее с той, какую вели их соотечественники у других рабовладельцев острова, и сказал, что им повезло—они попали к мсье Пьеру Мюнье и Жоржу Мюнье, то есть к лучшим плантаторам на острове. Негры приблизились тогда к двум мулатам и, упав на колени, обещали быть достойными счастья, которое им даровано Провидением.

Услышав имена Пьера и Жоржа Мюнье, капитан-работорговец, который слушал речь Телемака с вниманием, доказывавшим, что он знает диалекты африканских народов, вздрогнул и принялся вглядываться еще более внимательно, чем прежде, в двух мужчин, с которыми он только что заключил сделку, принесшую ему около ста пятидесяти тысяч франков. Жорж и отец по-прежнему не замечали, что он не сводит с них глаз. Наконец настал момент завершить сделку. Жорж спросил работорговца, каким образом он должен оплатить ее, золотом или ценными бумагами: его отец привез золото в карманах своего седла и ценные бумаги в бумажнике. Работорговец предпочел золото. Поэтому ему сейчас же отсчитали требуемую сумму, которую перенесли во вторую лодку; потом матросы сели в нее. К великому удивлению Жоржа и Пьера Мюнье, капитан не спустился в шлюпку; по его приказанию обе шлюпки отчалили, а он остался на берегу.

Капитан некоторое время следил за лодками, и, когда они уже были далеко, он повернулся к удивленным мулатам, подошел к ним и, протянув руку, сказал:

— Здравствуй, отец, здравствуй, брат.

Они были поражены.

— Да что с вами! Не узнаете вашего Жака?

Оба вскрикнули от удивления, простирая к нему руки. Жак бросился в объятия отца, потом — Жоржа. Пришла очередь Телемака, хотя, нужно сказать, что его охватила дрожь, когда он осмелился коснуться рук работорговца. Итак, по странному совпадению, случай соединил в одну семью людей, один из которых всю жизнь покорялся расовым предрассудкам, другой — наживался на них, а третий собирался сражаться с ними, не щадя своей жизни.

XIV

ФИЛОСОФИЯ РАБОТОРГОВЦА

То действительно был Жак, отец не видел его четырнадцать лет, а брат — двенадцать.

Жак, как мы уже говорили, отплыл на борту одного из тех корсарских кораблей, снабженных каперскими свидетельствами Франции, которые неожиданно вылетали из наших портов, как орлы из своих гнезд, и набрасывались на англичан.

Он прошел суровую школу на этих кораблях, которые нельзя было сравнить с судами имперского флота, запертыми в портах и большей частью стоящими на якоре, в то время как корсарский флот, подвижный, легкий и независимый, беспрерывно находился в плавании.

В самом деле, каждый день происходила новая битва, но не потому, что наши корсары, как бы храбры они ни были, нападали на военные корабли; нет, падкие на индийские и китайские товары, они набрасывались на большие суда с набитым брюхом, возвращающиеся из Калькутты, или Буэнос-Айреса, или с Вера-Круц. Эти корабли, двигавшиеся так важно, сопровождались или английскими фрегатами с острыми клювами и когтями, или были вооружены и сами защищались. В последнем случае это была просто игра, перепалка на два часа, после чего все было кончено, но иногда дело обстояло иначе: обменивались большим числом ядер, убивали с обеих сторон много людей, ломали снасти, потом шли на абор-

даж; разгромив друг друга издали, они начинали бой врукопашную.

В это время торговый корабль ускользал, и если он не встречал, как осел из басни, другого корсара, который напал бы на него, он заходил в любой английский порт, к большому удовлетворению Индийской компании, добившейся вознаграждения своим защитникам. Вот как обстояли дела в ту эпоху.

За тридцать или тридцать один день месяца сражались в течение двадцати или двадцати пяти дней; потом во время бурь наступали дни отдыха.

В подобной школе обучение занимало короткий срок. Здесь экипажи пополнялись не из рекрутов, как на военных судах. В импровизированной войне погибало довольно много людей, экипажи на кораблях редко бывали полностью укомплектованы. Поскольку все матросы были добровольцами, количество их успешно восполнялось: во время бури или сражения каждый должен был исполнять любые обязанности при строгом повиновении капитану или его помощнику. Правда, на борту «Калипсо» — так называлось судно, которое Жак выбрал, чтобы пройти обучение морскому делу, — шесть лет тому назад были двое, нарушивших дисциплину: нормандец и гасконец; один возразил капитану, другой — его помощнику. И капитан раскроил одному череп топором, а его помощник продырявил другому грудь выстрелом из пистолета. Трупы их выбросили за борт. С тех пор никто и не помышлял спорить ни с капитаном Бертраном, ни с лейтенантом Ребаром; так звали этих двух суровых моряков, обладавших неограниченной властью на борту «Калипсо».

У Жака всегда было определенное желание стать матросом; в мальчишеском возрасте он вечно пропадал на борту судов, стоявших на рейде Пор-Луи, поднимался на ванты, влезал на стены, качался на снастях, скользил вниз по канатам; так как он занимался этими упражнениями главным образом на борту кораблей, поддерживавших коммерцию с его отцом, капитаны были с ним очень ласковы, поощряли его увлечение, объясняли ему все, позволяли подниматься от трюма до брам-стенги и спускаться с брам-стенги в трюм. В результате за десять лет Жак стал отличным юнгой; не имея судна, он жил так, словно находился на корабле: влезал на деревья, которые играли роль мачт, и поднимался по лианам, воображая, что это снасти; в двенадцать лет он

знал названия всех частей корабля, знал, как должно маневрировать судно, и мог бы исполнять обязанности гардемарина на любом корабле.

Но, как нам известно, отец принял другое решение: вместо того, чтобы отправить его в морское училище в Ангулем, куда Жака влекло его призвание, он определил его в коллеж Наполеона. Вновь подтвердилась половица: человек предполагает, а Бог располагает. Жак провел два года, то рисуя корабли в своих тетрадах для сочинений, то пуская фрегаты в большом бассейне Люксембургского сада, и воспользовался первым же представившимся случаем, чтобы оставить занятия в коллеже. Во время путешествия в Бресте он посетил бриг «Калипсо» и объявил сопровождавшему его брату, чтобы тот возвращался на сушу, а он поступает на морскую службу. Жорж вернулся один в коллеж Наполеона.

Что до Жака, чье открытое лицо и смелая осанка сразу же понравились капитану Бертрану, он тут же был удостоен звания матроса, что вызвало сильное возмущение его товарищей.

Жак не обращал внимания на их протесты, хорошо понимая, что справедливо и что несправедливо: те, с кем его только что уравниали, не знали его способностей и считали несправедливым возводить новичка в ранг матроса. И вот при первой же буре Жак полез на брамстенгу и срезал парус, который из-за неправильно завязанного узла не удавалось спустить с мачты, так что этот парус мог сломать мачту; при первом же abordage он вскочил на вражеское судно прежде капитана, за что тот так сильно ударил его кулаком, что он был оглушен на целых три дня. Дело в том, что на «Калипсо» существовало правило: капитан поднимается на вражеское судно первым. Однако же капитан, приняв извинения Жака, разрешил ему в будущих сражениях вступать на вражеское судно после него и его помощника. И действительно, при следующем abordage Жак взшел на корабль третьим

С того времени экипаж уже не роптал из-за Жака, а старые матросы первыми протягивали ему руку.

Так шло до 1815 года, мы говорим до 1815-го, потому, что капитан Бертран, настроенный очень скептически, никогда не принимал всерьез падение Наполеона; может быть, это было связано с тем, что ничем в то время не занятый, он совершил два путешествия на остров Эльбу и во время одного из этих путешествий имел честь

быть принятым бывшим властелином мира. Что сказали друг другу император и пират во время этого свидания, никто никогда не узнал; заметили только, что Бертран, возвращаясь на борт, насвистывал:

Тир-лир-лир, трам-пам-пам,
И смешно же будет нам.

что для капитана Бертрана было знаком самого полного удовлетворения; потом капитан вернулся в Брест и, не говоря никому ни слова, начал приводить «Калипсо» в порядок, запаса порохов и ядрами и нанял несколько человек, которых ему недоставало до полного состава экипажа.

Люди, хорошо знавшие Бертрана, должны были догадаться, что за занавесом готовится представление, которое должно поразить публику. В самом деле, через шесть недель после последнего путешествия капитана Бертрана в Порто Феррао Наполеон высадился в заливе Жуан. Через двадцать четыре часа Наполеон вступил в Париж, а через семьдесят два часа после прибытия императора в Париж Бертран вышел из Бреста на всех парусах с развевающимся трехцветным флагом.

Не прошло и недели, как воинствующий Бертран вернулся, взяв на буксир великолепное английское судно, нагруженное тончайшими пряностями Индии. Капитан англичанин был до того поражен, увидев трехцветное знамя,— он считал его навеки исчезнувшим с лица земли,— что ему и в голову не пришло оказать хотя бы малейшее сопротивление.

Эта добыча разохотила капитана Бертрана. Продав товары за подходящую цену и уплатив часть денег экипажу, который отдыхал в течение года и которому отдых сильно наскучил, капитан «Калипсо» бросился на поиски другой жертвы. Но, как известно, не всегда находишь то, что ищешь: в одно прекрасное утро, после темной ночи, «Калипсо» встретила нос к носу с фрегатом «Лейстер», тем самым кораблем, который привез в Пор-Луи губернатора и Жоржа.

«Лейстер» имел на десять пушек и на шестьдесят матросов больше, чем «Калипсо», на нем не было никакого груза вроде корицы, сахара и кофе. Зато богатый арсенал снарядов и ядер. Заметив, к какому роду кораблей принадлежит «Калипсо», «Лейстер», не предупреждая, послал ей образец своего товара — ядро калибра

тридцати шести сантиметров, пробившее подводную часть корвета.

В противоположность своей сестре «Галатее», убежавшей, чтобы обратить на себя внимание, «Калипсо» охотно бы сбежала, пока ее не заметили. С «Лейстера» взять было нечего, даже если его захватить в плен, что было совершенно невероятным. Также не представлялось возможным избежать встречи с ним, потому что его капитаном был тот самый Уильям Маррей, который в ту эпоху служил на флоте и, несмотря на любезные манеры, приобретенные на дипломатической службе, был тогда известен как бесстрашный морской волк, плававший от Магелланова пролива до Баффинова залива.

Итак, капитан Бертран приказал установить две большие пушки к корме корвета и начал удирать...

«Калипсо» была настоящим кораблем-хищником, построенным для сверхскоростного хода, с длинным и узким килем, но ныне бедная ласточка морей имела дело с орлом океана, так что, несмотря на ее легкость, скоро стала ясно, что фрегат догоняет корвет.

Каждые пять минут «Лейстер» посылал ядра, чтобы заставить «Калипсо» остановиться. Впрочем, на это «Калипсо» отвечала своими снарядами.

В это время Жак внимательно рассматривал рангоут своего корабля и давал лейтенанту Ребару полезные советы по усовершенствованию оснастки судов, предназначенных, как это было в случае с «Калипсо», для погони или для спасения от преследований. Нужно было произвести коренные изменения в брам-стенгах, и Жак, не отрывая глаз от слабых мест судна, закончил свои указания. Не получив никакого ответа, он взглянул на лейтенанта и все понял: лейтенант Ребар только что был разорван ядром надвое.

Положение становилось серьезным; было ясно, что вскоре суда станут борт о борт и придется, как говорят матросы, перейти врукопашную с экипажем противника. Жак решил посоветоваться об этом с наводчиком, орудовавшим возле одной из пушек, как вдруг наводчик, нагнувшись, чтобы прицелиться, казалось, оступился, упал лицом на свою пушку и не вставал. Видя, что тот не спешит вернуться к своим обязанностям, столь важным в эту минуту, Жак взял его за ворот и поставил на ноги. Тут он увидел, что в беднягу попало ядро. Он умер, можно сказать, не переварив раскаленного железа.

Жаку не оставалось ничего другого, как, в свою очередь, нагнуться к пушке, поправить прицел и скомандовать: «Огонь!» Пушка громыхнула, и, поскольку Жаку не терпелось узнать, каков результат его вмешательства, он вскочил на бортовую сетку взглянуть, какой ущерб нанес противнику его выстрел.

Ущерб был сокрушительным. Фок-мачта, срезанная немного выше большой стеньги, согнулась, как дерево под ветром, потом со страшным треском упала, завалив палубу парусами и такелажем и сломав надводную часть правого борта.

На борту «Калипсо» раздался крик радости. Фрегат резко остановился, опустив в море сломанное крыло, в то время как шхуна, целая и невредимая, если не считать несколько порванных канатов, продолжала свой путь, освободившись от преследования врага.

Когда опасность миновала, первой заботой капитана было назначить Жака своим помощником на место Ребара; впрочем, все корсары считали, что, если эта должность освободится, она должна быть предоставлена ему. Когда объявили о его назначении, раздались приветственные возгласы.

Вечером состоялось отпевание убитых. Трупы матросов к тому времени уже были сброшены за борт, только первому помощнику капитана были оказаны почести; его зашили в сетку, привязав к каждой ноге по ядру. Церемония была выполнена точно, и бедный Ребар присоединился к мертвецам, сохранив для себя скромное преимущество — опуститься в самую глубину моря, вместо того, чтобы плавать на его поверхности.

Вечером капитан Бертран воспользовался темнотой, чтобы изменить направление; и благодаря перемене ветра возвратился в Брест, в то время как «Лейстер», заменив сломанную мачту запасной, гнался за «Калипсо», взяв курс на Зеленый мыс.

Все это резко ухудшило настроение капитана Маррея, и он поклялся, что, если когда-нибудь ему под руку подвернется «Калипсо», она не улизнет так легко, как ей удалось это теперь.

Устранив повреждения «Калипсо», капитан Бертран снова ушел в море; с помощью Жака он творил чудеса. К несчастью, наступило сражение при Ватерлоо, после Ватерлоо — второе отречение, и после второго отречения — мир. На этот раз не приходилось сомневаться ни в чем. Капитан видел, как пронесся на борту «Беллеро-

фона» пленник Европы. Бертран бывал на острове Святой Елены, заходил туда дважды, он сразу понял, что сбежать отсюда не так легко, как с Эльбы.

Будущее Бертрана оказалось весьма ненадежным в этой огромной катастрофе, разрушившей столько судеб. Ему было нужно заняться другим делом: владелец отличного корвета, экипаж которого составляли сто пятьдесят смелых моряков, готовых разделить его судьбу, он задумал заняться торговлей невольниками.

Это было выгодное дело, пока его не подорвали философские разглагольствования, и те, кто принялся за это дело, могли сколотить хорошее состояние. Война, которая в Европе временами прекращается, в Африке длится вечно; там всегда находятся жаждущие племена, и поскольку жители этой прекрасной страны убедились раз и навсегда, что вернейший способ раздобыть водки, — это захватить побольше пленников, то в те времена довольно было пройтись по землям Сенегала, Конго, Мозамбика и Занзибара, имея по бутылке коньяка в каждой руке, чтобы привести с собой на корабль пару негров. Если не хватало пленных — матери готовы были за стаканчик водки отдать свое дитя; правда, мелюзга шла по дешевке, но если малышей набрать побольше, то и они приносили барыш.

Капитан Бертран вел выгодную торговлю неграми в течение пяти лет, надеясь заниматься этим делом всю жизнь, но вдруг случилось иное. Однажды он плыл по Рыбной реке, находящейся на Западном берегу Африки, вместе с вождем готтентотов. Вождь должен был выдать ему за две бочки рома партию намакуанов — негров высокого роста. Этих негров он собирался продать на Мартинике и в Гваделупе. В пути он случайно наступил на хвост гревшейся на солнце бокейры. Хвост этих пресмыкающихся настолько чувствителен, что природа наделила его множеством колокольчиков, чтобы путник, предупрежденный их звуком, не наступил змее на хвост. Гремучая змея молниеносно выпрямилась и ужалила Бертрана в руку. Капитан, хоть и был вынослив, вскрикнул. Вождь готтентотов обернулся, увидел, что случилось, и поучительно сказал:

— Ужаленный человек — мертвый человек.

— Знаю, черт побери, потому и кричу, — ответил капитан. Затем, то ли для удовлетворения мести, то ли не желая, чтобы змея еще кого-нибудь ужалила, он крепко ухватил бокейру мощными руками и удушил ее. Но

силы тут же оставили хребца, и он упал мертвым вместе со змеей.

Все это произошло столь внезапно, что, когда Жак, шедший за капитаном на расстоянии двадцати пяти шагов, подошел к нему, тот был уже зеленый, как ящерица. Он хотел что-то сказать, но едва смог пробормотать несколько бессвязных слов и испустил дух. Десять минут спустя его тело было испещрено черными и желтыми пятнами, словно какой-то ядовитый гриб.

Нечего было и думать перенести тело капитана на борт «Калипсо», так быстро оно разлагалось вследствие сильного воздействия змеиного яда. Жак и двенадцать сопровождающих его матросов вырыли могилу, положили в нее капитана и навалили на него все камни, какие только могли найти в окрестностях, чтобы по возможности предохранить его от гиен и шакалов. Что до гремучей змеи, то ее взял себе один из матросов, вспомнив, что его дядя, аптекарь из Бреста, просил его привезти ему гремучую змею, живую или мертвую; он поместит ее в банку у входа в аптеку, между двумя сосудами с красной и синей водой.

У коммерсантов существует пословица: «Дело прежде всего». Так и произошло между вождем готтентотов и Жаком; это несчастье не помешало осуществить условленную сделку. Жак отправился в соседний поселок взять полсотни проданных намакуанов, а вождь готтентотов прибыл на бригантину за двумя бочками рома. Совершив этот обмен, оба коммерсанта расстались довольные друг другом, обещав не прерывать торговых связей.

В тот же вечер Жак собрал на палубе всех матросов, от боцмана до юнги. И, после краткой, но яркой речи о бесчисленных добродетелях, присущих капитану Бертрану, предложил экипажу два выхода: либо продать весь груз, заполнявший корабль, а выручку разделить поровну и разойтись в разные стороны на поиски счастья, либо избрать нового капитана с тем, чтобы продолжать торговлю фирмы «Калипсо» и компания. Жак объявил, что, хотя он занимает должность помощника капитана, он заранее готов подчиниться общему решению команды и первым признает нового капитана, кого бы матросы ни выбрали. Жака тут же дружно выбрали капитаном безо всякого голосования.

Капитан назначил своим первым помощником смелого бретонца родом из Лориана, которого (намекая на ис-

ключительную твердость его черепа) все называли боцман Железный Лоб.

В тот же вечер «Калипсо», более легкомысленная, чем нимфа, имя которой она носила, направилась к Антильским островам, уже утешенная: лишившись одного хозяина, она обрела другого, далеко не худшего. Покойный был одним из тех старых морских волков, которые делают все по старинке, а не по наитию. Не таков был Жак, он всегда действовал с учетом обстоятельств, обладал универсальными знаниями в области мореплавания; в битве или во время бури он командовал не хуже любого адмирала, но при случае умел завязать узел не хуже хорошего юнги. С Жаком экипаж не имел времени для отдыха, зато никогда и не знал скуки. С каждым днем улучшалось распределение обязанностей матросов и оснастка судна. Жак обожал «Калипсо», как можно обождать любовницу; поэтому он вечно думал о том, как бы получить ее нарядить. Он то менял форму лиселя, то упрощал движение реи. И кокетливая «Калипсо» слушалась своего нового господина так, как она не слушалась еще никого, она оживлялась, слыша его голос, наклонялась и выпрямлялась под его рукой, бросалась вперед под его командой, как лошадь, чувствующая шпоры, так что Жак и «Калипсо», казалось, были созданы друг для друга, и никому и в голову не приходило, что они могут жить один без другого.

Если бы не грустные воспоминания об отце и брате, Жак был бы самым счастливым человеком на земле и на море. Он был не из тех падких на наживу торгашей, что из-за своей жадности теряют половину прибыли и для которых злодейство обращается в привычку и становится развлечением. Нет, он был расчетливым коммерсантом, проявляющим заботу о своих кафрах, готтентотах, о своих сенегальцах и мозамбикцах, он бережно обращался с ними, как если бы это были мешки с сахаром, ящики с ромом или пачки хлопка. Их хорошо кормили, они спали на соломе, два раза в день выходили на палубу подышать воздухом. Цепи предназначались только для бунтовщиков; как правило, на «Калипсо» продавали мужей вместе с женами и детей вместе с матерями, что было в те времена неслыханной мягкостью. Собратья Жака так поступали редко. Его негры переходили к другому хозяину здоровыми и веселыми, благодаря чему капитан «Калипсо» всегда сбывал их по высокой цене.

Само собой разумеется, что Жак нигде не останавливался на столь продолжительное время, чтобы там могла возникнуть серьезная привязанность. Так как у него было вдоволь золота и серебра, он имел большой успех у красавиц-креолок с Ямайки, Гваделупы и Кубы, и они охотно строили ему глазки; бывало даже, что их отцы, не зная, что Жак мулат, и принимая его за честного европейского работаровца, заговаривали с ним о женитбе. Но у Жака были свои взгляды на любовь. Он еще в коллеже хорошо выучил мифологию и священную историю, знал притчу о Геркулесе и Омфале, а также о Самсоне и Далиле. Поэтому он решил, что у него не будет другой жены, кроме «Калипсо». Что до любовниц, то их, слава Богу, ему хватало — черные, красные, желтые и шоколадные, смотря по тому, где он брал груз — в Конго, Флориде, в Бенгалии или на Мадагаскаре. В каждое путешествие он брал с собой новую, а прибыв на место, отдавал ее какому-нибудь приятелю, если был уверен, что тот будет хорошо с ней обращаться. У него было правило: никогда не оставлять себе одну и ту же надолго, какого бы цвета она ни была, из боязни, что она приобретет власть над его душой, потому что нужно сказать, что больше всего на свете Жак любил свою свободу.

Добавим, что у Жака было множество других удовольствий. Как все креолы, он был чувственным человеком. Все великое в природе радовало его душу, а не производило впечатление на его разум. Ему нравилась безграничность, но не потому, что безграничность обращает наши мысли к Богу, а потому, что, чем больше простора, тем легче дышится; ему нравились звезды не потому, что он видел в них целые миры, движущиеся в пространстве, а потому, что ему приятно было иметь над головой лазоревый свод, вышитый бриллиантами; ему нравились леса с высокими деревьями не потому, что в их глубине слышатся таинственные и поэтические голоса, но потому, что их переплетенные ветви образуют тень, сквозь которую не могут проникнуть лучи солнца.

Что касается его мнения о своем занятии, то он полагал, что оно вполне законно. Всю жизнь он видел, как продают и покупают негров, поэтому в сознании его создалось представление, что негры для того и существуют, чтобы их продавали и покупали. А имеет ли человек право торговать себе подобными — такой вопрос никог-

да не возникал перед Жаком: он покупал и платил, значит, вещь принадлежала ему, и поскольку он заплатил за нее, он имел право ее продать. Но Жак никогда не следовал примеру своих собратьев, которые сами охотились за неграми: он счел бы отвратительной несправедливостью силой или хитростью завладеть свободным существом, чтобы превратить его в раба, но если это свободное существо стало рабом по не зависящим от Жака обстоятельствам, он не видел никаких препятствий к тому, чтобы купить его у владельца.

Итак, понятно, что Жак вел приятную жизнь, тем более приятную, что время от времени она прерывалась днями битв. Так было еще при капитане Бертроне; торговля неграми была запрещена конгрессом правителей, которые, вероятно, считали, что она мешает торговле белыми; поэтому иногда случалось, что суда, интересующиеся тем, что их не касалось, обязательно хотели знать, что делает «Калипсо» у берегов Сенегалии или в Индийских морях. Тогда, если капитан Жак был в хорошем настроении, он начинал дразнить слишком любопытное судно, показывая флаги всех цветов; потом, когда ему надоедала эта игра в шарады, он поднимал свой собственный флаг: три головы негров на красном фоне. Тогда «Калипсо» обращалась в бегство, тут-то и начинался праздник.

Кроме двадцати пушек, помещавшихся в орудийных люках, «Калипсо», специально для таких случаев, имела на корме две тридцатидюймовые пушки, дальнобойность которых превышала дальнобойность таких же пушек на обычных судах; к тому же, так как «Калипсо» был замечательным парусником, подчинявшимся малейшему движению пальца или глаза своего хозяина, на мачтах поднимали ровно столько парусов, сколько нужно было, чтобы держать преследующее ее судно на расстоянии дальнобойности этих двух орудий. В результате вражеские ядра тонули в море позади «Калипсо», не достигая ее, в то время как каждое из ее ядер,— а Жак, разумеется, не забыл свое ремесло наводчика,— без промаха поражало защитника негров от носа до кормы. Это продолжалось до тех пор, пока Жаку не надоедало «играть в кегли», потом, когда он видел, что дерзкое судно достаточно наказано за свою дерзость, он добавлял к уже развернутым парусам еще несколько, в том числе своего изобретения, посылал своему партнеру пару ядер в знак прощания и, скользя по морю, как запоз-

давшая птица, возвращающаяся в свое гнездо, исчезал за горизонтом, оставив враждебный корабль заделывать свои дыры, чинить снасти, связывать канаты.

Легко понять, что из-за таких проделок вход в порты представлял для Жака некоторые трудности. Но «Калипсо» была такая кокетка, которая умела вести себя по-разному и даже изменять лицо соответственно обстоятельствам. Иногда она называлась женским именем «Красавица Джени» или «Юная Олимпия» и принимала наивный вид, такой наивный, что на нее приятно было смотреть. При этом она говорила в Кантоне, что явилась за чаем, в Моке — за кофе, а на Цейлоне — за пряностями. Она показывала образцы своего груза, брала заказы, принимала на борт пассажиров. Капитан Жак был славным бретонцем с длинными волосами, в широкой куртке, в большой шляпе, — словом, он надевал одежду покойного Бертрана. А иногда «Калипсо» меняла пол, называлась «Сфинксом» или «Леонидом», ее матросы наряжались во французскую форму, и она становилась на рейд, подняв белый флаг, любезно приветствуя форт, так же любезно ей отвечавший. Тогда ее капитан превращался в старого морского волка, ворчал, ругался, говорил только на морском жаргоне и не понимал, для чего нужна земля, разве для того, чтобы время от времени сделать запас пресной воды или посушить рыбу. Иногда, согласно своему капризу, он принимал вид красивого щеголеватого офицера, только что окончившего училище; правительство, чтобы вознаградить заслуги его предков, назначило его командиром этого корабля, — место, которого добивались десятки опытных офицеров. В этих случаях капитана звали месье де Кергуран или месье де Шан-Флери, он был близорук, шурился и картавил. Где-нибудь во французском или английском порту эту игру очень быстро разоблачили бы, но на Кубе или на Мартинике, на Гваделупе или на Яве она имела огромный успех.

Что же касается помещения доходов, которые приносила его торговля, то для Жака это было самое простое дело. Он ничего не понимал в биржевой игре и в учете векселей, поэтому в обмен на свое золото и ценные бумаги он брал в Визапуре и в Гузапате самые лучшие бриллианты, какие только мог там найти, так что в конце концов стал разбираться в качестве алмазов почти так же хорошо, как и в достоинствах негров. Вновь приобретенные камни он клал вместе с уже имеющимися в пояс, ко-

торый обычно носил на себе. Если у него кончались деньги, он шарил у себя в поясе и извлекал оттуда бриллиант величиной с горошину или алмаз величиной с орех. Затем он шел к какому-нибудь еврею, взвешивал у него этот камень и уступал по существующей цене. Потом, подобно Клеопатре, которая пила жемчуга, подаренные ей Антонием, он пропивал и проедал свой алмаз, но только в противоположность египетской царице ему обычно хватало не на один обед.

Благодаря такой экономической системе, Жак всегда носил при себе ценности стоимостью в два или три миллиона, которые в случае надобности легко было спрятать, так как они помещались на ладони. Жак не скрывал от себя, что у его ремесла есть и хорошие, и плохие стороны, что не весь его путь устлан розами, что после счастливых лет может наступить и день неудачи.

Но, покуда этот день не настал, Жак вел привольную жизнь и не променял бы ее на королевскую, тем более что в те времена королям приходилось несладко. Наш искатель приключений был бы совершенно счастлив, если б, как мы уже упоминали, не тоска об отце и Жорже. Наконец в один прекрасный день он не вытерпел и, взяв на борт груз в Сенегале и в Конго, догрузив корабль у берегов Мозамбика и Занзибара, решил пройти до Маврикия и узнать, не уехал ли отец с острова, и не вернулся ли домой брат. Приближаясь к берегу, он подал сигнал, условленный между работорговцами, и на его сигнал ответили. По счастливой случайности сигналами обменялись отец с сыном; таким образом, Жак не только оказался на родном берегу, но и попал прямо в объятия тех, ради кого приехал.

XV

ЛАРЕЦ ПАНДОРЫ ¹

Большим счастьем для отца и братьев, которые столь долго не виделись, было встретиться именно в тот момент, когда они меньше всего этого ожидали. И все же

¹ Пандора — женщина, созданная Гефестом по воле Зевса, который отдал ее замуж за брата Прометея Эпиметея. Зевс подарил Эпиметею сосуд, в котором были заключены все людские пороки и бедствия. Любопытная Пандора открыла сосуд и выпустила на волю бедствия, от которых с тех пор страдает человечество. На дне сосуда осталась лишь одна Надежда.

Жорж, получивший европейское образование, сожалел, что его брат занимается торговлей человеческими душами, но это чувство вскоре рассеялось. Что касается Пьера Мюнье, который никогда не покидал острова, а, следовательно, смотрел на все с точки зрения принятой в колониях этики, то он не обратил на это внимания; впрочем, любящий отец был всецело поглощен неожиданным счастьем увидеть своих детей.

Ничто не мешало Жаку прийти ночевать в Моку. Он, Жорж и их отец не расставались до глубокой ночи. Во время откровенного разговора каждый поведал все, что было у него на душе. Пьер Мюнье излил переполнявшую его радость. Он не чувствовал ничего, кроме отцовской любви. Жак рассказал о своей счастливой, полной приключений жизни, о различных развлечениях. Потом настала очередь Жоржа, он рассказал о своей любви.

Пьер Мюнье слушал этот рассказ с душевным волнением. Жорж, мулат, сын мулата, любил белую и, признаваясь в этой любви, заявлял, что девушка будет принадлежать ему. Такая смелость в колониях считалась неслыханной, беспримерной дерзостью и, по мнению отца, должна была навлечь на того, в чьем сердце она зажглась, всю боль земли и весь небесный гнев.

А Жак прекрасно понимал, что Жорж может любить белую женщину, хотя он сам решительно предпочитал негритянок. Но Жак был настроен слишком философски, чтобы не понимать и не уважать чужие вкусы. К тому же он считал, что Жорж, такой красавец, богач, во всем превосходящий других мужчин, мог претендовать на руку белой женщины, будь то даже Алина, царица Голконды¹!

Во всяком случае, он изложил Жоржу свой план действий, который очень упрощал дело: в случае отказа господина де Мальмеди Жак предлагал похитить Сару и отвезти ее в какое-нибудь место на земле, по выбору Жоржа, где тот мог присоединиться к ней. Жорж поблагодарил брата за его любезное предложение, но, так как у него в то время был намечен другой план, отказался.

На следующий день обитатели Моки сошлись чуть ли не на рассвете, столько им нужно было поведать друг

¹ Голконда — государство в Индии в XVI—XVII вв. Славилось ткачеством и другими ремеслами, добычей алмазов.

другу из того, что они не успели рассказать накануне. Около одиннадцати часов Жаку захотелось увидеть те места, где протекало его детство, и он предложил отцу и брату совершить прогулку, чтобы вместе вспомнить прошлое. Старик Мюнье согласился, но Жорж, как мы помним, ожидал новостей из города, поэтому ему пришлось отпустить их вдвоем и остаться в доме, где он назначил свидание Мико-Мико.

Полчаса спустя появился посланник Жоржа, он нес свой длинный бамбуковый шест с двумя корзинами, как обычно, когда занимался торговлей в городе; предусмотрительный продавец полагал, что, возможно, ему по дороге встретится какой-нибудь любитель китайских изделий. Несмотря на умение владеть собой, обретенное с таким трудом, Жорж открыл дверь с сердечным волнением, потому что китаец встречался с Сарой и сейчас должен был рассказать об этой встрече.

Как и следовало ожидать, все прошло как нельзя лучше. Мико-Мико воспользовался привилегией свободно входить в дом господина де Мальмеди. Он знал Бижу, Бижу видел, как его хозяйка покупала у китайца веер, и провел его прямо к Саре.

Увидев Мико-Мико, Сара была потрясена, она вспомнила о Жорже; поспешила принять китайца, сожалея лишь о том, что принуждена объясняться с ним только знаками. Мико-Мико вытащил из кармана карточку Жоржа, — на ней он своей рукой написал цены различных товаров. Мико-Мико надеялся, что они понравятся Саре. Он подал эту карточку девушке, повернув той стороной, где было написано имя Жоржа.

Сара невольно покраснела и быстро перевернула карточку. Было очевидно, что Жорж, не имея возможности ее увидеть, применил этот способ напомнить о себе. Не торгуясь, она купила все вещицы, цена которых была обозначена на карточке, и, так как продавец не просил вернуть ему карточку, она оставила ее себе.

Когда Мико-Мико выходил от Сары, его остановил Анри. Он тоже позвал китайца к себе, чтобы посмотреть его товар. Анри ничего не купил, но он дал понять Мико-Мико, что собирается скоро жениться на кузине и ему понадобятся самые прелестные безделушки, какие только сможет ему достать китаец.

Этот визит к девушке и ее кузину позволил Мико-Мико подробно рассмотреть дом. А так как среди шишек, украшавших голый череп Мико-Мико, больше всех

выделялась шишка памяти, он прекрасно запомнил внутреннее расположение дома господина де Мальмеди.

Дом имел три выхода: один — на мост, ведущий через ручей в парк Компании; другой, с противоположной стороны, — на аллею, сообщающуюся с Губернаторской улицей; и третий, боковой, — на Театральную улицу.

Пройдя в дом через главный вход, то есть с моста из парка, попадаешь на большой квадратный двор, где растут манговые деревья и китайская сирень, укрывающие своей тенью главное помещение, куда входят через дверь, расположенную против уличной калитки; на первом плане справа от калитки расположены хижины негров, слева — конюшни. Далее, на втором плане, направо — в тени великолепного драконова дерева приютился павильон, напротив которого находится второе строение, также предназначенное для рабов. Наконец, на третьем плане, слева — боковой вход, ведущий на Театральную улицу, и справа — проход, соединенный лестницей, с переулком, заросшим деревьями и образующим террасу, примыкающую другой стороной к театру.

Таким образом, если вы внимательно следите за нашим описанием, вы понимаете, что павильон отделен от главного помещения проходом. И, поскольку этот павильон — любимое убежище Сары, где она проводит большую часть времени, позвольте сказать о нем еще несколько слов.

Из четырех стен павильона видны только три, а четвертая примыкает к негритянским хижинам. Первая из видимых стен выходит на двор, где растут манговые деревья, китайская сирень и драконово дерево; другая — на проход, ведущий к лесенке; наконец, третья — на большой склад древесины, почти пустынный, заключенный между ручьем, текущим параллельно главному фасаду дома, и переулком, возвышающимся над складом примерно на дюжину футов. К переулку прилепились два-три дома, пологие крыши которых открывают легкий доступ из переулка на склад тому, кто вздумал бы проникнуть туда незамеченным.

В павильоне три окна и дверь, ведущая, как мы упоминали, во двор. Одно окно — рядом с дверью, другое выходит в проход и третье — на склад.

Во время рассказа Мико-Мико Жорж часто улыбался, но каждый раз выражение лица его менялось. В первый раз он улыбнулся, когда его посланник сказал ему,

что Сара оставила себе карточку; затем, когда он говорил о том, что Анри женится на своей кузине, и, наконец, когда он сообщил, что в павильон можно попасть через окно, выходящее на террасу.

Жорж положил перед Мико-Мико карандаш и бумагу, и, в то время, как торговец чертил план дома, он взял перо и принялся писать письмо.

Письмо и план дома были закончены одновременно.

Тогда Жорж встал и пошел в свою спальню, откуда принес восхитительную шкатулку работы Буля, достойную принадлежать мадам де Помпадур¹. Он положил в нее только что написанное письмо, запер шкатулку на ключ, передал шкатулку и ключ Мико-Мико, сопроводив их своими наставлениями, после чего Мико-Мико опять получил монету за новое поручение, которое он сейчас должен был выполнить. Приведя свой бамбуковый шест в равновесие на плече, китаец отправился в город с той же скоростью, с какой пришел оттуда.

Не успел Мико-Мико исчезнуть в конце аллеи, ведущей на плантацию, как через заднюю дверь вошли Жак с отцом. Жорж, собиравшийся догнать их по дороге, удивился их внезапному возвращению. Оказалось, что Жак увидел в небе признаки, предвещающие близкий ураган, и хотя он полностью доверял боцману Железный Лоб, своему помощнику, но слишком велика была его любовь к «Калипсо», чтобы передоверить другому заботу о ее сохранности в столь грозных обстоятельствах. Жак вернулся, чтобы проститься с братом. С вершины горы Пус, куда он поднялся, желая убедиться, что его шхуна на месте, он увидел, что «Калипсо» дрейфует примерно в двух лье от берега, и подал условный сигнал помощнику, сообщив, что намерен вернуться на борт. Сигнал был принят, и Жак не сомневался, что через два часа за ним придет баркас, доставивший его на берег.

Мюнье, несчастный отец, делал все возможное, чтобы удержать сына при себе, но Жак сказал ему ласково и твердо: «Дорогой отец, это невозможно», — и тот понял, что сын непоколебим в своем решении, и больше не настаивал на своем.

Что касается Жоржа, то он настолько хорошо понимал, почему Жак торопится на свой корабль, что даже не отговаривал его. Он только сказал брату, что вместе

¹ Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон (1721—1764) — фаворитка французского короля Людовика XV.

с отцом проводит его до перевала Питербоот, чтобы проследить, как он доберется до корабля.

Таким образом, они отправились втроем по тропам, известным лишь охотникам, до истока Тыквенной реки. Там Жак простился со своими близкими, у которых пробыл так недолго, но торжественно обещал им скоро вернуться.

Часом позже баркас отчалил, увозя Жака, верного своей любви к кораблю и полного решимости спасти «Калипсо» или погибнуть вместе с нею.

Едва Жак ступил на палубу, как дрейфующая шхуна взяла курс на Песочный остров и на полной скорости пошла к северу.

Тем временем небеса и море приобрели устрашающий вид. Море стонало, и на глазах подымалось, хотя час прилива еще не настал. Небо, словно соперничая с океаном, катило валы облаков, стремительно летящих и рвущихся в клочья под порывами ветра, то и дело меняющего направление с вест-зюйд-веста на зюйд-вест и зюйд-зюйд-вест. Все эти приметы могли показаться предвестниками обычной бури кому угодно, но только не моряку. Подобные явления случались не раз в году и не всегда разрешались стихийным бедствием. Но, воротясь домой, Жорж с отцом убедились в прозорливости Жака. Ртуть в барометре упала до отметки двадцать восемь.

Пьер Мюнье тут же велел управляющему срезать стебли маниока, чтобы спасти хотя бы корни — иначе большая часть растений будет вырвана из земли и унесена ветром.

Жорж, со своей стороны, приказал Али оседлать к восьми часам Антрима. Услышав это, Пьер Мюнье содрогнулся.

— Для чего ты велишь седлать коня? — с ужасом спросил он сына.

— В десять часов я должен быть в городе, отец, — ответил Жорж.

— Но это невозможно! — вскричал отец.

— Это необходимо, — возразил сын. И в его голосе, как раньше в голосе Жака, отец почувствовал такую непреклонность, что только вздохнул и поник головой, не смея настаивать.

В этот миг Мико-Мико выполнял поручение Жоржа.

Едва лишь прибыв в Пор-Луи, он направился к до-

му господина де Мальмеди, куда благодаря заказу Анри мог входить беспрепятственно. Он вошел туда тем более уверенно, что, проходя через порт, увидел там господ де Мальмеди, отца и сына — они смотрели на суда, стоявшие на якоре, капитаны которых, в ожидании шквала, велели закрепить их на двойные швартовы. Поэтому он вошел в дом, не боясь, что кто-нибудь помешает ему в его намерении, и Бижу, который еще сегодня утром видел Мико-Мико, совещавшегося с молодым хозяином и с той, которую он заранее считал своей молодой хозяйкой, снова повел китайца к Саре, по своему обыкновению находившейся в павильоне.

Как и предвидел Жорж, среди новых предметов, которые торговец предложил любопытству юной креолки, прелестная шкатулка сразу привлекла ее внимание. Сара взяла ларец, осмотрела со всех сторон и, полюбовавшись внешним видом, захотела посмотреть, как он выглядит внутри, и спросила ключ, чтобы открыть его; тогда Мико-Мико, пошарив в карманах, знаками показал, что ключа у него нет и что он, быть может, забыл его дома, сейчас пойдет за ним, и тут же вышел оставив Сару шкатулку.

Десять минут спустя, в то время как девушка с любопытством вертела в руках чудесный ларец, появился Бижу и подал ей ключ, который Мико-Мико послал с негром.

Для Сары было безразлично, каким образом ключ попал к ней; она взяла ключ из рук Бижу, который поспешно вышел из комнаты, чтобы закрыть все ставни в доме: ураган приближался. Оставшись одна, Сара поспешила открыть ларец.

В ларце, как нам известно, был только листок бумаги, сложенный вчетверо и даже не запечатанный.

Жорж все предусмотрел и рассчитал.

Важно, чтобы Сара была одна в тот момент, когда найдет это послание. Оно не должно быть запечатано, чтобы Сара не смогла вернуть письмо, заявив, что она возвращает его, не прочитав.

Она секунду колебалась, но, поняв, откуда пришло письмо, движимая любопытством, любовью и самыми разнообразными оттенками чувств, столь властных над девичьим сердцем, она не могла побороть желания узнать, что писал ей Жорж, и, взволнованная, зардевшаяся, взяла записку и прочла:

«Сара!

Нет надобности говорить вам, что люблю вас, вы это знаете; мечтой моей жизни была подруга, такая, как вы. В жизни бывают столь исключительные обстоятельства и столь напряженные моменты, когда все общественные условности исчезают перед настоятельной необходимостью.

Сара, вы меня любите?

Подумайте, какой будет ваша жизнь с Анри! Представьте себе, какой она будет со мной.

С ним — уважение общества.

Со мной — позор, вызванный общественным предрассудком.

Но ведь я люблю вас, повторяю, больше, чем кто-либо другой, и буду всегда любить.

Мне известно, что господин де Мальмеди спешит стать вашим мужем: потому нельзя терять время. Вы свободны. С открытым сердцем выбирайте между Анри и мною.

Ответ ваш будет для меня такой же святыней, как повеление моей матери. Сегодня в десять вечера буду в павильоне.

Жорж».

Сара с испугом посмотрела вокруг. Ей казалось, что она сейчас увидит Жоржа.

В этот момент дверь отворилась, и вместо Жоржа явился Анри; она спрятала письмо на груди.

Вообще Анри, как мы видели, всегда попадал впро�ак, когда дело касалось кухни. На этот раз он опять выбрал неблагоприятный момент, явившись к ней, когда она была всецело поглощена другим.

— Простите меня, милая Сара,— сказал Анри,— я вошел, не предупредив вас, но при наших отношениях, когда мы через две недели станем мужем и женой, мне кажется, что бы вы ни говорили, что такое поведение оправданно. Я пришел сказать вам: если в саду есть цветы, которыми вы дорожите, лучше их внести в дом.

— Почему? — спросила Сара.

— Разве вы не видите, что приближается ураган и что для цветов, как и для людей, лучше оставаться дома?

— О Боже,— вскричала Сара, думая о Жорже,— значит, следует опасаться?

— Нам, поскольку у нас дом прочный,— нет,— ответил Анри,— но беднякам, живущим в хижинах, или тем,

кто окажется на дороге,— да, признаться, я не хотел бы быть на их месте.

— Вы так думаете, Анри?

— Черт возьми! Конечно, думаю. Разве вы не слышите?

— Что?

— Да кипарисы в саду...

— Да, да, они стонут, и это признак бури, правда?

— И посмотрите на небо, оно все в тучах... Так вот, повторяю вам, Сара, если у вас есть цветы, которые надо внести в дом, то не теряйте времени; а я пойду запру своих собак.

И Анри вышел, чтобы укрыть своих собак от бури.

В самом деле, ночь наступила с необыкновенной быстротой, небо покрылось громадными черными тучами, время от времени налетали порывы ветра, от которых сотрясался дом, потом наступал покой, но этот покой был похож на агонию задыхающейся природы. Сара посмотрела на двор и увидела, что манговые деревья дрожат, словно они способны чувствовать и предвидят борьбу, которая начнется между ветром, землей и небом, а китайская сирень печально опускает свои цветы к земле. При виде этого девушку охватил ужас; она сложила руки и прошептала:

— О, Боже мой, Господи! Спаси его.

В этот момент Сара услышала голос своего дяди, который звал ее. Она открыла дверь.

— Сара, дитя мое,— сказал господин де Мальмеди,— Сара, идите сюда, вам не безопасно в павильоне.

— Иду, дядя,— сказала девушка, запирая дверь и унося с собой ключ — она боялась, что кто-нибудь войдет туда в ее отсутствие. Но вместо того, чтобы присоединиться к Анри и его отцу, Сара вернулась к себе в спальню. Минуту спустя господин де Мальмеди пришел посмотреть, что она там делает. Она стояла на коленях перед распятием у подножия своей кровати.

— Что же вы здесь делаете вместо того, чтобы пить чай с нами?

— Дядя,— ответила Сара,— я молюсь за путешественников.

— Ах, Господи,— сказал господин де Мальмеди,— я уверен, что на всем острове не найдется такого безумца, чтобы пуститься в путь в подобную погоду.

— Дай-то Бог, дядюшка,— сказала Сара.

И она продолжала молиться.

В самом деле, сомнения не было, и событие, которое предсказал Жак со своим верным чутьем моряка, вот-вот должно было осуществиться: один из этих ужасных ураганов, гроза колоний, надвигался на Иль де Франс.

Ночь, как мы уже сказали, наступила с устрашающей быстротой, но молнии сверкали так часто и так ярко, что темноту почти заменял голубоватый мертвенный свет, придававший всем предметам призрачные цвета тех исчезнувших миров, которые Байрон заставил посетить Каина¹ в сопровождении Сатаны. Каждый из коротких промежутков, когда молнии то и дело перемежали мрак, царящий над землей, был заполнен тяжелым грохотом грома, который зарождался за горами, казалось, скатывался по их склонам, поднимался над городом и терялся далеко за горизонтом. Потом широкие и мощные порывы ветра следовали за молнией, возникавшей в разных местах, и проносились, в свою очередь, сгибая, как тонкие прутья, самые мощные деревья, которые выпрямлялись медленно и боязливо, жаловались и стонали под новыми, еще более сильными порывами.

В самом центре острова, в особенности в районе Мокка и на равнинах, свирепствовал ураган, словно радуясь своему буйству. Потому Пьер Мюнье был вдвойне испуган, видя, что Жак уехал, а Жорж готов уехать, но, подчинившись необходимости, дрожа от воя ветра, бледнея от раскатов грома, вздрагивая при каждой вспышке молнии, бедный отец даже не пытался удержать Жоржа подле себя. Что до его сына, то он, казалось, мужал по мере того, как приближалась опасность; в отличие от своего отца Жорж поднимал голову при любом грозном шуме, при блеске молнии он улыбался. Он, который доныне испытывал все виды единоборства с людьми, он, словно Дон Жуан, казалось, с нетерпением ждал, когда ему придется сразиться с Богом.

Поэтому, когда настал час отъезда, с непреклонной решимостью, отличавшей его характер, Жорж подошел к отцу, протянул ему руку и, казалось, не понимая, почему дрожит рука старика, вышел таким же уверенным шагом и с таким же спокойным лицом, как если бы ничего особенного не случилось. У дверей он встретил Али,

¹ В мистерии Байрона «Каин» (акт II) Люцифер уговаривает Каина лететь вместе с ним над бездной: «И ты увидишь летопись миров прошедших, настоящих и грядущих».

который с пассивным восточным послушанием держал за уздечку оседланного Антрима. Как будто узнав свист самума или рев хамсина, скакун упирался и ржал, но, услышав знакомый голос своего всадника, он, казалось, успокоился и скосил в сторону Жоржа свой дикий глаз. Жорж погладил его и сказал ему несколько арабских слов; потом, с легкостью превосходного наездника, вскочил в седло без помощи стремян; в тот миг Али отпустил поводья, и Антрим поскакала с быстротою молнии, так что Жорж даже не увидел отца, который для того, чтобы как можно позже расстаться со своим любимым сыном, приоткрыл дверь и следил за ним глазами до тех пор, пока Жорж не исчез в конце аллеи, ведущей к дому.

Какое необычайное зрелище — всадник, мчащийся так же стремительно, как ураган, вместе с которым он рассекает пространство, словно Фауст, летящий к Брокену на адском жеребце! Все вокруг него обратилось в хаос. Кругом стоял оглушительный треск деревьев, рушащихся под ударами ветра. Вырванные из земли стебли тростника и маниока носились в воздухе, словно гигантские перья. Птицы, застигнутые ураганом во время сна и уносимые в неуправляемом полете, метались вокруг Жоржа, истошно крича; время от времени перепуганный олень со скоростью стрелы пересекал ему путь. Но Жорж был счастлив, сердце его переполняла гордость; он один сохранял хладнокровие среди всеобщей сумятицы, и хотя вокруг него все гнулось и ломалось, он мчался своим путем к цели, и ничто не заставило бы его свернуть с дороги, ничто не сломило бы его решимости.

Он ехал так в течение часа, перескакивая через стволы поваленных деревьев, через ручьи, превратившиеся в потоки, через вывороченные из земли и катящиеся по склонам гор камни; потом он увидел море, взволнованное, зеленоватое, пенистое, грохочущее, с грозным шумом бьющее о берег, как будто его больше не сдерживала рука Бога. Жорж приблизился к подножию горы Сигналов, он объехал ее основание, влекомый фантастическим бегом своего коня, пересек мост, ведущий в город, свернув направо, на улицу Кот д'Ор, пересек укрепления, спустился по улице Рамп в парк Компании, Потом, поднявшись в гору по пустынному городу, среди обломков поваленных труб, обрушенных стен, летящих черепиц, он продолжал путь по Театральной улице, затем, резко повернув направо, выехал на Губернаторскую.

Углубившись в тупик улицы, Жорж соскочил с коня, отодвинул барьер, отделяющий тупик от переулка подле дома господина де Мальмеди, закрыл за собой калитку, бросил уздечку на шею Антрима. Далее, пройдя по крышам, спускавшимся к переулку, и спрыгнув на землю, он очутился на террасе, куда выходили окна описанного нами павильона.

В это время Сара была в своей комнате; она слушала рев ветра, крестилась при каждой вспышке молнии, беспрерывно молилась, призывая бурю, надеясь, что буря не позволит Жоржу выехать из дома; дрожа, она тихонько шептала, что, если такой человек обещает что-либо, он это исполнит, пусть даже весь мир обрушится на него. Тогда она взывала к Богу, чтобы он успокоил ветер и потушил молнии; она представляла себе, что Жорж раздавлен деревом, разбился о скалу, катится по дну потока, и тогда, поняв, какую власть ее спаситель уже имеет над ней, она чувствовала, что всякое сопротивление этому влечению бесполезно, всякая борьба напрасна против любви, родившейся накануне и уже такой могущественной, что ее бедное сердце может только биться и стонать, признавая себя побежденным без борьбы.

По мере того как шло время, волнение Сары все усиливалось. Устремив взгляд на часы, она следила за движением стрелки; и голос сердца говорил ей, что с каждой минутой Жорж приближается к ней. Часы показали девять, половину десятого, без четверти десять, буря не успокаивалась, а становилась все более грозной. Дом дрожал до самого основания, и каждую секунду казалось, что ветер снесет его с фундамента. Время от времени, сквозь жалобы кипарисов, сквозь крики негров, хижины которых, менее прочные, чем дома белых, рушились от порывов урагана, как от дуновения ребенка рушится его картонный замок, слышались отчаянные гудки корабля, терпящего крушение и подающего сигналы бедствия в полной уверенности, что не в силах человеческих спасти его.

Среди всех этих разнообразных звуков, этого шума разрушений Саре показалось, что она слышит ржание лошади.

Тогда она вдруг встала, решение было принято. Человек, который среди подобных опасностей, когда самые храбрые дрожали в своих домах, приехал к ней, несмотря на вывороченные с корнем деревья, мощные потоки, зияющие пропасти, и все это только для того, чтобы ска-

зять ей: «Я люблю вас, Сара, а вы — вы любите меня?» — этот человек был действительно достоин ее. И если Жорж сделал это — Жорж, который спас ей жизнь, а теперь рисковал для нее своей жизнью, — то она принадлежала ему, а он принадлежал ей. Это уже не она сама свободно принимала решение — это была Божественная рука, направлявшая ее так, что она не могла противиться судьбе, определенной заранее. Она покорно подчинялась року.

С решительностью, обретаемой в крайних обстоятельствах, Сара вышла из своей комнаты, дошла до конца коридора, спустилась по маленькой лестнице, которая, казалось, шаталась под ее ногами, очутилась в углу квадратного двора, пошла вперед, опираясь на стену павильона, чтобы не быть опрокинутой ветром, и подошла к двери. В тот момент, когда она взяла в руки ключ, сверкнула молния, и при ее свете она увидела согнутые манговые деревья, растрепанные кусты сирени, сломанные цветы — тут она ясно представила себе состояние природы. Она подумала, что, может быть, напрасно ждать, Жорж не приедет не потому, что побойится, а потому, что погибнет; при этой мысли все затуманилось в ее сознании и Сара быстро вошла в павильон.

— Благодарю вас, Сара, — произнес голос, потрясший ее до глубины души, — благодарю вас! О, как я не ошибся: вы меня любите, Сара, о, будьте же благословенны.

И в то же время Сара почувствовала, что чья-то рука берет ее руку, чье-то сердце бьется возле ее сердца, чье-то дыхание смешивается с ее дыханием. Неведомое ощущение пробежало по всему ее телу; задыхаясь, она склонилась, как цветок на стебле, упав на плечо Жоржа в изнеможении после борьбы с собой, и могла только прошептать:

— Жорж! Жорж! Пожалейте меня!

Жорж понял этот призыв слабости к силе, целомудрия девушки к честности возлюбленного; может быть, он приехал с другой целью, но он почувствовал, что с этого часа Сара принадлежит ему, что все, что он получает от девственницы, будет отнято у супруги, и хотя сам он содрогался от любви, от желания, от счастья, он только подвел ее ближе к окну, чтобы увидеть ее при блеске молнии, и, наклонив голову к юной креолке, воскликнул:

— Сара, вы моя! Сара, не правда ли, моя на всю жизнь?

— О да! Да! На всю жизнь,— прошептала девушка.
— Ничто не разлучит нас, никогда! Только смерти!
— Только смерти!
— Вы клянетесь в этом, Сара?
— Клянусь моей матерью, Жорж!
— Хорошо! — сказал молодой человек, дрожа от радости и гордости.— С этой минуты вы моя жена, Сара, и горе тому, кто попытается отнять вас у меня!

С этими словами Жорж обнял девушку, и, боясь, что не сдержит себя перед лицом такой любви, молодости и красоты, он бросился в соседнюю комнату и затем исчез.

В этот момент раздался такой оглушительный удар грома, что Сара упала на колени. Почти сразу же дверь павильона открылась, и вошли господин де Мальмеди и Анри.

XVI

СВАТОВСТВО

Ночью ураган стих, но только на следующее утро можно было увидеть причиненные им разрушения.

Часть кораблей, находившихся в порту, потерпела значительные повреждения, остальные были снесены ураганом с места стоянки и при этом разбиты. У большинства судов были сломаны мачты, палубы опустошены так, что они стали похожи на понтоны. Два судна вместе со своими якорями были выброшены на остров Бочаров. Наконец, одно судно потонуло в порту с грузом и его не удалось спасти.

На самом острове разрушений было не меньше. Многие дома в Пор-Луи серьезно пострадали от столь ужасной катастрофы. Унесло крыши со строений, крытых дранкой, шифером, черепицей, железом, сохранились только здания с плоскими крышами и террасами, построенными по индийскому способу. К утру улицы были усеяны обломками, многие здания держались на своих фундаментах только благодаря подпоркам. Все трибуны, приготовленные на Марсовом поле для бегов, были опрокинуты. Две пушки крупного калибра, стоявшие поблизости от Большой реки, повернуло ветром, и утром все увидели, что они направлены в противоположную сторону.

Внутренняя часть острова выглядела еще плачевнее. Все, что осталось от урожая — к счастью, жатву уже

почти закончили, — было вырвано из земли, во многих местах целые арпаны леса напоминали рожь, побитую градом. Ни одно отдельно стоящее дерево не устояло против урагана, и даже тамаринды, чрезвычайно гибкие деревья, были переломаны, — такого еще никто никогда не видел.

Дом господина де Мальмеди, один из самых высоких в Пор-Луи, сильно пострадал. В какой-то момент порывы шквала были настолько сильны, что господин де Мальмеди и его сын решили укрыться в павильоне: двухэтажный, построенный целиком из камня, он был защищен террасой и почти недосыгаем для ветра. Анри побежал к своей кухне, но, увидев пустую комнату, подумал, что Сара, так же как и он сам с отцом, испуганная бурей, решила укрыться в павильоне. Они спустились и в самом деле нашли ее там. Ее присутствие объяснялось вполне естественно, ее страх не нуждался в извинении. В результате ни отец, ни сын ни на секунду не заподозрили истинной причины, по которой Сара вышла из своей комнаты, и приписали это страху, которого и сами не избежали.

К утру, как мы сказали, буря успокоилась. Но хотя почти никто не спал всю ночь, жители Пор-Луи не посмели предаться отдыху, и каждый занялся тем, что проверял ту часть убытков, понесенных городом, которая приходилась на его долю. Со своей стороны новый губернатор с утра проехал по всем улицам города и предоставил гарнизон в распоряжение горожан. В результате к вечеру следы катастрофы частично уже и исчезли.

Нужно сказать, что каждый из жителей Пор-Луи изо всех сил старался вернуть городу прежний вид. Приближался праздник Шахсей-Вахсей¹, один из самых больших праздников на Иль де Франс, и так как этот праздник, вероятно, никому не известный в Европе, тесно связан с излагаемыми событиями, мы просим у наших читателей позволения дать о нем несколько необходимых сведений.

Известно, что большая семья магометан разделяется на две части, не только различные, но даже враждебные одна другой, на суннитов и шиитов. Одна из них, к которой относятся арабы и турки, признает законными на-

¹ У шиитов наиболее популярен мухаррам. Во время этого праздника осуществляется поминовение Хусейна, внука пророка.

следниками Магомета Абу-Бекера, Омара и Османа; к другой принадлежат персы и индийские мусульмане, которые верят, что только Али, зять и министр пророка, имеет право на политическое и религиозное наследие Магомета. В течение долгих войн, происходивших между претендентами, Хуссейн, сын Али, был окружен возле города Кербелла посланными вслед за ним солдатами Омара; молодой князь и шестьдесят сопровождавших его родственников были убиты, несмотря на героическое сопротивление.

Индийские магометане каждый год отмечают этот злосчастный день, этот праздник носит название Шахсей-Вахсей, происходящее от слияния криков *Иа Хуссейн! о, Хуссейн!* которые персы повторяют хором. К тому же они изменили сам ритуал праздника, так же как и его название, смешивая не только имена, но и обряды их старинных праздников и религий.

В следующий вторник, день полнолуния, ласкары, представители индийских шиитов на Иль де Франс, должны были по своему обычаю праздновать Шахсей-Вахсей и представить колонии зрелище этой странной церемонии, которую в нынешнем году ждали с большим любопытством, чем в прошлые годы.

И в самом деле одно необычайное обстоятельство должно было послужить тому, чтобы этот праздник стал великолепнее, чем когда-либо: ласкары разделились на две группы: морские и сухопутные; их различают по цвету платья: у морских ласкаров — зеленое, у сухопутных — белое. Обычно каждая группа праздновала отдельно, с возможной для нее роскошью и пышностью, стараясь затмить своих соперников; в результате возникали ссоры, иной раз переходившие в драки. Морские ласкары, будучи беднее сухопутных, но зато храбрее их, часто мстили своим противникам за их финансовое превосходство, вооруженные палками и даже саблями, и тогда, чтобы не допустить смертельной борьбы, приходилось вмешиваться полиции.

Но в этом году, благодаря деятельному вмешательству незнакомого купца, несомненно вдохновляемого религиозным рвением, обе группы отказались от своей вражды и соединились, чтобы образовать одно целое, поэтому, как мы уже сказали, повсюду распространялись слухи, что праздник пройдет спокойнее и вместе с тем более пышно, чем в прежние годы.

Понятно, что в местах, где так мало развлечений, как на Иль де Франс, все с нетерпением ждут этого праздника, всегда любопытного для тех, кто видел его еще в детстве.

За три месяца до торжества оно служит главной темой разговоров, только и толкуют, что о пагоде, которая должна стать главным украшением праздника. Мы уже объяснили смысл этого торжества, теперь объясним, о какой пагоде идет речь.

Это пагода из бамбука, обычно состоящая из трех ярусов, поставленных друг над другом, постепенно уменьшающихся и оклеенных разноцветной бумагой. Каждый из этих четырехугольных ярусов строится в отдельном ящике, тоже четырехугольном; одну из его четырех сторон изламывают, чтобы вынуть ярус, потом переносят все три яруса в четвертый ящик, высота которого позволяет поставить их один на другой. Здесь их соединяют швами и затем, закончив общий вид пагоды, работают над отделкой. Чтобы достигнуть результата, достойного их цели, ласкары иногда за четыре месяца до праздника ищут по всей колонии наиболее умелых мастеров: индусов, китайцев, свободных негров и негров-рабов. Только вместо того, чтобы платить жалованье неграм-рабам, его платят их хозяевам.

Хотя каждому обитателю острова пришлось жалеть о нанесенных ему ураганом убытках, все с радостью узнали, что ящик, в котором находилась пагода, уже доведенная до полного совершенства, под защитой отрогов горы Пус остался невредим. Значит, в этом году на празднике будет все, что нужно. Губернатор, чтобы отметить свой приезд, добавил еще бега и с аристократической щедростью взялся за свой счет наградить победителей призами с тем условием, чтобы владельцы лошадей сами скакали на них, как это принято среди английских дворян, участников скачек.

Итак, как мы видим, все способствовало тому, чтобы удовольствие, которое все предвкушали, быстро загладило прошлые неприятности. И через день после урагана сразу начались приготовления к празднику, следовавшие за тревогой, вызванной прошедшей катастрофой.

Сара, против своего обыкновения одна, погруженная в мысли, неведомые ее близким, казалось, ничуть не интересовалась праздником, который в прошлые годы очень живо занимал юную кокетку. В самом деле, ари-

стократия Иль де Франс имела привычку в полном составе присутствовать на бегах, а также на Шахсей-Вахсей, сидя на специально построенных трибунах или в открытых колясках; в обоих случаях это предоставляло прекрасным креолкам Пор-Луи возможность показаться во всех своих роскошных нарядах. Понятно, что все удивлялись, почему Сара, которую известие о бале или каком-нибудь зрелище обычно так волновало, на этот раз оставалась безразличной к будущему торжеству. Даже голубушка Анриет, воспитавшая девушку и читавшая в ее душе, как в прозрачном хрустале, ничего не понимала в ее настроении и тоже глубоко задумалась.

Занятые важными событиями, о которых мы рассказывали, мы даже не успели упомянуть о том, что голубушка Анриет вернулась в Пор-Луи на следующий день после катастрофы. Она натерпелась страху в течение ночи, когда свирепствовал ураган, и, еще не оправившись от предшествовавших волнений, выехала с Черной реки, как только стих ветер, и днем приехала в Пор-Луи, так что уже третий день она была вместе со своей воспитанницей, непривычная озабоченность которой начала ее серьезно беспокоить.

Три дня тому назад в жизни Сары произошли разительные перемены. Когда она впервые увидела Жоржа, в ее душе запечатлелся его образ, его осанка, его голос; тогда с невольным вздохом она не раз подумала о своем обручении с Анри, на которое уже давно молчаливо согласилась. Она не могла и подозревать, что в жизни сложатся такие обстоятельства, при которых этот брак станет невозможным. Но уже со дня обеда у губернатора она почувствовала, что выйти замуж за своего кузена значило обречь себя на несчастливую жизнь. Наконец, как мы видели, наступил момент, когда это чувство превратилось у нее в убеждение, и она торжественно обещала Жоржу принадлежать только ему и никому другому. Читатель согласится, что в таких обстоятельствах было о чем подумать шестнадцатилетней девушке, и понятно, что все эти праздники и удовольствия, которые она до сих пор считала важнейшими событиями в жизни, стали казаться ей не такими уж важными.

В течение пяти дней господы де Мальмеди были встревожены: и тем, что Сара решительно отказалась танцевать с кем бы то ни было, раз уж ей запрещено танцевать с Жоржем; и тем, что она покинула бал, хотя обычно уходила последней; и тем, что она не желала отвечать,

когда кузен и дядя заговаривали с ней о свадьбе, — все это вызывало недоумение, потому они и решили сначала подготовить предстоящую свадьбу, а затем оповестить Сару. Сделать это было тем проще, что день свадьбы еще не был назначен, а Саре вскоре исполнялось шестнадцать лет, — то есть она уже была в том возрасте, когда господин де Мальмеди уже мог осуществить свои намерения, связанные с нею.

За последнее время заботы, обуревавшие каждого из обитателей дома Мальмеди, породили меж ними холодное отношение и натянутость. Они встречались обычно за обедом, затем в пять часов, во время чаепития, и в десять — за ужином.

Три дня тому назад Сара получила разрешение завтракать у себя. Этим она устраняла несколько минут неприятного общения, но оставались еще совместные встречи, которых она могла избежать только под предлогом болезни, но такой предлог не мог быть постоянным, поэтому Сара покорила необходимости и появлялась в доме в привычные часы.

Через день после урагана около пяти часов она сидела у окна в большой гостиной и занималась вышиванием, что позволяло ей не подымать глаз, в то время как Анриет приготавлила чай с удивительным прилежанием, на которое способны английские дамы, занимаясь столь важным делом, а господа де Мальмеди, находясь возле камина, разговаривали вполголоса. Вдруг дверь открылась, и Бижу объявил, что пришли лорд Уильям Маррей и господин Жорж Мюнье.

Легко понять, что каждый из присутствующих принял это сообщение по-разному. Господа де Мальмеди, думая, что они ослышались, заставили повторить только что произнесенные имена. Сара, покраснев, опустила глаза на свою работу, а мисс Анриет, которая только что открыла кран, чтобы налить кипяток в чайник, была так поражена, что, глядя по очереди на господ де Мальмеди, Сару и Бижу, не заметила, что кипяток уже наполнил чайник и потек из него на стол.

Бижу вновь, улыбаясь, произнес имена пришедших.

Господин де Мальмеди и его сын с удивлением посмотрели друг на друга, потом, чувствуя, что надо на что-то решиться, де Мальмеди сказал:

— Просите их войти.

Лорд Маррей и Жорж вошли.

Оба были в черных фраках, что означало значимость визита. Господин де Мальмеди сделал несколько шагов гостям навстречу, в то время как Сара, покраснев, встала и, склонившись в реверансе, снова села или, вернее, упала на свой стул, а мисс Анриет, заметив, что она творила, быстро закрыла кран кипятильника.

Бижу, повинаясь жесту своего хозяина, подвинул два кресла, но Жорж поклонился, знаком показав, что он будет стоять

— Сударь,— сказал губернатор, обращаясь к де Мальмеди,— Жорж Мюнье попросил меня сопровождать его к вам и поддержать просьбу, с которой он хочет к вам обратиться. Так как я искренне желал бы, чтобы его просьба была исполнена, я решил не отказывать ему, тем более что это предоставляет мне честь увидеть вас.

Губернатор поклонился, отец и сын ответили на его поклон.

— Мы так обязаны господину Жоржу Мюнье,— сказал де Мальмеди,— что будем счастливы оказать ему любую услугу.

— Если вы хотите,— ответил Жорж,— намекнуть на то, что я имел счастье спасти мадемуазель от угрожающей ей опасности, то позвольте мне сказать вам, что за это я должен быть благодарен Богу, который привел меня туда, чтобы я сделал то, что каждый сделал бы на моем месте. К тому же,— улыбаясь, добавил Жорж,— вы сейчас увидите, что мое поведение в этом случае не было лишено своекорыстия.

— Простите, сударь, но я вас не понимаю,— сказал Анри.

— Будьте спокойны,— продолжал Жорж,— вы поймете, сейчас объясню вам.

— Мы слушаем

— Дядя, мне уйти? — спросила Сара.

— Если бы я смел надеяться,— сказал Жорж, поклонившись ей,— что выраженное мною желание может повлиять на вас, мадемуазель, я, напротив, умоляю вас быть здесь.

Сара осталась. Наступило молчание, господин де Мальмеди сделал знак, что он ждет

— Сударь,— сказал Жорж совершенно спокойным голосом,— вы меня знаете, вы знаете мою семью, знае-

те мое состояние. Сейчас мне принадлежит два миллиона. Простите, что я вхожу в эти подробности.

— Однако же,— возразил Анри,— признаюсь, я не понимаю, почему все это может интересовать нас...

— Честно говоря, сказанное мною вас не касается,— продолжал Жорж, сохраняя спокойствие, в то время как Анри нервничал.— Я обратился к вашему отцу.

— Позвольте вам заметить, я не понимаю, зачем отцу эти признания.

— Сейчас поймете,— холодно возразил Жорж. И, пристально глядя на господина де Мальмеди, он продолжал: — Я пришел просить у вас руки мадемуазель Сары.

— Для кого? — спросил господин де Мальмеди.

— Для себя, сударь,— ответил Жорж.

— Для вас! — воскликнул Анри, с угрозой взглянув на мулата, но тут же сдержался.

Сара побледнела.

— Для вас? — спросил господин де Мальмеди.

— Для меня, сударь,— с поклоном ответил Жорж.

— Но вы прекрасно знаете,— воскликнул де Мальмеди,— что моя племянница предназначена моему сыну.

— А кем, сударь? — в свою очередь, спросил Жорж.

— Кем, кем! Черт возьми! Мною,— сказал де Мальмеди.

— Позвольте заметить,— продолжал Жорж,— ведь мадемуазель Сара не ваша дочь, а только ваша племянница, она не обязана повиноваться вам.

— Сударь, спор этот представляется более чем странным.

— Простите меня, я люблю мадемуазель Сару и думаю, что смогу сделать ее счастливой! Я действую соответственно совести и по велению сердца.

— Но кухня не любит вас! — вскричал Анри.

— Вы ошибаетесь, мадемуазель Сара позволила мне сказать вам, что она меня любит.

— Она! — вскричал де Мальмеди.— Это немисливо!

— Вы заблуждаетесь, дядя,— сказала Сара,— господин Мюнье говорит чистую правду.

— Как вы смеете, кухня?! — воскликнул Анри, бросившись к Саре.

Жорж рванулся к ним, но губернатор удержал его.

— Смею и повторяю вам то, в чем призналась господину Жоржу,— возразила Сара, бросив на кузена взгляд, исполненный величайшего презрения.— Он спас мне жизнь, и моя жизнь принадлежит ему. Я никогда не стану женой другого.

С этими словами она грациозно и величаво протянула Жоржу руку. Жорж почтительно коснулся поцелуем ее руки.

— Нет, не выйдет! — вскричал Анри и пригрозил мулату тростью.

Уильям Маррей успокоил Анри.

Жорж взглянул на Анри, надменно улыбаясь, затем, проводив Сару до дверей, еще раз ей поклонился. Сара присела в реверансе, подала знак голубушке Анриет, и они обе вышли.

Жорж вернулся.

— Вы больше не сомневаетесь, сударь, в том, как ко мне относится Сара. Я во второй раз осмелюсь просить вас согласиться на наш брак. Жду ответа.

— Ответа, сударь! — воскликнул господин де Мальмеди.— Вы нагло домогаетесь ответа. На что вы надеетесь?

— Я хотел бы знать, как вы относитесь к моему предложению?

— Надеюсь, вы не ожидаете ничего, кроме отказа! Ваше предложение отвергнуто! — воскликнул Анри.

— Я обращаюсь к вашему отцу, а не к вам, пусть он ответит мне, а с вами мы еще выясним отношения.

— Вот что,— заявил де Мальмеди,— решительный отказ!

— Хорошо,— заметил Жорж,— так я и думал, но я обратился к вам потому, что таков обычай.

И Жорж поклонился господину де Мальмеди с безукоризненной вежливостью, словно ничего существенного не произошло; вслед затем он обратился к Анри:

— Хочу напомнить вам, что вы уже второй раз поднимаете на меня руку: первый раз вы меня ударили саблей четырнадцать лет назад.— Жорж откинул волосы со лба и показал след от удара.— Второй раз, сегодня, вы позволили себе угрожать мне тростью.

— Ну и что! — сказал Анри.

— Я настаиваю на дуэли за нанесенные оскорбления. Вы храбры, я это знаю и надеюсь, что вы, как подобает мужчине, ответите на мой вызов.

— Вы знаете, что я не трус, но ваше мнение мне безразлично,— усмехаясь; ответил Анри,— так я отвечу на ваш вызов.

— Какой же будет ответ?

— Ваше второе требование столь же бессмысленно, как и первое. Я не собираюсь драться с мулатом.

Жорж внезапно побледнел от негодования.

— Вы твердо решили так поступить?

— Да,— ответил Анри.

— Чудесно,— продолжал Жорж.— Теперь я знаю, что мне остается делать.

И, поклонившись господам де Мальмеди, он вышел вместе с губернатором.

— Я вам предсказывал подобного рода исход,— сказал лорд Маррей, когда они вышли за дверь.

— Я сам так и предполагал, но я прибыл на остров, всецело подчиняясь своей судьбе. Я испытаю ее до конца. Я буду решительно отстаивать равные права для всех жителей острова. В этой борьбе либо я погибну, либо искореню позорный предрассудок. Тем не менее я благодарю вас, милорд.

Вслед затем Жорж раскланялся с губернатором и направился в сторону парка Компании. Лорд Маррей следил за ним, потом, когда Жорж исчез за углом улицы Рамп, он, покачав головой, произнес:

— Вот человек, который идет прямо к своей гибели, а жаль: в этом сердце есть нечто величественное.

XVII

СКАЧКИ

В следующую субботу начинали праздновать Шахсей-Вахсей; к этому дню весь город старался принарядиться и прибрать последние следы урагана. Нельзя было поверить, что за шесть дней до того город был почти что разрушен.

С утра морские и сухопутные ласкары все вместе вышли из лагеря Малабар, расположенного за городом между речкой Девы и ручьем Фанфарон. Впереди шли местные музыканты с тамбуринами, флейтами и гитарами, направляясь в Пор-Луи, чтобы осуществить так называемый сбор; оба вождя шли рядом, одетые один в зеленое, другой в белое, как того требовали правила

их религии; каждый из них нес обнаженную саблю с апельсином, надетым на ее конец. За ними шли два муллы, неся перед собой тарелки с сахаром, покрытым лепестками китайских роз, и, наконец, вслед за муллами шли в относительном порядке все индийцы, населявшие эти места.

Сбор начался с первых же домов города, потому что, соблюдая равенство, сборщики не гнушаются самыми бедными хижинами, пожертвования которых так же, как пожертвования самых богатых домов тратятся на то, чтобы сделать церемонию как можно более торжественной. Нужно сказать, что сборщики держат себя с присутствующим сахар с розовыми лепестками. В это время другие индийцы, заранее назначенные вождами подставляют тарелки, в которые хозяева кладут свои дары, потом все произносят *salam* и уходят. Похоже, что они не принимают милостыню, но приглашают людей, чуждых их религии, к символическому союзу, чтобы они по-братски разделили с ними их расходы и дары их веры.

Обычно сбор денег распространяется не только на все дома города, но и на корабли, стоящие в порту и в значительной части принадлежащие морским ласкарам. Но на этот раз сбор здесь был очень скудным, потому что большинство судов так пострадало, что их капитаны скорее сами нуждались в помощи, чем могли оказывать ее.

Однако же в то время, когда сборщики были в порту, между редутом Лабурдонэ и фортом Блан появился корабль, который был виден уже с утра; под голландским флагом, на всех парусах, он приветствовал форт, и тот отвечал на каждый его приветственный выстрел. Конечно, этот корабль был еще далеко, когда на остров налетел ураган, потому что все его снасти, все его тросы были в полном порядке, и он приближался, грациозно наклонившись, как будто рука какой-то морской богини вела его по поверхности воды. Издали с помощью подзорной трубы можно было видеть на палубе, в парадных мундирах войск короля Вильгельма, весь экипаж корабля, как будто специально явившийся в бое-

вой одежде, то есть в нарядной форме, чтобы участвовать в церемонии. Понятно, что из-за своего праздничного и радостного вида этот корабль привлек внимание обоих вождей. Как только он бросил якорь, вождь морских ласкаров сел в лодку и в сопровождении сборщиков с тарелками и еще дюжичы своих людей направился к кораблю, который вблизи оказался ничуть не хуже, чем на расстоянии.

В самом деле, если голландская опрятность, столь знаменитая в четырех частях света, заслуживает всяческой похвалы, то этот красивый корабль представлял собой плавающий храм самой опрятности; его палуба, выскобленная, вымытая, вытертая, отполированная, могла поспорить своей нарядностью с паркетом самого роскошного салона. Вся его медная отделка блестела, как золото, лестницы, сделанные из ценных пород индийского дерева, казались украшениями, а не предметами обычной необходимости. Что до оружия, то оно было похоже на роскошное оружие, предназначенное скорее для артиллерийского музея, чем для арсенала корабля.

Капитан Ван ден Брок — так звали хозяина этого прелестного судна, казалось, при виде приближающихся ласкаров понял, в чем дело, потому что вышел на лестницу, чтобы встретить их вождя, и, обменявшись с ним словами на их языке — а это доказывало, что он не в первый раз плавает в индийских морях, — положил на поднесенную ему тарелку не золотую монету, не слиток серебра, а красивый маленький алмаз, который мог стоить сотни луидоров. Извинившись, что у него нет сейчас наличных денег, он просил вождя удовольствоваться этим пожертвованием; оно настолько превосходило ожидания славного приверженца Али и так мало соответствовало обычной прижимистости соотечественников Жана де Вита¹, что вождь ласкаров сначала не посмел принять всерьез такую щедрость, и только когда капитан Ван ден Брок три или четыре раза заверил его, что алмаз действительно предназначен шиитам, к которым, как он утверждал, капитан относится с большой симпатией, вождь поблагодарил его и сам поднес ему тарелку с лепестками роз, осыпанными сахарной пудрой. Капитан изящно взял щепотку лепестков и сделал вид, что ест их, к большому удовольствию индийцев, покидавших

¹ Жан де Вит (1625—1672) — известный дипломат Голландии, занимавший должность первого министра, вел скромный образ жизни

гостеприимный корабль после множества поклонов и продолжавших свой сбор. Они рассказывали каждому встречному о своей удаче, но больше она не повторилась.

Так прошел день. Каждый скорее готовился к завтрашнему празднику, чем принимал участие в сегодняшнем, который был, так сказать, только прологом.

На следующий день должны были состояться скачки. Обычные бега проходили на Иль де Франс с большой помпой; но эти, в честь праздника, а главное, предложенные губернатором, обещали превзойти все, что обитатели острова видели доньше.

Место, где должен был состояться праздник, — Марсово поле, поэтому вся площадь, кроме небольшой части, отведенной для бегов, была заполнена зрителями, так как ожидалось не только выступления наездников. Спортивному состязанию предшествовали другие потешные игры, которые были особенно привлекательны для островитян, потому что все они могли в них участвовать. В начале праздника предстояли бега со свиньей, бега в мешках и бега на пони. Победителям состязаний полагался приз, учрежденный губернатором. Победитель бегов на пони должен был получить великолепное ружье работы Ментона, победитель бега в мешке — роскошный зонтик, а победитель бегов со свиньей вместо приза получал в собственность саму свинью.

Призом главных скачек была изумительная серебряная позолоченная чаша, ценная не столько материалом, из которого она была изготовлена, сколько работой превосходного мастера.

Мы сказали, что уже на рассвете места, оставленные для публики, были заполнены зрителями, но высший свет начал собираться только к десяти часам. Как в Лондоне и в Париже, словом, повсюду, где бывают бега, места на трибуне были предназначены для знатных персон. Но, то ли из прихоти, то ли не желая смешиваться с толпой, самые блистательные дамы решили смотреть на бега из колясок. Все они за исключением приглашенных в губернаторскую ложу, расположились вдоль беговой дорожки или как можно ближе к ней, предоставив трибуны менее важным лицам. Прискакавшие на конях молодые люди собирались следовать за участниками скачек по внутреннему кругу. Тут же любители, члены жокей-клуба Иль де Франс, разгуливали по траве и заключали пари, резвились с чисто креольской непринужденностью.

В половине одиннадцатого, казалось, весь Пор-Луи собрался на Марсовом поле. Среди самых элегантных женщин в роскошных колясках выделялись мадемуазель Куде и мадемуазель Сипри де Жерсиньи. Сипри де Жерсиньи в то же время была одна из самых красивых женщин на Иль де Франс, роскошные черные волосы которой славились даже в парижских салонах. Привлекали внимание шесть барышень Дреон — белокурые, свежие, грациозные, они обычно выезжали все вместе в экипаже, и их иначе не называли, как букет роз.

Впрочем, вся трибуна губернатора в тот день заслуживала прозвища, данного барышням Дреон. Тот, кто никогда не посещал колонии, и, в особенности, тот, кто не был на Иль де Франс, не может представить себе очарования и грации креольских женщин с бархатными глазами и черными как смоль волосами; среди креолок выделяются, как северные цветы, бледные дочери Англии. В глазах молодых людей букеты юных девушек, по всей вероятности, представляли собой призы гораздо более ценные, чем чаши Одио, ружья Ментона, зонтики Вердые, которые щедрый губернатор мог подарить победителям.

В первом ряду трибуны лорда Уильяма между господином де Мальмеди и мисс Анриет сидела Сара; Анри же расхаживал по полю, выявляя тех, кто ставил не на его лошадь, но, нужно сказать, их было немного, ведь он слыл отличным наездником, владея скакуном, считавшимся самым быстрым на острове.

В одиннадцать часов гарнизонный оркестр, расположившийся между двух трибун, дал сигнал к началу представления; как мы уже сказали, первыми были скачки со свиньей.

Читателю известно это грубое шутовское зрелище, бытующее в деревнях Франции: хвост свиньи смазывают топленным салом, и участники игры пытаются удержать ее, причем разрешается хватать только за хвост. Тот, кто остановит свинью, считается победителем. Так как в этих бегах имеют право соревноваться все желающие, то списка участников не составляли.

Животное привели два негра; это был великолепный кабан на высоких ногах, заранее намазанный жиром и готовый вступить в борьбу. При виде его раздался крик, и негры, индийцы, малайцы, мадагаскарцы, туземцы, ломая барьер, за который они до сих пор не смели за-

ходить, ринулись к кабану. Испуганная этой суматохой свинья бросилась бежать.

Но были приняты меры, чтобы она не смогла ускользнуть от своих преследователей: у бедного животного обе передние ноги были привязаны к задним, приблизительно так, как спутывают ноги лошадей, чтобы научить их иноходи. В результате кабан мог бежать только весьма умеренной рысью, что вызвало огорчение зрителей.

Ясно, что первые участники игры имеют мало шансов стать победителем, намазанный хвост невозможно удержать в руках, и свинья без труда вырывается от преследователей. Но по мере того, как участники стирают жир, животное чувствует приближающуюся опасность и начинает хрюкать и даже визжать. Вслед за тем, когда весь жир с хвоста стерт, кабан, хотя и отбивается, но тщетно; он достается победителю.

В этот день все шло в обычном порядке. Кабан сравнительно легко освободился от первых преследователей и, хотя ему мешали веревки, начал обгонять всех. Но вот самые сильные участники, догнав бедное животное, хватили его за хвост, не давая ни секунды передышки, кабан отчаянно сопротивлялся, продолжая удирать от преследователей.

В конце концов еще пять или шесть его врагов, запыхавшись и тяжело дыша, отстали от него. По мере того как число претендентов уменьшалось, шансы тех, кто продолжал борьбу, росли, поэтому, воодушевленные криками зрителей, они удвоили свою силу и ловкость.

В числе претендентов и тех, кто, казалось, решил довести дело до конца, были двое наших добрых знакомых: Антонио-Малаец и китаец Мико-Мико. Оба бежали за кабаном с самого начала и не отставали от него ни на минуту: много раз хвост ускользал из их рук, но они чувствовали, что дело идет на лад, и, не обескураженные, предпринимали новые попытки. Наконец, побив всех своих конкурентов, они остались вдвоем. Вот тогда-то борьба стала по-настоящему захватывающей, и люди начали заключать пари на крупные суммы.

Бега продолжались еще минут десять. Обежав вокруг всего Марсова поля, кабан вернулся к исходному пункту, визжа, ворча, наскakивая на преследователей; упорное сопротивление не смущало преследователей, которые по очереди хватили его за хвост. Наконец Антонио остановил беглеца, и все подумали, что он победил. Но жи-

вотное, собрав последние силы, рванулось вперед, и хвост вновь выскользнул из рук малайца; Мико-Мико, бывший настороже, сейчас же схватил его; удача, которая, казалось, была на стороне Антонио, перешла теперь к Мико-Мико. Зрители, поставившие на него, решили, что он оправдал их надежды. Китаец схватил хвост двумя руками, и свинья потащила его. За ним держался малаец, готовый сменить китайца; он натер песком руки, чтобы удержаться за хвост, в то время как Мико-Мико был уже близок к победе. Протащив за собой китайца на десять шагов, свинья как будто признала себя побежденной и остановилась, а затем вновь рванулась вперед.

Так продолжалось в течение нескольких секунд, как вдруг все увидели, что противников разметало в разные стороны. Свинья покатила вперед, Мико-Мико — назад. Антонио тут же радостно ринулся к кабану, сопровождаемый криками всех заинтересованных в его победе. Но радость его оказалась недолгой, его постигло жестокое разочарование. В тот момент, когда он хотел схватить животное за хвост, как это было указано в программе, у несчастной свиньи его не оказалось. Хвост остался в руках Мико-Мико, который, ликуя, предстал с трофеем перед публикой.

Случай непредвиденный; пришлось положиться на совесть судей, которые большинством голосов — трех против двух — решили, что, поскольку Мико-Мико задержал свинью, даже если животное предпочло остаться без хвоста, Мико-Мико, несомненно, оказался победителем.

В результате имя Мико-Мико было объявлено, и ему вручили приз. Китаец, уразумев решение судей, тут же схватил свою собственность за задние ноги и повел ее перед собой, подобно тому, как везут тачку.

Антонио же, ворча, удалился, смешался с толпой, которая оказала ему радушный прием, — ведь толпа всегда великодушно относится к тем, кого постигло несчастье.

В то время среди зрителей, как это всегда бывает по окончании зрелища, привлекшего внимание присутствующих, возник сильный шум, но вскоре все успокоилось: было объявлено начало бегов в мешках, каждый занял свое место, весьма довольный только что закончившимся первым состязанием и желая посмотреть второе.

Дистанция бега в мешках была установлена в сто пятьдесят шагов и кончалась у трибуны губернатора. По данному сигналу участники — их было пятьдесят человек — выскочили вприпрыжку из хижины, специально для них сооруженной, и построились в ряд.

Пусть читатель не удивляется большому числу участников этого зрелища: призом, назначенным победителю, был роскошный зонтик, а яркий зонтик, особенно на Иль де Франс, всегда был предметом вождения для негров. Почему эта страсть достигла у них такой силы, что стала просто манией, я не знаю, и люди, более ученые, чем я, занимались исследованием этого явления, но их труды оказались бесплодными. Мы также указываем на этот факт, не выясняя его сути. Словом, губернатору дали хороший совет, когда он выбрал эту вещь в качестве приза победителю.

Многие наши читатели хоть раз в жизни все же видели такие скачки: на каждого человека надевают мешок, отверстие которого завязывается на шее, так, что руки и ноги оказываются в мешке. Поэтому он не может бежать, ему приходится только прыгать. Такой вид состязаний обычно бывает смешным, здесь же зрелище становилось особенно забавным: зрителей поражали странные головы, торчавшие из мешков, различный цвет лиц негров и индийцев, принимавших участие в этом представлении.

Среди участников были негры — Телемак и Бижу; унаследовав ненависть своих хозяев, они редко встречались без того, чтобы не обменяться бранью, часто превращавшейся в изрядные потасовки; но на этот раз, когда руки их были упрятаны, они довольствовались тем, что бросали друг на друга злобные взгляды, к тому же между ними находились четыре их собрата. В момент старта к ним, подпрыгивая, присоединился новый конкурент — Антонио-Малаец.

По сигналу все бросились вперед, как стая кенгуру, прыгая причудливым образом, они толкались, сваливали друг друга с ног, катались по земле, снова вставали, снова толкаясь и падая. Пока они не прошли первые шестьдесят шагов, невозможно было предвидеть будущего победителя: дюжина участников следовала друг за другом на таком близком расстоянии, падения их были так неожиданны и так меняли расстановку сил, что в одну секунду первые становились последними и последние пер-

вами. Однако надо сказать, что среди самых опытных и тех, которые все время шли впереди, были Телемак, Бижу и Антонио. За сто шагов от исходной точки они остались одни, и вся борьба должна была произойти между ними.

Хитрый Антонио быстро обнаружил взаимную ненависть Бижу и Телемака по злобным взглядам, которые они бросали друг на друга, и стал рассчитывать на это не меньше, чем на свою личную ловкость. Когда коварный малаец случайно оказался между ними, он тут же отполз в сторону.

Как он предполагал, так и случилось: Бижу и Телемак, увидев, что находятся рядом, мгновенно приблизились друг к другу, грозно переглядываясь, скрежеща зубами, как обезьяны, когда они ссорятся из-за ореха, и начали ругаться. К счастью, находясь в мешках, они не могли перейти от слов к драке. Но легко было заметить, что им очень хотелось побить друг друга. Движимые взаимной ненавистью, они сблизились, их мешки соприкасались, и при каждом прыжке они толкали друг друга, ругались все ожесточеннее, обещая, что, как только они освободятся от мешков, между ними произойдет встреча, более свирепая, чем все предыдущие. В это время Антонио приближался к финишу.

Увидев, что малаец опередил их на пять или шесть шагов, оба негра моментально перестали враждовать, попытались более мощными прыжками, чем те, которые они делали до сих пор, наверстать упущенное. Особенно преуспевал Телемак после падения Антонио.

Эта случайность была тем более важной, что все они были уже шагах в десяти от финиша; но Бижу, зарывав, с отчаянным усилием ринулся к своему сопернику, однако Телемак не позволил себя обогнать: он продолжал прыгать с возрастающей скоростью, теперь каждый мог поклясться, что зонтик принадлежит ему. Но человек предполагает, а Бог располагает. Телемак оступился, зашатался при громких криках толпы и упал, но, падая, исполненный ненависти к Бижу, постарался преградить ему дорогу. Бижу не смог на бегу отклониться в сторону, наткнулся на Телемака и, в свою очередь, покати́лся по пыльной площадке.

Тотчас у обоих одновременно возникла одна и та же мысль: чем позволить победить сопернику, лучше, чтобы приз получил кто-то третий. Поэтому, к великому удивлению зрителей, оба мешка, вместо того чтобы поднять-

ся и продолжать свое продвижение к цели, едва встав на ноги, бросились колотить друг друга, насколько позволяла им холщовая тюрьма. Пуская в ход головы на манер бретонцев, тем самым они позволили Антонию, свободному от помех и соперников, спокойно продолжать бег. Они же перекатывались друг через друга и, лишённые возможности пустить в ход ноги и руки, во всю мочь кусались.

В это время Антонию, торжествуя, достиг цели и выиграл зонтик, который тут же был ему вручен. Он сразу же раскрыл его под рукоплескания публики, в большинстве состоявшей из негров, завидовавших счастливому обладателю этого сокровища.

Бижу и Телемака разняли, потому что они продолжали драться. Бижу отделался частью носа, а Телемак куском уха.

Настал черед выступления пони; тридцать маленьких лошадок, уроженцы Тимора и Пегю, вышли из-за устроенной для них ограды; верхом на них сидели индийские наездники, мадагаскарцы либо малайцы. Их появление было встречено всеобщим оживлением, потому что эти бега больше всего развлекают черное население острова. Действительно, полудикие, почти не укрощенные лошадки в своей необузданности таят много непредвиденного. Поэтому раздалось тысячи возгласов, ободряющих загорелых наездников, под которыми летела стая демонов; чтобы удержать их, требовалась вся сила и ловкость их всадников; они помчались бы во весь опор, ни с чем не считаясь, не ожидая сигнала. Но губернатор вовремя распорядился, и сигнал был дан.

Все пони ринулись или, вернее, взлетели, потому что они были больше похожи на стаю птиц, летящих над землей, чем на стадо четвероногих, бегущих, почти не касаясь земли. Но, едва доскакав до могилы Маларти¹, они по своей привычке начали «баловать», как говорят на жаргоне скачек, то есть половина их умчалась в темные леса, унося с собой всадников, несмотря на все их усилия удержаться на Марсовом поле.

Треть участников сразу скрылась из глаз, на беговой дорожке оставалось всего семь-восемь всадников; два-три скакуна, сбросив седоков, продолжали бег.

¹ Маларти Анн Жозеф (1730—1800) — губернатор Иль де Франс, умело оборонял свой остров от посягательств англичан и благосклонно относился к отмене рабства негров.

Дистанция составляла два круга; лошади, не останавливаясь, вихрем пронесли за финишную черту и скрылись за поворотом, провожаемые громкими криками и смехом, затем все стихло. Лошади, кроме одной-единственной, разбежались кто куда. Прошло десять минут ожидания. И вдруг на склоне горы показалась лошадь без всадника. Она вбежала в город, проскакала вокруг церкви и по улицам, ведущим к Марсову полю, вернулась на беговую дорожку, по собственной прихоти продолжая вольный бег, покорная лишь своему инстинкту; то тут, то там начали появляться все новые лошади, но они опоздали: в мгновение ока первый конь доскакал до финиша, пересек финишную черту и, пробежав еще полсотни шагов, остановился, словно понял, что он победитель.

Призом, как мы уже сказали, было превосходное ружье, которое и вручили владельцу умного животного. Это был некто Сандрес, арендатор. Тем временем со всех сторон сбегались остальные лошади — так вспугнутые голуби поодиночке возвращаются на свою голубятню.

Несколько лошадей не вернулось, их нашли только на следующий день.

Настала очередь главных скачек; устроили перерыв на полчаса, стали раздавать программы и заключать пари.

Самым азартным из тех, кто держал пари, был капитан Ван ден Брок; сойдя со своего корабля, он прошел прямо к Вижье, лучшему ювелиру в городе, известному своей неподкупной честностью, свойственной овернцам, и обменял бриллианты на ассигнации и золотые монеты на сумму около ста тысяч франков.

Ван ден Брок превзошел самых смелых спортсменов и вызвал всеобщее изумление, поставив всю эту сумму на одну лошадь, даже имя которой было никому неизвестно на острове — ее звали Антрим.

Были записаны четыре лошади:

Реставация — полковник Дрипер.

Виржини — господин Рондо де Курси.

Джестер — господин Анри де Мальмеди.

Антрим (имя владельца было заменено тремя звездочками).

Самые крупные суммы были поставлены на Джестера и Реставацию, которые в прошлом году стали побе-

дителями. На этот раз на них рассчитывали еще больше, потому что всадниками были их хозяева — превосходные наездники; что до Виржини, то она участвовала в скачках впервые.

Между тем, хотя капитану Ван ден Броку и внушали, что он делает глупость, он все же поставил на Антрима, и это отнюдь не умалило общего любопытства, вызванного как лошадей, так и ее таинственным хозяином.

Поскольку наездниками были сами хозяева, их не взвешивали, и потому никто не удивился, что под навесом не оказалось ни Антрима, ни дворянина, скрывшего свое имя под иероглифическим знаком: решили, что он явится к началу состязаний и займет свое место среди соперников.

Наступил момент, когда лошади и их всадники вышли из-за ограды. Со стороны малабарского лагеря появился и тот, кто вызывал всеобщее любопытство. Но его вид не только не успокоил сомнения публики, но еще усилил их: он был одет в египетский костюм, вышивки которого виднелись из-под бурнуса, закрывавшего половину его лица; он сидел на лошади по-арабски, то есть с короткими стременами, лошадь была оседлана по-турецки. С другой стороны, с первого взгляда каждому было очевидно — это великолепный наездник. Когда появился конь, то все догадались, что эта лошадь записана под именем Антрим, и Антрим, казалось, оправдывал доверие, заранее оказанное ему капитаном Ван ден Бромом, до того этот конь был изящный, легкий, — под стать своему наезднику.

Никто не узнал ни лошади, ни всадника, но, так как запись велась у губернатора и для него не существовало неизвестных, все уважали инкогнито вновь прибывшего; одна только девушка, быть может, подозревала, кто этот всадник, и, краснея, наклонилась вперед, чтобы лучше разглядеть его, — это была Сара.

Участники скачек построились в ряд; как мы уже сказали, их было всего четверо, потому что репутация Джестера и Реставрации устраняла всех других конкурентов; каждый думал, что борьба будет происходить только между ними.

Так как предполагался лишь однократный выезд всадников, судьи, чтобы продлить удовольствие зрителям, решили, что все лошади сделают два круга вместо одного, следовательно, каждая лошадь должна пробежать

приблизительно три мили, это даст больше шансов менее знаменитым скакунам.

По сигналу все ринулись вперед, но, как известно, в таких обстоятельствах поначалу нельзя ничего предвидеть. На середине первого круга Виржини, которая, повторяем, участвовала в состязаниях впервые, обогнала всех на тридцать шагов, почти рядом с ней бежал Антрим, а Реставрация и Джестер бежали позади, по-видимому, сдерживаемые своими всадниками. Там, где местность возвышалась, то есть за две трети круга, Антрим вышел вперед, в то время как Джестер и Реставрация приблизились на десять шагов; это означало, что они могли обогнать его, и зрители, наклонясь вперед, аплодировали, подбадривая всадников; вдруг, случайно или с намерением, Сара уронила свой букет. Незнакомец увидел его и, не замедляя бега своего коня, с изумительной ловкостью соскользнул под его живот так, как это делают арабские наездники, поднял упавший букет, поклонился его прекрасной владелице и продолжал свой путь, потеряв не больше десяти шагов, которые, казалось, он меньше всего пытался наверстать.

Посредине второго круга Реставрация догнала Виржини, за которой следовал Джестер, в то время как Антрим все еще оставался на семь или восемь шагов позади, но, так как его всадник не торопил его ни хлыстом, ни шпорами, все понимали, что небольшое отставание ничего не значит и что он наверстает потерянное расстояние, когда найдет это нужным.

На мостах Реставрация споткнулась о камень и упала вместе со своим всадником; тот, не вынув ног из стремян, силился поставить ее на ноги. Разумная лошадь едва привстала, но тут же упала снова: у нее была сломана нога.

Три остальных соперника продолжали бег; в тот момент впереди бежал Джестер, Виржини следовала за ним, Антрим скакал рядом с Виржини. Но там, где дорога шла в гору, Виржини стала отставать, в то время как Джестер удерживал свое преимущество, а Антрим без всяких усилий начал обгонять его. Теперь он отставал от своего соперника только на корпус лошади; Анри, чувствуя, что его нагоняют, начал хлестать Джестера. Двадцать пять тысяч зрителей этих поразительных скачек рукоплескали, махали платками, подбадривая соперников. Тогда незнакомец наклонился к гриве Антрима, произнес несколько слов по-арабски, и умный конь,

словно поняв, что говорит ему хозяин, удвоил скорость. До финиша оставалось только двадцать пять шагов; они скакали напротив первой трибуны, и Джестер все еще опережал Антрима. Тут незнакомец, видя, что терять времени нельзя, прищпорил коня и, поднявшись в стремянах, отбросив капюшон своего бурнуса, сказал сопернику:

— Мсье Анри де Мальмеди, за два оскорбления, которые вы мне нанесли, я отвечу вам одним, но надеюсь, что оно будет равноценно двум вашим.

И, подняв руку при этих словах, Жорж,— это был он,— ударил Анри хлыстом по лицу.

Потом прищпорив Антрима, он опередил своего соперника у финиша на два корпуса, но вместо того, чтобы остановиться там и получить приз, он продолжал бег и посреди всеобщего изумления исчез в лесах, окружающих могилу Малартика.

Жорж был прав, за две обиды, нанесенные ему де Мальмеди в прошлом, он воздал ему одно публичное оскорбление, которое решало все его будущее, потому что оно было не только вызовом сопернику, но и объявлением войны всем белым.

Итак, неумолимым ходом событий Жорж был поставлен лицом к лицу с укоренившейся системой, для разрушения которой он совершил столь долгий путь. Предстояла решительная борьба с этим варварским пережитком.

XVIII

ЛАИЗА

Жорж находился в комнате в доме своего отца в Моке, когда ему сообщили, что его спрашивает какой-то негр. Сначала он подумал, что это письмо от Анри де Мальмеди, и распорядился, чтобы пригласили посланца. При первом же взгляде Жорж убедился, что ошибся, у него возникло смутное воспоминание, что где-то он видел этого человека, но при каких обстоятельствах, не мог вспомнить.

— Вы меня не узнаете? — спросил негр.

— Нет, однако мы где-то с вами встречались. Не так ли?

- Дважды.
- Где же?
- В первый раз у Черной реки, где вы спасли девушку, а потом...
- Верно, вспоминаю, а еще где?
- А потом, когда вы вернули нам свободу. Мое имя — Лаиза, а брата — Назим.
- А что стало с твоим братом?
- Назим, когда был рабом, хотел бежать в Анжуан, вы освободили его, и он отправился к отцу. Благодарю вас.
- Но ты ведь тоже свободен, почему ты не уехал?
- Сейчас расскажу,— улыбаясь, ответил негр.
- Слушаю,— сказал Жорж. Эта история заинтересовала его.
- Я сын вождя племени, во мне течет арабская и занзибарская кровь, я не рожден жить в неволе.
- Жорж улыбнулся: ему понравился мятежный дух негра; он и сам был непокорным.
- Негр продолжал:
- Вождь Керимбо захватил меня в плен во время войны и продал работоторговцу, а тот — Мальмеди. Я предложил выкуп — двадцать фунтов золотого песка, но слову негра не поверили и мне отказали. Некоторое время я убеждал, потом... в моей жизни что-то случилось, и я перестал думать об отъезде.
- Мальмеди обращался с тобой по-человечески?
- Не об этом речь. Три года спустя мой брат также попал в плен и затем, к счастью, был продан тому же плантатору, но в отличие от меня он решил бежать. Что произошло потом, вы знаете, ведь вы его спасли. Я любил брата, как своего ребенка, а вас,— продолжал негр, скрестив руки на груди и поклонившись,— я люблю, как отца. Итак, слушайте, вот что происходит. Здесь живут восемьдесят тысяч негров и мулатов и двадцать тысяч белых.
- Знаю,— сказал Жорж улыбаясь.
- Среди этих восьмидесяти тысяч по крайней мере двадцать тысяч могут сражаться, в то время как среди белых, включая гарнизон англичан, соберется не более четырех тысяч.
- Мне это известно,— ответил Жорж.
- Тогда вы догадываетесь, о чем идет речь? — спросил Лаиза.

— Я жду, что ты мне объяснишь.

— Мы твердо решили избавиться от гнета белых. Мы, слава Богу, достаточно страдали, настал час расплаты.

— Ну и что? — спросил Жорж.

— Так вот — мы готовы!

— Что же вы медлите, почему не отомстите?

— У нас нет вождя, хотя нам и предлагают двоих, но они для нас не подходят.

— Кто же они?

— Один из них Антонио-Малаец.

При этих словах Жорж презрительно улыбнулся.

— А кто другой?

— Другой — это я.

Жорж посмотрел в лицо этого человека, который мог бы послужить примером скромности для белых, он ведь заявил, что недостоин роли вождя.

— Значит, другой — это ты?

— Да, — ответил негр, — но для такого дела нужен лишь один руководитель.

— Так, так, — возразил Жорж, решив, что Лаица хотел бы стать вождем движения.

— Да, нужен один, достойный вождь.

— Но как найти такого человека?

— Он найден, — сказал Лаица, пристально глядя на молодого мулата, — но согласится ли он?

— Он рискует головой, — заметил Жорж.

— А разве мы ничем не рискуем?

— Но какую гарантию вы ему дадите?

— Мы тоже должны быть в нем уверены; нам нужен вождь, которого преследовали в прошлом и который возглавит борьбу в будущем.

— Какой вы выработали план?

— Завтра, после праздника Шахсей-Вахсей, когда белые, усталые после развлечений и сожжения большой пагоды, удалятся к себе домой, ласкары останутся одни на берегу реки Веерников, тогда со всех сторон соберутся африканцы: малайцы, малагаскарцы, малабарцы, индийцы — все, кто участвует в заговоре, и, наконец, они изберут вождя. Так вот: ваше согласие — и вы будете вождем.

— Кто же поручил тебе сделать мне такое предложение?

Лаица спесиво улыбнулся.

— Никто.

— Тогда это ты сам?
— Да.
— Кто ж тебя этому научил?
— Вы сами.
— Почему я?
— Только с нашей помощью вы сможете достичь своей цели.

— А кто тебе сказал, какую цель я преследую?

— Вы желаете жениться на Розе Черной реки и ненавидите Анри де Мальмеди. Вы хотите обладать одной и отомстить другому! Только мы сможем оказать вам помощь в этом деле, иначе вам не отдадут в жены Сару, вы не сможете наказать вашего врага.

— А откуда ты знаешь, что я люблю Сару?

— Я наблюдал за вами.

— Ты ошибаешься.

Покачивая головой, Лаиза произнес:

— Глаза иногда ошибаются, но сердце — никогда.

— Может быть, ты мой соперник? — с иронией заметил Жорж.

— Соперником может быть тот человек, который надеется, что его полюбят, а Роза Черной реки никогда не полюбит Льва Анжуана.

— Значит, ты не ревнуешь?

— Вы ей спасли жизнь, и ее жизнь принадлежит вам, это справедливо; мне не представился случай умереть за нее, но тем не менее, поверьте, я сделал все, что следовало сделать для этого.

— Конечно же, — произнес Жорж, — ты мужественный человек, но другие? Могу ли я надеяться на них?

— Я могу ответить лишь за себя, а за себя я отвечаю; если вам нужен верный и храбрый человек — располагайте мною!

— Ты первым будешь повиноваться мне?

— Всегда и во всем.

— Даже в том, что касается... — Жорж замолк, глядя на Лаизу.

— В том, что касается Розы Черной реки, — произнес негр, поняв то, что хотел сказать молодой мулат.

— Но откуда у тебя такая преданность ко мне?

— Олень Анжуана должен был умереть под плетью палачей, но вы выкупили его. Лев Анжуана был закован цепями, но вы дали ему свободу. Среди зверей лев не только самый сильный, но и самый великодушный, и потому что он самый сильный и великодушный, — про-

должал негр, скрестив руки и гордо подняв голову,— меня и называли Лаица, Лев Анжуана

— Ладно,— сказал Жорж, протягивая негру руку.— Дай мне день на размышление.

— А что вам мешает решиться на это?

— Сегодня я среди толпы смертельно оскорбил Анри де Мальмеди.

— Знаю, я при этом присутствовал.

— Если де Мальмеди будет драться со мной на дуэли, я ничего определенного сказать не могу.

— А если откажется?

— Тогда я в вашем распоряжении. Но он храбр, дважды дрался на дуэлях, убил белого человека, он может вновь оскорбить меня, ранее он уже нанес мне оскорбление. Довольно!

— О, тогда вы наш вождь, белый никогда не станет драться на дуэли с мулатом.

Жорж нахмурился, он уже думал об этом. Как же белый сможет терпеть позор оскорбления, нанесенного ему мулатом? В этот момент вошел Телемак.

— Господин,— сказал он,— голландский господин хочет говорить с вами.

— Капитан Ван ден Брок? — спросил Жорж.

— Да.

— Очень хорошо.

Затем, обратившись к Лаице, он добавил:

— Подожди меня здесь, я скоро вернусь, полагаю, что смогу немедля дать тебе согласие.

Жорж вышел из комнаты, где остался Лаица, и с распростертыми объятиями направился туда, где его ожидал капитан.

— Значит, ты меня узнал, брат? — спросил капитан.

— Ну, конечно, Жак,— счастлив тебя обнять, в особенности сейчас.

— Чуть было ты не лишился этого счастья.

— В чем дело?

— Я должен был бы уже отплыть.

— Почему?

— Губернатор оказался старой морской лисой.

— Как угодно назови его, Жак,— волком, тигром,— но он — знаменитый капитан Уильям Маррей, в прошлом капитан «Лейстера».

— «Лейстера»! Я не должен был в этом сомневаться, тогда нам нужно будет свести старые счета, теперь я все понял.

— Что же случилось?

— А вот что: после скачек губернатор любезно обратился ко мне, сказав, что у меня прекрасная шхуна. «Смогу ли я иметь честь побывать на ней завтра?» — добавил он.

— Он что-то подозревает.

— Да, а я как глупец, не подумав, пригласил его на завтрак на борту, и он согласился.

— Ну и что?

— Придя на шхуну, я заметил, что с горы Открытия подаются сигналы в море. Тогда я понял, что сигналы поданы в мою честь. Я поднялся на гору и, осмотрев горизонт в зрительную трубу, заметил, что на расстоянии двадцати миль находится корабль, который отвечает на эти сигналы.

— Это был «Лейстер»?

— Несомненно: меня намерены блокировать; а тебе известно, Жорж, что я не такой уж простака, ветер юго-восточный, и судно может войти в Пор-Луи, лавируя вокруг берега, при этом ему надо часов двенадцать для того, чтобы достичь острова Бочаров, тем временем я умчусь, и теперь я пришел за тобой.

— За мной? Почему я должен покинуть остров?

— Я тебе еще не все сказал. Так вот. Зачем ты отхлестал кнутом красивого юношу? Это невежливо.

— Разве ты не знаешь, кто он такой?

— Ну как же, ведь я держал пари с ним на тысячу луидоров. Кстати, Антрим — чудный конь, приласкай его от меня.

— Ну, хорошо, а ты помнишь, как четырнадцать лет тому назад в день сражения этот самый Анри де Мальмеди...

Жорж откинул назад волосы и показал брату шрам у себя на лбу.

— Да, верно, — произнес Жак, — черт бы его побрал, ты озлоблен против него. Я забыл все, что тогда произошло, впрочем, припоминаю, в ответ на его удар шпагой я дал ему по морде кулаком.

— Да, и я готов был простить его за нанесенную мне обиду, но когда он вновь оскорбил меня...

— Как же?

— Он отверг предложение, сделанное мною его кузине.

— Ишь, чего захотел! Отец и сын воспитывают наследницу, как перепелку в клетке, чтобы ощипать ее в свое удовольствие путем выгодного брака. Когда же перепелка стала жирной, приходит браконьер, который хочет взять ее себе. Ну как же так! Как же они могли поступить иначе, если не отказать тебе? К тому же, дорогой мой, ведь мы всего лишь мулаты.

— Так я и не был оскорблен отказом, но во время спора он замахнулся на меня тростью.

— В таком случае он не прав, а ты его избил?

— Нет,— ответил Жорж улыбаясь,— я потребовал дуэли.

— И он отказал; ну что ж, справедливо, ведь мы мулаты. Мы иногда избиваем белых, бывает, но белые не дерутся с нами на дуэли, считают это унижением своего достоинства.

— Тогда я заявил, что заставлю его драться.

— Потому ты во время скачек согат *populo*¹, как мы выражались в коллеже Наполеона, залепил ему по морде. Неплохо было придумано, но подобная мера оказалась никчемной.

— Почему?

— Мне известно, что вначале Анри хотел согласиться на дуэль, но все его друзья отказались быть секундантами, и дуэль не может состояться.

— Тогда пусть он ходит побитым, он волен решать сам.

— Да, но тебя ожидает другое.

— Что же?

— Анри настаивал на дуэли, но друзья пообещали ему найти другой способ мести.

— Какой же?

— В ближайший вечер, когда ты будешь в городе, человек десять устроят засаду на пути в Моку и, схватив тебя, избьют плетью до полусмерти.

— Подлецы, так они поступают с неграми.

— А кто мы такие, мы — мулаты! Светлые негры, ничто иное.

— Они ему обещали так расправиться со мной?

— Именно.

— Ты убежден?

— Я присутствовал при их сговоре, меня приняли за

¹ При всем народе, открыто (лат.).

чистокровного голландца, потому они открыто обсуждали все.

— Ладно,— заявил Жорж,— я решил.

— Ты отправляешься со мной?

— Я остаюсь.

— Послушай, Жорж, поверь мне, последуй совету старого философа, уедем отсюда.

— Невозможно! Получится, что я струсил; а кроме того, я люблю Сару.

— Ты любишь Сару?.. Что это значит: «Я люблю Сару!»?

— Это значит, что либо она должна принадлежать мне, либо я погибну.

— Послушай, Жорж, я ведь ничего не понимаю во всех этих тонкостях. Правда, я влюблялся только в своих пассажиров, и они ничуть не хуже прочих женщин, поверь моему слову. Если б ты их узнал, ты бы отдал четырех белых женщин за одну, скажем, уроженку Коморских островов У меня их сейчас шесть, выбирай любую!

— Спасибо, Жак. Повторяю тебе, что не могу оставить Иль де Франс.

— А я повторяю, что ты не прав. Представился счастливый случай, другого не дано. Я отплываю сегодня в час ночи, тайком; поедем вместе, завтра мы уже будем далеко отсюда и посмеемся над белыми господами с острова Маврикия, ну, а если мы поймаем кого-нибудь из них, то четверо моих матросов отблагодарят их тем же способом, каким они хотели расправиться с тобой.

— Благодарю, брат. Это невозможно!

— Тогда что ж, ведь ты настоящий мужчина, и раз мужчина говорит: невозможно, значит, это так и есть, и, значит, я отплываю без тебя.

— Да, отправляйся, но не теряй из виду острова, ты увидишь необычайную сцену.

— Что я увижу? Затмение луны?

— Ты увидишь, что от пролива Декорн до холма Брабант и от Пор-Луи до Маэбура возникнет вулкан, подобный вулкану на острове Бурбон.

— О, это другое дело, ты, видно, затеял что-то пиротехническое, объясни же мне.

— Вот что: через неделю эти белые господа, которые презирают меня, угрожают мне, хотят отхлестать меня, как беглого негра, будут кланяться мне в ноги.

— Небольшое восстание, я понимаю,— сказал Жак.—

Но это было бы возможно, если б на острове насчитывалось хоть две тысячи воинов, подобных моим ста пятидесяти ласкарам... Называю их по привычке ласкарами, но среди моих дружков нет ни одного, кто бы принадлежал к этой ничтожной расе, у меня замечательные бретонцы, храбрые американцы, настоящие голландцы, чистокровные испанцы — лучшие люди, представляющие свою нацию. Но кто с тобой, кто поддержит твоё восстание?

— Десять тысяч рабов, которым надоело повиноваться, которые, в свою очередь, хотят командовать.

— Да что ты, негры! Я их хорошо знаю, я ими торгую, они легко переносят жару, могут насытиться бананом, выносливы в труде, им присущи многие хорошие черты, я не хочу обесценивать свой товар, но как тебе сказать: это плохие солдаты. Слушай, ведь как раз сегодня на скачках губернатор интересовался моим мнением о неграх. Он мне сказал: «Послушайте, капитан Ван ден Брок, вы много путешествовали, мне представляется, что вы проникательный наблюдатель, как бы вы поступили, если бы были губернатором острова и на нем произошло бы восстание негров?

— И что ты ответил?

— Я сказал: милорд, я расставил бы сотню открытых бочек с вином на улицах, по которым должны пройти негры, а сам пошел бы спать, оставив ключ в дверях.

Жорж до крови закусил губы.

— Итак, вновь прошу тебя, брат, пойдем со мной, это самое разумное решение.

— В третий раз повторяю тебе: не могу.

— Этим все сказано, прощай, Жорж, но послушай меня, не доверяй неграм.

— Значит, ты отплываешь сегодня?

— Да, черт возьми, ведь я не гордый и сумею улизнуть; если «Лейстер» пожелает сыграть со мной в кегли в открытом море, — он тогда увидит, откажусь ли я, но в порту, под огнем форта, — благодарю за любезность. Итак, в последний раз, ты отказываешься?

— Отказываюсь.

— Прощай!

— Прощай!

Молодые люди обнялись в последний раз, Жак направился к отцу, который, ничего не зная, спал крепким сном. Жорж вошел в свою комнату, где его ждал Лаиза.

— Ну, как? — спросил негр.

— Вот что, — ответил Жорж, — скажи повстанцам, что у них есть вождь.

Негр скрестил руки на груди и, не спрашивая ничего более, низко поклонился и вышел.

ХІХ

ШАХСЕЙ-ВАХСЕЙ

Как мы уже сказали, бега занимали часть второго дня праздника: когда они закончились, около трех часов пополудни, пестрая толпа людей, покрывавшая пригорок, направилась к зеленой равнине, в то время как нарядные кавалеры и дамы, в экипажах и верхом, возвращались домой обедать, чтобы сразу же после обеда поехать смотреть на упражнения ласкаров. Эти упражнения представляли собой символическую гимнастику, состоящую из бега, танцев и борьбы под аккомпанемент нестройного пения и местной варварской музыки, к звукам которой присоединялись голоса негров продавцов, торгующих за свой счет или по поручению хозяев и громко выкрикивающих: «Бананы, бананы! Сахарный тростник! Простокваша, простокваша! Калю калю! Хорошее калю!»

Эти упражнения продолжаются примерно до шести часов вечера, потом в шесть часов начинается малое шествие, которое называют так в отличие от главного шествия, предстоящего на следующий день.

Между двумя рядами зрителей проходят ласкары: одни наполовину спрятаны под маленькими остроконечными пагодами, устроенными наподобие большой пагоды, — они называют их айдорé, — другие вооружены палками и тупыми саблями, третьи наполовину обнажены под изорванной одеждой. Потом по особому знаку все начинают действовать: те, что идут под айдорé, начинают вертеться, танцуя; те, кто несет палки и сабли, вступают в борьбу друг против друга, нанося и отражая удары с необыкновенной ловкостью; остальные бьют себя в грудь и катаются по земле, изображая отчаяние, все кричат одновременно и по очереди: «Шахсей! Вахсей! О, Хусейн! О, Али!»

В то время как они занимаются этой религиозной гимнастикой, некоторые из ласкаров предлагают каждому встречному вареный рис с ароматическими травами.

Эта прогулка продолжается до полуночи; в полночь они возвращаются в лагерь Малабар в том же порядке, в каком они вышли из него, с тем чтобы выйти на следующий день в тот же час.

Но на следующий день сцена меняется и расширяется. Пройдя по городу, как накануне, ласкары с наступлением ночи возвращаются в лагерь, но только для того, что вынести оттуда большую пагоду, символизирующую объединение обеих групп мусульман в одно целое. В этом году пагода была больше и прекраснее, чем в предыдущие годы. Покрытая самой роскошной, самой пестрой и разнообразной бумагой, освещенная изнутри яркими светильниками, а со всех сторон фонарями из разноцветной бумаги, подвешенными ко всем углам и ко всем выступающим частям, струящими по широким бокам пагоды потоки переливчатого света, пагода двигалась вперед, несомая большим числом людей, частью находящихся внутри, частью снаружи; все они пели нечто вроде монотонного и мрачного псалма. Перед пагодой шли осветители, раскачивая на конце шеста длиною футов десять фонари, факелы, свечи в виде солнца и другие искусно сделанные светильники. Тут танцы несущих айдорé и поединки начались с новой силой. Фанатики в разорванной одежде снова стали бить себя в грудь, испуская скорбные возгласы, на которые вся масса народа отвечала криками: Шахсей! Вахсей! О, Хусейн! О, Али! криками еще более протяжными и душераздирающими, чем те, что раздавались накануне.

Дело в том, что пагода, которую они сопровождали на этот раз, изображала одновременно город Кеберла, возле которого погиб Хусейн, и мавзолей, где были похоронены его останки. Кроме того, обнаженный человек, раскрашенный, как тигр, изображал чудесного зверя, который в течение нескольких дней сторожил останки святого Имама. Время от времени он бросался на зрителей, издавая рев, как будто хотел сожрать их, но человек, игравший роль его сторожа и идущий вслед за ним, останавливал его с помощью веревки, в то время как мулла, шедший сбоку, успокаивал его таинственными словами и магическими жестами.

В течение нескольких часов процессия с пагодой странствовала по городу и вокруг города; потом те, кто нес ее, направились к реке Веерников; за ними следовало все население Пор-Луи. Праздник подходил к кон-

цу. Оставалось похоронить пагоду, и каждый, кто участвовал в триумфальном шествии, хотел присутствовать при ее конце.

Прибыв к реке Веерников, те, которые несли огромное сооружение, остановились на берегу; потом, когда пробило двенадцать часов ночи, четыре человека приблизились с четырьмя факелами и подожгли пагоду с четырех углов, в тот же миг те, кто нес ее, опустили свою ношу в реку. Но так как речка Веерников — всего лишь бурный и неглубокий поток, то в воду погрузилась только нижняя часть пагоды, а пламя быстро захватило всю ее верхнюю часть, бросилось вверх по огромной спирали и, вращаясь, поднялось к небу. Тогда настал странный, фантастический миг: яркая вспышка этого недолговечного, но живого пламени выхватила из мрака тридцать тысяч зрителей, принадлежащих ко всевозможным расам, кричащих на всех мыслимых языках и размахивающих шляпами и зонтами; одни толпились на берегу, другие — на ближних скалах; те сливались в неясную массу, различимую лишь на первом плане и сливающуюся с темнотой; эти — в паланкинах, в экипажах и верхом — образовали огромный круг. Один миг вода отражала готовые погаснуть огни, и вся эта масса народа волновалась, как море; был момент, когда тени деревьев вытянулись, словно поднимающиеся гиганты, был и такой, когда небо виднелось сквозь красный пар и каждое проходящее по небу облако было похоже на кровавую волну. Потом свет угас, отдельные фигуры слились в общую массу, деревья, казалось, удалились сами собой и отступили во мрак, небо побледнело и постепенно приняло прежний свинцовый оттенок, облака все больше темнели. Время от времени часть неба, еще не тронутая пожаром, в свою очередь, воспламенялась и отбрасывала на пейзаж и на зрителей дрожащий отблеск, потом затухала, отчего темнота становилась еще гуще, чем до вспышки. Понемногу весь остов пагоды рассыпался горящими углями, от которых задрожала вода в речке, последние пятна света погасли, а поскольку небо было покрыто облаками, темнота казалась еще более глубокой оттого, что перед тем все было залито светом.

Тогда произошло то, что всегда происходит после народных праздников, особенно после иллюминации и фейерверка: все зашумели, говорили, смеялись, зубоскалили, вся толпа заторопилась в город, лошади, за-

пряженные в экипажи, помчались галопом, а негры с паланкинами понеслись рысью; пешеходы, образовав группы, оживленно разговаривая, шли за ними быстрыми шагами.

То ли из-за свойственного им любопытства, то ли из-за склонности слоняться без дела негры и цветные остались последними, но и они в конце концов разошлись; одни вернулись в лагерь, Малабар, другие поднялись вверх по течению реки, те углубились в лес, эти пошли по берегу моря.

Через несколько минут площадь совершенно опустела, и в течение четверти часа слышалось только журчание воды, текущей среди скал, и в просветах между облаками не видно было ничего, кроме гигантских летучих мышей, направлявших свой тяжелый полет к реке, словно для того, чтобы концами крыльев потушить последние угли, еще дымившиеся на ее поверхности, и потом снова подняться вверх и скрыться в лесу.

В это время послышался легкий шум и показались два негра, ползком направлявшиеся к берегу реки. Один полз со стороны батареи Дюма, другой от Длинной горы; приблизившись с двух сторон к потоку, они поднялись, обменялись знаками — один из них три раза хлопнул в ладони, другой трижды свистнул.

Затем из чащи леса и укрепленных сооружений, из-за скал, возвышающихся над потоком, из-за манговых деревьев, склоняющихся с берега к морю, вышло множество негров и индийцев, присутствие которых в этой местности невозможно было предположить.

Индийцы разместились вокруг одного из своих предводителей, то был человек с оливковым цветом кожи, говорил он на малайском диалекте.

Негры расположились вокруг другого вождя, тоже негра, он говорил то на мадагаскарском наречии, то на мозамбикском.

Один из вождей прохаживался среди собравшихся людей, громко и долго болтал, декламировал, строил гримасы — то был тип тщеславного человека, низкопробного интригана, звали его Антонио-Малаец.

Другой вождь, спокойный, сдержанный, молчаливый, не размахивал руками, не заискивал ни перед кем, но все же привлекал к себе внимание. То был человек могучей силы, обладающий даром повелевать, — Лаиза, Лев Анжуана.

Они-то и являлись руководителями восстания, а окружавшие их десять тысяч метисов были заговорщиками.

Антонио заговорил первым:

— Существовал когда-то остров, управляемый обезьянами и населенный слонами, львами, тиграми, пантерами и змеями. Управляемых было в десять раз больше, чем правителей, но правители обладали талантом, павианьей хитростью, позволявшей разобщить обитателей леса, так что слоны ненавидели львов, тигры пантер, змей всех остальных зверей. И получилось так, что, когда слоны подымали хобот, обезьяны насылали на них змей, пантер, тигров и львов, и, как бы сильны ни были слоны, дело кончалось их поражением. Если поднимали рев львы, обезьяны направляли на них слонов, змей, тигров, так что и львы, какими бы они ни были храбрыми, всегда оказывались на цепи. Если оскаливали пасть тигры, обезьяны натравливали на них слонов, львов, змей, пантер, и тигры, как бы они ни были сильны, всегда попадали в клетку. Если бунтовали пантеры, то обезьяны с помощью других зверей укрощали и пантер, несмотря на всю их ловкость. Наконец, если шипели змеи, обезьянам удавалось усмирить их тем же способом. Хитроумные правители сотни раз тишком, применяя свои уловки, душили восстания. Так продолжалось долго, очень долго. Но однажды змея, болеемышленная, чем другие звери, стала раздумывать; она знала четыре правила арифметики, ни больше, ни меньше, чем счетовод господина де Мальмеди, и подсчитала, что обезьян в десять раз меньше, чем других зверей.

Собрав слонов, львов, тигров, пантер и змей на какой-то праздник, змея спросила у них:

— Сколько вас?

Звери подсчитали и ответили:

— Нас восемьдесят тысяч.

— Правильно,— сказала змея,— теперь подсчитайте ваших укротителей и скажите, сколько их.

Звери посчитали обезьян, объявили:

— Их восемь тысяч.

— Так вы же дураки,— сказал змея,— что не уничтожили обезьян, ведь вас десять против одной.

Звери объединились, уничтожили обезьян и стали хозяевами острова. Лучшие фрукты предназначались им, лучшие поля, дома — им, обезьяны же стали раба-

ми, а самок-обезьян они сделали своими любовницами... Вам понятно? — спросил Антонио.

Раздались громкие крики, возгласы «Ура» и «Браво». Антонио своей басней произвел не меньшее впечатление, нежели консул Менений¹ речью, произнесенной много веков назад.

Лаиза терпеливо ожидал, пока все успокоится, затем жестом, призывающим к тишине, произнес простые слова:

— Был остров, где рабы решили сбросить иго рабства, они объединились, подняли восстание и стали свободными. Ранее остров этот назывался Сан-Доминго, ныне он называется Таити. Последуем их примеру, и мы будем свободными!

Вновь раздались громкие крики «Ура» и «Браво», хотя надо признаться, что эта речь была слишком простой и не вызвала того энтузиазма, которым сопровождалась речь Антонио. Он это заметил, и в нем укрепилась надежда на успех в будущем.

Антонио подал знак, что хочет говорить, и все замолчали.

— Верно, Лаиза говорит правду; я слышал, что за Африкой, куда заходит солнце, есть большой остров, где все негры — короли. Но как на моем острове, так и на острове Лаизы был один избранный всеми вождь, только один.

— Справедливо, — сказал Лаиза, — Антонио прав, разделение власти ослабляет народ, я согласен с ним, должен быть один вождь.

— А кто будет вождем? — спросил Антонио.

— Пусть решают те, кто здесь собрался, — ответил Лаиза.

— Человек, достойный стать нашим вождем, — сказал Антонио, — должен уметь на хитрость ответить хитростью, силе противопоставить силу, смелости — смелость.

— Согласен, — заметил Лаиза.

¹ Менений . Агриппа — римский патриций (кон. VI — нач. V в. до н. э.). Вел переговоры с плебеями, ушедшими в начале V в. до н. э. на Священную гору в знак протеста против притеснений патрициев. Он убедил их вернуться в Рим якобы с помощью притчи, где сравнивал общество с человеческим телом, в котором желудок (патриций) и руки (плебеи) не могут существовать друг без друга.

— Нашим вождем достоин быть,— продолжал Антонио,— лишь такой человек, который жил среди белых и черных, кровно связан с теми и другими, который, будучи свободным, пожертвует своей свободой, человек, имеющий хижину и поле и рискующий потерять их. Только такой может стать нашим вождем.

— Согласен,— молвил Лаиза.

— Я знаю лишь одного, который нам подходит.

— И я знаю,— заявил Лаиза.

— Ты предлагаешь себя? — спросил Антонио.

— Нет,— ответил Лаиза.

— Ты согласен, что вождем должен быть я?

— Нет, и не ты.

— Кто же тогда,— закричал Антонио,— кто же, где он?

— Да кто же он? Пусть появится,— закричали в один голос негры и индейцы.

Лаиза три раза ударил в ладони, послышался топот лошади, и при первых лучах рождающегося дня все увидели появившегося из леса всадника, который во весь опор въехал в толпу людей и резко остановил коня

Лаиза торжественно протянул руку в сторону прибывшего всадника и, обратившись к толпе негров, сказал:

— Вот ваш вождь.

— Жорж Мюнье! — воскликнули все десять тысяч повстанцев.

— Жорж Мюнье! — провозгласил Лаиза.

— Вы потребовали вождя, который смог бы противопоставить хитрость хитрости, силу — силе, смелость — смелости,— вот он! Вы потребовали вождя, который ранее жил с белыми и черными, человека смешанной крови, готового пожертвовать своей свободой— он перед вами — где вы найдете другого? Он единственный.

Антонио был потрясен, взоры всех присутствующих обратились к Жоржу, слышались громкие одобрительные возгласы.

Жорж знал людей, с которыми был кровно связан, он понимал, что ему надо прежде всего поразить их своим видом, поэтому на нем был роскошный, вышитый золотом бурнус, под бурнусом надет был кафтан, полуценный от Ибрагима Паши, на нем блестили кресты Почетного Легиона и Карла III. Его конь Антрим, по-

крытый великолепной красной попоной, трепетал под своим всадником.

— Но кто нам за него поручится? — воскликнул Антонио

— Я, — сказал Лаиза.

— Жил ли он среди нас, знает ли, чего мы хотим, знает ли наши нужды?

— Нет, он не жил среди нас, он рос среди белых, изучал их науки. Да, он хорошо знает наши нужды и наши желания, ведь у нас одно желание — свобода

— Пусть тогда он начнет с того, что освободит триста своих рабов.

— Уже сделано, с сегодняшнего утра они свободны, — заявил Жорж.

— Да, да, это правда, мы свободны, Жорж освободил нас, — раздались громкие голоса в толпе.

— Но он дружит с белыми, — произнес Антонио.

— Я заявляю всем вам, — ответил Жорж, — что вчера я порвал с ними навсегда.

— Но он любит белую девушку, — возразил Антонио.

— И это еще одна победа для нас, цветных, — ведь белая девушка любит меня.

— Но если ее предложат Жоржу в жены, — воскликнул Антонио, — он нас предаст и помирится с белыми.

— Если мне предложат ее в жены, я отвергну это предложение: я желаю, чтоб она сама избрала меня в мужа, помощь белых мне не нужна.

Антонио пожелал было еще что-то сказать, но в тот момент раздался возглас: «Да здравствует наш вождь Жорж! Да здравствует наш вождь!» — и малаец умолк.

Жорж обратился к толпе:

— Друзья мои, наступает день, следовательно, нам пора расстаться. В четверг будет праздник, вы не работаете и сможете явиться сюда в восемь вечера, я буду здесь, возглавлю наше войско, и мы направимся в город.

— Да, да согласны, — крикнула во весь голос толпа.

— Еще условимся: если среди нас окажется предатель и если предательство будет доказано, решим, что каждый из нас может на месте предать его смерти любым способом. Согласны ли вы так поступить с предателем? Я первый принимаю это решение.

— Да, да,— в один голос воскликнула толпа,— если окажется предатель — смерть ему! Смерть предателю!

— Так, хорошо, а теперь скажите, сколько вас?

— Нас десять тысяч,— сказал Лаиза.

— Триста моих единомышленников должны выдать каждому из нас по четыре пиастра, к четвергу вы все обязаны приобрести какое-нибудь оружие. До встречи в четверг.

Жорж попрощался и исчез так же быстро, как и появился. Тут же триста негров открыли мешки с золотом и начали раздавать обещанные деньги.

Правда, этот царственный дар обошелся Жоржу Мюнье в двести тысяч франков. Но что значила эта сумма для богатого человека, готового пожертвовать всем состоянием во имя сокровенной мечты, которой он издавна был увлечен. Наконец эта мечта должна осуществиться. Перчатка брошена.

XX

СВИДАНИЕ

Когда Жорж пришел домой, он казался гораздо спокойнее, чем можно было ожидать. Он был из тех людей, которых убивает бездеятельность и возвышает борьба. На случай непредвиденного нападения он приготовил оружие, с тем чтобы, если потребуется, отступить в большие леса, которые он обошел еще в детстве. Таинственность леса и необъятность моря с детства привили ему романтическую мечтательность.

И все же тот, на кого в действительности пала вся тяжесть непредвиденных событий, был его отец. В течение прошедших четырнадцати лет сокровенным желанием его было вновь увидеть своих сыновей, наконец желание исполнилось. Он увидел их обоих, но с тех пор жизнь его стала беспокойной: один из сыновей — капитан левольтничьего судна — беспрестанно боролся со стихией и с принятыми законами, другой — заговорщик — восстал против расовых предрассудков и сильных мира сего. Оба вступили в борьбу против самых могучих противников, оба подвергаются опасности погибнуть, в то время как он, скованный привычкой безропотного повиновения, видел, как они оба приближаются к бездне, но был не в силах удержать их и утешал себя

лишь тем, что беспрестанно повторял: «По крайней мере я убежден в одном — я умру вместе с ними».

В самое ближайшее время должна была решиться судьба Жоржа, через два дня произойдет катастрофа, которая определит его место в истории — либо он станет вторым Туссен-Лувертюром¹, или новым Петлионом². В эти дни он жалел только, что не может поговорить с Сарой, ведь было бы неосторожно пойти в город и искать там своего постоянного гонца — Мико-Мико. Но вместе с тем Жорж был убежден, что девушка так же уверена в нем, как он в ней.

Существуют души, которым для полного взаимопонимания довольно обменяться взглядом или словом, и они безоглядно веряются друг другу. Кроме того, Жоржем овладела мысль о великой мести обществу и о великом вознаграждении, уготованном ему судьбой. Он скажет Саре при встрече:

«Я не видел вас целую неделю, но этой недели мне хватило на то, чтобы, подобно вулкану, преобразовать остров. Бог хотел уничтожить мир ураганом и не смог. Я же захотел смести бурей человеческие законы и заблуждения; и вот — более могущественный, чем Бог — я совершил это».

В политических и общественных бурях, подобных тем, которые увлекали Жоржа, есть некое опьянение; в этом кроется причина того, что и бунты, и бунтари пребудут вечно. Самый могучий двигатель человеческих поступков — стремление удовлетворить свою гордость; и что же милее всего на свете нам, чадам греха, как не мысль продолжить вечную борьбу Сатаны с Богом, Титанов с Юпитером? Мы знаем, что в этой борьбе Сата-

¹ Туссен-Лувертюр Франсуа Доминик (1743—1803) — руководитель восстания на острове Гаити (1791). После того, как прибывшие комиссары Конвента провозгласили отмену рабства (1793), Т.-Л. присоединился к французам, возглавил войска, которые нанесли поражение выступившим на острове англичанам и испанцам и заняли восточную часть о. Гаити. В 1801 г. была провозглашена Конституция, в ней узаконивалась отмена рабства. Т.-Л. стал пожизненным губернатором острова. В 1802 г. французский экспедиционный корпус прибыл на остров; рабство было восстановлено Т.-Л. увезен во Францию, где и умер.

² Петлион Александр (1770—1818) — президент республики Гаити. В начале своей политической карьеры принимал участие в борьбе мулатов и негров против белых колонизаторов. В 1806 году был избран президентом Гаити. Дюма здесь сопоставляет судьбы Туссена-Лувертюра и Петлиона.

на был поражен молнией и Энкелад¹ заключен под землей. Но погребенный Энкелад, поворачиваясь, сотрясает Этну. Опаленный молнией Сатана стал князем тьмы.

Правда, бедный Пьер Мюнье ничего в таких вещах не понимал.

Оставив окно полуоткрытым, повесив пистолеты у изголовья и положив саблю под подушку, Жорж спокойно уснул, не думая о том, что спит как бы на пороховом погребке. Пьер Мюнье, вооружив пятерых негров, в которых он был уверен, оставил их сторожить дом, сам же стал наблюдать за дорогой в Моку. Таким образом, Жоржу не грозила опасность быть захваченным врасплох.

Ночь прошла спокойно.

К тому же среди заговорщиков-негров существует закон: строго соблюдать тайну. Эти бедные люди еще не столь цивилизованы, чтобы рассчитать, сколько можно заработать на измене. Следующая ночь прошла, как и предшествовавшая, и Жорж был убежден, что его не предали. Всего лишь несколько часов оставалось до начала осуществления его замысла.

К девяти часам утра появился Лаиза, Жорж провел его в свою комнату. Ничего не изменилось в плане восстания, преданность Жоржу, вызванная его великодушием, возрастала. В девять часов десять тысяч вооруженных повстанцев должны были собраться на берегах реки Веерников, и заговорщики должны были приступить к действию.

В то время как Жорж расспрашивал Лаизу о расположении отрядов и обсуждал с ним реальные возможности успеха этого рискованного предприятия, он издали увидел своего друга Мико-Мико, который, держа через плечо корзины на бамбуковой палке, приближался к дому. Его появление было как нельзя более кстати. Со дня скачек Жорж даже мельком не видел Сары.

Как бы ни владел собой молодой мулат, он все же открыл окно и подал знак Мико-Мико войти поскорее в дом. Лаиза хотел удалиться, но Жорж задержал его, потому что еще не все успел ему сказать.

Действительно, как и предвидел Жорж, Мико-Мико явился в Моку не по собственному желанию: войдя, он

¹ Энкелад — титан, низверженный громами Зевса (у Дюма — Юпитера) и заключенный в глубине Этны. Когда он ворочается, содрогается вся Сицилия.

тут же подал Жоржу записку, на которой женским почерком были надписаны его имя и адрес. При виде записки у Жоржа бешено заколотилось сердце, он взял ее из рук посыльного и, чтобы скрыть свое волнение — жалкий философ, тщетно пытающийся подавить в себе столь человеческие чувства,— отошел к окну с запиской.

В самом деле, письмо было от Сары. Вот что в нем содержалось:

«Дорогой друг, приходите сегодня к двум часам после полудня к лорду Уильяму Маррею, и вы узнаете новость, о которой я не могу сообщить ни слова, настолько я благодаря ей счастлива. Посетив его, зайдите ко мне, буду вас ждать в нашем павильоне.

Ваша Сара».

Жорж дважды прочитал записку, но так и не понял, какую цель преследует это двойное свидание. Что за новость собирается сообщить ему губернатор, почему эта новость осчастливила Сару? И как может он, выйдя от лорда Маррея, появиться в доме де Мальмеди среди бела дня, на глазах у людей?

Один лишь Мико-Мико мог бы ему все это объяснить; Жорж стал его расспрашивать, но достойный торговец знал только то, что мадемуазель Сара прислала за ним Бижу, которого он не сразу признал, потому что после битвы с Телемаком бедняга Бижу лишился кончика носа, и без того достаточно вздернутого. Мико-Мико последовал за ним и встретился в павильоне с девушкой, там она передала ему письмо для Жоржа. Затем она дала ему золотую монету, и больше он ничего не знал.

Жорж все же продолжал свои расспросы, его интересовало все — писала ли девушка письмо при Мико-Мико, была ли она при этом одна, радовалась или грустила. Да, она писала письмо при нем, никого больше в комнате не было. А лицо ее сияло от счастья.

В это время послышался стук копыт, прибыл курьер от губернатора, он вошел в комнату Жоржа и вручил ему письмо от лорда Маррея, в котором сообщалось:

«Мой дорогой спутник по путешествию! С тех пор как мы не виделись, я был занят устройством ваших дел, мне представляется, что они идут успешно. Будьте любезны прийти ко мне сегодня в два часа. Надеюсь сообщить вам приятные новости.

Ваш лорд У. Маррей».

По содержанию оба письма были сходны, поэтому, как бы ни было для него опасно появляться в городе при существующем положении и как бы ни был он предусмотрителен, Жорж все же со свойственной ему гордостью счел, что отказаться от назначенных свиданий было бы проявлением трусости, в особенности потому, что его призывали единственные из всех людей, отозвавшихся на его любовь и на его дружбу. И он обратился к посыльному с просьбой приветствовать лорда и сообщить, что прибудет к нему в назначенный час.

Посланец удалился, а Жорж сел за стол и написал Саре:

«Да будет благословенно Ваше письмо! Это первое письмо, которое я получил от Вас, и, хотя оно очень короткое, Вы сказали все, что я хотел знать: Вы меня не забыли, Вы любите меня, Вы преданы мне как и я Вам.

Я пойду к лорду Маррею в указанный Вами час. Будете ли Вы там? Об этом Вы умолчали. Увы! Радостные для меня новости могут исходить только из Ваших уст, так как единственное счастье в этом мире для меня — стать Вашим мужем. До сих пор я делал для этого все, что мог. Будьте же верны мне, Сара, как буду верен Вам я; но каким бы близким ни казалось Вам это счастье, я очень боюсь, что нам, прежде чем обрести его, придется пережить мучительные испытания. И все же я убежден — ничто на свете не может противостоять могучей непоколебимой воле и глубокой, преданной любви. Любите меня такой любовью, Сара, а я буду непоколебим.

Ваш Жорж».

Написав письмо, он вручил его Мико-Мико, который, взяв бамбуковый шест с корзинами, отправился в Пор-Луи. Разумеется, не без нового вознаграждения, столь им заслуженного.

Жорж остался вдвоем с Лаизой. Лаиза слышал и понял все, что здесь происходило.

— Вы идете в город? — спросил он Жоржа.

— Да, — ответил он.

— Это неосторожно.

— Да, я знаю, но я должен идти, я был бы трусом, если бы не пошел.

— Согласен, идите, но если в десять часов вас не будет на реке Веерников?..

— Значит, я арестован или мертв, тогда приходите все в город и освободите меня либо отомстите за меня.

— Хорошо,— произнес Лаиза,— полагайтесь на меня.

И эти два человека, так хорошо понимавшие друг друга, что одного слова, одного рукопожатия им было довольно, чтобы проникнуться взаимным доверием, расстались, ничего более не пообещав, ничего не посоветовав друг другу.

В десять утра от отца пришел слуга пригласить Жоржа к завтраку. В столовой он был спокоен, как будто ничего не случилось.

Пьер Мюнье посмотрел на него с отеческой заботой, видя, что сын его выглядит хорошо и, приветствуя отца, улыбается, как обычно.

— Да благословит тебя Господь, дорогое дитя! Видя, что тебе несут одно письмо за другим, я боялся, что ты получил плохие известия, но твой вид успокаивает меня, значит, я ошибся.

— Вы правы, дорогой отец,— ответил Жорж,— все идет хорошо, восстание начинается сегодня вечером, а эти посланцы принесли мне два письма, одно от губернатора, который назначил мне свидание сегодня, другое от Сары, она говорит мне, что любит меня.

Пьер Мюнье был поражен. Впервые Жорж поведал ему о готовящемся восстании рабов и о своей дружбе с губернатором; Пьер Мюнье краем уха слышал о восстании, но был поражен до глубины души, узнав, что его любимый Жорж вступил на этот путь.

Он пробормотал несколько замечаний, но Жорж остановил его:

— Отец,— воскликнул он с улыбкой,— вспомните тот день, когда вы проявили чудеса храбрости, после того как освободили добровольцев, захватили знамя, знамя это выхватил у вас Мальмеди; тогда вы — великий, благородный — предстали перед врагом, но, впрочем, таким вы будете всегда встречать любую опасность. Тогда я поклялся, что настанет день, когда отношения между людьми будут справедливыми, день этот наступил, я не нарушу произнесенной клятвы. Бог рассудит спор между рабами и господами, между слабыми и сильными, между мучениками и палачами вот и все! Такова жизнь!

В то время как Пьер Мюнье без сил, как будто на него навалилась вся тяжесть мира, не решился возра-

жать пылким словам сына и сидел подавленный, удрученный, Жорж приказал Али оседлать коня и, закончив завтрак, с грустью взглянув на отца, направился к выходу.

В тот же момент старик бросился к сыну.

Жорж устремился к нему, и лицо его осветилось сыновней любовью, обычно скрываемой. Он прижал к груди благородную голову отца и поцеловал его седые волосы.

— Сын мой! Сын мой! — воскликнул Пьер Мюнье.

— Отец! Вам будет обеспечена почитаемая всеми старость, или же я лягу в кровавую могилу. Прощайте!

Жорж выбежал из комнаты, а старик с глубоким стоном опустил в кресло.

XXI

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТВЕРГНУТО

В двух лье от дома отца Жорж увидел Мико-Мико, идущего из Пор-Луи; он остановил лошадь, подозвал китайца и тихим голосом сказал ему несколько слов. Мико-Мико, поняв, что от него хотят, удалился.

У подножия Горы Открытия Жоржу встретилось множество горожан. Внимательно всмотревшись в лица, он пришел к убеждению, что им ничего неизвестно о восстании, которое должно начаться сегодня вечером. Жорж продолжал свой путь, прошел через лагерь негров и прибыл в город.

В городе было спокойно. Все, казалось, занимались своими делами. Не ощущалось никакой напряженности. Суда плавно покачивались в укрытии порта. Набережная была заполнена гуляющими людьми. Прибывшее из Калькутты американское судно стало на якорь против «Свинцовой собаки».

Однако же появление здесь Жоржа произвело заметное впечатление, очевидно, оно было связано с происшествием на скачках и тем, что мулат нанес неслыханное оскорбление белому человеку.

Находившиеся здесь люди, увидев молодого мулата, прекратили деловые разговоры и стали следить за ним, удивляясь тому, как он осмелился вновь появиться в городе. Но Жорж не придавал этому никакого значения и с таким презрением посмотрел на присутствующих, что они мгновенно смолкли и потупились не в силах выдержать его взгляда.

К тому же две чеканные рукоятки пистолетов торчали из его кобуры.

Особое внимание Жорж обратил на солдат и офицеров, которых он увидел по дороге. Но они производили впечатление скучающих людей, перенесенных с одного континента на другой, приговоренных к изгнанию за тридевять земель. Однако, если бы солдаты и офицеры знали, какое занятие готовил им Жорж на ночь, они имели бы вид если не более веселый, то, во всяком случае, более озабоченный.

Все в городе, в общем, внушало спокойствие.

В таком состоянии духа Жорж прибыл к дому губернатора, бросил повод своего коня в руки Али и приказал ему не отлучаться. Затем он пересек двор, поднялся на крыльцо и оказался в приемной губернатора.

Слугам заранее был дан приказ, как только появится Жорж Мюнье, доложить о его приходе. Слуга открыл дверь салона и объявил о прибывшем.

Жорж вошел; в салоне были лорд Маррей, господин де Мальмеди и Сара.

Она сразу же устремила взор на молодого человека и была глубоко удивлена, увидев, что лицо Жоржа выражало скорее мучительное, нежели радостное чувство; он нахмурился, брови у него облизались, и почти горькая улыбка мелькнула на его губах.

Сара при его появлении быстро встала, но, почувствовав, что ее ноги подгибаются, медленно опустилась в кресло.

Господин де Мальмеди стоял неподвижно, удовольствовавшись едва заметным поклоном: лорд Уильям Маррей направился к Жоржу, протянув ему руку.

— Мой юный друг, — заговорил он, — я счастлив сообщить вам новость, которая, надеюсь, осуществит все ваши мечты. Господин де Мальмеди, горя желанием искоренить рознь между расами, соперничество каст, которые в течение двух веков порождают несчастье не только на нашем острове, но и во всех колониях, — господин де Мальмеди дает согласие на ваш брак с его племянницей мадемуазель Сарой де Мальмеди.

Сара, покраснев, незаметно подняла глаза на молодого человека, но Жорж только поклонился, не обмолвившись ни словом. Господин де Мальмеди и лорд Маррей посмотрели на него с удивлением.

— Мой дорогой господин де Мальмеди, — произнес лорд Маррей улыбаясь, — я вижу, что наш недоверчивый

друг не верит моим словам; скажите же ему вы, что согласны принять его предложение и что вы хотели бы, чтоб вражда между вашими семьями была бы забыта.

— Разумеется, сударь,— весьма неохотно произнес де Мальмеди,— господин губернатор сказал сущую правду о моем отношении к вам. Если у вас возникли неприятные воспоминания о прошлом, о событиях при захвате Пор-Луи, забудьте их, как мой сын готов забыть куда более серьезное оскорбление, я обещаю это от его имени. О брачном союзе с моей племянницей господин губернатор уже сообщил вам, я даю согласие на этот брак, слово за вами, если сегодня вы не откажетесь...

— О! Жорж! — воскликнула Сара, увлеченная мгновенным порывом.

— Не спешите осуждать мой ответ, милая Сара,— произнес молодой человек,— поверьте мне, мое решение продиктовано настоятельной необходимостью. Сара, перед Богом и людьми, после вечера в павильоне, после встречи на балу, после того, как я впервые увидел вас, Сара,— вы моя жена, никакая другая не будет носить имя человека, не отвергнутого вами, несмотря на то, что оно унижено расовым предрассудком; все то, что я скажу, это вопрос убеждений и времени.

Жорж обратился к губернатору.

— Благодарю вас,— продолжал он,— благодарю. Тому, что сейчас происходит, я обязан вашему великодушию и вашему дружескому расположению, но с того момента, когда господин де Мальмеди отказал мне в руке его племянницы, а господин Анри вновь оскорбил меня, я счел своим долгом отомстить за отказ и за нанесенное мне оскорбление, предав обидчика публичному несмыслаемому позору, и тем самым я решительно порвал с белыми, отныне сближение между нами невозможно. Я не знаю, что входит в расчеты господина де Мальмеди, не знаю, каковы его намерения, но если он может пойти мне навстречу, то я не могу и не хочу идти навстречу ему. Если мадемуазель Сара любит меня, она свободна, она сама располагает своей рукой и сама распоряжается своим состоянием, только от нее самой зависит еще более возвыситься в моих глазах, снизойдя до меня; и я не хочу пасть в ее глазах, пытаюсь возвыситься до нее.

— О, Жорж,— воскликнула Сара,— вы хорошо знаете...

— Да, я знаю, что вы благородная девушка, с безгранично преданным сердцем, чистой душой. Я знаю,

что вы будете со мной, несмотря на все предрассудки и преграды. Я знаю, что должен только ждать вас и вы придете ко мне, потому что жертва должна исходить от вас и вы уже великодушно решили принести ее. Что касается вас, господин де Мальмеди, и вашего сына Анри, отвергнувшего мой вызов, надеясь, что его друзья отхлещут меня кнутом, то, слышите, между нами будет вечная борьба; смертельная ненависть, которая погаснет лишь в кровавом поединке либо в глубоком презрении: пусть же ваш сын выбирает.

— Господин губернатор,—возразил де Мальмеди с таким достоинством, какого трудно было от него ожидать,—вы видите, я со своей стороны сделал все, пожертвовал своей гордостью, забыл нанесенные мне оскорбления, но, соблюдая приличие, я не могу более чем-либо поступиться, и я буду ожидать войны, объявленной нам господином Жоржем. Мы не только будем ждать нападения, но и будем защищаться. Отныне, мадемуазель, как объявил господин Мюнье, вы свободны, вольны распоряжаться своим сердцем и состоянием. Выбирайте же: оставайтесь с ним либо пойдете со мной.

— Мой долг следовать за вами,—обращаясь к своему дяде, сказала Сара.—Прощайте, Жорж; я не понимаю вашего сегодняшнего поступка, но не сомневаюсь, что вы поступили так, как вам велит долг.

И, присев перед губернатором в реверансе, исполненном спокойного достоинства, Сара удалилась с господином де Мальмеди.

Лорд Уильям Маррей проводил их до двери, вышел с ними и некоторое время спустя возвратился.

Его пронизательный взгляд обнаружил у Жоржа твердую уверенность в себе. Мгновение оба молчали, отлично понимая друг друга.

— Итак,—произнес губернатор,—вы отвергли предложение.

— Я посчитал своим долгом так поступить, милорд.

— Простите, не подумайте, что я допрашиваю вас; но не могу ли я узнать, какие побуждения продиктовали ваш отказ?

— Чувство собственного достоинства.

— Это единственная причина?

— Если есть другая, то, господин губернатор, разрешите о ней не говорить.

— Послушайте, Жорж,—сказал губернатор с тем порывом непринужденности, которая вовсе не была свой-

ственно его холодному сложному характеру, — послушайте. С того времени, когда я вас встретил на борту «Лейстера», с тех пор, как я смог оценить отличающие вас высокие качества, во мне возникло желание поручить вам важную миссию — объединить враждующие касты острова. Я начал понимать ваши убеждения, вы раскрыли передо мной тайну вашей любви, и я согласился исполнить вашу просьбу — быть посредником и близким человеком в ваших делах. За это, Жорж, — продолжал лорд Маррей, ответив на поклон Жоржа, — за это, мой дорогой друг, вы мне ничем не обязаны, вы бы и сами поспешили исполнить любые мои желания, вы помогли бы мне составить план примирения враждующих групп, вы бы уточнили и усовершенствовали мои политические проекты. Я же сопровождал вас, когда вы направились к господину де Мальмеди, я поддержал вашу просьбу весомостью своего присутствия, авторитетом и значением своего звания.

— Я это знаю, милорд, благодарю вас. Но вы сами убедились, что ни авторитет вашего столь уважаемого имени, ни ваше присутствие, как бы оно ни было лестно, не смогли предотвратить полученный мною отказ.

— Мне было так же тяжело, как и вам, Жорж, я восхищался вашей сдержанностью, ваше хладнокровие убеждало меня, что вы готовили грозное возмездие. Это возмездие совершилось на глазах у всех, в день скачек, и тогда я понял, что, по всей вероятности, мне следует отказаться от проекта примирения враждебных друг другу слоев населения острова.

— Тогда, прощаясь с вами, я предупредил вас об этом.

— Да, я помню, но послушайте меня; я не признал себя побежденным; вчера, придя в дом господина де Мальмеди, я обратился с настоящей просьбой, почти злоупотребляя влиянием, связанным с моим положением, я добился от отца согласия забыть былую вражду к вашему отцу, а от Анри — чтобы он забыл вновь возникшую ненависть к вам; и я добился согласия их обоих на ваш брак с мадемуазель де Мальмеди.

— Сара вольна поступать, как она пожелает, милорд, — живо прервал его Жорж, — и, чтобы стать моей женой, благодарение Богу, она не нуждается в чем-либо согласии.

— Да, это так, — продолжал губернатор, — но согласитесь, что есть разница, похитите ли вы девушку из до-

ма ее воспитателя или получите ее руку с согласия семьи. Поразмыслите над вашей гордостью, господин Мюнье, и вы убедитесь в том, что я сделал все возможное, чтобы полностью удовлетворить ее, добился такого успеха, какого вы и сами не ожидали.

— Это верно, — ответил Жорж. — К несчастью, слишком поздно пришло это согласие.

— Почему так, — заметил губернатор, — и почему слишком поздно?

— Избавьте меня от ответа на этот вопрос, милорд. Это моя тайна.

— Ваша тайна, бедный мой юноша? Ну хорошо же, хотите, я раскрою вам эту тайну, которую вы от меня скрываете?

Жорж посмотрел на губернатора с недоверчивой улыбкой.

— Ваша тайна! — продолжал губернатор. — Вы думаете, что тайна надолго сохранится, если она доверена десяти тысячам людей?

Жорж продолжал смотреть на губернатора, но теперь уже без улыбки.

— Послушайте меня, — сказал губернатор, — вы хотите погубить себя, а я хочу спасти вас. Я пришел в дом де Мальмеди, уединился с ним и сообщил ему: — Вы не оценили Жоржа Мюнье, грубо оттолкнули, вынудили его открыто порвать с вами всякие отношения, вы совершили ошибку, так как Жорж Мюнье — выдающаяся личность, с чувствительным сердцем и благородной душой; такой человек способен на многое, и доказательством служит то, что жизнь наша сейчас в его руках, он — руководитель массового заговора, и завтра в десять вечера Жорж Мюнье направится в Пор-Луи во главе десяти тысяч негров, — я говорил с ним об этом вчера. Дело в том, что мы располагаем гарнизоном всего в тысячу восемьсот человек, и если у меня не возникнет какой-либо план спасения, какие порою возникают у здравомыслящих людей, то мы погибли; пройдет день — и Мюнье, которого вы презираете как потомка рабов, быть может, станет нашим властелином и не пожелает иметь вас в числе своих рабов. Так вот, сударь, вы можете предотвратить эту беду, — сказал я ему, — можете спасти колонию. Забудьте прошлое, согласитесь на брак вашей племянницы с Жоржем, в котором вы ему ранее отказали, и, если он выразит согласие, так как роли переменялись и его намерения тоже могут измениться, — так вот, при

этом вы сможете спасти не только вашу жизнь, вашу свободу, вашу собственность, но к тому же спасти жизнь, свободу, благосостояние всех нас. Вот что я ему сообщил, и тогда на мою мольбу, на мою настоятельную просьбу и повеления он согласился. Но то, что я предвидел, то и произошло; вы слишком далеко зашли, приняв на себя обязательства, которые не смогли нарушить.

Жорж следил за речью губернатора с возрастающим удивлением, но с совершенным спокойствием.

— Итак,— сказал он,— вам все известно, милорд?

— Вы же понимаете, все это мне отлично известно, и, кажется, я ничего не забыл.

— Нет,— произнес Жорж улыбаясь,— нет, ваши шпионы прекрасно осведомлены, примите мои комплименты, ваша полиция хорошо работает.

— Ну так вот,— сказал губернатор,— отныне вы знаете, почему я действовал так, решайте, есть еще время, согласитесь принять руку Сары, примиритесь с ее семьей, откажитесь от безумных помыслов, а я буду вести себя так, как будто ничего не знаю, ни в чем не осведомлен, все забыл.

— Невозможно,— произнес Жорж.

— Подумайте же, с какими людьми вы связались.

— Вы забыли, милорд, что эти люди, о которых вы отзываетесь с таким презрением,— мои братья; что презираемые белыми люди так называемой низшей расы меня признали, избрали своим вождем; вы забываете, что они всецело доверили мне свою жизнь, и я предан им навсегда.

— Итак, вы отказываетесь?

— Да!

— Несмотря на мои увещания?

— Простите, милорд, но я не могу их принять.

— Несмотря на вашу любовь к Саре и на любовь ее к вам?

— Несмотря ни на что.

— Подумайте как следует.

— Бесполезно. Я не изменю своего решения.

— Ну хорошо, теперь, Жорж,— сказал лорд Маррей,— последний вопрос.

— Говорите.

— Если бы я был на вашем месте, а вы на моем, как бы вы поступили?

— Не понимаю.

— А вот что — если бы я был Жорж Мюнье, руководитель восстания, а вы — лорд Уильям Маррей, губернатор Иль де Франс, — если бы вы держали меня в своих руках, как я вас ныне держу в своих, — скажите, я спрашиваю вас, как поступили бы вы?

— Как бы я поступил, милорд? Я разрешил бы свободно выйти отсюда человеку, который явился сюда по вашему приглашению, полагая, что идет на место встречи, а не завлечен в ловушку; затем, вечером, если я убежден в правоте моего дела, я обратился бы к Богу с тем, чтобы Всевышний разрешил наш спор.

— Так вот, вы были бы неправы, Жорж, ибо с того момента, когда я обнажил шпагу, вы уже не смогли бы меня спасти; как только я зажег бы пламя восстания, следовало его погасить в моей крови. Нет, Жорж, нет, поймите, я не хочу, чтобы такой человек, как вы, погиб на эшафоте, погиб, как обыкновенный мятежник, намерения которого будут оклеветаны, а имя проклято, и чтобы спасти вас от подобного несчастья и не дать судьбе посмеяться над вами, отныне вы мой пленник, я арестую вас.

— Милорд, — воскликнул Жорж, оглядываясь вокруг в поисках какого-нибудь оружия, которое он мог бы схватить и защищаться.

— Господа, — громко произнес губернатор, — войдите, арестуйте этого человека.

Появились четыре солдата во главе с капралом и окружили Жоржа.

— Отведите его в полицию, — сказал губернатор, — заключите в камеру, которую я приказал подготовить, установите строгую охрану, но смотрите за тем, чтобы ему было оказано должное уважение.

При этих словах губернатор поклонился арестанту, а Жорж вышел из кабинета.

XXII

ВОССТАНИЕ

Все, что произошло, произошло столь быстро и так неожиданно, что у Жоржа даже не было времени подготовиться к тому, что его ожидало. Благодаря исключительному самообладанию он скрыл нахлынувшие на него мысли под непринужденно-презрительной улыбкой.

Арестант и его охранники вышли через заднюю дверь, у порога которой стоял экипаж губернатора; но, то ли случайно, то ли преднамеренно Мико-Мико проходил мимо, когда Жорж садился в экипаж; наш герой и его постоянный гонец обменялись взглядами.

По приказу губернатора Жорж был доставлен в полицию. Само название указывало, для чего было предназначено это здание, расположенное на Правительственной улице, подле театра. Жоржа ввели в камеру, указанную губернатором; это была комната, заранее приготовленная по приказанию лорда Маррея, и было заметно, что ее стремились сделать по возможности комфортабельной. Мебель была весьма опрятной, а кровать даже изящной; ничего в этой комнате не напоминало тюрьму, кроме зарешеченных окон.

Едва лишь закрылась дверь за Жоржем и узник остался в одиночестве, он подошел к окну, выходящему на отель Куанье. Так как одно из окон отеля находилось напротив комнаты Жоржа, узник мог видеть все, что делалось там, тем более что окно было открыто.

Жорж возвратился от окна к двери, прислушался и понял, что в коридоре находится часовая.

Затем он подошел к окну и открыл его. На улице часовых не было, полагались на массивные решетки, которые внушали доверие самой бдительной охране.

Итак, никакой надежды бежать без посторонней помощи нет. Но Жорж, конечно, ожидал ее; оставив свое окно открытым, он пристально смотрел в сторону отеля Куанье, который, как мы уже сказали, возвышался напротив здания полиции. И, действительно, его надежда сбылась, через час он увидел, что в комнату напротив тюрьмы швейцар отеля привел Мико-Мико с шестом на плече. Арестант и Мико-Мико обменялись лишь взглядом, но этот взгляд, каким бы мгновенным он ни был, вернул Жоржу спокойствие духа.

С этого момента Жорж казался столь же безмятежным, как будто находился в своем доме в Моке. Однако внимательный наблюдатель заметил бы, что он порой хмурил брови и проводил рукой по лбу. Потому что под внешне спокойным обликом Жоржа возникало множество мыслей, и, словно бушующее море своим приливом и отливом, они беспрестанно волновали его.

Однако проходило время, и ничто не доказывало арестанту, что в городе происходят какие-либо события. Не

слышно было ни боя барабана, ни лязга оружия. Два или три раза Жорж подбегал к окну, обманутый доносившимся до него шумом, но всякий раз шум, принятый им за барабанный бой, означал, что по улице проезжала телега с бочками.

Наступала ночь, и по мере ее приближения Жорж становился все более возбужденным и взволнованным. В лихорадочном состоянии он шагал от двери к окну; выход по-прежнему охранялся часовыми, а окно было прочно зарешечено.

В раздумье Жорж прижимал руку к груди, и легкое искажение его лица означало, что у него сильно бьется сердце, от чего не может избавиться даже самый мужественный человек в момент грозных поворотов судьбы; тогда он, конечно, думал об отце, ведь отец не знал об опасности, нависшей над Жоржем, и о Саре, которая невольно послужила тому причиной.

Что касается губернатора, то, хотя Жорж Мюнье питал к нему холодную ярость, как неудачливый игрок к счастливому сопернику, он все же понимал, что губернатор не только по свойственной аристократу обходительности желал его спасти, но и отдал приказ об аресте лишь после того, как Жорж отверг его предложение.

Итак, Мюнье был арестован по обвинению в государственной измене.

Вскоре сумерки стали сгущаться. Жорж взглянул на часы, была половина девятого вечера, а в десять часов должно было начаться восстание.

Вдруг Жорж, подняв голову, снова взглянул на отель Куанье, напротив в комнате мелькнула тень, затем Жоржу подали знак. Он отошел от окна, какой-то пакет пролетел сквозь прутья решетки и упал посреди камеры.

Жорж, бросившись к пакету, подобрал его: в нем были завернуты веревка и напильник; то была помощь извне, которую с нетерпением ждал Мюнье. Теперь свобода зависела от него, но он желал воспользоваться ею в тот момент, когда начнется восстание.

Жорж спрятал веревку под матрацем и, когда наступила полная темнота, начал подпиливать прутья решетки.

Путья находились на таком расстоянии друг от друга, что, убрав один из них, он смог бы пролезть через образовавшийся проем.

Однако дело шло медленно: девять часов, половина десятого, пробило десять; в то время как узник продол-

жал пилить железную решетку, вдруг ему показалось, что в конце Правительственной улицы, подле театра и в порту вспыхнули яркие огни, но ни один патруль не появился на улице, ни один солдат не возвращался в свою казарму. Жорж не мог понять такого равнодушия губернатора; он слишком хорошо знал его и был уверен, что тот предпримет охрану города, а между тем город, казалось, оставался без всякой охраны, словно всеми покинутый.

Однако в десять часов Жорж услышал гул, доносившийся со стороны Малабарского лагеря; именно с той стороны, очевидно, должны были появиться повстанцы, собравшиеся на берегу реки Веерников. Жорж стал действовать более энергично; снизу прут был совсем перепилен, и он начал пилить сверху. Гул усиливался, сомнения не было, то был гул многих тысяч голосов. Лаиза сдержал слово, радостная улыбка появилась на лице Жоржа; гордость озарила его чело; значит, все-таки будет битва, если не победа, то, во всяком случае, борьба.

И Жорж присоединится к этой схватке; прут решетки уже еле держался. С бьющимся сердцем он напрягал слух, шум приближался, а свет, который он раньше замечал, становился все ярче. Был ли то пожар в Пор-Луи? Невозможно. Не было слышно ни одного крика отчаяния.

Более того, хотя постоянно раздавался гомон толпы, но, странное дело, то были скорее возгласы ликования, нежели угрозы, нигде не слышалось бряцания оружием, и улица, где находилось здание полиции, оставалась пустынной.

Жорж прождал еще четверть часа, надеясь, что раздается стрельба и он, наконец, убедится, что началась борьба, но пока слышался лишь тот же странный шум.

Тогда узник подумал, что самое главное для него — бежать из тюрьмы. Последним усилием он вырвал прут из решетки, крепко привязал веревку у ее основания, выбросил на улицу отпиленный прут, решив, что он послужит ему оружием, пролез сквозь проем, соскользнул по веревке и без затруднений спустился на землю; затем подобрал железный прут и ринулся в одну из прилегающих улиц.

По мере того как Жорж приближался к Парижской улице, которая пересекает весь северный квартал города, он увидел, что свет становится все ярче, до его слуха доносился возросший гул; наконец, он достиг одной из ярко освещенных улиц, и тут ему стало ясно все

Улицы, примыкающие к Малабарскому лагерю, как раз к тому месту, откуда повстанцы предполагали войти в город, были ярко освещены, словно по случаю праздника; в разных местах, перед наиболее заметными домами, стояли открытые бочки с араком, ромом и водкой, предназначенные для бесплатной раздачи.

Негры двинулись на Пор-Луи, словно лавина, издавая крики ярости и мщения. Но, появившись в городе, они увидели, что улицы освещены и повсюду стоят бочки с вином, вызывающие неодолимый соблазн. Некоторое время они сдерживали себя, боясь, что вино отравлено, и подчиняясь приказу Лаизы, но вскоре природная страсть одержала верх над дисциплиной и даже над страхом; несколько человек бросились к бочкам и начали пить. Буйная радость этих смельчаков увлекла всю массу негров, началось повальное пьянство; все это множество невольников, которое могло бы захватить Пор-Луи, мгновенно рассеялось и, окружив бочки, принялось с радостным бешенством поглощать водку, ром, арак — вечную отраву рабов, при виде которой негры не могут устоять перед соблазном, готовые продать за этот яд своих детей, отца, мать и, наконец, самих себя.

Именно оттуда несся зловещий гомон, которого Жорж не мог себе объяснить. Губернатор воспользовался советом Жака и, как мы убедимся, применил его с успехом. Бодро вступив в город, повстанцы замедлили ход между Малой горой и Тру-Фанфароном и окончательно застряли в сотне шагов от губернаторского дома.

При виде этого необычайного зрелища Жорж более не сомневался в провале своих замыслов: он вспомнил предсказания Жака и содрогнулся от стыда и гнева. Эти люди, вместе с которыми он собирался изменить существующий порядок вещей, потрясти весь остров и отомстить за двухвековое рабство победой над поработителями и будущей свободой, — эти люди были здесь, и это они хохотали, пели, плясали, шатались по улицам, пьяные и безоружные; для того, чтобы снова согнать этих людей на плантации, довольно было бы и трехсот солдат, вооруженных лишь плетьюми; а ведь рабов было десять тысяч.

Итак, длительный этап самовоспитания был напрасен; углубленное изучение собственных сил, собственного сердца, сознание своей значимости оказалось бесполезным; превосходство характера, ниспосланное Богом, житейский опыт — все это потерпело крах перед торже-

ством инстинкта расы, ради алкоголя предавшей свободу.

И тут Жорж почувствовал всю бесплодность своих замыслов; гордость вознесла его на вершину горы и показала ему все царства земные, лежащие у ног его. И вот — все это оказалось пустым видением и скрылось из глаз, а Жорж остался один на том самом месте, куда завела его ложная гордость.

Он сжимал железный прут, чувствуя неодолимое желание броситься в толпу и колотить этих негодяев по их безмозглым головам за то, что они не сумели устоять против низкого искушения и пожертвовали его свободой.

Группы любопытствующих, несомненно, не понимали причин этого импровизированного праздника, устроенного губернатором для рабов, и смотрели на все происходящее, вытаращив глаза и разинув рот; каждый спрашивал своего соседа, что это означает, и сосед, так же несведущий, как и он, не мог ему ответить и дать какое-либо объяснение.

Жорж переходил от группы к группе, устремлял взгляд в глубь ярко освещенных улиц, где шатались пьяные негры, бормотавшие несусветные глупости. Он искал среди этой толпы падших одного человека, единственного, на которого он мог положиться среди всеобщего разгула. То был Лаиза!

Вдруг Жорж услышал шум, несущийся со стороны здания полиции, с одной стороны началась довольно сильная стрельба с регулярностью, характерной для войсковых подразделений, и редкий беспорядочный огонь — с другой стороны.

Наконец-то, хотя бы в одном месте разгорелось сражение! Жорж бросился туда и пять минут спустя оказался на Правительственной улице. Он не ошибся, группой сражавшихся командовал Лаиза, который, узнав, что Жорж арестован, возглавил отряд из четырехсот преданных бойцов, обошел вокруг города и направился к зданию полиции, чтобы освободить Жоржа.

Власти, несомненно, предвидели это, и как только группа инсургентов была замечена в конце улицы, батальон англичан двинулся ей навстречу.

Лаиза полагал, что ему не удастся освободить Жоржа без борьбы, но он рассчитывал на прибытие в город

тех мятежников, которых он ждал со стороны Малабарского лагеря; они должны были помочь ему. Этого не произошло по известной причине.

Жорж в мгновение ока оказался среди сражавшихся; он громко закричал: «Лаица! Лаица!» Значит, он все же нашел негра, достойного быть человеком; он встретил борца, родственного его душе.

Два вождя объединились в огне сражения; и, не пытаясь обезопасить себя, не боясь свистящих вокруг них пуль, они спешно обменялись словами, краткими, как того требовала чрезвычайная обстановка.

В один миг Лаица узнал обо всем и, покачав головой, произнес: «Все погибло».

Жорж хотел внушить ему надежду, посоветовав воздействовать на пьяниц, но Лаица с презрением заметил: они будут пить до конца, пока ничего не останется, надеяться не на что.

Бочек было открыто столько, чтобы водки хватило на всех.

Борьба потеряла смысл, так как Жорж, которого Лаица хотел спасти, был уже на свободе; приходилось лишь сожалеть о потере двенадцати негров и дать сигнал к отступлению.

Но по Правительственной улице отступление стало невозможным; в то время как отряд Лаицы стоял против английского батальона, другой отряд, укрывшийся в засаде у порохового завода, вышел с барабанным боем и преградил путь, по которому ранее проникли в город Лаица и его сподвижники. Стало быть, пришлось убежать по улицам, прилегающим к Дворцу правосудия, и по ним добираться до Малабарского лагеря.

Пройдя лишь двести шагов, Лаица и отряд оказались на освещенных улицах, где стояли бочки с вином. Перед ними предстала картина необузданного пьянства.

А в конце каждой улицы виднелись сверкающие в темноте штыки английской роты.

Жорж и Лаица переглянулись с горькой улыбкой, означавшей, что теперь уже не может быть речи о победе, а лишь о смерти, но мужественной смерти.

Однако оба пытались сделать последнюю попытку; они бросились на главную улицу, стремясь присоединить свой отряд к восставшим неграм. Некоторые из повстанцев были не в состоянии понять, чего хотят от них вожди

восстания, и даже не узнавали их; другие пели песни и танцевали, едва держась на ногах; большинство же напившихся до предела валялось на земле, теряя последние проблески сознания.

Лаиза схватил хлыст и изо всех сил начал избивать несчастных. Жорж, опираясь на железный прут, единственное его оружие, смотрел на них с глубоким презрением.

Некоторое время спустя Мюнье и Лаиза пришли к убеждению, что надеяться не на что и каждая потерянная минута угрожает их жизни; к тому же кое-кто из верных рабов, соблазненных бочкой с вином, тоже предал своих вождей. Нельзя было терять времени, следовало начать отступление.

Жорж и Лаиза собрали небольшой отряд из верных им людей и направились по улице, которую преграждали солдаты английского гарнизона. Когда между ними и солдатами осталось шагов сорок, они увидели направленные в их сторону ружья; вдруг вспыхнул огонь, град пуль достиг их рядов, сразив не менее десяти человек, и тогда раздалась команда: «Вперед!»

Когда между ними оставалось двадцать шагов, залп второй шеренги солдат вызвал еще большее смятение в рядах повстанцев. Но тут же оба отряда сошлись врукопашную.

То была кровопролитная схватка; известно, сколь мужественны английские солдаты и как они героически умирают. Но ныне они имели дело с отчаявшимися людьми, которые знали, что, если попадут в плен, их ждет позорная смерть, поэтому они хотели умереть свободными.

Жорж и Лаиза творили чудеса смелости и мужества. Лаиза дрался ружейным прикладом, Жорж — железным прутом от тюремной решетки, служившим ему дубинкой; к тому же сподвижники помогали им всюду, бросаясь со штыками на англичан, в то время как раненые, волочась по земле, наносили противнику ножевые раны.

Минут десять продолжалась ожесточенная, яростная, смертельная борьба; никто не мог сказать, на чьей стороне будет победа, но, однако, отчаяние победило дисциплину; ряды англичан разомкнулись, словно прорванная плотина, поток негров ринулся в брешь и вырвался за пределы города. Жорж и Лаиза, возглавлявшие атаку, остались в арьергарде для того, чтобы прикрыть отступление. Вскоре они прибыли к подножию небольшой

горы, крутой и заросшей лесом, так что англичане не рискнули направиться сюда. Здесь они остановились, и воины смогли перевести дух. Человек двадцать чернокожих окружили своих вождей, в то время как остальная часть отряда рассеялась во все стороны; отныне приходилось думать не о борьбе, а о том, чтобы укрыться в Больших лесах.

Жорж определил место сбора всех повстанцев в Моке, где проживал его отец; он сообщил, что выйдет из Моки завтра на заре и направится к Большому порту, где раскинулись дремучие леса. Жорж отдал последние распоряжения остаткам своего разбитого войска, с которым думал завоевать остров, и луна, проплывая между двумя облаками, озаряла бледным светом его отряд, как вдруг в растущем вблизи кустарнике блеснул огонь, раздался выстрел и Жорж упал к ногам Лаизы, сраженный пулей. Вслед за тем какой-то человек бросился из дымящегося кустарника в лощину и пробрался по лощине до английских войск, остановившихся на берегу ручья Девы.

И хотя стрелявший бежал быстро, Лаиза его узнал. Прежде чем Жорж потерял сознание, он услышал возглас Лаизы: «Антонио-Малаец».

XXIII

СЕРДЦЕ ОТЦА

В то время как события, описанные нами, происходили в Пор-Луи, Пьер Мюнье в Моке с тревогой ожидал исхода борьбы, на которую намекал ему сын. Привыкший, как мы уже сказали, к вечному господству белых, отец давно решил для себя, что это господство не только благоприобретенное право, но и естественное состояние. Как ни велика была его преданность сыну, он не мог поверить, что можно устранить вековые расовые преграды.

С тех пор как Жорж попросился с ним, он впал в глубокую апатию. Его сердце разрывалось от волнения, в голове теснились разнообразные мысли, и это привело к внешней бесчувственности, похожей на потерю разума. Два или три раза он намеревался сам поехать в Пор-Луи, собственными глазами увидеть, что там происходит, но для того чтобы выяснить очевидное, нужна сила воли, которой не обладал бедный отец; если бы нужно было

пойти навстречу опасности, Пьер Мюнье, не раздумывая, решился бы на это.

Итак, день прошел в тоске и страхе, тем более глубоких, что они не проявлялись внешне и что тот, кто их испытывал, не смел объяснить никому, даже Телемаку, причину этой подавленности. Он то и дело вставал с кресла и, опустив голову, подходил к открытому окну, бросал долгий взгляд в сторону города, как будто мог видеть его, слушал, как будто мог что-нибудь услышать, потом, не увидев, и не услышав ничего, он глубоко вздыхал, возвращался и молча, с потухшими глазами, снова садился в свое кресло.

Наступил час обеда. Телемак, в чьи обязанности это входило, приказал накрыть на стол, принести обед, но напрасно, потому что тот, для кого все это делалось, лишь равнодушно поднял глаза, потом, когда все было готово Телемак подождал еще четверть часа и, видя, что его хозяин остается, как прежде, в прострации, слегка тронул его за плечо; Пьер Мюнье вздрогнул и, вскочив с кресла, спросил:

— Ну, что? Узнал что-нибудь?

Телемак показал своему хозяину на поданный обед, но Пьер Мюнье грустно улыбнулся, покачал головой и снова погрузился в свои мысли. Негр понял, что происходит нечто необычное, и, не смея спрашивать объяснения, повел вокруг себя своими крупными глазами с ярко-белыми белками, словно ища какого-то знака, который мог бы намекнуть ему на это неизвестное событие; но все вещи были на своих местах и все, как обычно, спокойно, но было очевидно, что с утра в их доме ожидается какое-то большое несчастье. Так прошел день. Телемак, все еще надеясь, что голод возьмет свое, оставил обед на столе, но Пьер Мюнье был слишком поглощен своими мыслями, чтобы чем-нибудь отвлечься от них. Был такой момент, когда Телемак, увидев крупные капли пота на лбу своего хозяина, подумал, что ему жарко, и поднес Пьеру Мюнье стакан воды с вином, но тот мягко отвел его руку со стаканом и только спросил:

— Ты еще ничего не узнал?

Телемак покачал головой, посмотрел на стакан, потом на пол, словно для того, чтобы найти у них разгадку, и, не дождавшись ответа, вышел, чтобы спросить других негров, не знают ли они причины тайной тревоги их хозяина, но, к его большому удивлению, оказалось, что в доме нет ни одного негра. Он побежал в сарай, где они

обычно собирались, чтобы провести там берлок. Сарай был пуст, он вернулся, пройдя через хижины, но в них оставались только женщины и дети.

Он расспросил их, и оказалось, что как только кончился рабочий день, вместо того чтобы, как обычно, отдыхать, все негры взяли оружие и уехали отдельными группами по направлению к реке Веерников. Тогда он вернулся в дом.

Когда Телемак открывал дверь, старик обернулся.

— Ну что? — спросил он.

Телемак рассказал ему об отсутствии негров и о том, как все они, вооруженные, направились в одно и то же место.

— Да! Да! — сказал Пьер Мюнье.— Увы! Да!

Так, значит, больше не было сомнений, и это сообщение еще более способствовало тому, чтобы бедный отец поверил: пришел тот момент, когда все для него решается в городе, потому что со времени возвращения Жоржа старик, увидев своего сына таким красивым, смелым, таким уверенным в себе, со столь богатым прошлым и обеспеченным будущим, тесно соединив свою жизнь с жизнью отца, убедил себя в том, что они оба будут жить одной жизнью, и не мыслил, что ему когда-нибудь придется потерять своего сына или хотя бы разлучиться с ним. Как он упрекал себя за то, что утром отпустил Жоржа, не расспросив его, не проникнув в глубину его мыслей, не узнав, какой опасности он подвергается! Как он упрекал себя за то, что не упросил Жоржа взять его с собой! Но мысль о том, что его сын вступает в открытую борьбу против белых, настолько его поразила, что в первый момент он ослабел духом. Мы уже говорили: эта наивная душа могла противостоять только физической опасности. Тем временем наступила ночь, и часы проходили, не принося никаких известий, ни утешительных, ни страшных. Пробыло десять часов, одиннадцать часов, полночь. Хотя темнота, наступившая в саду и казавшаяся еще глубже из-за того, что в доме зажгли огни, мешала видеть что-либо на расстоянии десяти шагов, Пьер Мюнье продолжал то и дело вставать с кресла, подходить к окну, а от окна возвращаться к креслу. Телемак, по-настоящему встревоженный, устроился в той же комнате, но как бы ни был предан хозяину верный слуга, он не мог сопротивляться дремоте и спал на стуле, стоявшем у стены, на которой его силуэт выделялся, словно нарисованный углем. В два часа утра сторожевая собака,

которую ночью обычно спускали с цепи, но сегодня вечером в суматохе забыли это сделать, тихо и жалобно завывала. Пьер Мюнье вздрогнул и встал, но когда он услышал этот мрачный звук, который суеверные негры считают точным предсказанием близкого несчастья, силы оставили его, и, чтобы не упасть, ему пришлось опереться о стол. Пять минут спустя собака завывала еще громче и тоскливей и выла дольше, чем в первый раз, потом завывала в третий раз еще мрачнее и жалобнее, чем прежде.

Пьер Мюнье, бледный, не в силах произнести ни слова, с каплями пота на лбу, не отводил глаз от двери, хотя и не шагнул к ней, как человек, который ждет несчастья и знает, что оно войдет именно отсюда.

Внезапно послышались шаги множества людей. Шум приближался и усиливался; несчастному отцу почудилось, что это похоронная процессия.

Вскоре в переднюю молча вошли люди; в тишине старику послышался стон, и ему показалось, что это стон его сына.

— Жорж,— воскликнул он,— Жорж, это ты, ради Бога, отвечай, говори, иди ко мне!

— Да, отец,— ответил Жорж слабым, но спокойным голосом,— это я.

В тот же миг дверь открылась, вошел Жорж и остановился, облокотясь на дверь; он был так бледен, что Пьеру Мюнье на мгновение почудилось, будто это тень его сына, тень, которую он вызвал и которая возникла перед ним. Поэтому он не бросился навстречу сыну, а отступил назад.

— Во имя Неба,— прошептал он,— что с тобой, что случилось?

— Ранение тяжелое, но успокойтесь, отец, не смертельное, вот видите, я стою на ногах, правда, долго стоять не могу.

Затем он слабым голосом произнес:

— Ко мне, Лаиза, помоги.

И упал на руки негра. Пьер Мюнье бросился к сыну, но Жорж уже потерял сознание.

Жорж с присущей ему необычайной силой воли, несмотря на слабость, почти умирая, хотел показаться отцу здоровым — на этот раз не из чувства гордости, но лишь потому, что знал, как любит его отец, и боялся, что если тот увидит сына на носидках, его может поразить смер-

тельный удар. Не слушая уговоров Лаизы, он встал с носилок, на которых негры по очереди несли его, пробираясь по ущельям горы Пус. С нечеловеческим усилием, подчиняясь могучей воле, преодолевающей физическую немощь, он поднялся, уцепился за стену и стоя предстал перед отцом.

Как он и предполагал, это успокоило старика. Но железная воля не устояла против боли, и обессиленный Жорж упал без сознания, подхваченный руками Лаизы.

Даже суровые мужчины не могли без сочувствия видеть горе отца — горе, не проявляющееся ни в жалобах, ни в рыданиях, но безмолвное, глубокое и безутешное. Жоржа уложили на канаве. Старик опустил на колени перед сыном, подложил ему под голову свою ладонь, пристально глядя на его сомкнутые веки и сдерживая дыхание, вслушивался в едва ощутимое дыхание сына и поддерживал свободной рукой его свисающую руку. Он ничего не спрашивал, не суетился попусту, не выяснял, опасна ли рана; все было ясно для него — сын его ранен, в крови, без сознания: чего же боле? Какой еще беды ожидать?

Лаиза стоял в углу подле буфета, опираясь на ружье и поглядывая в окно, ожидал наступления рассвета.

Другие негры, бесшумно удалившиеся после того, как перенесли Жоржа на диван, теснились в соседней комнате, по временам просовывая свои черные головы в дверь. Некоторые расположились возле дома, перед окнами; многие были ранены, но, казалось, никто не думал о своих ранах.

С каждой минутой число негров возрастало, так как беглецы, рассыпавшиеся во все стороны, чтобы не попасть в руки англичан, подходили к дому Мюнье разными дорогами, один за другим, словно заблудившиеся овцы, которые возвращаются в стадо. В четыре часа утра вокруг дома собралось около двухсот негров.

Тем временем Жорж пришел в себя и попытался успокоить отца, но голос его был настолько слаб, что как ни обрадовался старик, услышав его, он попросил сына замолчать; затем он спросил, куда ранен Жорж и какой врач перевязывал рану; улыбаясь, слабым движением головы Жорж указал на Лаизу.

Известно, что некоторые негры в колониях славятся как умелые хирурги; иногда даже белые колонисты предпочитают обращаться к ним, а не к профессиональным

врачам. Дело объясняется просто: эти первобытные люди, подобно нашим пастухам, постоянно находятся в царстве природы и постигают, так же, как и звери, некоторые ее тайны, неведомые другим людям. Лаиза слыл на острове замечательным хирургом; негры объясняли его знания тем, что он постиг тайну магических заклинаний, представители же белой расы считали, что он знает травы и растения, названия и свойства которых не известны никому другому. И Пьер Мюнье успокоился, узнав, что рану сына перевязывал Лаиза.

Между тем близился час рассвета. С каждой минутой Лаиза, казалось, все сильнее беспокоился. Ждать дольше было нельзя; под предлогом, что хочет пощупать пульс больного, он подошел к Жоржу и тихо произнес несколько слов.

— О чем вы говорите и что вы хотите, дорогой друг? — спросил Пьер Мюнье.

— Вы должны знать, чего он хочет, отец: он хочет, чтобы я не попал в руки белых, и спрашивает меня, чувствую ли я себя достаточно хорошо, чтобы меня можно было перенести в Большие леса.

— Перенести тебя в Большие леса! — воскликнул старик. — Такого слабого! Нет, это невозможно.

— Но ведь другого выхода нет, отец, иначе меня арестуют у вас на глазах и...

— Что им нужно от тебя? Что они могут тебе сделать? — спросил встревоженный Пьер Мюнье.

— Они желают, отец, расправиться с ничтожным мулатом, осмелившимся бороться против них и, быть может, на какой-то миг заставившим их дрожать от страха. Что они могут со мной сделать?! О! Самую малость, — улыбаясь произнес Жорж, — они могут отрубить мне голову в Зеленой долине.

Старик побледнел и задрожал всем телом, охваченный негодованием. Было ясно, что в его душе совершается жестокая борьба. Затем он поднял голову и, глядя на раненого, прошептал:

— Схватить тебя, отрубить тебе голову, отнять от меня моего мальчика, убить его, убить моего Жоржа! Только за то, что он красивее их, смелее их, образованнее... Пусть-ка они придут сюда!..

И с отвагой, на которую еще пять минут назад казался неспособным, старик ринулся к карабину, висевшему без применения пятнадцать лет на стене, схватил его и воскликнул:

— Да! Да! Пусть придут, и тогда поглядим! Вы лишили бедного мулата всего, господу бледнолице, — лишили его самоуважения. — Он помолчал. — Если даже вы лишили бы его жизни, то и тогда он не произнес бы ни слова; но вы хотите отнять у него сына, чтобы посадить в тюрьму, чтобы пытать его там, отрубить ему голову! Ну, господу белые, приходите, и тогда посмотрим! Пятьдесят лет в нас зреет ненависть; приходите же, настало время свести с вами счеты!

— Прекрасно, дорогой отец, прекрасно! — воскликнул Жорж, приподнявшись на локте, лихорадочно блестящими глазами глядя на старика. — Прекрасно! Теперь я узнаю вас!

— Итак, решено, в Большие леса, — сказал старик, — и посмотрим, осмелятся ли они преследовать нас. Да, сын, отправляйся; лучше быть в Больших лесах, чем в городе. Там над нами Бог; пусть Всевышний видит и судит нас. А вы, друзья, — продолжал мулат, обращаясь к неграм, — ведь вы всегда считали меня хорошим хозяином?

— О, да! да! да! — в один голос воскликнули негры.

— Разве вы не говорили много раз, что преданы мне не как рабы, а как родные дети?

— Да, да!

— Так вот, настал час, когда вы должны доказать мне свою преданность.

— Приказывай, хозяин, приказывай!

— Входите, входите все! — Комната наполнилась неграми. — Знайте, — продолжал старик, — мой сын решил спасти вас, дать вам свободу, сделать вас людьми — и вот какое вознаграждение он получил: он ранен. Но это еще не все; они, белые, хотят отнять его у меня, раненного, в крови, умирающего. Хотите его защитить, спасти его, решитесь ли вы умереть за него и вместе с ним?

— Да, да! — закричали все.

— Тогда в Большие леса, в Большие леса, — произнес старик.

— В Большие леса! — повторили негры.

Вслед за тем люди поднесли сплетенные из веток носилки к дивану, на котором лежал Жорж, положили на них раненого, четыре негра ухватились за ручки и вынесли Жоржа из дома.

Их сопровождал Лаиза, за ним следовали остальные негры; Пьер Мюнье вышел последним, оставив дом открытым, брошенным, безлюдным.

Шествие из двухсот негров продвигалось по дороге, ведущей от Пор-Луи в Большой порт; спустя некоторое время колонна повернула направо и поспешно приблизилась к подножию Средней горы, направляясь к истоку Креольской реки.

Прежде чем зайти за гору, Пьер Мюнье, замыкавший колонну, поднялся на холм и в последний раз обратил взор в сторону покинутого им прекрасного дома. Перед его глазами раскинулась богатая плантация тростника, маниока и маиса, роскошные заросли грейпфрутовых деревьев, на горизонте высились величественные горы, обрамлявшие его поместье, подобно гигантской стене. Он подумал, что понадобилось три поколения честных, трудолюбивых людей, каким был он сам, чтобы на этой первозданной земле создать рай. Вздохнув и смахнув слезу, он поспешил к носилкам, где его ожидал раненый сын, ради которого он покидал родные места.

XXIV

БОЛЬШИЕ ЛЕСА

Когда группа беглецов достигла источника Креольской реки, начался день, с востока лучи солнца осветили вершину Гранитной горы; пробуждалась жизнь леса. На каждом шагу из-под ног у негров выбегали танреки и спешили спрятаться в свои норы; обезьяны прыгали по ветвям, цеплялись за них хвостами и, раскачиваясь, с удивительной ловкостью прыгали с одного дерева на другое, укрываясь в густой листве; с громким шумом взлетал турач, потрясая воздух своим тяжеловесным полетом, а серые попугаи, словно смеясь над ним, игриво сопровождали его; появилась и другая птица — кардинал, подобная летящему пламени, быстрая, как молния, и сверкающая, как рубин. Природа, всегда молодая, беззаботная, всегда плодоносная, своей прозрачной тишиной, спокойной беспечностью являла вечный контраст людскому обществу с его волнениями и скорбями.

После нескольких часов ходьбы отряд сделал остановку на равнине у подножия Безымянной горы, недалеко от протекавшей здесь реки. Все проголодались; к счастью, по дороге люди успешно занимались охотой; некоторые палками забили танреков — для негров это настоящее лакомство; другие убили обезьян и турачей. Нако-

нец, Лаиза подстрелил оленя, за которым погнались четыре негра, через час они доставили его в лагерь. И так, пищи хватало на всех.

Лаиза воспользовался этой стоянкой для того, чтобы перевязать раненого; по дороге он часто удалялся от носилок, собирал травы или растения, целебные свойства которых знал только он. Когда они пришли на стоянку, он смешал травы, положил свой сбор в углубление скалы и растер круглым камнем. Закончив эту операцию, он выжал из смеси сок, смочил им чистую тряпку и, сняв старую повязку, наложил новый компресс на двойную рану; так как, к счастью, пуля не застряла в теле, а, попав ниже левого бедра, прошла насквозь и вышла наружу над бедром.

Пьер Мюнье с тревогой следил за этой операцией. Рана оказалась тяжелой, но не смертельной, более того, было ясно, что если не поврежден какой-либо жизненно важный орган, то следовало ожидать, что выздоровление будет протекать в этих условиях даже быстрее, нежели под наблюдением городского врача. Жорж же, напротив, несмотря на боль, вызванную перевязкой, даже не поморщился и старался не дрожать, когда отец держал его руку в своей.

Перевязка завершена, закончена трапеза, пора продолжать путь. Приближались к Большим лесам, но надо было еще до них дойти; немногочисленный отряд шел медленно, так как несли раненого, и с ним трудно было продвигаться по лесной местности; на пути, где проходил отряд, от самого дома оставался заметный след.

В течение часа шли вдоль берега Креольской реки, затем повернули влево и оказались у опушки леса, на пути все чаще стали встречаться густые заросли мимозы; между деревьями высоко поднимались гигантские папоротники, с вершин, словно змеи, зацепившиеся за них хвостами, свисали лианы; все это означало, что отряд проник в Большие леса.

Лес становился непроходимым, сближались стволы деревьев, папоротники теснили друг друга, а лианы сплетали преграды, продирались сквозь которые становилось все труднее, в особенности для тех, кто шел с носилками. Жорж при виде препятствий пытался вставать, но всякий раз Лаиза строго запрещал ему подниматься, а отец обращался к нему с такой настойчивой мольбой, что больной, не решаясь обидеть их, оставлял свои попытки сойти с носилок.

Однако трудности, испытываемые беглецами в девственных лесах, служили как бы гарантией их безопасности, потому что эти препятствия должны были преодолеть и их преследователи — английские солдаты, которые не обладали сноровкой негров пробираться в лесах, а привыкли маршировать по Марсову полю.

В конце концов отряд подошел к такому дремучему лесу, по которому дальнейшее продвижение было невозможно. Люди долго шли вдоль своего рода сплошной стены, можно было, лишь орудуя топором, пройти сквозь чащу, но тогда через этот проход могли идти потом и преследователи.

После долгих поисков негры обнаружили охотничий сарай, в котором догорал огонь. По свежим следам было видно, что беглые негры бродили здесь недавно и не могли далеко уйти из этой округи.

Лаица пошел по их следу. Известна ловкость дикарей, отыскивающих в безмолвии лесов след друга или врага. Нагнувшись над землей, Лаица заметил, что трава была помята, вышиблены из земли камни, отогнуты ветви деревьев; наконец он пришел к тому месту, где след терялся. С одной стороны протекал с горы ручей, впадавший в Креольскую реку, с другой — громоздилась гряда скал и камней, похожая на стену; лес, росший на ней, казался еще гуще, чем в других местах. Лаица перешел ручей, надеясь обнаружить здесь пропавший след, но попытка оказалась тщетной, а значит, негры — их было несколько — не могли уйти дальше.

Лаица постарался подняться на стену; забравшись туда, он убедился, что дальше он не сможет вести людей, среди которых были раненые. Он спустился со стены и, уверенный, что тот, кого он ищет, находится невдалеке, оповестил о себе громкими возгласами, по которым беглые негры обычно узнают друг друга, и стал ждать.

Вскоре в глубине кустарника, покрывавшего каменную стену, что-то зашевелилось; другой, не привыкший к тайнам природы, принял бы это за колебание листьев под ветром. Лаица же стал пристально наблюдать за кустарником; вскоре между ветвями он увидел два встревоженных глаза; они оглядели все вокруг и вонзились в Лаицу; Лаица повторил уже данный им сигнал; между камнями, словно змея, прополз какой-то человек; вскоре перед Лаизой предстал беглый негр.

Они обменялись лишь несколькими словами, затем Лаиза вернулся к своему отряду и отвел его туда, где он встретил негра.

Раздвинув камни, беглецы обнаружили в них проход, по которому прошли по двое, и очутились в огромной пещере. После того как там оказался последний, негр положил камни на место так, чтобы следов прохода не было видно снаружи, потом, цепляясь за кустарничек и за выступы камней, он перелез через стену и исчез в лесу.

Двести человек укрылись в недрах земли, и самый опытный глаз не мог бы постигнуть, каким путем они проникли сюда. То ли по прихоти природы, то ли, напротив, в результате длительного и упорного труда беглых негров, вершина горы, в недрах которой только что скрылся небольшой отряд, была с одной стороны защищена отвесной скалой наподобие крепостной стены, а с другой — буйными зарослями, непроходимым сплетением стволов, лиан и папоротников, только что задержавших наших беглецов. Проход, о котором мы рассказали, был единственным, и благодаря камням, прикрывавшим входное отверстие, да еще густому кустарнику, обнаружить этот проход было невозможно. Вооруженные арендаторы, оказавшиеся в этих краях по своим делам, или английские солдаты, выслеживающие беглых негров по приказу губернатора, сотни раз проходили мимо, не замечая его. Не замечали прохода и беглецы-одиночки.

Но по другую сторону отвесной скалы, непроходимой чащи и хода в пещеру вид местности был иным. Хотя это были такие же леса с могучими деревьями и надежными укрытиями, но там уже легче было проложить себе путь. В этих обширных и безлюдных лесах было все необходимое для жизни; водопад, берущий начало на горной вершине, величественно низвергался с высоты в шестьдесят футов и, разбиваясь в водяную пыль о скалы, источенные его вечным падением, растекался мирными ручейками; затем, неожиданно исчезая в земной утробе, вновь вырывался на поверхность земли, перескакивая через препятствия. Эти леса изобиловали оленями, кабанями, обезьянами и танреками; в тех местах, где солнечные лучи пробивались сквозь могучие своды крон, они озаряли деревья, отягощенные разнообразными плодами. Сохранив в тайне свое убежище, беглецы могли прожить здесь, ни в чем не нуждаясь, пока не выздоровеет Жорж, и уже вслед за тем они решили бы, как действовать дальше. В остальном, какое бы решение молодой вождь ни при-

нял, несчастные негры, которых Жорж сделал своими сообщниками, твердо намеревались до конца разделить его участь.

Тяжело раненный, Жорж сохранил обычное хладнокровие и, оглядывая пещеру, прикидывал, какими возможностями для обороны располагает найденное Лаизой убежище.

Как только носилки с Жоржем оказались в пещере, он подозвал Лаизу и объяснил ему, что после того, как будет укреплен внешний вход в пещеру, можно еще вырыть окоп перед внутренним входом, а кроме того — заминировать пещеру порохом, который они захватили из Моки. Тотчас Жорж составил план сооружений и предприняты означенные работы; к тому же Жорж полагал, что вероятнее всего его будут судить не как обычного беглеца и что белые будут считать себя победителями лишь после того, как захватят его живым.

Итак, под наблюдением Пьера и Жоржа отряд принялся сооружать оборонные укрепления; за это время Лаиза обошел гору; как мы уже сказали, она со всех сторон была защищена либо непроходимыми зарослями, либо неприступными скалами: лишь в одном месте можно было бы одолеть эти скалы с помощью пятнадцатифутовой лестницы. Дорога, ведущая вдоль этой естественной стены, шла по краю пропасти. Оборонять такую дорогу было бы очень легко, но отряд Лаизы был слишком малочисленным, чтобы расставить достаточное количество постов за пределами крепости. Лаиза решил, что следует особо укрепить тот участок, который примыкал ко входу.

Приближалась ночь. Лаиза оставил десять человек на этом важном участке, а сам направился к Жоржу доложить о результатах осмотра горы.

Он застал его в шалаше, наспех сплетенном из ветвей деревьев; окопы были почти готовы; внезапно наступившая темнота не помешала работе.

В караул вокруг укреплений пещеры были расставлены двадцать пять человек, их сменяли каждые два часа. Пьер Мюнье охранял пещеру, а Лаиза, сменив повязку Жоржу, возвратился на свой сторожевой пост.

Затем каждый беглец стал ждать новых событий, которые, несомненно, должны были произойти с наступлением ночи.

СУДЬЯ И ПАЛАЧ

В самом деле, в предстоящей схватке между повстанцами и теми, кто решил с ними расправиться, ночь благоприятствовала преследователям и вызывала тревогу у беглецов.

Эта ночь была величественной и ясной, хотя луна должна была появиться лишь поздно вечером. Для людей, менее озабоченных мыслью о предстоящих испытаниях и непривычных к местным пейзажам, это постепенное наступление сумерек на пустынные первобытные пространства представилось бы величественным зрелищем. Вначале темнота, подобно прибою, подымалась, обволакивая стволы деревьев, подножия скал, предгорья, неся с собою молчание и постепенно изгоняя последние отблески заката, еще озаряющего вершину горы, и, наконец, все утонуло в море мрака.

Но когда глаза осваивались во тьме, оказывалось, что она не беспросветна; когда слух привыкал к тишине, он начинал улавливать звуки. Жизнь никогда не замирает в природе, дневные шумы сменяются ночными: среди вечного ропота трепещущих листьев, сливающегося с журчанием ручьев, слышатся тоскливые крики ночных существ и шорох их движений. Их невидимое присутствие внушает даже мужественным сердцам таинственное чувство, не победимое рассудком. Ни один из этих смутных звуков не пропал для Лаизы; то был дикий охотник, чейовек, привыкший к одиночеству, вечный путешественник по дебрям леса. Он слышал, как танреки грызут корни деревьев, узнавал шаги оленя, направляющегося к знакомому источнику, слышал полет летучей мыши. Два часа прошли, и эти звуки не нарушили его неподвижности. Удивительнее всего было то, что, хотя в этом месте собралось около двухсот человек, здесь царило молчание. Двенадцать негров прижались к земле, и даже Лаиза не мог их разглядеть во тьме, особенно густой под деревьями, и хотя иные из его бойцов заснули, даже во сне они, казалось, не забывали об осторожности и сдерживали дыхание, почти неслышное. А сам Лаиза стоял, прислонясь к гигантскому тамаринду, гибкие ветви которого свисали не только над дорогой, огибающей скалы, но и над пропастью по другую сторону дороги; самый зоркий взгляд не различил бы негра на фоне могучего ство-

ла, с которым он благодаря ночной тьме и цвету своей кожи сливался воедино.

Так, в молчании, не шевелясь, Лаиза провел около часа, пока не услышал, что сзади по каменистой земле, усыпанной сухими ветками, к нему подходят люди; впрочем, идущие и не скрывались; Лаиза обернулся, не испытывая никакой тревоги,— он понял, что к нему подходит патруль. В самом деле, он различил несколько человек, во главе которых шел Пьер Мюнье. Лаиза узнал его по одежде и высокому росту.

Лаиза рванулся к ним.

— Скажите,— спросил он,— а люди, посланные вами в разведку, вернулись?

— Да, они сообщили, что нас преследуют англичане.

— А где они?

— Час тому назад остановились между вершиной Средней горы и источником Креольской реки.

— Англичане идут по нашим следам?

— Да, надо полагать, завтра появятся.

— Нет, раньше,— ответил Лаиза.

— Почему раньше?

— Потому, что если мы отправили своих разведчиков в деревню, то они сделали то же самое.

— Так как же быть?

— Вот что, поблизости бродят люди.

— Откуда вы это знаете, вы что, слышали их голоса, видели их следы?

— Нет, но я услышал мчавшегося оленя и понял, что он кого-то испугался.

— Итак, вы полагаете, что нас преследует какой-то разведчик?

— Я убежден в этом. Тихо!

— Что?

— Слушайте...

— Да, я слышу шум.

— Это полет турача, он за двести шагов от нас.

— Откуда он летит?

— Со стороны рощи. Вон, видите — он сел в тридцати шагах от нас, через дорогу.

— Вы думаете, что его спугнул какой-то человек?

— Человек либо люди, не могу сказать, сколько их.

— Я не об этом спрашиваю. Вы думаете, что его спугнули?

— Звери инстинктом узнают себе подобных и не пугают их,— ответил Лаиза.

— Что же происходит?

— Они приближаются... Тихо, вы слышите? — произнес негр, понизив голос.

— Что это? — шепотом спросил старик.

— Треск сухой ветки, на которую наступил человек. Тихо, они рядом с нами, могут услышать, спрячьтесь за стволом, я буду на посту.

И Лаица вернулся на свое место, а Пьер Мюнье проскользнул за дерево; негры, которые были с ними, также затерялись в тени кустов и неподвижно стояли, словно безмолвные статуи.

На минуту воцарилось молчание, ничто не нарушало покой ночи; как вдруг послышался грохот стремительно падающего в пропасть камня. Лаица почувствовал подле себя дыхание Пьера Мюнье, пытавшегося заговорить с ним, но негр сразу схватил его за руку, и старик понял, что этого делать не следует.

В тот же момент турач вновь взлетел с клекотом и, пролетев над вершиной тамаринда, исчез в горах.

Неизвестный путник был шагах в двадцати от тех людей, след которых он, несомненно, разыскивал. Лаица и Пьер Мюнье затаили дыхание, остальные негры также стояли молча.

Серебряный луч осветил вершины горной цепи, видневшейся на горизонте в просвете между деревьями. Вскоре над холмом Креолов появилась луна, ее ущербный диск медленно поплыл по небу. Если сумрак подымался снизу, то свет, напротив, падал сверху, но достигал лишь открытых мест сквозь прорези крон, но весь лес по-прежнему тонул во мраке. В это время послышался легкий шелест, затем кустарник, окаймлявший дорогу, раздвинулся и среди его ветвей возникла голова человека.

В этом месте кустарник был освещен яснее, так как его не затеняли деревья. Пьер Мюнье и Лаица одновременно заметили, как шевелятся его ветви.

Некоторое время шпион неподвижно осматривался вокруг, затем, убедившись, что вблизи никого нет, поднялся с колен. Не заметив ничего подозрительного, он выпрямился во весь рост. Лаица крепко сжал руку Мюнье, давая понять, что надо быть осторожнее; негр несколько не сомневался в том, что шпион отыскивал их след.

Человек потрогал ладонью траву, чтобы узнать, примята ли она; коснулся пальцем камней, чтобы убедить-

ся, не сдвинуты ли они с места; наконец, будто следы людей, которых он искал, могли остаться в воздухе, он поднял голову и уставился на тамаринд, в тени которого застался Лаиза. В этот миг лунный луч, пройдя сквозь просвет между деревьями, озарил лицо ночного лазутчика.

Тогда Лаиза, быстрый, как молния, вырвал правую руку из руки Пьера Мюнье и, ухватясь за гибкую ветвь, грянул, словно атакующий орел, к подножию скалы и, ухватив шпиона за пояс, оттолкнулся ногами от земли и вместе с выпрямившейся ветвью взвился вверх, как орел со своей добычей; затем, пропуская ветку сквозь сжатый кулак, он соскользнул с нее к подножию дерева, в толпу своих товарищей, крепко держа пленника, пытающегося ударить его ножом, подобно тому, как змея тщится ужалить царя воздушных сфер, уносящего ее из трясины в свое гнездо, соседствующее с небесами.

Ночной мрак не помешал неграм узнать преступника. То был Антонио-Малаец. Все это произошло столь стремительно, что Антонио не успел даже вскрикнуть.

Предателя и убийцу ждала казнь. Лаиза придавил его коленом к земле, глядя на него с той свирепой насмешкой победителя, которая не оставляет побежденному никакой надежды; но тут вдруг издали послышался собачий лай.

Не расслабляя рук, которыми он сжимал горло врага и его запястье, Лаиза поднял голову и стал прислушиваться.

— Все в свое время,— как бы про себя произнес Лаиза, затем он обратился к окружавшим его неграм.

— Привяжите этого человека к дереву, я должен поговорить с господином Пьером Мюнье.

Негры схватили Антонио за ноги и за руки и привязали его к стволу такамака. Лаиза убедился, что малаец привязан накрепко, отвел старика в сторону и показал, откуда доносился собачий лай.

— Вы слышали?

— Что? — спросил старик.

— Лай собаки.

— Нет.

— Послушайте! Он приближается.

— Вот теперь я слышу.

— За нами охотятся, как за оленями.

— Ты думаешь, что это нас преследуют?

— А кого же еще?

— Какая-то сбежавшая собака ищет еду.

— Может быть,— ответил Лаица.

Вскоре в лесу явственно послышался лай собаки.

— Это нас преследуют,— заявил Лаица.

— А откуда ты знаешь?

— Собака не так лает, когда охотится,— сказал Лаица,— эта собака ищет своего хозяина. Проклятые изверги нашли ее у хижины беглого негра, и она их ведет по следу; если этот негр с нами, мы погибли.

— Да это же лай Фиделя,— с ужасом произнес Пьер Мюнье.

— Теперь узнаю,— сказал Лаица,— я слышал его еще вчера, он выл, когда мы принесли вашего раненого сына в Моку.

— В самом деле, я забыл его взять с собой, когда мы уходили, и все же, если б это был Фидель, он прибежал бы скорее и прямо к нам. Слышишь, как медленно приближается вой?

— Они его держат на поводке и следуют за ним; пес, быть может, ведет за собой целый полк, нельзя винить бедное животное,— с горьким смехом произнес негр из Анжуана,— он не может идти быстрее, но будьте спокойны, он приведет их.

— Так что же нам делать? — спросил Пьер Мюнье.

— Если б вас ожидало судно в Большом порту, до которого отсюда всего лишь восемь лье, мы отправились бы туда. У вас там нет какой-либо возможности для побега?

— Никакой!

— Тогда придется драться, лучше погибнуть, защищаясь, но не сдать врагу.

— Стало быть, идем,— сказал Мюнье, обретая решимость, как только речь зашла о схватке.— Собака приведет их ко входу в пещеру, но внутрь они не пройдут.

— Верно,— ответил Лаица,— идите к окопам.

— А ты не пойдешь со мной?

— Я должен остаться здесь на несколько минут.

— А когда ты придешь?

— При первом выстреле я буду с вами.

Старик подал руку Лаице — нависшая опасность стерла между ними все различия — и, вскинув на плечо ружье, в сопровождении своих негров, стремительно направился ко входу в пещеру.

Лаица провожал его взглядом до тех пор, пока он совсем не исчез во мраке; затем вернулся к Антонио, которого негры по его приказу привязали к дереву.

— Теперь, малаец,— сказал он,— посчитаемся друг с другом.

— Посчитаемся,— произнес Антонио дрожащим голосом,— и чего же хочет Лаиза от своего друга и брата?

— Я хочу, чтобы ты вспомнил о том, что было сказано на празднике Шахсей-Вахсей на берегу реки Веерников.

— Там говорилось много чего, и мой брат Лаиза был очень красноречив, потому что все с ним соглашались.

— Не вспомнишь ли ты самое главное — объявленный тогда заранее приговор предателям?

Антонио задрожал всем телом и, несмотря на медный цвет своего лица, заметно побледнел.

— Кажется, мой брат забыл,— в грозном тоне продолжал Лаиза; — ну хорошо, я напомним ему; тогда условились, что если в нашей среде объявится изменник, то каждый из нас вправе убить его, предать мгновенной или медленной, легкой или мучительной смерти. Точно ли я повторил слова клятвы, вспоминаешь ли ты их, брат мой?

— Вспоминаю,— едва внятным голосом ответил Антонио.

— Тогда отвечай на мои вопросы.

— Я не признаю за тобой право допрашивать меня, ты мне не судья,— воскликнул изменник.

— Хорошо, я тебя не буду допрашивать, я спрошу у других.— И Лаиза обратился к неграм, лежавшим вокруг него на земле: — Поднимитесь,— сказал он,— и отвечайте.

Негры повиновались, и десять или двенадцать человек молча построились полукругом перед деревом, к которому был привязан Антонио.

— Это рабы,— воскликнул предатель,— меня не могут судить рабы, я не негр, я свободный, если я совершил преступление, меня должен судить трибунал, но не вы.

— Довольно,— произнес Лаиза,— сначала судить тебя будем мы, а потом ты обратишься с жалобой, к кому захочешь.

Антонио умолк; во время наступившей тишины, последовавшей за приказом Лаизы, раздался лай приближающейся собаки.

— Так как обвиняемый не желает отвечать,— обратился Лаиза к неграм, окружившим малайца,— вместо него будете отвечать вы.

— Кто донес губернатору о заговоре только потому, что вождем восстания был избран не он, а другой?

— Антонио-Малаец,— глухо, но в один голос произнесли негры.

— Неправда,— завопил малаец,— это ложь, клянусь, я отвергаю это обвинение.

— Молчать,— приказал Лаиза и продолжал:

— После того как заговор был выдан губернатору, кто стрелял в нашего вождя и ранил его у подножия Малой горы?

— Антонио-Малаец,— ответили все негры.

— Кто меня видел? — закричал малаец.— Кто осмелится сказать, что то был я, кто может ночью отличить одного человека от другого?

— Замолчи! — спокойно сказал Лаиза и так же спокойно продолжал: — А после доноса губернатору о заговоре, после попытки убить нашего вождя, кто пришел ночью в наш лагерь и ползал вокруг, как змея, чтобы найти проход, через который к нам могли бы попасть английские войска?

— Антонио-Малаец,— вновь воскликнули негры с той же убежденностью.

— Я хотел присоединиться к своим,— воскликнул пленник,— я шел к вам, чтобы разделить вашу участь, какой бы она ни была, клянусь, я отрицаю свою вину.

— Верите ли вы тому, что он сказал?

— Нет! Нет! Нет! — повторили все.

— Дорогие, добрые мои друзья,— обратился к ним Антонио,— послушайте меня, я вас молю о пощаде!

— Молчать! — сказал Лаиза в суровом тоне, выражающем величие возложенной на него обязанности.

— Антонио трижды предал нас, значит, он заслуживает трехкратной смерти. Антонио, готовься предстать перед Великим Духом, потому что сейчас ты умрешь!

— Это убийство,— вскричал Антонио,— вы не имеете права убивать свободного человека, к тому же вблизи англичане, я буду звать, кричать! Помогите! Помогите! Они хотят меня зарезать! Они хотят...

Лаиза схватил малайца за горло и заглушил его крик, затем обратился к неграм:

— Приготовьте веревку!

Услышав приказ, предвещавший его судьбу, Антонио сделал столь невероятное усилие, что одна из веревок, прикреплявших его к дереву, порвалась. Но он не смог высвободиться из самых ужасных пут — из рук Лаизы, который понял, что если он будет и дальше сжимать гор-

ло врага, то никакой веревки не потребуется. Антонио уже корчился в конвульсиях, когда Лаиза освободил шею пленника.

— Я обещал тебе дать время, чтобы ты смог предстать перед Великим Духом. Тебе остается десять минут, готовься.

Антонио хотел что-то сказать, но голос изменил ему. Собачий лай с каждым мгновением приближался.

— Где веревка?

— Вот она,— ответил негр, подавая ее Лаизе.

— Хорошо,— сказал тот.

Судья вынес приговор, палач должен привести его в исполнение.

Лаиза взяла одну из толстых ветвей тамариндового дерева, притянул ее к себе, накрепко привязал к ней конец веревки, из другого конца сделал петлю, которую надел на шею Антонио; приказав двум помощникам придерживать ветвь и убедившись, что Антонио прочно привязан к дереву, вновь предложил ему готовиться к смерти.

Осужденный решил заговорить, но вместо того чтобы взывать к Богу о милосердии, он стал просить людей сжалиться над ним.

— Ну, ладно! Да, братья мои, да, друзья,— захныкал он, меняя тактику в надежде, что признание вины, вероятно, спасет ему жизнь.— Да, я виновен, это так, вы вправе дурно обойтись со мной; но вы ведь сжалитесь над своим старым товарищем, так ведь?

Вспомните, как я веселил вас на посиделках! Кто распевал вам песни, рассказывал увлекательные сказки? Как вы останетесь без меня? Кто вас потешит? Кто отвлечет от мук? От тяжелого труда? Сжальтесь, друзья мои, помилуйте бедного Антонио! Даруйте ему жизнь! На коленях молю об этом вас!

— Подумай о Великом Духе, тебе остается жить пять минут,— произнес Лаиза.

— Нет, мой добрый Лаиза, дай мне еще пять лет,— продолжал малаец,— я буду твоим рабом. Буду тебе верно служить, исполнять твои приказы, и если что не так, тогда ты меня будешь бить кнутом, розгами, веревкой, я все стерплю, буду всегда говорить, что ты великодушный человек, потому что ты дал мне жизнь. Молю тебя о жизни!

— Антонио, ты слышишь лай собаки?

— А ты думаешь, что это я посоветовал ее взять? Нет, не я! Клянусь, не я!

— Антонио,— сказал Лаиза,— белому не пришло бы и в голову направить собаку по следам своего хозяина, ты научил их так поступить! Ты виновен в этом!

Малаец тяжело вздохнул, но еще раз попытался смягчить сурового судью, унизясь перед ним.

— Да,— сказал он,— это я, Великий Дух покинул меня, жажда мести превратила в безумца. Надо сжалиться над безумным, Лаиза, во имя твоего брата Назима прости меня.

— А кто предал Назима, когда он собрался бежать? Напрасно помянул ты это имя. Малаец, сейчас ты умрешь!

— Нет, нет, Лаиза, друзья мои, милосердия!

Не слушая жалоб, увещаний, мольбы осужденного, Лаиза одним взмахом ножа перерезал все веревки, его помощники отпустили ветвь, к которой был подвешен Антонио, и она поднялась, увлекая за собой гнусного предателя.

Ужасный крик, последний крик, в котором, казалось, вылилось все его отчаянье, разнесся по лесу,— зловецкий, одинокий, безутешный, и Антонио стал всего лишь трупом, качавшимся над пропастью.

Лаиза некоторое время молча стоял, наблюдая, как постепенно замедляется качание веревки. Затем он снова прислушался к лаю собаки, находившейся уже подле пещеры, подобрал ружье, лежавшее на земле, и обратился к неграм:

— Идите, друзья! Месть совершена, теперь мы можем спокойно умереть,— и, сопровождаемый сподвижниками, он направился к пещере.

XXVI

ОХОТА НА НЕГРОВ

Лаиза не ошибся, собака шла по следам своего хозяина и привела англичан прямо ко входу в пещеру; прибежав туда, она бросилась в густой кустарник и принялась скрести и лизать камни. Англичане поняли, что они подошли к цели своего похода.

По приказу начальника солдаты с кирками начали пробивать проход. Вскоре проем, через который мог пройти человек, был готов. Один солдат просунулся туда до пояса, но последовал выстрел, и солдат упал с про-

стреленной грудью; второго постигла та же участь, попытался проникнуть туда и третий и был тоже сразу убит.

Повстанцы первые начали стрельбу, решась на отчаянное сопротивление. Нападавшие приняли меры предосторожности, тщательно прикрываясь, они расширяли проем, для того, чтобы одновременно могли пройти несколько солдат; забили барабаны, и гранадеры ринулись со штыками вперед.

Но преимущество осажденных было столь велико, что вскоре брешь заполнилась убитыми, и, прежде чем начать новый приступ, надо было убрать их трупы.

На этот раз ценою больших жертв англичане прорвались к центру пещеры, используя укрытие, которое было сооружено по указанию Жоржа; по команде Лаизы и Пьера Мюнье негры стреляли метко.

В это время Жорж, находясь в хижине, проклинал себя: рана не позволяла ему принять участие в сражении. Запах пороха, ружейная стрельба, непрерывные атаки англичан — все это вызывало в нем неистовое желание драться, побуждающее человека рисковать своей жизнью по случайному поводу. А здесь речь шла не о каких-то мелких интересах, не о прихоти короля, не о поправленной чести нации, за что следовало бы отомстить; нет, это было кровное дело защищавших себя негров, и он, Жорж, мужественный человек, с предприимчивым умом, ничем не мог помочь им, ни делом, ни даже советом. Он лишь плакал от бешенства.

При второй атаке, проникнув в пещеру, англичане начали обстрел укреплений, и так как шалаш, где лежал Жорж, находился как раз за укреплениями, то несколько пуль со свистом пролетели сквозь листья веток, из которых он был сплетен. Свист пуль мог бы напугать кого угодно, но Жоржа он утешил и возбудил в нем чувство гордости: значит, он тоже подвергся опасности, и если он не отомстит за смерть своих друзей, то по крайней мере сможет умереть.

Англичане на короткое время прекратили атаку; по глухим ударам кирки можно было понять, что они готовились к новому приступу; и действительно, вскоре часть внешней стены пещеры рухнула, и проход расширился вдвое. Снова забил барабан, и при свете луны в третий раз засверкали штыки у входа в пещеру.

Пьер Мюнье и Лаиза переглянулись, было ясно, что борьба будет жестокой.

— Что вы можете еще предпринять? — спросил Лаица.

— Пещера минирована, — ответил старик.

— В таком случае у нас есть возможность спастись, но в решительный момент делайте все, что я вам скажу, или мы погибли: невозможно отступить с беспомощным раненым.

— Ну что ж! Пусть меня убьют подле него.

— Зачем же? Лучше спасти вас обоих.

— Меня и сына?

— Вначале вас, а потом его, это неважно.

— Я не оставлю сына, предупреждаю тебя, Лаица.

— Вы его оставите — только так можно его спасти.

— Что ты хочешь сказать?

— Объясню потом!

Затем он обратился к неграм:

— Итак, молодцы, настал решающий момент. Огонь по красным курткам, стреляйте без промаха. Через час пороха и пуль останется совсем немного.

Тотчас началась стрельба. Негры, будучи вообще отличными стрелками, точно исполняли приказ Лаицы; ряды англичан стали редеть, но их отряд, несмотря на различные преграды, продолжал продвигаться в подземелье. К тому же со стороны англичан не было ни одного выстрела, казалось, что на этот раз они хотели захватить укрепления только при помощи штыков.

Тяжелая обстановка, сложившаяся для всех, была особенно невыносима для беспомощного Жоржа. Вначале он привстал, опираясь на локоть, затем ему удалось встать на ноги, но когда он хотел было пойти, то почувствовал невероятную слабость; земля словно уходила у него из-под ног, и он вынужден был ухватиться за висевшие над ним ветви. Отдавая должное смелости преданных ему до конца негров, он не мог не восхищаться холодной и бесстрашной храбростью англичан, которые продолжали продвигаться, как на параде, хотя с каждым шагом теряли многих. Наконец он понял, что на этот раз они не отступят и что через пять минут, несмотря на непрерывный обстрел их рядов, они захватят укрепления. Тогда он подумал, что это из-за него, да, из-за него, вынужденного играть роль беспомощного наблюдателя, все эти люди обречены на смерть, и его стали терзать угрызения совести. Он попытался сделать шаг вперед, броситься между рядами сражающихся, сдать врагу — ведь ясно, что, захватив его, англичане прекратили бы из-

биение, но он почувствовал, что не сможет пройти и трети расстояния, отделявшего его от англичан. Он хотел крикнуть осажденным, чтобы они прекратили огонь, а англичанам, чтобы они прекратили наступление, и объявить, что он сдается, но его слабый голос терялся среди непрерывной перестрелки сражающихся. К тому же он увидел в этот момент своего отца, который во весь рост поднялся из окопа с горячей ветвью сосны в руках, сделал несколько шагов в сторону англичан, потом, среди пламени и дыма, поднес факел к траве. Огонь стал быстро распространяться, земля вздыбилась, произошел страшный взрыв, и под ногами англичан вспыхнул огненный кратер, свод пещеры рухнул, а за ним опиравшаяся на него скала; в невообразимом хаосе, при криках оставшихся по другую сторону входа англичан исчез подземный проход в пещеру.

— Теперь,— воскликнул Лаиза,— нельзя терять времени.

— Приказывай, что надо делать?

— Поспешите к Большому порту, постарайтесь найти приют на французском судне, я позабочусь о Жорже.

— Я говорил тебе, что не оставляю сына.

— А я вам сказал, что вы это сделаете, ведь, оставаясь с ним, вы обрекаете его на смерть.

— Почему?

— Ваша собака у них, и они неустанно будут следовать за вами, будь вы в лесу, будь вы в пещере, собака направит их в ваше убежище, и вы, находясь вместе с Жоржем, погубите его, но если вы уйдете отсюда, они подумают, что ваш сын с вами, и за вами тогда они пойдут в погоню и, может быть, настигнут вас, а я тем временем с четырьмя верными людьми унесу Жоржа в противоположную сторону, и мы доберемся до лесов, окружающих Бамбуковый холм. Если у вас будет возможность спасти нас, дайте нам знать — зажгите огонь на острове Птиц; тогда мы спустимся на плоту по Большой реке к ее устью, и вы возьмете нас к себе в шлюпку.

Пьер Мюнье, затаив дыхание, внимательно выслушал это наставление и, обняв негра, вскричал:

— Лаиза, ты прав, я понимаю тебя, только так надо действовать, вся свора англичан непременно бросится за мной, и ты спасешь моего сына!

— Я спасу его либо погибну с ним, вот все, что я могу вам обещать.

— Я убежден, что ты будешь верен своему слову. Подожди, я хочу только попрощаться с сыном, поцеловать его.

— Нет,— сказал Лаиза,— если вы его увидите, то не сможете с ним расстаться. Если он узнает, что вы ради него собираетесь рисковать жизнью, он не отпустит вас. Немедленно все в путь, пусть четыре самых сильных, самых преданных друга останутся со мной.

Но остаться пожелали человек двенадцать. Лаиза выбрал четырех, и так как Мюнье все еще колебался, он предупредил старика:

— Англичане, вы поймите, вот-вот нагрянут англичане!

— Итак, встречаемся у устья Большой реки! — согласился Мюнье.

— Да! Если нас не убьют и не возьмут в плен.

— Прощай, Жорж! — крикнул Мюнье и, сопровождаемый группой негров, быстро пошел в сторону горы Креолов.

— Отец,— позвал Жорж,— куда вы идете, что вы делаете? Почему не пожелали умереть со своим сыном? Отец, подождите, я сейчас...

Но Пьер Мюнье был уже далеко, и слабый возглас сына едва ли бы услышан стариком.

Лаиза ринулся к раненому, тот стоял на коленях.

— Отец! — прошептал Жорж и упал без сознания.

Лаиза не терял времени; этот обморок оказался очень кстати. Жорж, будь он в сознании, не стал бы больше бороться за свою жизнь, такой побег он счел бы позором. Теперь же он всецело был во власти Лаизы, который уложил его, все еще бесчувственного, на носилки. Четверо негров взялись за ручки и под предводительством Лаизы понесли носилки к трем островам, откуда он рассчитывал, следуя по берегу Большой реки, добраться до Бамбукового холма.

Не пройдя и четверти лье, они усышали лай собаки.

Лаиза подал знак, носильщики остановились. Жорж все еще находился в бессознательном состоянии или же был настолько слаб, что не обращал никакого внимания на все происходящее.

Случилось то, что предвидел Лаиза; англичане влезли на скалу, окружающую пещеру, надеясь с помощью собаки настичь беглецов вторично.

Наступил тревожный момент; Лаиза прислушался к лаю собаки: несколько минут она лаяла, не двигаясь с

места; собака добежала до пещеры, где ранее происходило сражение, затем направилась к шалашу, где некоторое время лежал раненый Жорж и где его навестил отец, вслед за тем лай удалился к югу, в этом направлении шел Пьер Мюнье — уловка Лаизы удалась. Англичане поддались на обман, они пошли по ложному следу за Пьером Мюнье, оставив на воле его сына.

Положение было тем опаснее, что уже появились первые лучи солнца и в лесу становилось светлее. Конечно, если б Жорж чувствовал себя здоровым и сильным, каким он всегда был, то шансы повстанцев и англичан были бы равны; но теперь Лаица не скрывал от себя, что им грозит серьезная опасность.

Он боялся того, что, как часто бывало, англичане взяли себе в помощь рабов, специально обученных охоте на беглых негров, пообещав им свободу, если удастся схватить Жоржа. Тогда его превосходство как близкого к природе человека отчасти потеряет смысл, поскольку их преследуют такие же дети природы, для которых также нет тайн в диких ночных лесах. Он подумал, что нельзя терять ни минуты, и, убедясь в том, что преследователи погнались за Пьером Мюнье, немедленно продолжил путь, направляясь к востоку.

Лес выглядел необычно — казалось, все живые существа разделяют человеческие тревоги; ночная стрельба перебудила птиц в гнездах, кабанов и ланей в их убежищах — все звери были напуганы и носились в паническом страхе, словно обезумели.

Через два часа пришлось сделать привал: негры, сражавшиеся всю ночь, со вчерашнего дня ничего не ели. Лаица остановился у разрушенного шалаша, несомненно, укрывавшего этой ночью беглых негров: угли от костра еще не остыли. Трое отправились на охоту за танреками. Четвертый занялся разведением огня. Лаица собирал целебные травы для перевязки раненого.

Как бы ни был силен Жорж духом и телом, болезнь взяла свое: его лихорадило, он бредил, не сознавая, что происходит вокруг, и ничем не мог быть полезен своим спасителям — ни советом, ни делом. Все же перевязка раны принесла ему некоторое облегчение. А Лаица словно и не был подвержен никаким физическим слабостям. Шестьдесят часов провел он без сна, но выглядел бодро; двадцать часов ничего не ел, но будто и не чувствовал голода.

Негры возвращались поодиночке, они добыли несколько танреков и принялись поджаривать их у огромного костра, разведенного их товарищем. Дым костра все же внушал Лаизе опасения, но он рассудил, что поскольку они не оставили за собой никаких следов и успели уйти на два-три лье от места битвы, то даже если враги и заметят дым, расстояние от их маленького отряда до любого английского поста настолько велико, что они успеют скрыться до прихода солдат.

Когда еда была готова, негры позвали Лаизу, который все время сидел подле Жоржа. Лаиза встал, присоединился к друзьям и вдруг заметил, что на бедре одного из негров кровоточит свежая рана; он сразу встревожился: англичане могли их преследовать, как преследуют раненую лань, лишь для того, чтобы захватить «языка» — ведь от него можно было получить важные сведения; конечно, англичане сделают все возможное, чтобы заполучить такого пленника. Подумав об этом, он уже хотел отдать приказ своим четырем сподвижникам, сидевшим на корточках вокруг огня, сейчас же двинуться в путь, как вдруг из небольшой, но очень густой рощицы раздались выстрелы, и несколько пуль просвистело мимо него. Один из негров упал лицом прямо в костер, трое кинулись в чащу, но двое из них были убиты, и только одному удалось укрыться в лесу.

В непрерывающейся стрельбе окутанный дымом Лаиза бросился к носилкам, где лежал Жорж, взял раненого на руки, как ребенка, и, хотя тяжесть была велика, тоже устремился в лес.

Вдруг десять солдат, сопровождаемые группой негров, выскочили из рощи и бросились за беглецами, в одном из которых узнали раненого Жоржа. Как и предвидел Лаиза, они шли по кровавому следу. Они затаились около шалаша, открыли оттуда прицельный огонь и, как мы видим, целились весьма метко: трое из четырех негров были если не убиты, то во всяком случае выведены из строя.

Тогда, уже ни на что не надеясь, Лаиза пустился бежать; но как бы он ни был вынослив, он не мог оторваться от преследователей, и те в конце концов догнали бы его; к несчастью, у него было только два выхода: броситься к чаще, где он вряд ли сумел бы пробиться сквозь непролазные заросли, или бежать лесными прогалинами, подставляя себя под выстрелы. Он выбрал второй путь.

Вначале, собрав все силы, Лаиза оказался на почти безопасном расстоянии от выстрелов; если бы он имел дело только с англичанами, он бы, безусловно, спасся; но за ним гнались еще и негры, подгоняемые сзади солдатскими штыками и потому вынужденные преследовать его, как дичь, — не потому, что усердствовали, а потому, что сами боялись.

Время от времени Лаиза мелькал меж деревьями, и тогда раздавались выстрелы, и было видно, как пули задевают стволы деревьев вокруг него и зарываются в землю у него под ногами; но ни одна пуля не задела его, словно он был заколдован, и он продолжал бежать все быстрее и быстрее.

Наконец, он выбежал на поляну: это был крутой склон горы, вершина которой густо поросла лесом. Если бы Лаизе удалось подняться по склону, он укрылся бы среди скал, проскользнул в ложину и ушел от погони; но на этом открытом месте Лаиза был хорошей мишенью для стрелков.

Раздумывать было не время: броситься вправо или влево значило промешкать, а случай до сих пор помогал беглецам — кто знает, может быть, им еще повезет...

Лаиза выбежал на поляну; его преследователи, видя выгоду своего положения, ускорили бег. Вот и они уже на поляне. Полсотни шагов отделяют их от Лаизы.

Тогда все они, как по команде, остановились, вскинули ружья и выстрелили. Лаиза, казалось, был цел и продолжал бежать. Солдаты спешили перезарядить ружья, прежде чем он скроется, и суетливо забивали в дула патроны.

Лаиза уже был далеко; если его не подстрелят при втором залпе и он доберется до леса невредимым, он непременно спасется. До чащи ему оставалось шагов двадцать пять, и, пока солдаты замешкались, перезаряжая ружья, он их намного опередил. Вдруг он исчез в ложбине; к несчастью, она никуда не вела, Лаиза просто попытался сбить солдат с толку. Ему опять пришлось двигаться вверх, и он снова вышел на прогалину. Тут же грянул залп, и охотникам на людей показалось, что Лаиза пошатнулся. И верно — шагнув еще несколько раз, Лаиза остановился, покачнулся, упал на колени и положил наземь Жоржа, так и не пришедшего в сознание; затем, встав во весь рост, он повернулся к англичанам, поднял руки к небу угрожающим жестом, посылая вра-

гам своим последнее проклятие, и, выхватив из-за пояса кинжал, вонзил его себе в грудь по самую рукоять.

Солдаты, словно охотники, загнавшие зверя, бросились к нему, издавая радостные крики; несколько секунд Лаица продержался стоя, затем рухнул, как поваленное дерево; лезвие ножа пронзило ему сердце.

Приблизившись к двум беглецам, солдаты обнаружили, что Лаица мертв, а Жорж умирает. Чтобы не попасть живым в руки врага, он из последних усилий сорвал повязку со своей раны, из которой потоком хлынула кровь.

XXVII

РЕПЕТИЦИЯ

То, что произошло в течение двух или трех дней после описанной нами катастрофы, оставило у Жоржа лишь неясное воспоминание; его рассудок, блуждавший в бреду, смутно представлял себе все, что случилось; он не имел понятия ни о прошедшем времени, ни о последовательности нахлынувших событий. Однажды утром он проснулся, как от тяжелого сна, и понял, что находится в тюрьме. Подле него был хирург гарнизона Пор-Луи. Вспоминая о том, что произошло в его жизни, Жорж представил себе смутные очертания происходивших событий; так же, как и в природе, когда туман окутывает озера, горы и леса, люди едва различают их формы; теперь Жорж воскресил все до того момента, когда он был ранен, он еще помнил, как пришел в Моку, а затем ушел из дома с отцом; но с момента прибытия в Большие леса все представлялось ему неясным, все это было похоже на сон.

Единственная неопровержимая и роковая действительность состояла в том, что он находился в руках своих врагов.

Жорж слишком презирал окружающих, чтобы задавать им какие-либо вопросы или пользоваться чьими бы то ни было услугами. Стало быть, он не мог знать, что произошло на самом деле. И все же в глубине души он был страшно встревожен. Спасся ли его отец? Любит ли его по-прежнему Сара?

Эти мысли всецело занимали его; они смеяли друг друга, как прилив и отлив, и беспрестанно волновали его сердце.

Душевная буря не проявлялась в его внешнем облике. Он был хладнокровен и спокоен, бледен, как мраморная статуя.

Когда врач нашел, что у раненого достаточно сил, чтобы выдержать допрос, он подтвердил это властям, и на следующий день судебный следователь в сопровождении секретаря явился к Жоржу. Он не мог еще встать с постели, но тем не менее с уважением приветствовал представителей власти; проявив терпение, полное достоинства, приподнявшись на локте, он объявил, что готов отвечать на все поставленные ему вопросы.

Наши читатели хорошо знают характер Жоржа и не подумают, что у него могла возникнуть мысль отрицать предъявленные ему обвинения. Он отвечал на все вопросы с полной правдивостью, впрочем, объяснил, что сейчас он еще слишком слаб, потому не сегодня, а завтра сможет сам продиктовать секретарю подробную историю заговора.

Предложение показалось весьма заманчивым, и, конечно, чиновники правосудия его приняли.

Поступая так, Жорж ставил перед собой двойную цель: ускорить ход процесса и взять на себя всю ответственность.

На следующий день чиновники снова пришли к нему. Жорж продиктовал обещанное показание, но, поскольку он умолчал о своем сообщничестве с Лаизой, следователь прервал его, заметив, что напрасно Жорж скрывает обстоятельства, смягчающие его вину, поскольку Лаиза мертва и никакие показания Жоржа повредить Лаизе уже не могут.

Только теперь Жорж узнал о смерти Лаизы и о том, каким образом он погиб; до сих пор обо всем этом Жорж имел лишь смутное представление.

Он ни разу не произнес имени своего отца, оно вообще в деле не упоминалось; не было произнесено и имя Сары.

Показаний Жоржа было вполне достаточно для того, чтоб прекратить дальнейший допрос. Жоржа больше никто не посещал, кроме врача. Как-то утром доктор увидел, что он расхаживает по камере.

— Сударь,— обратился он к нему,— я запретил вам вставать с постели, вы слишком слабы.

— Простите, мой дорогой доктор, вы меня оскорбляете, сравнивая с рядовыми преступниками, которые нарочно отдалают день суда; я же чистосердечно скажу

вам, что хочу ускорить решение этого дела. Разве необходимо быть совершенно здоровым, чтобы умереть? У меня достаточно сил, чтобы достойно взойти на эшафот — это все, что от меня могут потребовать люди, и все, о чем я могу умолять Бога.

— Но кто вам сказал, что вы будете приговорены к смертной казни?

— Моя совесть, доктор, я участвовал в игре, ставкой в которой была моя голова, я проиграл, готов расплатиться, вот и все!

— А все же,— сказал врач,— я считаю, что вам необходимо еще несколько дней для укрепления сил, иначе вам трудно будет выдержать судебные словопрения и ожидание приговора.

Но в тот же день Жорж написал следователю, что он совершенно здоров и находится всецело в распоряжении суда.

На следующий день началось судебное разбирательство.

Жорж, представ перед судьями, с волнением осмотрелся вокруг и был весьма доволен, что судить будут его одного.

Затем он окинул взглядом зал: весь город присутствовал на суде, за исключением господина де Мальмеди, Анри и Сары.

Некоторые из присутствующих, казалось, жалели обвиняемого; но на большинстве лиц выражалась удовлетворенная ненависть.

Что касается Жоржа, то он, как всегда, был спокоен и надменен. На нем был черный сюртук и галстук, жилет и белые брюки, две орденские ленты в петлице.

Ему назначили государственного адвоката, так как Жорж отказался выбрать защитника, он не хотел, чтобы кто-либо даже пытался защищать его дело.

То, что сказал Жорж, не было оправдательной речью, то была история его жизни. Он не скрывал, что прибыл на Иль де Франс, чтобы вести борьбу всеми возможными силами против предубеждений, унижающих цветные народы; но не обмолвился ни словом о том, почему он поторопился осуществить свой замысел.

Один из судей задал ему вопрос по поводу его отношения к господину де Мальмеди, но Жорж попросил разрешения не отвечать на этот вопрос.

Хотя подсудимый делал все возможное, чтобы облегчить процесс суда, прения продолжались три дня: ведь

даже когда адвокатам нечего сказать, они все равно говорят без умолку.

Прокурор говорил четыре часа; произнес сокрушительную речь. Жорж выслушал его с величайшим спокойствием, подтверждая свои признания кивком головы, затем, когда речь прокурора была закончена, председатель спросил обвиняемого, желает ли он взять слово.

— Нет,— ответил Жорж,— замечу лишь, что господин прокурор был весьма красноречив.

Прокурор поклонился.

Председатель объявил, что заседание суда окончено, и Жоржа отвели в тюрьму, приговор должны были объявить в отсутствие обвиняемого и вслед за тем оповестить его.

Вернувшись в тюрьму, Жорж попросил бумаги и чернил, чтоб написать завещание. Так как по английским законам решение суда не влечет за собой конфискацию имущества, он мог распорядиться своей частью семейного состояния.

Доктору, который лечил его, он завещал три тысячи фунтов стерлингов. Начальнику тюрьмы — тысячу фунтов стерлингов, каждому из помощников — тысячу пиастров; для них это было целое состояние.

Саре он оставил золотое кольцо, доставшееся ему от матери. Когда он собирался подписать завещание, вошел секретарь. Жорж встал, держа перо в руке. Секретарь прочитал приговор. Предчувствие Жоржа подтвердилось: он был приговорен к смертной казни.

Когда чтение было закончено, Жорж поклонился и расписался твердым почерком.

Затем направился к зеркалу посмотреть, как он выглядит. Лицо, как и прежде, оставалось бледным и спокойным: Жорж был доволен собой и, улыбнувшись, прошептал:

— Ну что ж! Я думал, что смертный приговор вызовет у меня более глубокое волнение.

Доктор пришел его навестить и, как обычно, спросил, как он себя чувствует.

— Очень хорошо, вы чудесно меня лечили, досадно, что вас лишают возможности довести лечение до конца.

Затем он поинтересовался, не изменился ли способ казни после английской оккупации острова. Способ остался прежним, и Жорж был весьма доволен, что это была не гнусная виселица Лондона и не мерзкая гильотина Парижа. Нет, казнь в Пор-Луи носила живописный и

поэтический характер, она не унижала Жоржа. Негр-палач отсекал голову топором. Так были обезглавлены Карл I¹, Мария Стюарт, Сен Мар² и де Ту.

Потом он пустился в физиологические рассуждения, споря с доктором о вероятности посмертной боли при обезглавливании; доктор утверждал, что смерть наступает мгновенно, но Жорж был иного мнения и привел два примера в доказательство своей правоты. Однажды в Египте казнили раба. Он стоял на коленях, и палач одним ударом снес ему голову, которая откатилась на несколько шагов; обезглавленное тело вдруг выпрямилось во весь рост и сделало два-три шага вперед, размахивая руками, затем упало, но еще некоторое время содрогалось. В другом случае, также в Египте, Жорж присутствовал при казни и, движимый любознательностью исследователя, подхватил голову казненного, как только она отделилась от тела, и, подняв ее за волосы к своему лицу, спросил по-арабски: «Тебе больно?» При этом вопросе несчастный открыл глаза, и губы его зашевелились, словно пытаясь дать ответ. Жорж был убежден, что жизнь еще некоторое время продолжается после казни. В конце концов доктор вынужден был согласиться с Жоржем, тем более что и сам втайне придерживался того же мнения. Но он считал своим долгом внушить осужденному, что его ожидает легкая смерть.

День прошел для Жоржа, как все предшествующие дни, он только написал письмо отцу и брату. Потом взял перо, чтоб написать Саре, но какая-то сила остановила его, он отодвинул бумагу и поник головой.

Он долго сидел в таком состоянии, и если бы кто-нибудь видел в то время его лицо с обычным для него выражением высокомерия, тот едва ли мог заметить, что глаза Жоржа покраснели и на его длинных черных ресницах появились слезы.

Дело в том, что с того дня, когда он навестил губернатора и отказался жениться на прелестной креолке, он не только с ней больше не встречался, но не слышал о ней ни единого слова.

¹ Карл I (1600—1649) — король Англии с 1625 г. Во время английской буржуазной революции XVII века был низложен и казнен.

² Сен-Мар Маркиш (1620—1642) — фаворит короля Людовика XIII. Сен-Мар и де Ту — участники заговора против всевластного министра Ришелье. Заговор был раскрыт, Сен-Мар и де Ту приговорены к смертной казни и казнены в 1642 году.

Однако он не мог поверить, что Сара его забыла. Наступила ночь, Жорж лег в обычный час и заснул. Утром встал и попросил позвать начальника тюрьмы.

— Господин,— сказал он,— я хотел бы попросить вас об одной милости.

— О какой же?

— Я желал бы поговорить с палачом.

— Для этого мне нужно получить разрешение губернатора.

— Пустяки! — сказал Жорж улыбаясь.— Обратитесь к нему от моего имени. Лорд Маррей — джентльмен, он не откажет в этой милости старому другу.

Начальник вышел, пообещав выполнить эту просьбу.

Вслед за ним появился священник.

У Жоржа представления о вере были такие же, как и у нас в настоящее время; отвергая церковный ритуал, сердцем он принимал все, связанное с верой: мрачный собор, уединенное кладбище, похоронная процессия производили на его душу глубокое впечатление.

Священник был одним из тех почтенных старцев, которые, не стремясь убедить вас, говорят с вдохновенным убеждением. Он был одним из тех людей, воспитанных среди величественной природы, которые искали и нашли Всевышнего в его творениях; священник этот был человеком святой души, одним из тех людей, которые привлекают к себе страждущие сердца, для того чтобы поддержать и утешить их, взяв на себя часть их скорби.

При первых же словах, которыми они обменялись, Жорж и священник подали друг другу руку, это была откровенная беседа, а не исповедь молодого человека старику; высокомерный перед сильными мира сего, Жорж предстал смиренным перед слабым существом. Жорж обвинил себя в гордыне; как у Сатаны, это был его единственный порок, и этот порок погубил его. Но теперь гордыня придавала ему силы, поддерживала и возвышала его. Но то, что люди принимают за величие, перед Богом не является таковым.

На уста молодого человека так и просилось имя Сары, но он сдерживался и укрывал его в глубине сердца, и ничего не отражалось на лице его.

Во время разговора священника и осужденного вошел начальник тюрьмы.

— Человек, которого вы желали видеть, здесь и ждет с вами встечи.

Жорж побледнел, легкая дрожь пробежала по всему его телу. Однако нельзя было заметить никакого признака обуревавших его чувств.

— Просите его войти.

Священник хотел удалиться, но Жорж его удержал.

— Нет, оставайтесь,— сказал он ему,— то, что я скажу этому человеку, можно сказать и при вас.

Быть может, эта гордая душа для поддержания своих сил нуждалась в присутствии свидетеля.

Привели негра, высокого, с осанкой Геркулеса, он был обнажен, только живот его был обвязан куском красной материи. Его крупные невыразительные глаза выражали крайнюю ограниченность. Он обратился к начальнику, который его привел, а затем к священнику и Жоржу.

— С кем из двух я имею дело? — спросил он.

— С молодым человеком,— ответил начальник и удалился.

— Вы палач? — холодно спросил Жорж.

— Да,— ответил негр.

— Очень хорошо, подойдите сюда, мой друг, и отвечайте мне.

Негр подошел.

— Вы знаете, что должны казнить меня завтра?

— Да, в семь утра.

— Так, значит, в семь утра, благодарю вас. Я справлялся у начальника, но он меня не известил. Дело не в этом.

Священник почувствовал, что теряет сознание.

— Я никогда не видел казни в Пор-Луи, а ведь я желаю, чтобы она прошла достойно, потому я послал за вами, чтобы мы заранее определили, как в театре. ритуал этого зрелища; устроим репетицию.

Негр ничего не понял. Жоржу пришлось объяснить ему более внятно, чего он хочет.

Тогда негр взял табурет, чтобы заменить им плаху, подвел к нему Жоржа, показал ему расстояние, на котором он должен был встать на колени перед плахой, и научил, как следует наклонить голову, пообещав отсечь ее одним взмахом.

Старик хотел удалиться, он не мог перенести это чудовищное упражнение, при котором оба участника сохраняли полное бесстрашие: один — в силу отсутствия разума, другой — в силу своего мужества. Но ноги священника подкосились, и он упал в кресло.

Закончив эту предсмертную репетицию, Жорж снял с пальца бриллиантовое кольцо.

— Друг мой, так как у меня нет при себе денег и так как я не хочу, чтобы вы даром теряли время, примите это кольцо.

— Мне запрещено что-либо принимать от осужденных, но они мне оставляют наследство, сохраните его на вашем пальце, и завтра, когда вы будете мертвым, я сниму его.

— Хорошо,— сказал Жорж и хладнокровно надел кольцо на палец. Негр вышел. Жорж повернулся в сторону священника: Тот был смертельно бледен.

— Сын мой,— сказал старик,— я был счастлив встретить столь бесстрашного человека, как вы; впервые я провожаю приговоренного на эшафот, боюсь, у меня не хватит сил. Вы меня поддержите; не так ли?

— Будьте спокойны, отец мой,— ответил Жорж.

К тому же то был священник небольшой церкви Святого Духа, расположенной на пути следования осужденных; они обычно останавливались в ней, чтобы прослушать последнюю мессу. Она называлась церковью Святого Спасителя.

Священник ушел, пообещав вернуться вечером. Жорж остался один.

Что происходило в душе этого человека, никто не знал; быть может, природа, этот безжалостный кредитор, вступила в свои права; быть может, он настолько же ослабел теперь, насколько был сильным еще так недавно. Во всяком случае, когда тюремщик принес Жоржу обед, он застал его совершенно спокойным,— Жорж скручивал сигару.

Как обычно, он пообедал, затем позвал тюремщика и попросил его приготовить ванну к шести часам утра и разбудить его в половине шестого.

Часто, читая в историческом сочинении или в газете, что приговоренного к смерти разбудили в день его казни, Жорж недоумевал, мог ли действительно спать осужденный, которого пришлось будить. Жоржу предстояло узнать об этом на собственном опыте.

В девять часов вечера пришел священник, Жорж с книгой лежал на кровати. Священник спросил, какую книгу он читает в предсмертные часы, была ли это Библия или «Федон». Жорж протянул ему книгу, то был роман «Поль и Виржини». Удивительно, что в столь страш-

ный час приговоренный избрал эту трогательную поэтическую историю.

Священник оставался с Жоржем до одиннадцати. Говорил лишь Жорж, объясняя священнику, как он понимает Бога, развивая свою теорию бессмертия души. В обычной жизни он бывал красноречив, но в последний вечер жизни был несравненно великолепен.

Осужденный проповедовал, священник слушал.

В одиннадцать вечера Жорж извинился перед священником: чтоб не потерять сил перед казнью, он должен был немного отдохнуть. Когда он остался один, в душе приговоренного разразилась буря, он вновь пригласил священника, тот вернулся, и Жорж, сделав усилие, сказал: «Нет, ничего, отец мой, ничего». Жорж лгал: ему все время хотелось произнести имя Сары, но он не вымолвил ни слова; старик удалился.

На другой день на заре в камеру вошел тюремщик; Жорж крепко спал.

Проснувшись, он сказал:

— А ведь это правда, осужденный может спать в последнюю ночь.— Но никто не знал, в котором часу он заснул.

Принесли ванну. В этот момент вошел доктор.

— Вот видите, доктор,— сказал он,— я придерживаюсь правил древних греков. Афиняне перед сражением принимали ванну.

— Как вы себя чувствуете? — спросил доктор. С таким банальным вопросом обращаются к людям, когда нечего сказать.

— Ну, конечно же, хорошо,— улыбаясь ответил обреченный,— и я начинаю верить, что не умру от своей раны.— Затем он передал ему запечатанное завещание.

— Доктор,— продолжал он,— я вас назначил своим душеприказчиком, в этой бумаге вы найдете три строчки, касающиеся вас, я хотел оставить вам воспоминание о себе.

Доктор прослезился и пробормотал несколько слов благодарности.

Жорж принял ванну.

— Доктор, скажите, каков нормальный пульс человека?

— Шестьдесят четыре — шестьдесят шесть в минуту.

— Проверьте мой, я хотел бы знать, какое воздействие на кровь оказывает приближение смерти.

Доктор достал часы, взял руку Жоржа и стал проверять пульс.

— Шестьдесят восемь,— сказал он.

— Так, так, я доволен, доктор, а вы?

— Изумительно, вы что, сотворены из железа?

Жорж с гордостью улыбнулся.

— А, господа белые,— сказал он,— вы спешите увидеть меня мертвым; понимаю вас, быть может, вам необходимо преподать урок мужества — я это сделаю.

Вошел тюремщик и объявил, что пробило шесть часов.

— Дорогой мой доктор,— сказал Жорж,— разрешите выйти из ванны? Однако же, пожалуйста, не уходите, мне будет крайне приятно пожать вам руку, прежде чем я покину тюрьму.

Доктор ушел. Жорж вышел из ванны, надел белые брюки, лакированные ботинки, батистовую рубашку, затем подошел к зеркалу, привел в порядок волосы и бороду с большим усердием, чем если бы он отправлялся на бал. Затем он подошел к двери и постучал, чтобы дать знать, что готов к выходу.

Вошел священник, он взглянул на Жоржа. Никогда в своей жизни молодой мулат не был так красив. Глаза его блестели, лицо сияло.

— Сын мой! Сын мой! — сказал священник.— Остерегайтесь гордыни, гордыня погубила ваше тело, как бы она не погубила вашу душу.

— Вы помолитесь за меня, и Бог, я убежден, ни в чем не откажет такому святому человеку, как вы.

В этот момент Жорж заметил палача, который стоял у двери.

— А, это вы, мой друг, идите сюда.

Негр был закутан в широкий плащ и прятал под ним топор.

— Ваш топор хорошо рубит?

— Да, будьте спокойны,— ответил палач.

В этот момент он заметил, что негр смотрит на руку с бриллиантовым кольцом, которое Жорж накануне обещал ему подарить.

— Будьте спокойны, вы получите свое кольцо.

И он вручил кольцо священнику, знаком указав, что оно предназначено для палача.

Казалось, Жорж еще хочет что-то сказать, он положил руку на плечо священника, но и на этот раз воля его оказалась сильнее чувства, и то имя, которое, казалось, готово было вырваться из глубины его сердца, замерло на устах.

Затем он подошел к маленькому бюро, открыл его, достал два письма: одно — отцу, другое — брату, и вручил их старику.

В этот момент пробило шесть.

— Ну, идем! — И он, в сопровождении священника и палача, вышел из тюрьмы.

На нижней площадке лестницы он встретил доктора который ждал его, чтобы в последний раз проститься. Жорж протянул ему руку, сказав: «Поручаю вашим заботам мое тело». А затем устремился во двор.

XXVIII

ЦЕРКОВЬ СЯТОГО СПАСИТЕЛЯ

Улица была полна любопытными. Такое зрелище в Пор-Луи бывало редким, и все хотели видеть если не казнь, то хотя бы смертника.

Начальник тюрьмы спросил осужденного, как он желает дойти до эшафота. Жорж ответил ему, что хочет идти пешком. Его желание было исполнено, то была последняя любезность губернатора.

Восемь кавалеристов верхом на лошадях ожидали Жоржа у ворот тюрьмы. На всех улицах, по которым он должен был пройти, английские солдаты были выстроены в два ряда, охраняя пленника и сдерживая шумную толпу.

Когда появился осужденный, возник громкий ропот, однако в нем не преобладала ненависть, раздавались разные возгласы, но прежде всего они выражали участие и жалость, которые толпа всегда питает к благородному, мужественному человеку, обреченному на казнь.

Жорж шагал твердо, высоко подняв голову, со спокойным лицом. Однако в этот час на сердце у него было невыносимо тяжело.

Он думал о Саре — о Саре, которая не попыталась его увидеть, не написала ни слова, не послала ничего на память. Он верил ей, и вот теперь ей был обязан своим последним разочарованием.

Конечно, если бы она его любила, ему не хотелось бы умирать; забытый Сарой, он готов был испить чашу до конца.

Переживая обман в любви, он страдал и о оскорбленной гордости. Он потерпел поражение во всем, его чувство превосходства над всеми не привело ни к какой

цели. Результат упорной борьбы — эшафот, к которому он шел, всеми покинутый. Когда люди будут говорить о нем, они скажут: это был безумец. И все же на пути он надеялся увидеть Сару, искал ее тревожным взглядом на улицах, во всех окнах.

Сара, которая бросила ему букет, когда он, уносимый Антримом, устремлялся к победе и стал победителем, неужели она не уронит слезы, когда он, побежденный, идет к эшафоту?

Но ее нигде не было видно. Он прошел всю Парижскую улицу, повернул направо и приблизился к Церкви Святого Спасителя. Церковь была затянута черной тканью, как бывает по случаю похорон. И разве осужденный, идущий к месту казни, не живой труп?

Подойдя к дверям, Жорж содрогнулся. Подле доброго старика-священника, ждавшего его на паперти, стояла женщина, одетая в черное, с черной вуалью на лице. Эта женщина в траурном платье, что она здесь делает? Кого она ждет? Пораженный, Жорж ускорил шаг, не сводя с нее глаз. По мере того как он приближался к ней, его сердце билось все сильнее, и он, бесстрашно принимавший близкую смерть, был потрясен.

Когда он подошел к порогу церкви, она первая шагнула к нему. Жорж бросился к ней, поднял вуаль, громко вскрикнул и упал на колени.

Это была Сара.

Она торжественно подала ему руку; в толпе воцарилось молчание.

— Слушайте,— сказала она,— на пороге церкви, куда он входит, прежде чем сойти в могилу, я всех вас перед Богом и людьми призываю в свидетели — в свидетели того, что я, Сара де Мальмеди, спрашиваю Жоржа Мюнье, хочет ли он взять меня в жены?

— Сара,— воскликнул Жорж, рыдая,— Сара, ты самая великодушная, самая благородная, самая достойная из всех женщин.

Затем, поднявшись и обхватив Сару рукой, как будто боясь потерять ее, Жорж произнес:

— Приди, моя вдова.— И ввел ее в церковь.

Если когда-либо триумфатор был горд своим триумфом, то это в полной мере относится к Жоржу. В мгновение ока все изменилось для него. Одним своим словом Сара возвысила его над всеми людьми, смотревшими с грустной улыбкой, как он шел к алтарю. То был уже не

бедный безумец, беспомощно стремящийся к недостигаемой цели и умирающий, прежде чем он достиг ее, то был победитель, повергнутый в момент его победы. Эпаминонд¹, вырывающий копье из своей груди, но своим последним взглядом преследующий бегущих врагов.

Так, благодаря неодолимой силе воли и своим несомненным достоинствам, он, мулат, заставил белую женщину полюбить себя и, не произнеся ни слова, не написав письма, не подав ей никакого знака, сумел так воздействовать на нее, что она сама ждала его на пути к эшафоту и перед всеми избрала своим супругом. Такого в колонии не бывало.

Теперь Жорж мог спокойно умереть, вознагражденный за неутомимую борьбу с расовым предубеждением, победив ложные взгляды ценой своей жизни.

Двадцать солдат выстроили в два ряда в церкви; четверо охраняли клирос. Жорж прошел между рядами, не замечая их, и стал вместе с Сарой на колени перед алтарем.

Священник начал брачную мессу. Жорж не слушал его слов; держа руку Сары, он по временам с великим презрением окидывал взглядом присутствующих. Затем он снова глядел на Сару, бледную и обмирающую, ощущал дрожь ее руки в своей руке, пытался выразить взглядом всю свою любовь и благодарность и с трудом удерживал вздох, думая о том, каким счастьем была бы вся его жизнь рядом с этой женщиной.

В то время как продолжалась служба, Жорж, повернувшись, увидел среди толпы Мико-Мико, жестами умолявшего солдат пропустить его к клиросу. Тогда Жорж обратился к английскому офицеру с просьбой позволить доброму китайцу подойти к нему. По знаку офицера солдаты расступились, и Мико-Мико бросился к клиросу. Бедный торговец питал дружеские чувства к Жоржу с момента их первой встречи, потому он разыскивал Жоржа в полиции, а теперь явился к нему перед казнью.

Мико-Мико упал на колени, Жорж подал ему руку, китаец схватил ее и прижался к ней губами, и в тот же миг Жорж почувствовал в своей руке записку. Жорж встрепенулся.

Затем, сделав вид, что он хотел только проститься с Жоржем, китаец молча удалился.

¹ Э п а м и н о н д (ок. 410—362 г. до н. э.) — фиванский полководец, победитель спартанцев при Левктрах, где применил новую тактику.

Жорж, нахмурившись, держал записку в руке. Что написано в ней? Конечно, что-то важное, но он не осмеливался прочесть, боясь, что заметят охранявшие его солдаты.

Он опять взглянул на Сару. Она была так прекрасна, так предана ему и так далека от земной любви, что в сердце Жоржа, словно железный коготь, вонзилась неведомая ему боль; думая об утерянном счастье, он невольно жалел о жизни и, чувствуя, что душа его готова подняться к небу, в то же время знал, что его сердце приковано к земле. Тогда он с ужасом подумал, что ему предстоит умереть в отчаянии.

Записка жгла ему руку. Она внушила ему какую-то неясную надежду, хотя любая надежда в его положении была бы чистым безумием. Ему не терпелось заглянуть в записку, но благодаря огромному самообладанию он ничем не выдал внешне своего нетерпения и только стиснул записку в кулаке с такой силой, что ногти вонзились в ладонь.

Сара молилась.

Наступило время освящения даров, священник вынес из алтаря святые дары, мальчик, прислуживавший в церкви, зазвенел колокольчиком, все встали на колени.

Жорж воспользовался этим моментом и, также преклонив колени, прочитал записку; там была лишь одна строка: «Мы здесь, приготовься».

Первые слова были написаны Жаком, последние — почерком Пьера Мюнье. Не успел Жорж окинуть удивленным взором окружающих, как дверь ризницы распахнулась, из нее выбежали восемь моряков, схватили четырех солдат, стоявших у клироса, приставив к груди каждого из них по два кинжала. Жак унес Сару, а Пьер увел Жоржа. Оба супруга оказались в ризнице, туда, в свою очередь, вбежали моряки, каждый из них держал перед собой английского солдата, тем самым они оберегали себя от пуль англичан. Жак и Пьер закрыли дверь и прошли через другую, выходящую в поле, у которой их поджидали два оседланных коня: то были Антрим и Ямбо.

— На коней! — вскричал Жак. — Оба, и поскорее!

— Пусть-ка они попробуют захватить нас среди моих моряков, — сказал Жак, сажая Сару в свое седло. — Ко мне, мои ласкалы! — закричал он.

В то же время Мюнье заставил своего сына сесть на коня.

Тотчас из лесов Длинной горы появились сто двадцать молодцов, вооруженных до зубов.

— Ну, в путь,— сказал Жак Саре,— спасите моего отца и брата.

— А вы? — спросила Сара.

— Не волнуйтесь, мы последуем за вами.

— Жорж! Во имя Всевышнего, едем — И девушка пустила свою лошадь в галоп.

— А наш отец? — воскликнул Жорж.

— Клянусь жизнью, я отвечаю за все,— ответил Жак, подхлестывая Антрима.

И Антрим помчался, словно ураган, унося своего всадника: через десять минут он вместе с Сарой оказался за Малабарским лагерем, в то время как Пьер Мюнье, Жак и его моряки мчались за ним с такой скоростью, что англичане не успели и опомниться.

Небольшой отряд высадился на другом берегу реки Девы, где никакая пуля не смогла бы его достигнуть.

XXIX

«ЛЕЙСТЕР»

К пяти часам вечера в тот же самый день, когда произошло рассказанное нами событие, корвет «Калипсо» шел под всеми парусами, гонимый ветром.

Кроме матросов и старшего помощника, капитана, боцмана Железный Лоб, уже известных читателю, на корабле появились еще трое: Пьер Мюнье, Жорж и Сара.

Пьер Мюнье прогуливался с Жаком от грот-мачты до бизань-мачты и обратно. Жорж и Сара сидели на корме, он смотрел на нее и держал ее руку в своих руках; взор Сары был обращен к небесам.

Надо было оказаться в их положении, чтобы понять великое счастье и бесконечную радость, охватившую их, когда они стали свободными в необъятном океане, уносившем их далеко от родины, которая, словно мачеха, непрерывно их преследовала. И все же горестный вздох порой вырывался из груди одного из них, и тогда другого охватывал трепет. Сердце, так долго страдавшее, не осмеливается поверить неожиданному счастью. Зато они были свободны, теперь над ними было только небо, впереди — только море; со всей скоростью легкого корвета

они стремительно удалялись от Иль де Франс, жизнь на котором чуть не привела их к роковому концу.

Пьер и Жак разговаривали; Жорж и Сара сидели молча. Пьер Мюнье смотрел на них с восхищением, старик так страдался, что сам не мог понять, откуда у него берутся силы, чтобы вынести теперь это нечаянное счастье. Жак, не такой сентиментальный, смотрел в том же направлении, но его взгляд был устремлен туда, где за горизонтом скрывался Пор-Луи. Он не только не разделял общей радости, но порой казался озабоченным и проводил рукой по лбу, словно пытаясь рассеять тревожные думы.

Что касается Железного Лба, то он спокойно беседовал с рулевым; добряк-бретонец размозжил бы голову первому, кто не сразу выполнил бы его приказ, но, исключая это естественное с его стороны требование, он не был гордым, со всеми здоровался за руку, заводил разговор с первым встречным.

Весь экипаж чувствовал себя беззаботно, как это обычно бывает после победного сражения либо утихшей бури; дежурные несли вахту на палубе, несколько матросов находились у орудий.

Пьер Мюнье, всецело поглощенный счастьем Жоржа и Сары, все же заметил, что его старший сын чем-то встревожен, вначале ему показалось, что Жака беспокоят тучи, плывшие с запада.

— А нам не угрожает буря? — спросил он у сына, пристально наблюдавшего горизонт.

— Буря! Поверьте мне, «Калипсо» не боится бури, как эти чайки, что пролетают там, но нам угрожает нечто похуже.

— Но что же нам угрожает? — в испуге спросил Мюнье. — Я-то думал, что с тех пор, как мы ступили на твое судно, мы спасены.

— Несомненно, — ответил Жак, — ясно, что сейчас мы имеем больше шансов спастись, чем несколько часов тому назад, когда мы прятались в лесах Малой горы, а Жорж произносил свою последнюю молитву в церкви Спасителя. Но, хотя я и не хочу вас огорчать, отец, я пока еще не могу поручиться за то, что наши головы прочно держатся у нас на плечах. — Затем он скомандовал: — Человек, на брам-стенгу! — Мгновенно туда ринулись три матроса, один из них поднялся за несколько секунд, а двое спустились.

— А чего же ты боишься, Жак,— продолжал старик,— думаешь, они попытаются преследовать нас?

— Да, отец, на этот раз вы угадали, у них в Пор-Луи стоит фрегат под названием «Лейстер», я его хорошо знаю и, должен вам признаться, боюсь, что нам не избежать встречи с ним, он задержит нас, не даст уйти, не предложив нам партию в кегли, которую мы вынуждены будем принять.

— Но мне кажется,— сказал Мюнье,— что во всех случаях мы опережаем его на двадцать пять — тридцать миль, и при нашей скорости мы быстро окажемся вне поля зрения.

— Бросить лаг;— приказал капитан.

Три матроса принялись за дело. Жак внимательно наблюдал за ними, а затем спросил:

— Сколько узлов?

— Десять узлов, капитан,— ответил матрос.

— Ну что ж, для корвета, подгоняемого боковым ветром, прекрасный ход, в английском флоте имеется лишь один фрегат, который может идти быстрее на четверть узла; к несчастью, нам придется иметь дело именно с ним, если губернатор вздумает преследовать нас.

— О, если это зависит от губернатора, то он, конечно же, не будет преследовать нас,— заметил Мюнье,— ты ведь знаешь, что губернатор был другом твоего брата.

— Прекрасно знаю! Это не помешало ему позволить приговорить его к смертной казни.

— Но мог ли он поступить иначе, не нарушив своего долга?

— В этом случае, отец, речь идет не о нарушении долга, здесь затронуто его самолюбие. Ведь понятно, если б губернатор имел право помиловать Жоржа, то он бы так и сделал, доказав свое великодушие, но Жорж улизнул от него в тот момент, когда он считал, что крепко держит его в руках. Значит, Жорж взял над ним верх; естественно, губернатор не захочет быть униженным.

— Парус! — закричал матрос-наблюдатель.

— А где он? — спросил Жак, подняв голову.

— Позади нас, под ветром,— ответил матрос.

— На какой широте?

— Приблизительно на широте острова Бочаров.

— И откуда он идет?

— Кажется, из Пор-Луи.

— Это за нами,— прошептал Жак, взглянув на отца,— я же вам говорил, что мы еще не спаслись от их когтей.

— Что происходит? — спросила Сара.

— Ничего,— ответил Жорж,— кажется, нас преследуют.

— О, Боже,— воскликнула Сара,— вернув его мне, Ты сотворил чудо, но неужели лишь для того, чтобы отнять его от меня! Это невысказано.

Тем временем Жак взял подзорную трубу и поднялся на большой марс; несколько минут он наблюдал за парусом, замеченным матросом, затем положил трубу и, на свистывая, спустился и подошел к отцу.

— Ну, что? — спросил старик.

— Как видно,— сказал Жак,— я не ошибся, наши добрые друзья англичане охотятся за нами; к счастью, через два часа наступит полная темнота, а луна взойдет лишь полночь.

— И тогда, ты думаешь, нам удастся улизнуть от них?

— Мы сделаем все возможное, отец,— сказал Жак,— не волнуйся. Я не гордец, но не люблю таких передраг, в которых ничего, кроме колотушек, не получишь. А уж что касается этого дела — то будь я проклят, если тороплюсь попасть в лапы правосудия.

— Что ты говоришь, Жак,— воскликнул Жорж,— ты, бесстрашный и непобедимый, хочешь бежать от врага?

— Дорогой брат, я всегда бегу от дьявола, если у него в карманах пусто, а рога на два дюйма длиннее моих. Вот если бы карманы у него были битком набиты, тогда я, возможно, и рискнул бы подраться с ним.

— Знаешь, ведь скажут, что ты испугался.

— А я скажу, черт побери, что это правда. Ну какая нам польза, если нас захватят? Тогда дело пропало, нас повесят на реях всех до одного, а если мы одержим верх, мы вынуждены будем потопить их вместе с судном.

— Как это потопить?

— Непременно, а как же иначе — если б это были негры, мы бы их продали, но ведь это белые, зачем они нужны?

— О, Жак, дорогой брат, вы никогда не совершите подобного, правда?

— Сара, дорогая сестрица,— молвил Жак,— мы сделаем все, что в наших силах; впрочем, если что-нибудь такое произойдет, мы поместим вас в укромное местечко, и вы ничего не увидите: следовательно, для вас как бы ничего и не было.

Затем, поглядев на идущее позади судно, произнес:

— Да, да, вот оно появляется, видна верхушка марселя, видите, отец?

— Я вижу лишь белую точку, она колеблется на волне, словно чайка.

— Вот, вот, похож на чайку, но... просто-напросто тридцатипушечный фрегат; фрегат ведь тоже птица, но только не чайка и не ласточка, а хищный орел.

— Но, может быть, это другое, какое-нибудь торговое судно?

— Торговое судно не будет мчаться на всех парусах.

— Но и мы тоже не стоим на месте.

— О, мы другое дело, мы бы не смогли пройти мимо Пор-Луи, для нас это бы означало очутиться в пасти волка, поэтому нам пришлось избрать более безопасный путь.

— А ты не можешь увеличить скорость корвета?

— Он мчится во всю мочь, отец. Когда мы будем под ветром, мы поднимем еще несколько парусов и ускорим ход на два узла, но фрегат сделает то же самое; скорость «Лейстера» превышает нашу на одну милю. Я хорошо это знаю.

— Значит, он догонит нас завтра днем?

— Да, если мы не сможем ночью ускользнуть от него.

— Ты думаешь, нам это удастся?

— Смотря какой капитан им управляет.

— Ну, а если он нас догонит?

— Тогда дело решит абордаж, вы понимаете, артиллерийский бой для нас не приемлем. Прежде всего «Лейстер», если это он, а я готов поручиться, ставлю сто негров против десяти, что это он, то у него на двенадцать орудий больше, чем у нас; к тому же на случай ремонта острова Бурбон, Иль де Франс и Родригес в его распоряжении; у нас же лишь безбрежное море и необъятное пространство. Суша нам враждебна, спасением для нас могут послужить только быстролетные крылья.

— А если абордаж?

— Тогда мы можем выступить на равных: у нас есть гаубицы, которыми запрещено пользоваться на военных судах, правда, это не очень соблюдается, но мы, пираты, пользуемся ими по собственному разрешению. Затем, экипаж фрегата в мирное время имеет команду в двести семьдесят человек, у нас — двести шестьдесят, а если учесть, какие они молодцы, то, как вы видите, силы равны. А теперь успокойтесь, отец, звонит колокол к ужину.

Действительно, было семь часов, и с обычной пунктуальностью раздался сигнал к ужину. Жорж взял Сару под руку. Пьер Мюнье следовал за ними, втроем они спустились в каюту Жака; здесь из-за присутствия Сары была устроена столовая. Жак немного задержался, чтобы отдать распоряжения своему помощнику, Железному Лбу.

Внутренние помещения «Калипсо» представляли любопытное зрелище не только для моряка. Словно любовник, украшающий свою возлюбленную со всею доступной ему роскошью, Жак разубрал «Калипсо» всеми сокровищами, достойными морской нимфы. Лестницы из красного дерева лоснились; всегда надраенная медная оснастка сверкала; наконец, все орудия убийства — топоры, сабли, мушкеты — размещенные в фантастической композиции вокруг орудийных люков, откуда пушки выставляли свои бронзовые горла, казались искусным орнаментом работы знаменитого декоратора.

Но особенным великолепием отличалась капитанская каюта. Как мы упоминали, Жак был человеком в высшей степени чувственным, и если некоторые люди в чрезвычайных обстоятельствах умеют обходиться без самого насущного, то Жак в повседневной жизни любил наслаждаться всеми причудами роскоши. Итак, каюта Жака, служащая одновременно салоном, спальней и кабинетом, была в своем роде образцовой.

По обе стороны ее, то есть по правому и левому борту, царственно раскинулись два широких дивана, под которыми скрывались, вместе с лафетами, две пушки, о существовании которых можно было догадаться, только выйдя из каюты. Один из диванов служил Жаку постелью. В простенке между иллюминаторами висело превосходное венецианское зеркало в раме стиля рококо, представляющей амуров среди хитросплетения цветов и плодов. Наконец, с потолка свисал серебряный светильник, несомненно, похищенный из церкви и такой совершенной работы, что его безошибочно можно было отнести к расцвету Возрождения.

Диваны и стены были задрапированы прекрасной индийской тканью; золотые цветы, выющиеся по алому полю, казалось, были вышиты искусными пальчиками феи.

Эту каюту Жак уступил Жоржу и Саре; но, поскольку венчание в церкви Спасителя было прервано и Сара не была уверена в законности их брака, Жорж дал ей

понять, что только днем будет вместе с ней в этом святилище, а ночь будет проводить в другом помещении.

В этом-то помещении и собирались обедать.

Неожиданным счастьем было для этих людей оказаться вместе, за одним столом, после того как они чуть было не разлучились навеки. На какой-то миг они забыли об окружающем мире и думали только друг о друге. Прошлое и будущее были забыты ради настоящего.

Обед продолжался в течение часа, который прошел для них быстро, словно секунда, затем все поднялись на палубу и обратили взор назад, в сторону фрегата. Наступила минута молчания.

— А вы знаете, мне кажется, что фрегат исчез,— сказал Мюнье.

— Это паруса в тени, так как солнце опустилось к горизонту, но посмотрите, отец, в этом направлении,— и капитан жестом показал, с какой стороны видит корабль.

— А, теперь я вижу,— сказал старик.

— Он даже приблизился,— заметил Жорж.

— Да, приблизительно на милю или две, взгляни, Жорж, ты различишь даже нижние паруса, фрегат в пятнадцати милях от нас.

В этот момент, начиная удаляться от острова, «Калипсо» находилась в проливе Кап, на горизонте солнце садилось в облака; со стремительностью, свойственной тропическим широтам, наступала ночь.

Жак позвал помощника, который подошел со шляпой в руке.

— Ну, что, Железный Лоб, что это за судно?

— Простите, капитан, вам это известно лучше меня.

— Неважно, я желаю знать ваше мнение. Торговое ли это судно или военное?

— Извольте шутить, капитан,— ответил Железный Лоб, широко улыбаясь,— во всем торговом флоте и даже у Индийской кампании нет судна, которое могло бы сравниться с нами в скорости, а это нас догоняет.

— И насколько оно догнало нас с того момента, как мы его заметили?

— Мой капитан хорошо это знает.

— Я спрашиваю ваше мнение, Железный Лоб, вдвоем мы определим точнее, ум хорошо, а два лучше.

— Мой капитан, оно догнало нас примерно на две мили.

— Хорошо, а как вы полагаете, что это за судно?

— Вы его опознали, капитан!

— Быть может, но я боюсь, что ошибаюсь.

— Невозможно,— произнес Железный Лоб, вновь засмеявшись.

— Неважно, говорите.

— Это «Лейстер», черт бы его побрал.

— Как вы думаете, кого он выслеживает?

— Мне кажется, «Калипсо». Вы отлично знаете, капитан, что фрегат давно затаил злобу на «Калипсо», хотя бы за то, что наш корабль посмел сломать его фок-мачту.

— Прекрасно, мой друг, я знал все, что вы мне сообщили, но хотел убедиться в том, что вы разделяете мое мнение; через пять минут сменится вахта, пусть дадут отдохнуть тем, кто отдежурил, недалек час, когда им нужна будет свежая сила.

— Разве капитан не воспользуется ночью, чтобы навести фрегат на ложный след? — спросил боцман Железный Лоб.

— Тихо, об этом поговорим потом, а сейчас займитесь своим делом и исполняйте мои приказания.

Пять минут спустя вахта сменилась, и свободные от дежурства матросы покинули палубу; вскоре все они погрузились в сон, однако среди команды не было ни одного, кому бы не было известно, что за их кораблем охотятся, но они отлично знали своего капитана и полагались на него.

Тем временем корвет продолжал идти в том же направлении, но волнение открытого моря снижало его скорость. Сара, Жорж и Пьер Мюнье спустились в каюту. Жак оставался на палубе.

Наступила ночь, и фрегат исчез из вида. Прошло некоторое время, и Жак вновь позвал своего помощника, который тотчас предстал перед капитаном.

— Боцман Железный Лоб, как вы полагаете, где мы сейчас находимся?

— Севернее Пушечного Клина,— ответил помощник.

— Прекрасно, сможете ли вы провести корвет между Пушечным Клином и Плоским островом, не коснувшись берегов?

— Я пройду с завязанными глазами.

— Чудесно, в таком случае, предупредите ваших людей приготовиться к маневрированию, времени терять нельзя.

Каждый моряк занял свое место; наступила тишина. Затем раздалась команда: «Поворот другим бортом!»

— Есть другим бортом,— повторил Железный Лоб. Затем раздался свисток капитана, «Калипсо» некоторое время колебалась, как несущийся галопом конь, которого внезапно останавливают, затем медленно повернулась, накренившись под действием свежего ветра и высоких волн.

— Штурвал опустить,— приказал Жак,— поднять левые паруса.

Маневрирование корабля протекало быстро и успешно. Корвет завершил поворот, задние паруса стали надуваться, передние, в свою очередь, также надулись, и грациозное судно ринулось к горизонту в новом направлении.

— Боцман Железный Лоб,— обратился затем к нему Жак, следивший за ходом корвета с таким же вниманием, с каким всадник следит за бегом своего скакуна,— обогните остров, применяйтесь к ветру и следуйте вдоль скал, которые простираются от пролива Декорна до бухты Флак.

— Есть, капитан,— ответил его помощник.

— Ну что ж, спокойной ночи, друг,— произнес Жак,— разбудите меня, когда поднимется луна.

И Жак пошел спать со счастливой беззаботностью тех, кто постоянно находится между жизнью и смертью.

Вскоре он погрузился в глубокий сон и спал так же крепко, как любой из его матросов.

XXX

СРАЖЕНИЕ

Боцман Железный Лоб сдержал слово: он благополучно миновал канал между Пушечным Клином и Плоским островом и, обогнув пролив Декорн и Янтарный остров, насколько было возможно приблизился к берегу. В половине первого ночи, когда рог луны показался к югу от острова Родригес, он, согласно полученному приказу, пошел будить капитана.

Поднявшись на палубу, Жак осмотрел горизонт проницательным взглядом моряка. Ветер становился все свежее и менял направление с восточного на северо-восточный; с правого борта виднелась едва заметная в тумане полоска земли протяженностью в девять миль. Ни одного судна не было видно вокруг.

Корабль находился недалеко от порта Бурбон.

При создавшемся положении Жак придумал наибо-

лее удачный маневр: если фрегат потерял ночью «Калипсо» из виду и продолжает путь на восток, то на заре ему будет поздно поворачивать обратно, и тогда «Калипсо» спасена. Если же командир фрегата распознает хитрость Жака и пойдет следом за «Калипсо», то у корвета еще останется возможность скрыться, используя извилистые очертания острова. Когда Жак с помощью подзорной трубы пытался проникнуть взглядом за горизонт, кто-то хлопнул его по плечу. Он обернулся: то был Жорж.

— А, это ты, брат,— сказал он, протянув ему руку.

— Ну, что нового? — спросил Жорж.

— Покуда ничего; даже если «Лейстер» идет за нами, его еще не видно, расстояние слишком велико. Ого, вот так штука!

— Что случилось?

— Ничего: небольшой порыв ветра, вот и все.

— Нам на пользу?

— Да, если фрегат следует прежним курсом. Если же нет, то усиление ветра благоприятствует фрегату, и мы должны учитывать это.— Затем, обращаясь к боцману, заменившему помощника, Жак распорядился: — Поднять лиселя.

— Есть поднять лиселя,— повторил боцман.

Паруса развернулись, и корвет сразу же ускорил ход. Жорж обратил на это внимание своего брата.

— Да,— сказал Жак,— он, как Антрим, легко слушается узды: его не надо стегать кнутом, чтоб он ускорил ход, надо лишь добавить парусов, и он помчится как надо.

— Сколько теперь миль мы делаем в час? — спросил Жорж.

Жак скомандовал:

— Бросить лаг.

Приказ тотчас был исполнен.

— Сколько узлов?

— Одиннадцать, капитан.

— Идем на две мили скорее. Большого нельзя требовать, ведь это всего лишь дерево, полотно и железо, и если бы за нами гналось другое судно, а не этот дьявол «Лейстер», я смог бы его провести, как на поводке, до мыса Доброй Надежды. А там бы мы ему сказали: «До свидания!»

Жорж ничего не ответил, братья продолжали молчаливо прогуливаться по палубе; тем не менее Жак, когда они выходили на корму, каждый раз пристально всматривался в темноту. Теперь при первых проблесках зари

он заметил на расстоянии пятнадцати миль фрегат, который шел тем же курсом, что и его корвет. Он хотел сообщить об этом брату, но в это время дежурный матрос объявил: «Парус позади!»

— Да,— ответил Жак, словно говоря с самим собой,— да, я его обнаружил, он следует по нашему курсу, но вместо того, чтобы пройти между островами Плоским и Пушечным Клином, он направился к Круглому острову и потому потерял два часа. У капитана, видимо, не было опытного лоцмана.

— А я ничего не вижу,— сказал Жорж.

— Смотри, вон там, можно разглядеть даже нижние паруса, и когда судно поднимается на волне, виден даже нос корабля, словно рыба, высывающая голову из воды, чтобы вдохнуть воздух.

— Действительно,— сказал Жорж,— ты прав!

— А что вы видите, Жорж? — раздался нежный голос позади молодого мулата.

Жорж обернулся и увидел Сару.

— Что я вижу, Сара? Великолепный восход солнца. Но ведь на земле всякая радость чем-нибудь омрачена, и предстающий передо мной пейзаж погублен появлением фрегата. Корабль, вопреки надеждам брата, не потерял наш след.

— Жорж,— сказала Сара.— Господь, сотворивший чудо, соединил наши сердца. Он не покинет нас в тот момент, когда мы больше всего нуждаемся в его помощи. Пусть этот корабль не помешает вам любить Господа Бога в его творениях. Взгляните, взгляните, Жорж, как прекрасен мир!

И в самом деле, в тот миг, когда начал зарождаться день, казалось, что ревнивая ночь пытается еще больше сгустить свою мглу. Потом забрезжил голубоватый и прозрачный свет, расходящийся все шире, разгорающийся все ярче; затем он стал переходить от серебристо-белого к нежно-розовому, от нежно-розового — к ярко-розовому, и наконец на горизонте возникло пурпурное облако, похожее на пламенеющие пары вулкана. Это царь мира восходил, чтобы принять власть над своей империей, это солнце, повелитель всего сущего, озарило небосвод.

Сара впервые видела столь изумительное зрелище; зачарованная, она не отводила от него глаз. Жоржа, не раз совершавшего долгие путешествия, интересовало главным образом то, что занимало всех: фрегат, преследую-

щии их, все приближался, хотя сейчас, залитый с востока солнечным светом, он стал менее заметным; корвет же, вероятно, отчетливо был виден с «Лейстера».

— Ничего не поделаешь,— прошептал Жак,— он тоже видит нас, вот он поднимает свои лиселя. Жорж, друг мой, ты ведь знаешь женщин, они обычно теряются в трудную минуту: по-моему, тебе следовало бы заранее предупредить Сару о том, что нам предстоит.

— Что сказал ваш брат? — спросила Сара.

— Он сомневается в вашем мужестве, а я ручаюсь ему за вас.

— Вы правы, дорогой мой. Когда наступит решительный момент, вы скажете, что мне делать, я исполню свой долг.

— Этот демон мчится, словно на крыльях, милая сестрица, вы не знаете ли случайно имени командира этого судна?

— Я встречалась с ним несколько раз в нашем доме и отлично помню его имя — Джордж Патерсон, но сейчас командует «Лейстером» другой. Патерсон болен и, говорят, смертельно.

— После смерти Патерсона командиром корабля должен стать его помощник, иначе было бы несправедливо. В добрый час. Приятно иметь дело с таким удалцом. Посмотрите, как спешит его судно, словно конь на скачках, недалек час — и придется вести бой врукопашную.

— Ну, что ж, будем драться,— сказал старик Мюнье, поднимаясь на палубу; глаза его загорелись огнем, как всегда перед лицом близкой опасности.

— Дорогой отец,— обратился к нему Жак,— я восхищен вашим мужеством! Скоро нам понадобятся все, кто есть на борту.

Сара слегка побледнела, и Жорж почувствовал, что девушка сжимает его руку; он обернулся к ней, улыбаясь:

— Друг мой, вы же всегда надеялись на Бога, неужели теперь вы в нем сомневаетесь?

— Нет, Жорж, нет, даже когда из глубины трюма я услышу рев пушек, свист ядер, крики раненых, клянусь вам, буду верить, что вновь увижу моего Жоржа живым и здоровым. Мы испытали самое тяжелое горе, и как на смену ночной тьме приходит яркое солнце, так пройдет ночь и наступит светлый день.

— В добрый час,— воскликнул Жак,— вот это хоро-

шо сказано. Клянусь честью, не знаю, почему бы мне не повернуть назад и не встретить этот дерзкий корабль; это избавило бы его и нас от излишних забот; что ты на это скажешь, Жорж? Попробуем?

— Охотно,— ответил Жорж,— но ты не боишься, что если в порту Бурбон стоят английские суда, то, услышав пальбу, они ринутся на помощь своему соотечественнику?

— Знаешь, брат, ты говоришь так, как святой Иоанн Златоуст¹, будем продолжать путь. А, это вы, Железный Лоб, вы пришли вовремя, как видите, мы находимся на широте Брананта, держите курс на юго-запад. А мы пойдем завтракать; все надо предвидеть, ведь неизвестно, придется ли обедать.

Жак, предложив руку Саре, в сопровождении Пьера и Жоржа первым спустился в каюту.

Чтобы развлечь своих гостей в предвидении грозной опасности, Жак постарался, насколько возможно, продлить время завтрака, и только два часа спустя они поднялись на палубу. Прежде всего капитан устремил взор на «Лейстер». Фрегат заметно приблизился, теперь уже видны были его пушки. И все же капитан ожидал, что за это время он подойдет на более близкое расстояние. Взглянув на снасти корвета и на положение парусов, чтобы удостовериться, что там ничего не изменилось, он спросил:

— Не понимаю, Железный Лоб, что произошло, мне кажется, что мы идем немного быстрее, чем два часа тому назад.

— Да, капитан, вроде бы так.

— Что же вы сделали с кораблем?

— О, пустяки! Я передвинул балласт и приказал матросам пройти вперед, ближе к носу.

— Вот это да, вы смысленный парень, и что мы на этом выиграли?

— Одну милю, капитан, одну жалкую милю, вот и все. Мы идем со скоростью двенадцать узлов. Я только что бросал лаг. Но это не спасает нас, конечно, «Лейстер» сделал то же самое: пятнадцать минут назад он тоже увеличил скорость. Смотрите, капитан, он совсем на виду. Да, предстоит встреча с морским волком, который наделает нам хлопот, это мне напоминает, как он гнался за нами, когда им командовал Уильям Маррей.

¹ Иоанн Златоуст (ок. 350—407) — византийский церковный деятель, представитель греческого церковного красноречия. В Византии и на Руси был идеалом проповедника и обличителя.

— А, черт возьми, теперь мне все понятно,— воскликнул Жак,— держу пари, Жорж, это твой разгневанный губернатор на борту корабля. Он, видимо, захотел взять реванш.

— Ты так думаешь, брат,— вставая со скамьи и схватив брата за руку, произнес Жорж,— ты так думаешь? Признаюсь, я был бы счастлив, ведь и я желаю воздать ему должное.

— Это он, он собственной персоной — бьюсь об заклад, только такая ищейка и могла напасть на наш след. Черт побери! Какая честь выпала на долю мне, жалкому работягу: иметь дело с командиром королевского флота! Благодарю, Жорж, именно тебе я обязан такой удачей.— И Жак со смехом пожал брату руку.

Но возможность потягаться с самим лордом Марре-ем была для Жака лишним поводом все предусмотреть, принять все необходимые меры предосторожности.

Жак оглядел свой корвет, его надводный борт, бортовые сетки; он посмотрел на экипаж; матросы разделились на группы, каждый держался возле орудия, которое должен был обслуживать; по всему было видно, что все они, так же как и их капитан, знают о том, что сейчас произойдет.

Ждать пришлось недолго, ветер уже доносил барабанную дробь с вражеского фрегата.

— Вот видишь,— произнес Жак,— не скажешь, что они медлят. Ребята, поспешим и мы. Господа моряки королевского флота знают свое дело, следуя их примеру, мы только выиграем.

Затем он отдал команду: «Приготовиться к бою!»

Тотчас на корвете раздались дробь барабанов и пронзительные звуки флейты, на палубе появились три музыканта, вылезшие из люка, они маршем прошли по палубе и скрылись в люке с противоположной стороны. Появление музыкантов и их бравурная музыка произвели магическое впечатление на всех.

В мгновение ока каждый матрос занял заранее определенный пост с предназначенным ему орудием; бойцы, вооруженные карабинами, заняли место у марсовой мачты, стрелки с мушкетами расположились в конце палубы и у шкафутов. Пушки были высвобождены и выдвинуты на огневую позицию.

Запасы гранат были во всех местах, откуда их было удобно бросать на вражескую палубу. Были пригнаны шкоты, приготовлены абордажные крюки.

Во внутренних помещениях судна шла не менее тщательная подготовка, чем на палубе. Открывали пороховые погреба, зажигали сигнальные фонари, задраили люки, опустили переборки и, наконец, из капитанской каюты выкатили две пушки.

Наступила полная тишина. Жак убедился, что подготовка к бою закончена, и начал поверку. Каждый матрос стоял на своем посту. Жак понимал, что предстоит самое серьезное сражение в его жизни. Во время проверки, продолжавшейся полчаса, он осмотрел все орудия и поговорил с каждым матросом.

Когда он поднялся на палубу, фрегат был уже совсем близко, на расстоянии не более полутора миль.

Прошло еще полчаса; люди на корвете молчали: они только смотрели на приближающийся фрегат.

Выражение лиц полностью согласовывалось с характером персонажей: Жак казался беспечным, Жорж — как всегда, гордым, лицо Сары выражало бесконечную преданность. Вдруг легкая пелена дыма возникла на борту фрегата, и флаг Великобритании торжественно взвился.

Сражение было неизбежно, корвет теперь уже не мог плыть под ветром, превосходство в скорости противника было очевидным. Жак приказал спустить бездействующие при маневре паруса, затем обратился к Саре:

— Видите, сестрица, все разошлись по своим местам, и вы должны быть в каюте.

— О, Боже, неужели все-таки предстоит сражение?

— Через четверть часа, — сказал Жак, — начнется схватка, надо полагать, она будет жаркой, и посторонние должны удалиться.

— Сара, — обратился к ней Жорж, — не забудьте, что вы мне обещали.

— Да, конечно, я повинуюсь, Жорж, я все понимаю, но вы ведь будете благоразумны?

— Я полагаю, Сара, что вы не просите меня оставаться безучастным, ведь ради меня столько смелых людей рискуют жизнью.

— О, нет, прошу вас лишь думать обо мне и помнить, что, если вы погибнете, умру и я.

Подав руку Жаку, она попрощалась с Пьером Мюнье и в сопровождении Жоржа спустилась в каюту.

Четверть часа спустя Жорж с абордажной саблей в руке и с пистолетами за поясом появился на палубе. Пьер Мюнье был вооружен украшенным инкрустацией карабином, старым другом, не раз его выручавшим.

Жак стоял на капитанском мостике, держа в руке рупор, через который он командовал; при нем были сабля и маленький шлем.

Корабли шли по одному и тому же курсу, фрегат все время теснил «Калипсо», и с корабля можно было видеть, что происходит на палубе противника.

— Боцман Железный Лоб,— обратился к своему помощнику Жак,— у вас верный глаз и трезвый рассудок, ради меня, поднимитесь на бизань-мачту и скажите, что там происходит.

Помощник, как обыкновенный марсовый матрос, мгновенно поднялся на мачту.

— Ну, что? — спросил капитан.

— Вот что, каждый на своем боевом посту, канонеры у пушек, солдаты морской пехоты у шкафута и у шканцев; капитан на своем мостике.

— Нет ли на борту других военных, кроме матросов и солдат?

— Не думаю, капитан, если только они не скрываются за пушками; все они одеты в одинаковую форму.

— В таком случае силы почти равны. Вот то, что я хотел знать, спускайтесь, Железный Лоб.

— Постойте, постойте, англичанин берет свой рупор. Тихо! Попробуем расслышать, что он скажет.

Но, несмотря на наступившую тишину, ни звука со стороны фрегата не доносилось до борта корвета, но экипажу сразу же стало ясно, что приказал капитан фрегата, так как сверкнула молния, раздался выстрел, и два ядра пронеслись за кормой «Калипсо».

— Так,— сказал Жак,— на их корабле, как и у нас, только восемнадцатидюймовые орудия, шансы равны.— Затем он приказал помощнику:— Сходите, вам нечего там делать, вы нужны здесь.

Железный Лоб подчинился приказу и тотчас оказался возле капитана. Корабль англичан продолжал приближаться, не стреляя. Пристрелка показала, что ядра еще не попадают в цель.

— Железный Лоб,— обратился Жак к помощнику,— идите к пушкам, пока мы будем отступать, пользуйтесь ядрами, но когда мы пойдем на абордаж, стреляйте снарядами, только снарядами, вам понятно?

— Так точно,— ответил помощник и спустился по задней лестнице.

В течение полчаса оба корабля продолжали идти вперед; фрегат не стрелял, и на корвете решили, что не

следует без пользы дела расходовать снаряды и отвечать ударами на вызов врага. Но по настроению матросов, по собранности капитана можно было ожидать, что вот-вот начнется решительная схватка. И действительно, вскоре на фрегате вновь вспыхнул огонь, раздались два взрыва, и два ядра пробили паруса, повредив бизань-мачту и разрушив две или три снасти.

Жак окинул взглядом повреждения, нанесенные корвету, и, заметив, что они незначительные, воскликнул:

— Ну, что ж, ребятки, по всему видно, они ждут разговора с нами, ответим же им любезностью на любезность. Огонь!

В тот же миг корвет задрожал от двойного взрыва, и, взглянув за борт, Жак увидел результат ответного удара: одно ядро разбило передний борт, другое вонзилось в кормовую часть фрегата.

— Прекрасно! — воскликнул Жак. — А вы почему молчите, черт возьми! Цельтесь в рангоут, подкосите ему ноги, продырявьте крылья. Мачты сейчас ему дороже людей. Посмотрите-ка!

В это время два ядра пробили паруса корвета; один срезал фока-рей, а другой — фор-брам-стенгу.

— Огонь, черт побери, огонь, берите пример с этих парней, — командовал Жак, — двадцать пять луидоров тому, кто первым повалит мачту на фрегате!

Мгновенно последовал выстрел, и можно было увидеть полет ядра сквозь паруса вражеского судна.

В течение четверти часа огонь продолжался с той и другой стороны. Ветер, развевный взрывами, почти обесилел, оба судна тащились со скоростью не более четырех-пяти узлов, и пространство меж ними было окутано дымом, так что пушки били вслепую; и все же фрегат неуклонно шел вперед, и лишь концы его мачт виднелись над облаками дыма, в то время как корвет, идущий навстречу ветру и обстреливающий врага с кормы, не имел дымового прикрытия и был отчетливо виден.

Минута, которую предвидел Жак, настала. Как он и говорил, было сделано все возможное, чтобы избежать абордажа. Но, не имея выбора, он, словно раненый кабан, бросился на охотника. Фрегат в это время шел справа по борту и открыл огонь по корвету из орудий, расположенных в носовой части; корвет, в свою очередь, принялся обстреливать «Лейстера» с кормы: Жак оценил преимущество своей позиции и решил им воспользоваться.

Едва были исполнены необходимые маневры, как по-

слушный рулю и парусам корвет лег на правый борт, оставив перед собой достаточно места, чтобы, развернувшись, встать поперек пути фрегата; в тот же миг фрегат, лишенный возможности маневрировать, не сумел разминуться с корветом и на полном ходу врезался бушпритом в ванты противника.

В последний раз раздалась команда Жака:

— Огонь! Обстреливайте его продольным огнем, сбивайте мачты!

Десятки пушечных снарядов обрушились на фрегат, который уже не смог ответить на этот шквал огня, на град пуль.

По бушприту на фрегат, оттесняя друг друга, устремились пираты. Напрасно английские моряки встречали их ружейными залпами: вышедших из строя сменяли другие воины; раненые, ползая по палубе, бросали во врага гранаты. Жорж и Жак уже решили было, что одержали победу, как вдруг раздался крик: «Все на палубу!» Английские матросы оставили орудия и поднялись на палубу через бортовой люк; это придало новые силы солдатам, которые уже, казалось, готовы были сдаться.

Жак не ошибся: отряд возглавлял бывший капитан «Лейстера», именно он хотел взять реванш. Жорж Мюнье и лорд Уильям — теперь смертельные враги — встретились лицом к лицу посреди окровавленных тел, с саблями в руках.

Они узнали друг друга и попытались сойтись в схватке, но в этой всеобщей свалке их словно вихрем разносило в разные стороны.

Англичане напирали на братьев с особенной яростью, но те отбивались хладнокровно, упорно и мужественно. Два английских матроса уже занесли было топоры над головой Жака, но тут же упали, сраженные выстрелами. Два солдата теснили Жоржа штыками, но оба пали замертво к его ногам: это Пьер Мюнье со своим верным карабином оберегал сыновей.

Вдруг страшный крик, заглушивший взрывы гранат, ружейную стрельбу и стоны раненых, охватил ужасом сражавшихся:

— Пожар!

В тот же миг из заднего и бортового люков повалил густой дым. Оказалось, что один из снарядов взорвался в каюте капитана, и пламя распространилось по фрегату.

На миг все остановилось на «Лейстере», затем вновь разгорелся бой в нестерпимом и дымном чаду. И тогда раздался громовой голос Жака:

— Все на борт «Калипсо»!

Пираты, перепрыгивая с борта на борт, стали покидать фрегат; Жак и Жорж с несколькими смельчаками прикрывали отступление.

Губернатор бросился к отступавшим, расстреливая их в упор, намереваясь вместе с ними проникнуть на борт «Калипсо», но первыми на корабль вбежали пираты и кинулись к орудиям. Ядра и гранаты вновь обрушились на «Лейстер». Тем, кто еще оставался на фрегате, перебросили тросы, и каждый ухватился за швартовы. Жак уже был на борту; оставался лишь Жорж: губернатор пробивался к Жоржу, и тот ждал его... как вдруг чья-то железная рука подхватила Жоржа и отвела в сторону. Это отец в третий раз спас сына от верной смерти.

Вдруг над побоищем прогремел гóлос:

— Вперед левым бортом, поднять кливер, спустить главный парус, штурвал на правый борт!

Хотя все приказы, поданные звонким голосом капитана, мгновенно исполнялись проворными англичанами, они все же не успевали за пиратами и не смогли помешать судам разъединиться. Корвет, словно чувствуя грозившую опасность, мощным усилием оторвался от фрегата.

Затем с палубы «Калипсо» увидели ужасное зрелище.

Пожар на фрегате не был потушен вовремя и продолжал разгораться.

И в тот момент, когда все было объято пламенем, проявилась разумная строгость английской дисциплины. Капитан фрегата поднялся на скамью левого борта и, взяв рупор, обратился к солдатам:

— Соблюдайте порядок, молодцы, я отвечаю за все!

И люди успокоились.

— Шлюпки в море! — продолжал губернатор.

Шлюпки тотчас были спущены вокруг фрегата.

— Четыре шлюпки для солдат и матросов, — распорядился губернатор.

Тем временем «Калипсо» продолжала уходить и удалилась настолько, что уже не было слышно приказаний, но отчетливо было видно все, что происходило на палубе вражеского корабля: несчастные раненые ползали по палубе, умоляя о помощи. Жак, видя, что они погибают, приказал:

— Две шлюпки на воду!

Две лодки отошли от борта «Калипсо». Тогда те, кому не хватило места в английских шлюпках, бросились в море и поплыли к шлюпкам с корвета.

Губернатор все еще оставался на борту «Лейстера»; его хотели взять в одну из шлюпок, но, не будучи в состоянии спасти своих раненых, он решил умереть вместе с ними. Море представляло собой ужасающую картину.

Четыре шлюпки отплыли от горящего корабля, часть матросов устремилась вплавь к двум лодкам корвета.

Неподвижный, окутанный дымом, с командиром на вахтенном мостике и ранеными на борту, фрегат горел.

Зрелище было столь ужасным, что Жорж, почувствовав дрожащую руку Сары на своем плече, даже не обернулся, чтобы посмотреть на нее.

Лодки остановились на некотором расстоянии от корвета.

Спасенные рассказали о том, что произошло на фрегате. Дым все сгущался. Через люки просочилась змейка огня, она подползла к мачтам, пожирая паруса и снасти; затем загорелись бортовые лодки, внезапно выстрелили никем не управляемые пушки...

Вдруг раздался страшный взрыв — судно раскололось пополам, образовался дымящийся кратер, столб пламени и дыма устремился в небеса, и можно было видеть, как падали в кипящее море обломки мачт и снастей.

Вот и все, что осталось от «Лейстера».

Сара спросила Жоржа:

— Где лорд Уильям Маррей?

— Друг мой, если б я лишился счастья посвятить жизнь тебе, то, клянусь честью, я желал бы умереть, как он!

Содержание

КАПИТАН РИШАР

Перевод Е. Л. Скржинской и П. А. Скржинского

I. Герой не нашей истории	7
II. Три государственных мужа	16
III. Близнецы	31
IV. Развалины Абенсберга	42
V. Союз добродетели	52
VI. Будь выстрел на шесть дюймов ниже, короля Франции звали бы Людовиком XVIII	65
VII. Пять побед за пять дней	74
VIII. Студент и полномочный представитель	87
IX. Шенбрунский дворец	94
X. Ясновидец	102
XI. Казнь	109
XII. Отступление	116
XIII. Походным шагом	125
XIV. Исповедь	132
XV. Днепр	141
XVI.	150
XVII. Возвращение	158
XVIII. Путь в изгнание	169
XIX. Лизхен Вальдек	176
XX. Пастор Вальдек	183

XXI. Взгляд назад	191
XXII. Кузен Нейманн	201
XXIII. Цена головы	209
XXIV. Август Шлегель	215

ЖОРЖ

Перевод А. Н. Тетеревниковой, М. С. Трескунова

I. Иль де Франс	223
II. Львы и леопарды	231
III. Трое детей	240
IV. Четырнадцать лет спустя	256
V. Блудный сын	263
VI. Преображение	273
VII. «Берлок»	288
VIII. Превращение в беглого негра	298
IX. Роза Черной реки	304
X. Купанье	311
XI. Цена негров	320
XII. Бал	327
XIII. Торговец неграми	339
XIV. Философия работоторговца	346
XV. Ларец Пандоры	358
XVI. Сватовство	371
XVII. Скачки	380
XVIII. Ланза	393
XIX. Шахсей-Вахсей	402
XX. Свидание	410
XXI. Предложение отвергнуто	416
XXII. Восстание	423
XXIII. Сердце отца	431
XXIV. Большие леса	438
XXV. Судья и палач	443
XXVI. Охота на негров	451
XXVII. Репетиция	459
XXVIII. Церковь Святого Спасителя	469
XXIX. «Лейстер»	473
XXX. Сражение	481

Дюма А.

- Д 96 Капитан Ришар. Жорж. Романы: Перев. с фр./
Сост. Ю. П. Уварова.— М.: Пресса, 1993.— 496 с.
ISBN 5—253—00762—8

В данную книгу включены два произведения из серии «XIX век в романах Александра Дюма», которую публикует издательство «Пресса».

В романе «Капитан Ришар» (1854) в центре стоит образ Наполеона времен его походов в Германию и Россию, представлены малоизвестные, почти детективные исторические эпизоды, связанные с покушениями на французского императора, организованными немецкими патриотами, воспроизведены яркие, запоминающиеся картины сражений, пожара Москвы и отступления французов. На этом фоне показана любовь французского офицера к немецкой девушке.

«Жорж» (1848) — увлекательно написанный роман с острым, захватывающим сюжетом. В нем показана борьба французов и англичан на далеком острове в океане в 1810 и 1824 годах, раскрыта драматическая судьба негров, рассказано о мужестве и благородстве главных героев, умеющих и любить, и воевать, и защищать счастье.

Литературно-художественное издание

ДЮМА Александр
КАПИТАН РИШАР
ЖОРЖ
Романы

Составитель
Уваров Юрий Петрович

Редактор
Г. Ф. Фролова

Художественный редактор
Р. А. Клочков

Технический редактор
К. И. Заботина

ИБ 2943

Сдано в набор 26.03.93 Подписано к печати 21.06.93.
Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Литературная» Печать высокая.
Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 27,41.
тираж 50 000 экз. Заказ № 283. Цена договорная.

Набрано и отпечатано в типографии издательства
«Пресса», 125865 ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.